

Конст. Федин

Конст. Федин

4

**Государственное
издательство
художественной
литературы**

Конст. Федин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Р о м а н

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Примечания
Б. БРАДНИНОВ

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Р о м а н

КНИГА ПЕРВАЯ

В стиле этого романа найдется много наивных выражений, у меня не хватает смелости их изменить.

Стендаль

І. ВЕРШИНА

Этим летом по Норвегии путешествовал молодой человек, слегка волочивший одну ногу и сутуловатый. Во всем остальном внешность его почти не отличалась от внешности других туристов, которые наводняли гостиницы, пароходы, поезда. Он смотрел на горы, на водопады, на холодновато-зеленую поверхность морских заливов, словно реки заползавших в глубину каменной страны. Его никто не замечал. Норвежцы уже давно начали привыкать к летним нашествиям иностранцев. Предприниматели строили отели с видом на водопад, уютные кафе и станции на живописных высотах, и ничуть не хуже швейцарцев, предупредительно, но с достоинством потягивали из чужеземных бумажников гульдены, кроны и марки, слегка оживляясь при виде долларов и фунтов. Ни содержатели отелей, ни агенты бюро путешествий Беннэта не обращали особого внимания на сутуловатого, слегка хромавшего туриста.

Но когда он, остановившись в гостинице, заполнял карточку для приезжих и доходил до графы «подданство», — портье приподнимал фуражку с золотым околышем и неторопливо лез в карман за носовым платком, чтобы немного обтереть лысину. Потом фу-

ражка водворялась на место, и карточка внимательно прочитывалась от начала до конца, пункт за пунктом:

Имя, фамилия	— <i>Иван Рогов.</i>
Место постоянного жительства	— <i>Ленинград.</i>
Подданство	— <i>СССР.</i>
Откуда прибыл	— <i>Осло.</i>

В крупных городах к четырем вопросам карточки прибавлялся пятый, напечатанный в виде небольшого вполне невинного примечания: «Не намерены ли вы искать здесь работу?» Так как путешественник ставил против примечания краткое «нет», то эта графа, до известной степени, приводила портье в равновесие. Если в вестибюле никого не случалось, он, оглядевшись, негромко говорил:

— Ленин—град, о!

Таким образом возмещался урон, нанесенный патриотизму иностранца неделикатным испугом при виде букв СССР, и затем все шло своим чередом.

Путешественник подымался в номер, брился, надевал свежее белье, шел к табльдоту, ел салат из крабов с провансалем и холодный ростбиф, пил кофе и пробовал сыры, возвращался к себе и засыпал. Утром ему чистили костюм, ботинки, он опять шел к табльдоту, и пока завтракал, — чемодан его выносился в вестибюль и в числе прочих — английских, немецких, американских чемоданов, баулов, саквояжей — украшался бумажным ярлыком с названием гостиницы и раскрашенным пейзажем.

Так он оставил позади себя Мюрдаль с оглушающим звоном пяти водопадов, которые летят по отвесу в воронку ущелья с полуверстовой высоты; кукольную деревушку Флом и скалы вокруг нее, затянутые серебряными, как седина, космами горных ручьев; Фрейтхем с бесстрастными цветниками и мертво-стеклянной гладью эурландских вод; счастливую тишину поворотливого и зеленого Согнэ-фьорда.

Да, Рогов мог бы кое-что прибавить к поэтической славе норвежской природы, и Беннэт окупил бы его отельные издержки за хорошую статью для путево-

теля. Но Беннэт гнался не столько за поэзией, сколько за совершенством механики своего бесчисленного рабочего штата.

В Гудвангене к прибытию парохода агент Беннэта уже приготовил потрепанный шестиместный торпедо и несколько двуколок. Дорога по долине Нурёдал была похожа на множество других норвежских дорог: слева нехотя появлялись, оборачивались и пропадали надменные горы, справа, под насыпью шоссе, бесновалась река, с визгом перескакивая через пороги, прозрачно оголяя свои глубины на желто-красном каменном ложе.

Около подъема к Стальхейму Рогов вышел из автомобиля. Путь был крутой, Рогов нарочно шел медленно, чтобы не раздражать больной ноги. Спустя полчаса он остановился и посмотрел вниз. Водопады сверкали между камней, в вечном своем полете вниз, к жадному вместилищу вод — к долине. Чудесен был свист и звон рассекающих воздух водяных столбов; прохладная россыпь влаги доносилась ветром как невесомые облачка пыли; отдельные тонкие струи, точно звезды в ночи, мерцали в черных расщелинах скал. Дорога, по которой только что проехал Рогов, извивалась обок с рекою петлями белой нитки, упавшей на пол. Было видно, как, прямо под ногами, тяжело шли в гору лошади с чемоданами на маленьких двуколках.

Рогов начал подыматься выше, но тут же остановился.

Широко расставив ноги на выступах камня, держась левой рукой за хилый росток ели, почти на отвесной скале работал старик. Он выкашивал из трещин горы шершавую, редкую траву. Орудие в правой его руке напоминало допотопный горбуш — короткую кривую косу. Она ловко обегала своим загнутым носом неровности скалы. Сочившиеся из горы родники омывали камень, он мокро поблескивал на солнце, и так же, как камень, поблескивало потное красно-коричневое лицо старика.

Заметив прохожего, он повесил косу на остробобкий выступ глыбы и поздоровался. Торопливо и

неловко Рогов снял шляпу. Ему хотелось сказать что-нибудь, но из головы вылетали все знакомые слова чужого языка, и он только шагнул навстречу старику. Лицо старика не выражало ничего, кроме усталости. Он утерся рукавом, выбрал новое место для ноги, осторожно переступил и опять взялся за косу. По провалам его щек снова побежали струйки пота, прячась в пегой щетине бороды. Жидкие пряди выкошенной травы приклеивались к мокрому камню или падали на дорогу. Коса упорно выискивала зеленую поросль в трещинах и впадинах скалы.

Рогов пошел дальше.

На узкой солнечной площадке поджарая крестьянка сушила скошенную траву. Увядшие посеревшие клочья развешивались на жердях, положенных в низкие деревянные козла. Покос был так мал, что не нужно было ни граблей, ни вил. Женщина работала не отрываясь, и Рогов прошел мимо, не замеченный ею.

Скоро он добрался до вершины, и — как всегда — вершина распахнула перед ним простор неба и неподвижный мир горных высот.

Рогов долго не шевелился. Потом вздохнул, приподняв плечи, крепко сжав лопатки, и обернулся.

Он стоял лицом к лицу с массивным, холеным, благовоспитанным отелем, над крышей которого с достоинством парило полотнище национального флага. Это и был Стальхейм.

Рогов улыбнулся и побрел к широкому гостеприимному подъезду дома.

II. РАСПИСАНИЕ БЕННЭТА НАРУШЕНО

В столовой гостей обносили кушаньями женщины — бесшумные, несуетливые. В том, как они были одеты и как радушно заглядывали в лица гостей, не было ничего ресторанного: господа иностранцы должны были чувствовать себя как дома.

Господа иностранцы жевали. Англичане обращались с едой как с математическими данными. Поль-

зуюсь таблицею логарифмов, счетной линейкой и арифмометром, они решали задачу методически, непоколебимо уверенные, что ни логарифмы, ни линейка ошибиться не могут, потому что эти пособия испытаны британской традицией. Немец относился к делу философски и смотрел так: антрекот — вовсе не только просто антрекот, то есть кусок зажаренного мяса: антрекот известный комплекс, в который входят, в целесообразной гамме, коричное масло, лук, перец; этот комплекс дополняется отдельными, но неотделимыми от антрекота субстанциями в виде гарнира из моркови, спаржи, шпината, картофеля и других огородных произведений. Если при этом подается огурец — чудно! Если дают салат — превосходно! Жалко, что на антрекот не кладется яйцо. Например, на шницель по-венски яйцо кладется... В результате применения этой философской системы в жизни тарелки от немца уносились почти такими же чистыми, какими подавались.

Рогов ел по-русски. Другими словами, нельзя было понять — кончил он есть или еще продолжает, нравится ему кушанье или нет. Женщины оглядывали его тарелки и нерешительно спрашивали: «Убрать?» Он наклонял голову, а когда тарелки исчезали, вдруг чувствовал голод и брался за сухой хлеб.

В такой рассеянной манере у него оказался неожиданный союзник. Рогов не мог определить его национальности. Может быть, поэтому... Впрочем, нет, отнюдь не поэтому он всматривался в своего союзника так пристально.

Это была девушка, очень молодая, лет девятнадцати, вряд ли больше. Она сидела за отдельным столом около громадного окна. Как воробей — по дороге, взгляд ее перескакивал с места на место. Ее занимал узорчатый деревянный потолок, и она рассматривала его, запрокинув голову, приоткрыв рот. С увлечением она глядела на японца, сидевшего в стороне. Вероятно, ее удивляло многозначительное отсутствие мимики на его лице. У нее самой не было недостатка в мимике: пока перед ней расставлялись тарелки, она успевала засмеяться, ласково спросить о чем-то,

укоризненно покачать головой и снова засмеяться. Женщины отходили от ее стола, польщенно улыбаясь.

Когда начали подыматься, Рогова поразило, как самоуверенно и беззаботно прошла эта девушка на глазах у всех гостей. Она была явно восхищена обстановкой, и каждое ее движение говорило об удовольствии.

В обширной комнате, при зажженных лампах, подавали кофе и чай. Переход от солнечного блеска столовой к полумраку абажуров располагал к кейфу. Господа иностранцы вытягивали ноги.

Здесь было устроено нечто вроде выставки. Норвежские куклы, игрушечные корабли викингов, национальные рукоделия из ткани, фарфор — чудесные пустики, облегчающие валютные операции банков — красовались на стенах и кронштейнах. Разрисованная грамота за стеклом, с подписями министра двора и флигель-адъютанта, повествовала о том, что кайзер Вильгельм проживал в Стальхейме и остался доволен окружающей природой и кухней ресторана. Один угол комнаты, освещенный рефлекторами, был отведен живописи доморощенного художника и смешным газетным статейкам о его славе.

Тут Рогов снова увидел девушку. Хозяин гостиной показывал ей, из какого окна можно видеть ландшафты, послужившие художнику натурой. Она что-то болтала по-английски. Вдруг, точно нечаянно, у нее вырвалось восклицание:

— Это так чудовищно, что хочется купить!

Она быстро взглянула на Рогова.

Но тотчас обиженная мина хозяина словно образумила ее: сосредоточенно она сморщила брови и, как заправский ценитель картин, прищурилась на какой-то простодушный малиновый закат.

Потом она обернулась к хозяину, распорядительно пятившему свой ресторанный живот, и сказала по-деловому:

— Спасибо. У моего отца собрание старых голландцев. Если бы я приобрела что-нибудь подобное, он меня высек бы.

Она поклонилась и отошла к столу с фарфором, в то время как шеф Стальхейма, положив на живот ладошки, прилежно вникал в ее слова...

В автобусе, направлявшемся из Стальхейма в Восс, Рогов хотел сесть рядом с девушкой. Но его предупредил высокий, излишне картинный старый моряк. Он оказался знакомым девушки и, когда двинулся автобус, сказал ей несколько слов чрезвычайно почтительно и в то же время по-отечески.

Дорога в Восс шла под гору. Это было шоссе, нарезанное виртуозным винтом вокруг обрывистых массивов — одна из тех горных дорог, которые заставляют думать о человеческой смелости, о жизнерадостной силе ума и рук. Автобус катился гладко, трубя перед крутыми поворотами в рожок на старый почтовый лад.

На одном таком повороте шофер вдруг дал тормоз и рывком бросил огромный, грузный вагон к самому краю дороги, вплотную к барьеру камней, расставленных над обрывом. Толчок был сильный и шумный, кое-кто из пассажиров вскрикнул, все сразу громко заговорили на разных языках и кинулись к выходам и окнам.

На шоссе стоял безусый парень с косой в руке. Он растерянно улыбался и не спеша вытирал засученным рукавом рубахи потное лицо. Два других косца, еще моложе его, торопились слезть со скалы вниз, по скользким уступам. Первым спрыгнул на шоссе босоножий мальчуган и, подбежав к шоферу, прицался быстро говорить.

— Что он говорит? Что он говорит? — спрашивала тоненькая стриженная немка с нарисованными бровями, притрагиваясь к локтю шофера.

— Он говорит, — сказал шофер, — что он там, наверху, слышал рожок и крикнул вниз, что — автобус. А этот, внизу, не слышал. Здесь относит сигнал в сторону, говорит он. А малый стоит на самой дороге!

Парень сказал что-то, все так же улыбаясь.

— Он говорит, что заработался, — перевел шофер.

— Зачем они лезят тут по скалам? — спросила немка с нарисованными бровями.

Шофер и косцы молча взглянули друг на друга.

— Итак, — произнес низенький обрюзглый англичанин с бедкером в руке и биноклем на ремешке через голову, — все обошлось и можно ехать дальше?

— Пожалуйста, — сказал шофер.

Но тут к нему подошел моряк.

— Придется повременить, — проговорил он так, как говорят капитаны с пассажирами, когда затягивается погрузка парохода. — От толчка у моей спутницы вылетела за окно сумка и скатилась под обрыв. Надо достать.

Кучка туристов толпилась позади автобуса. Сумку было видно. Она лежала на узком выступе, заросшем травой. Может быть, трава и задержала ее, иначе она полетела бы в пропасть.

— А не очень глубоко, — сказал кто-то.

— Футов двадцать пять, — заглядывая под ноги, определил моряк.

— Метров десять.

— Ах, что вы! Всего метра четыре.

— Боже мой! Ясно, что туда никто не полезет, это же бездна!

— Для жителей гор совсем неглубоко.

— Однако мы опаздываем и не успеем осмотреть Восса, — громко заявил англичанин.

— Однако не могу же я ехать без сумки! — сказала девушка, бегло оглядывая всех пассажиров. Ей как будто никто не сочувствовал, даже женщины не отозвались на ее слова.

Моряк сказал шоферу, что, если кто-нибудь из косцов достанет сумку, он хорошо заплатит.

Парень, из-за которого остановился автобус, снова вытер пот с лица, засмеялся и что-то пробормотал.

Женщина с нарисованными бровями затормошила шофера:

— Что он говорит? Что он говорит?

— Он говорит, что у господ бога будет слишком много забот: он только что спас его от автобуса.

— О, о боже мой! — воскликнула немка.

— Я хорошо заплачу, — повторил моряк.

— Сколько? — шустро спросил босоногий.

— Доллар. Хочешь?

Мальчик покосился на своих старших товарищей, снял кепку, сунул ее в брюки, за спину и подошел к обрыву. Пристально заглянув вниз, он лег на живот, свесил ноги с обрыва и начал спускаться.

Все притихли. Косцы и шофер отошли назад, к автобусу, словно обидевшись, что заработок выпал не на их долю.

Рогов стоял в стороне. Ему было хорошо видно, как спускался мальчик, держась за камни и жесткие кривые стволки недоростков-елей, нащупывая опору сильными пальцами ног. Спуск шел медленно, каждое движение рассчитывалось и опасно проверялось.

Рогов был зол. Что-то отталкивающее казалось ему во всем этом дорожном приключении. К тому же оно разрушило в нем внимательное состояние, в котором он находился, забравшись в горы. Он сосредоточенно сверял свои давнишние представления об этом просторном и одновременно замкнутом мире высот с тем, что перед ним раскрывалось теперь в действительности. Книги, неясно звавшие его сюда, странно опровергались здесь простотою всего видимого: ничего символического или сокровенного не было ни в красках, ни в очертаниях или размещении горных массивов, никаких загадок не таилось в бесконечном размахе неба и быстрых, веселых облаках, спотыкавшихся о вершины. Прозрачен был воздух, и чисты от тумана самые дальние и узкие межгорья.

Теперь Рогов уже не мог оставаться наедине с собою.

Когда мальчик опустился на площадку, стало ясно, как крут и глубок был обрыв. Отдохнув и повесив сумку на руку, мальчик стал взбираться вверх, еще расчетливее тратя силы. Главную работу выполняли руки. Он вцеплялся пальцами в елки, осторожно подтягивался, пробуя прочность корня, и только потом, на мгновение повисая в воздухе, точно и цепко переставлял ногу.

Рогов видел его лицо, отражавшее все переходы и толчки напряжения. Поразительно было его самооб-

ладание, упрямое, похожее на холодное спокойствие работника, приставленного к опасному делу.

Вдруг Рогов вспомнил книжного героя — норвежского крестьянина, взбирающегося — вот так, как мальчуган, — по отвесной скале к своей молодой возлюбленной. Ему стало тепло от сознания, что в книгах, к которым минуту назад он почувствовал отчуждение, заключалась какая-то правда. В тот же момент он увидел, как мальчик остановился. Охватив обеими руками острый выступ скалы, он висел, едва опираясь пальцами ног, дыша широко разинутым ртом. До последнего уступа осталось два-три движения, но отдых уже не прибавлял мальчику свежих сил. Он сделал еще усилие, схватился за следующий выступ и стал ногою на тонкий росток ели, торчавший из расщелины.

— Теперь уже очевидно, что осмотреть Восса мы не успеем, — произнес англичанин, аккуратно пряча в жилетный карман часы.

Его как будто никто не услышал. Все молча толпились над обрывом, заглядывая под ноги.

Мальчик еще раз занес руку вверх, но тотчас опустил ее и опять неподвижно повис над пропастью, вдруг словно примирившись, что ему не подняться. Краска схлынула с его лица; он висел белый; разинутый рот его покривился.

— Помогите же ему! — вскрикнула девушка, вдруг так нагнувшись над обрывом, что моряк грубо схватил ее за плечо и оттянул назад.

Никто не шевелился.

Тогда, опять ощутив холодящий приступ злобы, не зная — на кого и за что, Рогов почти вырвал из рук своего соседа палку и протиснулся к обрыву. Он лег на землю, раздвинул, для упора, ноги и опустил палку крюком вниз. Мальчик взялся одной рукой за крюк, медленно попробовал, надежна ли неожиданная помощь, и так же осмотрительно, как прежде, начал переставлять ноги.

Англичанин с биноклем и бедкером, отойдя в сторону, вынул из кармана кодак и, неторопливо рассчи-

тав дистанцию, прикнүв освещение, сиял интересную сцену.

Вставая с земли, Рогов чуть не вскрикнул от боли в ноге и, хромя, пошел к автобусу.

— Спасибо, — с самоуважением поблагодарил его мальчик и принялся разглаживать пальцами выплаченный моряком бумажный доллар.

Все торопились усесться в автобус...

В раскиданном на пригорках Воссе, после осмотра черных тесовых изб, похожих на русские и охраняемых как музей, туристы собрались на платформе крошечного вокзала.

Перед самым приходом поезда к Рогову подошла его спутница. Так же непринужденна, как в Стальхейме, была ее походка.

— Я хотела поблагодарить вас, что вы помогли достать мою сумку, — сказала она, улыбаясь.

— Я не доставал вашей сумки, — обрубая слова, ответил Рогов. — Я помог мальчишке выбраться из-под обрыва.

— Благодарю вас за мальчишку.

— Не стоит. Вам следовало бы прибавить ему за работу.

— Я не догадалась.

Они замолчали. У вагонов остановившегося поезда поднялась суета.

— Далеко ли вы едете сейчас? — спросил Рогов.

— Сейчас в Берген. Оттуда в Батавию.

— То есть как — в Батавию? На Яву?

— На Яву.

— Вы — голландка?

— Я — ван Россум, — с каким-то ребячьим самохвалством назвалась девушка и, поклонившись, пошла к своему вагону, — как показалось Рогову — сдерживаясь, чтобы не побежать.

Он постоял, глядя ей вслед. Потом вдруг ударил себя по лбу:

— Ван Россум... черт побрал!..

Он едва успел вскочить в поезд.

Ш. РАЗГОВОР В БЕРГЕНЕ

Толпа теснила его. Какой-то медленный, но настойчивый поток то выталкивал его из своего течения, то хватал и уносил с собою. Громадные крабы окружали его. Попеременно он видел их мутно-зеленые спины и желто-розовые животы. Они угрожающе шевелили ногами и разжимали клешни. Их тащили на веревках, упикивали в корзины, покрывали тряпками и мешками, снова вытаскивали наружу, бросали животом вверх. Все дело было в животах: их ощупывали, мяли, задрав и растянув на стороны тугие клешни — тыкали пальцами в желтые мясистые бугры. Животы были свежи, животы были сладки: все дело было в животах. Крабы шевелили ногами, разжимали клешни.

Толпа теснила его. Кругом него бились рыбы. Серебробочешуйчатые, они переливались из садков рыбниц в ящики прилавков, как сверкающее литье — из ковша в формы. Голубые, синие, черно-коричневые ремни изогнутых спин; красные, кадмийно-огненные плавники; молочно-белые животы — пятнистое, рябое, скользкое множество тарщило оранжевые глаза, разевало усатые рты, распяливало жабры, секло и рубило воздух хвостами. Он никогда в жизни не видел таких рыб. Перед его глазами океан выворачивался наизнанку. Чудовища обступали его со всех сторон. Рыбий запах пронизывал его. Он сам начинал чувствовать себя рыбой.

В окровавленных кожаных фартуках продавцы насыпали товар живьем в глубокие чашки весов. Товар извивался, товар трепыхал. Продавцы быстро прокалывали рыбы животы чуть пониже жабр длинным и тонким ножом, блестящим как вязальная спица. Кровь выползала струей, кровь рассыпалась брызгами, кровь стекала наземь по стокам и ножкам прилавков. На мостовой она смешивалась с морскою водою, и багровые лужи ее хлюпали под ногами покупателей.

Покупатели хлопотали вокруг весов и прилавков; умиротворенный тонким ножом товар безжизненно

ложился на дно раскрытых кошелок и корзин. Рыбный рынок выворачивал океан наизнанку.

Рогова оттеснили к какому-то постаменту. Он не рассмотрел, что это было. Он вдыхал горклый ветер, дувший с залива, глядел на тяжелые мачты рыбниц, кланявшиеся то вправо, то влево.

Вдруг народ расступился. Женщины с криком бросились на тротуары. Продавцы остановили работу ножей. Толпа образовала коридор, как на театральной сцене, когда появляется шествие.

По коридору шествовал моряк. Он делал шаг, немного приседал, оглядывал толпу и снова делал шаг. На ногах его были большие сапоги, с голенищами, закатанными в трубку, выше колен. Кожаная куртка распахнута, широкое поле рыбацкой клеенчатой шляпы со лба отогнуто назад. Переступая, он прихлопывал подошвой по кровавой луже на мостовой; грязь брызгала в стороны; женщины подбирали юбки и с визгом пятились; моряк удовлетворенно осматривался. Он пел немецкую песенку:

Покорнейший слуга!
Покорнейший слуга!
Честь имею кланяться!
Мой вам комплимент!

В конце стиха он повторял свое сокрушительное па; багрово-красная грязь летела из-под его сапог, он был доволен. Язык у него ворочался не очень проворно и из «комплимента» —

Мой вам ком-пли-мент! —

вылез с усилиями.

— Водолаз Нильсен гуляет! — крикнул он, улыбаясь и не обращая внимания на брань и ворчню женщин. — У водолаза Нильсена праздник!

Он был здесь, видно, старый знакомый. Воспользовавшись паузой, торговцы скатывали ладонями кровь с прилавков и лотков на мостовую и, ухмыляясь, переглядывались.

Водолаз подошел к корзине, поверх которой, на тряпке, лежал, перебирая ногами, краб. Он хлопнул краба по розовому животу.

— Наелся покойничков? — спросил водолаз и укоризненно помотал головою.

— Фу! фу! фу! — вскрикнули женщины с кошелками, кидаясь прочь от корзины.

— Ну, я же это дело знаю! — убеждаючи проговорил Нильсен. — Ей-богу! Я же вижу все это своими глазами: как они их сосут, и теребят, и рвут на кусочки, и растаскивают по всему океану... Ей-богу!

— Ты пьян! — хмуро сказал торговец крабами. — Ступай отсюда. Ступай проспись.

Рыбники рассмеялись, но не весело, а так, словно это был выговор со строгим предупреждением. Пауза затягивалась; они теряли доходы: женщины, вместо того чтобы покупать, судачили и размахивали руками.

— Вы думаете, рыбы лучше? — вдруг на весь рынок проревел Нильсен. — Ничуть не лучше! Они их тоже сосут, и кусают, и потом проглатывают и выплевывают, и опять гложут. Утопленников, ей-богу! Рыбы! Мы — их, а они — нас. Я же это знаю!

К нему придвинулся толстый рыбак в коричневом, от крови, кожухе и обнял его.

— Добрый день, Нильсен.

— Добрый день, сэр, или как вас? — радушно сказал водолаз. — Я хочу, чтобы меня поняли, больше ничего! — ласково начал он.

— Мы тебя отлично поняли, — отозвался толстяк. — Но вон тот полицейский, поймет ли он тебя?

Рыбники радостно захохотали. Это было как-никак остроумно. И женщины стали медленно подходить к прилавкам.

Невдалеке стоял недвижно, в черном мундирчике, розовощекий полицейский. Он глядел на водолаза бесстрастно, не мигая.

— Поймет, черт побери! — вскричал Нильсен, присев и изо всей мочи хлестнув ладонями по голенищам своих сапог. — Он меня поймет!

Разбрызгивая вокруг себя жижу мостовой, Нильсен двинулся прямо на Рогова.

— Уважаемый турист, сэ, — сказал он с притворной властностью. — Посторонитесь.

Только тут Рогов разглядел постамент, к которому его оттеснила и прижала толпа.

Это была шаровидная оболочка плавучей мины, положенная на кирпичный фундамент. К мине была прикована денежная кружка с надписью:

ПОМОГИТЕ СИРОТАМ ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ МОРЯКОВ

— Весь мир заботится о вас, крошки! — произнес водолаз и вытащил из брюк засаленный кошелек. — С тех пор как ваши бедные родители пошли ко дну, у нас нет ни дня, ни ночи покоя. Мы жертвуем, жертвуем, жертвуем всем, чем можем, для вас, несчастные сиротки...

Он долго копался в кошельке, подцепил наконец несколько медных монеток и сунул их по очереди в кружку — не больше четырех-пяти эрэ. Потом опять заговорил:

— Ей-богу, мы не виноваты! Ведь мы застраховали пароходы, все, как один! А они все-таки налетели на мины...

Полицейский не двигался. Два-три человека скучаячи отвернулись от водолаза. Рынок снова начал свою жизнь: серебряные потоки рыбы полились из садков на весы, воркотня женских голосов стала ровной, как журчанье воды.

— Да, милые детки, — продолжал Нильсен упавшим голосом, словно обиженный невниманием и обращаясь только к денежной кружке. — Я же это дело знаю — как пароходы летят в воздух и потом идут ко дну. Может, я видел ваших бедных родителей, утопленников? Иной, перед тем как всплыть, заденет ногою за пароходные снасти и стоит в воде, как солдат, подняв руки. А кругом него ходят рыбы, ей-богу! Водолазу Нильсену есть что рассказать!..

Но рассказов Нильсена уже никто не хотел слушать. Свободное место вокруг него все сужалось и должно было совсем исчезнуть, проглоченное

толпою, когда на сцену неожиданно явились другие актеры.

Две женщины и мужчина, смиренно облаченные в черное платье, молча и ладно соорудили переносную эстраду из стульев и досок. Женщины забрались на доски, мужчина встал внизу, раскутав из платка поцарапанную гитару. Женщины поправили на себе шляпы — горшочки из черной соломки с малиновой лентой вокруг и бантом. Мужчина притронулся к малиновому околышу фуражки. Серебро букв на малиновом фоне вразумительно выкладывалось в слова: Армия спасения. Мужчина потрогал струны. Женщина, подняв голову, возвестила:

— Песнь восхождения.

Гитара охнула минорно. Трио началось:

К тебе возвожу очи мои,
живущий на небесах!

Жиденьким колечком окружили певцов люди. Почти все смотрели на гитару — недурной инструмент, возможно чем-то похожий на десятиструнную псалтырь. Но подаяний не было. Наконец старушка раскрыла бисерную сумку и кинула монету в чашку, стоявшую у ног мужчины с гитарой. Псалом кончился, слушатели стали расходиться. Водолаз Нильсен покачал головою и опять полез в карман за кошельком. Он опустил даяние в чашку так, чтобы кругом видели, оглядел всех с послушническим смирением и покосился на полицейского. Общественный порядок стоял спиною к Армии спасения, как будто хотел сказать: пусть каждый спасается как хочет.

Нильсен подошел к Рогову и вздохнул.

— Рука дающего не оскудеет, — проговорил он тихо и показал свою ладонь, желто-розовую, в буграх, как живот краба. Он пошевелил толстыми коленчатыми пальцами, точно краб — ногами.

— Вот как живет Норвегия, благослови, душе моя, господа, — сказал он. — А вы, сэр, или как вас, вы приехали посмотреть на нашу прекрасную землю? Вы — иностранец?

— Да.

— Я тоже. Эго здесь меня прозвали Нильсеном. Я живу тут двадцать лет и столько же ныряю, как морская собака, в океане и Норвежском море. На самом деле я — гамбуржец и меня зовут Буссе. Черт возьми! А вы — иностранец?

— Да.

— Я с одного взгляда заметил. Вы наверное думаете — вот, пьяная харя, нажрался спирту и лезет разговаривать. Правда? Но когда бы я был пьян, меня взял бы вон этот монумент. Но я — водолаз, и не пить нам нельзя. Попробуй поныряй кто-нибудь без спирта! Вот бы этот монумент окунуть футов на сорок, небось у него лопнули бы все пуговицы. Не верите?

— Верю.

— Они меня все знают. Я говорю — я как морская собака в Гамбурге, у Гагенбека. Я ныряю, а они смотрят. Гляди, кричат они, Нильсен нырнул! И тащат своих детишек смотреть. Хорошо еще, что они не бросают мне мячика, чтобы я его сбалансировал на носу. Так вы не бойтесь, я вас не скомпрометирую. Я здесь — свой. Ведь вы — иностранец?

— Да я уже сказал вам — да!

— Немец? Латыш? Австрияк?

— Русский.

Нильсен отшатнулся и оглядел Рогова с головы до ног.

— Не может быть, — почти шепотом пробормотал он, — не может быть. Что значит — русский?

Рогов засмеялся.

— Это значит — советский русский, красный русский.

Нильсен отпрянул еще дальше. Потом грузно ринулся на Рогова, подхватил его под локоть и, раздвигая людей, повлек куда-то в сторону, вон из толпы, повторяя:

— Сын человеческий! Сын человеческий...

Он остановил Рогова против себя на просторной площадке, опять оглядел его зорко и опять пробормотал:

— Не может быть! Хотя, — перебил он сам себя, — если бы не так, вы давно бы позвали полицейского, правда?

— Наверно — правда. Но что вас так удивляет в том, что я русский?

— Как сказать... Черт возьми, а?..

Он посмотрел на Рогова с восхищением, но тут же снова нахмурился.

— Если уж вы говорили правду, то... кем вы будете, то есть там, в Москве?

— Я — газетчик.

Нильсен задумался на мгновение, затем, прихлопнув одной рукою по голенищу, а другой сдавив Рогову локоть, чуть не захлебываясь, проговорил:

— Напишите про них все, как есть, про этих свиней, черт возьми, понимаете? Ведь в Москве можно писать про них что хочешь, а?

— Про кого — про них?

Теперь уже Рогов смотрел на него с восхищением.

— Ну, про этих! — Нильсен оттопырил перед животом свои огромные руки. — Вот что, — вдруг мягко сказал он, наклоняясь ближе к Рогову, — вы, я вижу, без фокусов. Если я вас попрошу ответить на один мой вопрос, а? Приходите вечером вон туда, вон узенькая улица, видите? Там такой трактир, можно спокойно выпить по пьолтеру. Называется «Золотое дупло». Я буду там весь вечер. Придете?

— Хорошо, — с удовольствием отозвался Рогов.

Он дал пожать себе руку — сам он не мог охватить теплого желто-розового краба — и поглядел, как, колыхаясь над головами, исчезает в людской толчее блестящая клеенчатая шляпа. Нильсен был совсем трезв и не вызывал к себе ни малейшего любопытства. Полицейский бесстрастно следил за рынком. Вполне согласно закону и обычаю океан выворачивался наизнанку.

Рогов опять вошел в толпу.

IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Вплотную к рыбному рынку примыкал Немецкий мост — каменная набережная залива, взъершенного атлантическим ветром, украшенного судовыми мачтами, которые с меланхоличным укором вечно покачивают свои верхушки.

Мост был когда-то деревянный, из зелено-черных свай и лесин, насквозь просоленных океанской водою и селедочным рассолом. По мосту бегали, катая бочки, от залива к лабазам и назад, немецкие молодцы — в красных жилетках с оловянными пуговицами, в ботах на березовых подошвах, в просаленных ворванью шерстяных чулках по колено. Молодцы были плечисты, долгоруки, толстоноги, с кулаками как гири, и — когда бывало надо — молодцов можно было спускать на англичан, на голландцев, на норвежцев, и молодцы крушили кулаками, как гирями, всех, на кого их спускали, кровенили деревянный Немецкий мост, кровенились сами и с проломленными затылками, расплюснутыми носами, вывихнутыми шеями возвращались домой — в деревянные, пропахнувшие треской конгоры Ганзы.

Черт их знает, что было делать с англичанами, с растреклятым бриттом, который лез везде со своим горбатым носом, совал свою богом меченную челюсть всюду, где только позвякивало серебро! Приходилось бить его по носу, бить по челюсти, чтобы хоть тут-то, на Немецком мосту, на виду бременских и любекских контор, не давать ему воли и простору.

Подумать: Ганза отвоевала у датчан привилегию, по которой весь норвежский рыбный улов доставлялся в город Берген; Ганза взяла в свою руку морской путь в город Берген, и бергенский порт, и всю бергенскую торговлю — с лабазами, складами, морскими дворами. Казалось — все было ясно и просто: Ганза — хозяин. Так нет же! Не унимались ни

бритты, ни шотты, не унимался голландец! Мало того, что они рыскали по фьордам, скупая втихомолку улов у рыбаков, они заходили в самый Берген и тут же, на виду ганзейских контор — чуть стемнеет — откупали у промышленников наважий жир, перекачивали бочки с борта на борт, точно пираты. Они не гнушались ни сырою трескою, ни лабардапом, ни икрой, ни ворванью; они воровали, воровали у Ганзы все, чем она честно и на совесть торговала!

Господи, твоя воля! — приходилось их бить, бриттов и шоттов, бить смертным боем на деревянном Немецком мосту, чтобы они помнили бременские кулаки, чтобы они знали любекскую хватку.

Приходилось бить и голландцев — что делать? И шепелявые голландцы посягали на священные владения Ганзы. Мало им было Азии! Мало было Востока, мало сокровищ грабила и привозила в Европу Индийская компания! Нет, они лезли на север, на самый север карабкались голландцы, в Берген! С божией помощью, во славу вольного ганзейского купечества били и голландцев.

Но пуще всего били норвежцев! Эти гранитные лбы учредили такие порядки, что ни одна девушка не показывалась на улице после сумерек, а на Немецкий мост женщины не заходили даже днем. Что оставалось делать бедным ганзейцам? Приходилось устраивать облавы на женщин в темных переулках, снимать рыбацких жен с яхт, заманивать в конторы деревенских девчонок — бусами, колечками, лентами: никто не любит так пофорсить, как норвежская красотка. Иной раз девушке понравится у немцев (да, правду сказать, и кавалерам нету счета, не так-то просто вырваться у них из рук) — загостится девушка на всю долгую бергенскую ночь в конторе, а к утру — гляди: на Немецком мосту толпа норвежцев. Какой-нибудь седовласый разглагольствует о позоре и несчастье, принесенном Ганзою, машет рукою на контору, и толпа подступает к воротам.

Вот уж действительно — гранитные лбы! Почему немцы не берут норвежек себе в жены, а только потешаются да лакомятся девчатами в своих конторах? Да потому, что, если бы ганзейские приказчики и подручные переженились на норвежках, не много проку досталось бы Ганзе от всей бергенской торговли. Недаром Любек настрого и мудро запретил своим молодцам обзаводиться в Бергене женами и детьми. Но ведь молодцы — не монахи. Стоит взглянуть на их щеки, как они переливаются малиновыми пятнами. С такою кровью не улежишь смиренно под пологами кроватей и никаким запретом не угомонишь танца этой крови по молодым жилам. О чем же вопят норвежцы, столпившись перед конторами Ганзы? Еще одна бергенская женка заночевала в гостях у немцев? Да нате возьмите вашу женку! Вот она выбежала из ворот, перебегает через дорогу, падает перед толпой на колени, плачет, заламывает над головою руки, ветер рвет ее неповязанные волосы. Она божится, что немцы взяли ее силой, напоили вином и промучили до зари. Так они все: сначала пляшут и орут песни, а потом клянутся, что гуляли против своей воли. И вон уж разъярились норвежцы, стучат дубинами в стены и оконные ставни, и повизгивают от напора толпы железные петли ворот. Тогда высыпают на двор ганзейские молодцы, засучивают рукава полотняных рубашек, бегут под навесы, где грудями валяются разошедшиеся бочки, выбирают дубовую звонкую клепку длиною в полчеловеческий рост и — мигом распахнув ворота — кидаются в толпу, как косою размахивая перед собою бочечной клепкой. С яхт и лодок торопятся на подмогу землякам рыбаки; бергенцы, вооружаясь чем попало, сбегают с обледенелых скользких гор, к заливу; но тут же из других дворов Ганзы высыпают, норовя на ходу кое-как одеться, немецкие компатриоты, и уж ничего не слышно, кроме стука дубинок и клепки, треска черепов, крика и уханья сцепившихся людей. Тогда благоразумные приказчики контор, сторонкой обходя колышущийся вал бойцов, подают знаки ган-

зейским капитанам, и с бортов бременских, любекских парусников наводятся на Немецкий мост жерла маленьких медных пушек. Их неподвижный черный взгляд решает схватку. Норвежцы разбегаются, подбирая искалеченных бойцов; немцы ловят отстающих и по одиночке глушат их клепкой, словно тюленей — колотушками.

Ганза еще раз победила и наказала непокорных, в сотый, в четырехсотый раз защитив свою хозяйскую волю...

Все это происходило долгие века назад, когда деревянный Немецкий мост был солон от океанской воды, и от рыбного рассола, и от пролитой в кулачных боях крови.

А теперь он простирался гладкий и вымытый, и около него разводили пары мирные пароходы, и на углу улыбался яркими красками и лаком Анзеатический музей — пережиток умершей мировой державы, последняя контора Ганзы, гнилой зуб, любознательной цивилизацией облаченный в золотую коронку забот.

Рогов осмотрел музей. Там было не много примечательного, кроме внутренней архитектуры комнат, лестниц, антресолей, тупичков и чудесного третьего этажа — пристанища, ада и рая тех самых торговых молодцов, которые заманивали и затаскивали сюда красоток, а потом доказывали свое право на них дубовой клепкой.

Вдоль стены тянулись узкие и короткие ящики-кровати с двумя лазейками в каждую. Одна лазейка вела в кровать снаружи, из коридора — квадратное оконце, по диагонали равное ширине добротных женских бедер, так что протиснуться сквозь него на суровое ложе развлечений стоило трудов. Другая лазейка выходила в комнату и была почти во всю длину кровати, но настолько узка, что нельзя понять, как через эту щель вылезали из ящика взрослые люди. Эти ухищрения были сделаны строгим купцом хозяином, чтобы воспрепятствовать распущенности

его торговой казармы. Но — улыбнулся Рогов — строгостью уставов и законов против порока измеряется его глубина.

Рогов вышел на набережную, все еще пронизанный запахом ветхого дерева, заржавленной утвари и непроветренных тупиков музея. С залива обрушился на него грудой шквалов другой запах — давности земного шара и одновременно вечно молодой, словно смеющийся запах моря. Шквалы были так сильны, что Рогов зажмурился точно от ударов и стоял несколько секунд не шевелясь. В мачтах парусников вились с присвистом песни; вода булькала и хлопала по корпусам судов и камню причальной стенки; вскрикивали птицы, откидываемые ветром далеко от рыбниц, над которыми им нравилось держаться. Путаное сцепление этих звуков еще больше усиливало чувство прошлого. Ганза встала перед зажмуренными глазами Рогова с живою отчетливостью, почти пластично. И когда до сознания дошли другие звуки — вопль пароходной сирены, шипение отработанного пара, шум автомобиля, грохот лебедки, — они слились с воображаемым прошлым, нисколько не нарушая его цельности. Рогов разжал глаза и заново увидел теснящиеся мачты рыбниц, бергенское, изорванное в клочья, готовое обрушиться небо, остроконечные крыши построек и воду. Пространство, весь мир принадлежал ему, Рогову, или нет: он сам принадлежал миру, был долькой пространства, которое раскрывалось перед ним. Вдруг он почувствовал себя счастливым. Как в детстве или во сне у него заторкалось сердце, и ему захотелось двигаться, бежать или идти, чтобы не исчезло, не нарушилось единство, установившееся между ним и внешним миром. Ему показалось, что он совершенно здоров, он не ощущал в ноге привычной боли. Он быстро свернул за угол и пошел в гору, к гостинице, в которой жил.

Он сел за стол. Бумага, разложенная перед ним, была необычайной гладкости. Он любил бумагу, любил рассматривать ее на свет, потирать между паль-

пев, как будто удивляясь мастерству выделавших ее рук. Перо бежало беззвучно. Он написал:

«Ф. Г. ван Россуму. Ленинград.

Уважаемый Франс Губертович, помните ли Вы, что при последней нашей встрече в ленинградском порту Вы сказали, что, если бы мне представилась возможность поехать в Голландию, Вы помогли бы мне преодолеть формальные препоны? Можете ли Вы это устроить? Я решил, возвращаясь домой, сделать крюк. Попаду ли я еще когда-нибудь на Запад? — вряд ли. А Голландия издавна меня привлекала.

Буду ждать вашего ответа».

Рогов заклеил письмо. Как человек, привыкший к одиночеству, он сказал два-три слова вслух и побродил по комнате. За окном начинало темнеть. Ему внезапно стало жалко, что напрасно уходит время, он вспомнил о Нильсене, и его потянуло на улицу.

Город дробился на куски светом зажженных фонарей, у залива было малоллюдно, площадь, недавно лихорадившая рынком, опустела. Обаяние портового города в сумерки, когда ложится ветер и оживают сторожевые, вахтенные огни, показалось Рогову особенно волнующим здесь, в Бергене, в этот вечер. Он все еще чувствовал приподнятость, и ему по-прежнему было приятно двигаться. Он вошел в переплет узких улиц. Какие-то тени появлялись и пропадали в полутьме, двери то разевали свои рты, что-то выкрикивая в темноте, то захлопывались и молчали.

Кривобокий фонарь, висевший над дверью «Золотого дупла», вкрадчиво освещал тротуар, но вывеска и ступеньки трактира как будто нарочно были затенены. Перешагнув порог, Рогов приостановился. Очень густо пахло трубочным дымом и кожей, за столами шумно рассуждали и жестикулировали.

Рогов не сразу разглядел Нильсена, но тот сам поднялся навстречу ему из-за стола, и вдруг, словно сорвавшись с какой-то привязи, бросился, раздвигая стулья, к выходу. Рогов невольно отстранился, но

Нильсен даже не взглянул на него, а изо всей мочи рванул дверь и вылетел наружу. Единственно, что успел заметить Рогов: перед тем как Нильсен сорвался и побежал, хлопнула дверь — значит, кто-то входил в трактир следом за Роговым. Он неловко продвинулся к стойке. Кругом стоял смех — явно над Нильсеном, потому что поминали его имя, — но Рогову показалось, что весь трактир хохотал над ним. Он спросил пьюлтер. Худошавый крепкий человек в зеленом, как бильярдное сукно, фартуке, почтительно ухмыляясь, переспросил:

— Сода-виски?

Наскоро опорожнив стакан, Рогов ушел из трактира. На улице стало еще темнее и пустынной. Куда-то, в черный провал, исчезала неизвестная, едва освещенная дорога.

— В Голландию, — сказал сам себе Рогов, и в первый раз за весь бергенский день почувствовал, что его влекла туда еще не совсем ясная, но уже собранная в какой-то фокус цель. Почти тотчас пришел на память Стальхейм, и уже знакомо Рогов подумал о связи между ван Россумом, которому отправил письмо, и девушкой с такой же фамилией, о том, что ведь Батавия — не в Голландии, о том, что девушка, наверно, злая и привередливая, как папенькины дочери, о том, что вообще все это — чистая ерунда!

Тогда из переулка обрушился на него, чуть не столкнув с тротуара, громоздкий, запыхавшийся Нильсен. Откинув голову, он разглядел Рогова со стороны света, узнал его и прохрипел:

— Ушел! Опять ушел, каналья!

— Да что же происходит? — с досадой спросил Рогов.

— Сколько лет я его ловлю! В третьем году ушел, и вот — опять! Не везет!

На всю улицу он пытал своей неохватной грудью водолаза. Чертыхаясь и теребя рукава как перед дракой, он загораживал дорогу.

— Сквозь землю провалился, будь он проклят! Он знает тут каждую лазейку. Было время — дневал и ночевал на этих улицах.

— Что это за человек?

— Человек? Ну, нет! Человеком он сроду не был. Как его назвать... черт... Тут вот такая история...

Он заглянул Рогову в лицо и, уверившись, что нашел слушателя, слегка толкнул его и двинулся вперед.

— Я ведь вам сказал, что я — немец? Вольного города Гамбурга уроженец и гражданин. И все дело в том, что я тут не один, нас тут порядочно, по всему побережью. Нынче осталось меньше, а перед войной и во время войны где нас не было? На каждом суденышке хоть один немец да ходил. А в гаванях, а по фьордам? Во время войны вся музыка и разыгралась. Вы с моим отечеством знакомы? Чужого не хотим, своего не уступим, шутки плохи. Я, само собой, горжусь и уважаю. Сейчас даже сердце екнет, когда подумаю. А тогда был я молод, только что начал зарабатывать, в кассе книжку завел, жена у меня была — первой статьи. Кое-кто из нас поехал домой, исполнить долг, пролить кровь и прочее. Забрили птичек во флот — тут народ морской, по Каттегату плавали, по Восточному, не знаю, где нас больше жило — в Дании, у шведов или здесь. Стало видно, что нас, заграничных, ставят куда погорячее — на подводные лодки, на сторожевые суда, по транспортам рассовали, которые прорывались в Америку: гроб! Словом, мне пора бы спешить под знамена, а я раздумываю. Жена, правду сказать, тоже не очень за войну. И вот тут...

Нильсен взял Рогова под руку и оттянул его назад, к фасаду черного дома. Какой-то человек появился из-за угла и промаршировал посередине дороги. Нильсен утих.

— Нет, — сказал он погодя, — он теперь носа не покажет, сидит где-нибудь в норе... Вот, в то время он и появился, этот, как вы говорите, человек. Время было — десять баллов. Ураган. Для немцев сделалось все позволено, и шли они на все. Да только все было зря. Приноровились они ходить под нейтральным флагом. Начали скупать старые пароходики, парусники. Сколько тут на этом денег нажили — счесть нельзя. Пошли в гору цены и на солдат, которые

знали по-норвежски. Больше всего маскировались под норвежца: поэтому требовалась норвежская команда. Если прорывали блокаду, геройские делали дела. Но редко. Больше шли ко дну. Попал такой норвежец англичанам, пощады нету — кормить рыб! Стали говорить, что дезертирам — полное прощение, только извольте явиться. Ну, я тогда окончательно решил: покорнейший слуга, мой вам комплимент! Немцы простят, англичане не помилуют. Начали без меня — и кончайте на тот же манер, а я — как у нас говорится — потону естественной смертью... Тогда-то обнаружились странные дела. Уходит на промысел какое суденышко, болтается в нейтральной зоне, где-нибудь недалеко от линии блокады. Откуда ни возьмись — сторожевой немец. Дает сигнал остановиться. Подходит на шлюпке офицер, требует у шкипера бумаги, прочитывает, спрашивает: а вот такие-то в вашей команде — германские подданные? Да. Поставить их сюда. Есть. Именем закона — арестованы. Равняйся, смирно! За мной, марш! И кончено. Во время войны не разговаривают... Один раз такое приключение, другой, третий — снимают в открытом море немцев со всех норвежских судов как по расписанию. Начали мы доискиваться — кто набирает команды? Промысла мы все знаем, шкиперов — тоже, каждый моряк у нас на виду. Как мы ни хитрили — никакого толку. Дошло до того, что стали бояться выходить в море. Черт его знает — нынче вышел, а завтра выбирай: либо военный суд за дезертирство, либо плавание под фальшивым флагом. И то и другое — венки на могилу. Наконец... Что бы вы думали? Накрыли мы одного агента. Дальше больше — обнаруживается целая акционерная компания, ей-богу! Смешанное германско-норвежское общество для торговли немцами, черт возьми! Бывало, торговали гнилыми пароходами, гнилой рыбой, а тут — на тебе! — принялись торговать дезертирами. Каждого дезертира, как в магазине, завернут в бумажку, обвяжут тесемочкой и — с борта на борт — германскому военному командованию, по принадлежности. Прямо — конец света, ей-богу!..

Нильсен сокрушенно вздохнул. Подняв палец и трясая им над своей головой, он убежденно сказал, враспевку:

— Все на этом свете устроено для уловления нас, простых людей, — верно я говорю, а?

— Что же было дальше? — спросил Рогов.

— Дальше? А как только мы дознались, что нами торговали, принесли мы друг другу присягу — человеческой торговли не пощадить! Норвежцы держали нашу сторону, потому что их нейтралитет был очень оскорблен. Вскоре мы многих виновников разыскали и... как сказать? Словом, кое-кто из них уцелел, но уж никакой торговлей они больше не занимались... У меня же вышла незадача. Я, по специальности своей, ходил в море часто. Водолазных работ велось много. Одни топили, другие доставали, мин плавало — как икры. Меня нанимали то туда идти, то сюда, так что я больше других рисковал нарваться на выдачу. Тогда я, со злости, взял на себя изловить бергенского заправила гнусной торговли. Он был вроде директора филиала, — у них ведь имелись должности, как в торговом доме, ей-богу. Я его прежде видел: он контрабандой шалил и в порту держал табачную лавку. Но тут он растаял без следа и лавку бросил — понял, что его ожидает. Поначалу я принялся за дело горячо, много времени тратил и все деньги, какие были, извел. Ездил один раз в Данию — сказали мне, что он в Копенгагене пивную открыл. А потом война прошла, и жар у меня понемножку спал. Не то что я бросил думать с извергом посчитаться, нет. Просто отлегло от сердца. Решил: попадетсЯ — я от него своих убеждений не скрою, а искать его не буду. Мало ли кто в чем за войну провинился, всех карать — не с того конца начинать надо, верно?.. Сколько лет я его не видел, стал думать — не умер ли? И вдруг в третьем году, под рождество, вот как сейчас с вами, на улице, под фонарем — лицом к лицу! Меня в пот бросило. Кинулся я за ним. Он, видно, понял — зачем. Что бы вы думали?.. Ушел из-под рук, ей-богу! Как пар на холоду...

Нильсен остановил Рогова. Голубой свет фонаря падал на них сверху. Резки и темны были тени на лицах. Вглядываясь в Нильсена, Рогов неожиданно понял, что он переполнен добродушием, обычным для очень сильных, здоровых людей, и весь его рассказ был простоватой болтовней, а вовсе не кровавой историей, какой сначала показался.

— Меня в Бергене поддразнивают, — сказал Нильсен, ухмыляясь, — что мне не повезло. Что ж? Я много не ищу, я только хочу набить ему морду, черт возьми! Он должен знать, что о его мерзости люди помнят. Вот всё. Когда он, следом за вами, вошел в трактир и остановился в дверях, я подумал — теперь не уйдет! Выскочил наружу... Может — померещилось? — перебил себя Нильсен, понизив голос и пытливо уставившись на Рогова.

Потом он взял его за отворот пальто.

— Жалко, ушло время. Я хотел говорить о другом. Я хотел спросить...

На соседней улице раздалась песня, обрывистые такты ее торкались между стен, будто где-то выбивали ковер, и отзвук многократно повторял удары. Нильсен потянул к себе Рогова и заторопился:

— Говорят, у вас обыкновенному человеку, простому рабочему человеку, как я, отворены любые двери. Верно?

— Да.

— Верно? Тогда сколько же всякий человек может у вас заработать? Сколько хочет? Значит, каждый может стать богачом? Верно? Если я к вам приеду, простой водолаз, — что у меня будет?

— Не знаю. Будет жилье, хлеб, много работы.

Нильсен оглянулся. Песня уже вывернулась из-за угла и шествовала по дороге, качаясь над головами трех гуляк, в обнимку и дружно отыскивавших равновесие.

— Нет, — еще торопливей возразил Нильсен. — Ну, если я стану у вас министром? Что у меня будет тогда?

— Министром вы, Нильсен, не станете, — засмеялся Рогов.

Гуляки, растянувшись гармоникой, поравнялись с фонарем. Ближний хлопнул Нильсена по спине и закричал что-то, другие подхватили крик, но гармоника быстро сжалась, и, словно подхваченные ветром, люди понеслись прочь по мостовой.

— Нет, я хотел спросить... если я к вам приеду, то я могу ведь...

— Вас зовут, Нильсен, — сказал Рогов.

— Это мои приятели... Если бы я к вам поехал...

— Не мешкайте, Нильсен. Приятели не ждут.

— Жалко, ушло время. Я ведь, правда, хотел вас расспросить... Такой случай!

Большое лицо Нильсена улыбалось, как у мальчишки, который нашкодил. Он тепло тряс Рогову руки.

— Торопитесь же! — подогнал его Рогов и медленно, настойчиво высвободил свои руки из рук водолаза.

У. ФИЛИПП ВАН РОССУМ ЕДЕТ В ГАРЛЕМ

Перед закрытием конторы Филипп ван Россум сказал по телефону старшему клерку:

— Позовите Виллема.

Виллем пришел в берете, с тряпкой в масляных руках. Он прикрыл дверь локтем и стал, раздвинув ноги, перетирая желтые, лоснившиеся пальцы.

— Чистил «Розу»?

— Да, мэнэр.

— Я пройдушь пешком, — сказал Филипп, приветливо разглядывая штаны и короткий кожаный передник Виллема.

— Как угодно, мэнэр, — ответил Виллем.

— Завтра в десять утра я к столу у Лодевийка ван Россума. — Брата он всегда называл полным именем — Лодевийк ван Россум. — Сообразите, Виллем, когда следует выехать из Гарлема, чтобы к двум быть в Роттердаме. В Гааге я остановлюсь на полчаса.

Он поднялся. Он был в жизнерадостном расположении духа и говорил немного торжественно. Он поправил на себе пиджак.

— Дать карандаш и бумагу? — спросил он, улыбаясь.

— Нет, мэнэр. Гарлем — Гаага пятьдесят километров, Гаага — Роттердам двадцать пять.

— Значит?

— У вас много времени, мэнэр.

— Виллем, вы — шутник! У Филиппа ван Россума много времени!

— Закладывать «Розу»?

— Шутник! — повторил Филипп. — Закладывайте «Розу». До завтра вы свободны.

— Как бы не перепачкать у вас тут, — сказал Виллем, нажимая дверную ручку локтем.

Филипп размеренно подступил к двери и распахнул ее.

— Прошу покорно.

— Благодарю, мэнэр.

«С ними надо быть поближе, поближе, — думал Филипп, вызывая звонком клерка, — в конце концов им доверяешь жизнь — жизнь — жизнь!» — в нем почему-то пело все: он чувствовал себя превосходно.

— Это можно взять, — указал он на бювар вошедшему клерку.

— Капитан Дирк Янсен терпит шторм у острова Готланда, — проговорил он не спеша.

— Капитан Дирк Янсен — старый капитан, — произнес клерк, подавая пальто Филиппу ван Россуму.

— Он старый капитан. А «Дордхерт» — старая ка-лоша, — сказал Филипп и протянул назад левую руку.

— Есть пароходы постарее, — заметил собеседник и подал Филиппу ван Россуму шляпу.

— Все-таки шторм семь баллов, — возразил Филипп, протягивая правую руку.

— Чартер-тайм на «Дордрехт» в полном порядке, — ответил собеседник и вручил Филиппу ван Россуму трость.

— Я не беспокоюсь за «Дордрехт». Я беспокоюсь за капитана.

Он вынул перчатки и стал спускаться по лестнице, дотрагиваясь одним пальцем до перил, обтянутых красным плюшем. В сущности, он не беспокоился ни о чем. Ему было хорошо. Он приостановился на площадке и, дирижируя тростью, продиктовал:

— Завтра от десяти до двенадцати я у Лодевийка ван Россума. В час — в министерстве иностранных дел. В два — на бирже, в Роттердаме. Вернусь кпяти.

Он отсалиutowал тростью, приподняв ее над головой, и вышел на улицу...

Утром ему подали «Розу». Она горела всеми красками, каждая спица играла на солнце, кузов был усыпан звездами отражений. Виллем опустил стекла и похаживал вокруг холеного лимузина, как конюх вокруг лошади. Горничная вынесла букетик махровых гвоздик и вставила его в розетку, против сиденья.

Филипп ван Россум появился в светло-гороховом ульстере, с нарциссом в петлице. Привычно ловко садясь в автомобиль, он приказал поднять стекла.

— Нигде так не воняет, как в Амстердаме.

— Много людей, мэнэр, — сказал Виллем.

Горничная кончиком фартука стерла со стекла отпечаток пальца, Виллем сел за руль. Беззвучно, медленно мотор тронул и повел «Розу» вдоль канала.

Принсен-грахт, Брауверс-грахт, поворот на запад, сквозь лиловые тени Вестер-парка, мимо газового завода, — и вот до мельчайших пустыков знакомый простор предместья, зеленые кубики насаждений, синие ленты каналов, заплаты белых парусов на зелени садов и на голубизне неба. Дорога гладка, как водяная поверхность, и покойно, как лодка, скользит по каменной глади автомобиль.

Филипп ван Россум кладет в угол сиденья шляпу, открывает окно и расстегивается. Решетка радиатора со свистом процеживает воздух. Этот свист легко напоминает парусник «Розу» — семейное суденышко ван Россумов, на котором много лет назад Филипп ходил из Гарлема в Амстердам. Она еще жива, эта «Роза», и старик Лодевийк изредка подкрашивает на ее парусе литеры «v. R.» и катает по каналам свою жену Элиза-

бет. Ветер посвистывает в реях почти так же, как в радиаторе молодой, новой, новейшей «Розы», которую так не любит Лодевийк.

Филипп чуть-чуть подергивает уголком мягких губ и вспоминает всех «Роз». Это — любимое в семье имя, любимая кличка. Отец называл так парусник, Лодевийк — первый пароход ван Россумов. Теперь он кличет Розой голубей. Даже Элизабет не удержалась и прозвала Розой свою фаворитку — гронингенскую корову.

— Роза, — говорит она, протягивая корове булочку с тмином, — Роза, выходите, вас пора доить...

Нет, ни с одной из этих «Роз» Филипп не мог бы сравнить свою. Он поглаживает ладонями шероховатую кожу сиденья и смотрит в окно.

Мелькает оранжевая черепица крыш, мелькают стекла парников — точно самоцветы, они унизаны лучистыми зернами красок, — и Филипп припоминает заученный в школе порядок спектральных цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Потом идут неуловимые ультрафиолетовые лучи, как детство, как школьные годы. Но в покойном и быстром движении, под свист радиатора, глаз странно угадывает волнующее жаркое свечение этих лучей. Здесь, по дороге от Амстердама до Гарлема, время запечатлевало жизнь Филиппа. Вот она — маленькая, с радостями леденцов и сокровенных папиросок; вот — настойчиво-упрямая с болью влюбленности и шепотом свиданий; вот — нежная и страстная, попеременно любимая и отталкивающая, вот — спокойно-уверенная, вот — могущественная, непреклонная, пожалуй немного грустная.

Вакации, вакации! Вся страна переселяется на лед. Коньки Филиппа хорошо наточены, расчищенный лед звенит под ними, как серебро. Вокруг — одногодки с книжками за плечами. Стайкой дроздов мальчуганы несутся по каналу домой, в Гарлем.

Снег начинает покручивать над белой равниной; сквозь пелену чуть видна молодая женщина; она немного отстает от Филиппа, он тянет ее за руку, оглядывается, за снегом ничего не видно, кроме ее лица —

раскрасневшегося, с дрожащими каплями талого снега над губами. Филипп притягивает ее к себе, обнимает; они умилили бег, лед звенит глуше...

Филипп берет телефонную трубку и говорит Виллему:

— Куда вы мчитесь, Виллем? У меня еще есть время...

Стальные полозья кресла расчерчивают лед, оставляя след, похожий на узенькую колею заводских рельс. В кресле сидит девочка, постукивая белыми пуховыми сапожками.

— Тебе не холодно, Елена? — спрашивает Филипп.

— О да! Садись, я тебя повезу...

Это было здесь... нет, вон там, около шлюза... Около шлюза стоит парусник; надо спустить грот, потому что рвет ветер, мчатся серые тучи, осень холодна. Рабочие подходят к борту, снимают кожаные шляпы; ветер треплет волосы. Последний раз «Роза» везет своего хозяина: на борту стоит серый, как небо, цинковый гроб.

Литеры паруса «v. R.» то прячутся в складках, то появляются. Грот сползает вниз...

Филипп быстро говорит в телефон:

— Виллем, у вас нет чувства меры — вы тянетесь словно русский извозчик.

Он отворачивается от канала и смотрит в другое окно. Электрический поезд привидением проносится навстречу.

Вот так, в таком же поезде Филипп мчится в Гарлем, не думая о своем неподобающем костюме, не отвечая на поклоны. Автомобили разогнаны по Амстердаму, автомобили разогнаны по всей стране. Он должен ехать в поезде как вояжер, как горничная в воскресенье, как школьник. В Гарлеме он берет велосипед у дежурного по станции. Филипп ван Россум на велосипеде! Он наконец вбегает в комнату брата.

— Лодевйк, три наших парохота пошли ко дну!

Три имени, которые не выходят из головы, одно за другим слетают с языка.

— Ты, наверное, телефонировал мне? — плавно говорит Лодевйк. — Я возился в саду, промочил ноги.

Он натягивает шерстяные носки.

— В Бискайском заливе? — спрашивает он. — Я узнал о шторме из газет и высчитал, что они должны быть как раз там. Можно было ожидать.

Он идет к камину и берется за растопку.

— Три из семи — порядочный процент. Капитаны? Команда?

— Сообщил англичанин. Кое-кого подобрали.

— Дай карандаш, — говорит Лодевийк.

Они сидят у камина; огонь бесшабашно хрустит растопкой, карандаш пишет четырехзначные числа. Филипп успокаивается, помогает брату считать; карандаш пишет пятизначные числа. Входит Элизabet, Лодевийк просит сварить кофе; карандаш пишет шестизначные числа.

— Помнишь, — говорит Лодевийк, — как учил покойный отец: если пошел дождик, деловой человек обязан рассматривать его по-деловому. Сейчас война.

Лодевийк встает, опускает голову, шепотом произносит имя Иисуса. Потом садится и подвигает ноги в шерстяных носках поближе к огню.

— Это не в нашей воле, как дождик, как шторм. Смотри сюда. Это премия за первый пароход, это — за второй, это — за третий. Складываем. Это — премия за грузы. Первая, вторая... Складываем. Кажется, я не ошибаюсь? Через неделю комиссар Вамберси составит аварийные акты. Еще через неделю мы предъявим страховые полисы. Еще через неделю... Налей мне кофе, Филипп...

— Мы, конечно, кое-что потеряем, — продолжает Лодевийк, отхлебнув из чашки, — но рассмотрим дело получше. Идет дождь, Филипп, идет дождь. Этого нельзя забывать. У нас очищается часть капитала — в виде страховых премий. На эти суммы мы можем приобрести пять пароходов. Правда, они все в доках и они негодны для коммерческих целей. Но англичане покупают сейчас всякие суда. Это не от нас зависит, Филипп. Им нужно. Ремонт требуется небольшой. Примерно такой, чтобы пароходы своим видом не шокировали акул и скатов. И не все ли равно немцам,

в какое днище они пустят мину — в хорошее или плохое?

Братья просят сварить еще кофе; они подкладывают в камин еловое полено; карандаш пишет, карандаш пишет в первый раз семизначные числа.

— Понимаешь? — говорит Лодевийк.

— Понимаю, — отвечает Филипп.

— А потом, когда дождь пройдет...

Лодевийк приподымает руку на плечо Филиппа.

— Брат. Я всегда считал, что фирма ван Россумов должна заниматься побольше лесом и поменьше транспортом. Мир стоит на лесе. А пароходы тонут не всегда так, как в этот раз.

Он привстает и добавляет:

— Помянем печальные души погибших моряков. Тягостная утрата.

Лодевийк и Филипп ван Россумы стоят, опустив головы...

Филипп отчетливо видит брата. Он чем-то напоминает отца, может быть голубыми бакенбардами, может быть вкрадчивой походкой. Он сильно постарел, Лодевийк, особенно после войны, за десять — двенадцать лет после войны, постарел и стал, пожалуй, немного ворчлив.

У Филиппа опять вздрагивают губы; он осматривается и берет шляпу: Виллем превосходно знает свое дело — уже Гарлем.

«Роза» бежит мимо серых массивов Сант-Баво-керк. В ее тени Янс Костер чугунно задумался над своим первым печатным оттиском. «Роза» ныряет в узкий переулок, катится под гору, останавливается на перекрестке в куче велосипедов, снова бежит. В конце Гроот Гейлихланд — приземистый, уныло длинный фасад музея Франса Гальса. Филипп выглядывает из окна. В прозрачной пустоте неба, над крышей музея, трепещет маленькое пуховое облачко. Филипп подергивает бровями: Лодевийк выгнал на утреннюю прогулку своих голубей.

«Роза» круто огибает угол. Над каналом покачивается и рвется позолоченная солнцем пелена испарений. Виллем дает тормоз. Стоп.

VI. НЕКОТОРЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЛОДЕВИЙКА ВАН РОССУМА

Филиппа встретила Элизабет. Поправив на голове кружевную наколку, она сказала:

— Вы все молодеете, Филипп. В этом ульстере вы чуть постарше сорока.

Он ответил, смеясь:

— Но мне действительно немного больше сорока, мэфрау: ведь еще не исполнилось шестидесяти.

— К гороховому тону не идет нарцисс. Пойдемте, я дам вам другой цветок.

Двор был весь засажен цветами. Они вползали на кирпичные стены, росли на грядках, газонах, в ящиках и горшках, прятались под приподнятыми рамами теплиц, раздробляя пространство на голубые, сиреневые, синие многоугольники и круги.

Посередине двора на раскрашенном столбе исполинским фонарем возвышалась голубятня. Лодевийк ван Россум, присев на корточки, держал обеими руками голубя и дул ему в живот. Пух разлетался и плавно ниспадал на голубых, как гиацинты, птиц, которые топтались вокруг кормушки. Распустив хвосты и свесив на грудь надутые пузыри зобов, голуби важно осматривали Филиппа.

— Не вовремя линияют, — сказал Лодевийк, подбрасывая в воздух птицу.

Он выпрямился, протянул брату руку и несколько секунд глядел на него точно голубь, важно распустив свои бакенбарды, голубые, как гиацинты. Потом он пригладил их и слегка сгорбился. Ничего нельзя было сделать: разница в десять лет обрекла его на сидение в отцовском доме.

Лодевийк покашлял, направляясь к крыльцу. Неверно! Ничто, кроме доброй воли, не понуждало его разводить цветы, нянчиться с голубями. Он любит этот дом. Когда отец был жив и дела держали Лодевийка в Амстердаме, поездка домой была для него праздником. Копаясь на этом дворе, выходя за эту калитку на улицу, принимая в этом доме купцов, Лодевийк ощущал жизнь. Она была огромной, потому

что дни сменялись бесчисленно, как прилив и отлив в океане. Она была величественной, потому что все в ней совершалось медленно, человек знал цену каждому своему шагу. Безумие суеты охватило людей после смерти отца и старшего брата. Электрический поезд, автомобиль, аэроплан. Кино размножает и развозит по всему свету похотливых обезьян, патефон поет сальные песни. Клиента не видишь в глаза месяцами, он предпочитает болтать по телефону: алло, кричит он, — и это все!..

— Алло! — крикнул Лодевийк. — Алло, Филипп! Проходи пока в контору!

Нет уж, спасибо! Лодевийк будет сидеть в своем доме, довольствоваться счастьем с Элизабет. Вот в этой конторе, за отцовским бюро он будет ожидать немногих старых, отцовских клиентов в старые, отцовские приемные часы. Будет слушать, как в передней старательно обтирает ноги старикан ван Гаттум, будет курить трубочку с капитаном Меесом, нанимать браковщиков и стивидоров. Все это прекрасно делается без воздушных дирижаблей и уж, конечно, без радио, черт его подери!

— Нет ли нового радио от капитана Дирка Янсе-на? — спросил Лодевийк, усаживаясь за бюро.

Пусть обходятся без Лодевийка; он еще не лишился рассудка, у него хватит самоуважения, чтобы вовремя устраниваться от дел. Он, впрочем, охотно даст совет, если к нему обратится Филипп, охотно потолкует о торговых новостях. Как-никак он остается по-прежнему владельцем фирмы ван Россумов: «Ван Россумы, старший и младший. Импорт леса. Океанский и морской транспорт». Из этой формулы не выкинешь словечка «старший». Что же касается руководства делами, то...

— Как подвигаются дела? — спросил Лодевийк.

— Нам следует обсудить кое-что, — сказал Филипп, — но не лучше ли после завтрака, чтобы не отвлекаться?

— О да, — ответил Лодевийк.

Меню было составлено по-русски: астраханская икра, беломорская семга, грибы на сковородке. Ло-

девийк встал; за ним поднялись Элизабет и Филипп. Наклонили головы. Лодевийк прочел молитву. «Аминь», — сказали все и развернули салфетки.

Прислуживала почтенная горничная в зееландском чепчике с двумя острыми спиральками из фольги, торчавшими наподобие рожков. На ней не было обуви: она беззвучно скользила по полу в плотных чулках, разрисованных желтой полоской.

— Будьте здоровы, — внушительно произнес Филипп по-русски и приподнял рюмку водки.

— Стороф! — гораздо менее чисто отозвался Лодевийк.

— Извините, мэфрау, — сказал Филипп, — но положение обязывает: вы так составили завтрак...

— Я знаю ваше пристрастие к русскому, Филипп. Этой темы больше не касались. Разговор был вообще немногословен. Когда убрали закуску, Лодевийк пожаловался, что «Роза» стала плохо держать краску: дерево бортов от времени переродилось. За жарким хозяйка вспомнила о своей Розе, белая голова которой начала странно буреть.

— Это только кажется, — успокоил Лодевийк.

— Может быть, у меня портится зрение? — предположила Элизабет. — Но она была раньше ослепительно белой, а теперь совсем потеряла блеск.

— Ну, хочешь — пригласим ветеринара?..

Чай немного оживил беседу. Элизабет справилась о дочерях Филиппа. Старшая была замужем за директором машиностроительного завода и жила в Силезии. Раз в год Филипп навещал ее, когда наступала пора охоты и можно было вместе с зятем пострелять по козулям.

— У них очень мило, — сказал Филипп, обращаясь больше к брату, чем к невестке. — За прошлый год МБВ еще платили акционерам довольно высоко.

— Ты не держишь их бумаг? — спросил Лодевийк.

— Нет. Трудно сохранить родственные отношения, если курс будет падать, — улыбнулся Филипп.

— Какие вести от Елены? Вы всегда так разумно поступаете, Филипп, — заметила Элизабет, — но на

этот раз... Совсем молодую девушку отпустить в такое путешествие!

— Я за нее спокоен. Она даже не догадывается, под какой охраной путешествует. Капитан — солидный человек. Лодевийк его знает. Маршрут заранее определен. К тому же вы знакомы с ее характером, мэфрау.

— Но, однако, — колония! — возразила Элизабет.

— У нас косное представление о колониях. Батавия — тот же Гарлем, уверяю вас. Только на улицах попадаются люди, одетые чересчур легко.

Элизабет отвела глаза в сторону.

— Мир вообще однообразен, — добавил Филипп, как будто извиняясь за это обстоятельство.

— Везде торгуют лесом, — убежденно сказал Лодевийк.

— Она уже в Батавии? — спросила Элизабет, подымаясь.

— Да. Было радио. Ее прекрасно встретили. Скоро можно ждать писем.

Горничная принесла на тарелке две булочки, посыпанные тмином, — ежедневный гостинец для Розы. Элизабет взяла их и покинула столовую.

Лодевийк подошел к часам. Они стояли, вправленные в высокий футляр красного дерева, почерневший от времени. Темный циферблат разделялся на секторы. В каждом из них по маленьким дискам ползли или прыгали стрелки. Часы показывали четверти луны, часы обозначали числа месяца, часы отсчитывали секунды: жизнь шествовала вымеренная, взвешенная, — нельзя было ни в чем ошибиться.

Филипп смотрел, как брат придвинул к часам скамейку, открыл дверцу футляра, снял с гвоздика ключ. Завод трещал, пружина певуче вторила ему. Два этих звука с детства помнил Филипп. Точно так же отец забирался на скамейку, доставал ключ, точно так же пружина пела сталью баритона, и так же происходило это раз в месяц, двадцать пятого числа.

Последовательно, неторопливо все возвратилось на свое место: ключ, дверца футляра, скамейка. Лодевийк отправился менять костюм.

В кабинете было тихо, полутемно. Братья сидели неподвижно. Из кресел виднелись их головы, плечи и локти, водруженные высоко на подлокотники.

— Три пункта, — сказал Филипп: — концессия, новый договор, Эльдеринг Гейзер.

— Юстус Эльдеринг-Гейзер? — недовольно спросил Лодевийк.

— Да. Я очень жалею, что не привез с собою последних писем Франса. Положение становится угрожающим. Я беспокоюсь за концессию.

— Я никогда не верил в эту концессию. Не в духе русских держать слово.

— Не в духе большевиков, а не русских, — поправил Филипп.

— Большевики — это послевоенный псевдоним русских. Русские отказались платить долги, а для того, чтобы убедить нас, что это не от них зависит, они назвались большевиками. Это все равно что я, обанкротясь, назову свою фирму по-новому и буду говорить, что не платит новая фирма, а вовсе не ван Россум.

Филипп уклончиво возразил:

— Большевики не платят только старых долгов.

— Долгов не бывает ни старых, ни новых. Долги бывают срочные на такое-то число.

Лодевийк раздражался. Он даже постучал пальцами по креслу, когда произносил: «срочные на такое-то число».

— У них опять переворот, — сказал Филипп, будто не замечая недовольства брата. — Франсу становится трудно работать. Он теряет выдержку. Письма его очень нервны.

— От долгого соприкосновения с большевиками у Франса искривились деловые перспективы.

— Уклон, — сказал Филипп по-русски,

— Что это?

— Модный термин большевиков. Крен на один борт.

Филипп вытянул руку и немного повернул ее вбок,

— Когда Франс был последний раз здесь, — пробормотал Лодевийк, — я заметил, как у него изменились вкусы. Это не обещает ничего хорошего.

— Вкусы?

— Ему было скучно с нами.

— Он молод.

— Да... Что же он пишет?

— У него такое впечатление, что большевики сознательно ведут дело к концу. В общем, все то же: страховые взносы, ставки, профессиональный союз. Время идет, мы вкладываем капиталы, но... возвратим ли мы их?

— Тебе нужно поехать туда.

— Я такого же мнения. Франс пишет — необходимы новые методы. Я думаю... может быть, изыскания в отдаленных районах...

— Изыскания?

— Да. Нечто подобное. Это может заинтересовать Советы как новая форма.

— *Твои* Советы!

Лодевийк потрянул головой: он отлично все понимал, он не мог обмануться. Он разъяснил твердо:

— Советам нужны наши деньги.

Филипп улыбнулся.

— *Мои* Советы... Ты хорошо настроен, Лодевийк... Нам следует обдумать. Скажем так: изыскания новых разработок в малодоступных местностях с правом эксплуатации известной доли освоенных участков. Что-нибудь в этом направлении... Чтобы это не было концессией в собственном смысле, то есть чтобы не называлось концессией. Это должно быть представлено так, что мы непосредственно помогаем народному хозяйству России.

— Советов, — поправил Лодевийк.

Филипп опять улыбнулся.

— Советов. *Мои*х Советов.

— Тебе следует поехать туда.

— Поставим эту поездку в зависимость от событий. Есть расчет ее отложить: экспорт будет расти, капитал может понадобиться русским значительно раньше, чем они полагают.

Лодевийк вдруг повысил голос:

— А что угодно от нас Юстусу Эльдеринг-Гейзеру? Чего изволит пожелать Юстус Эльдеринг-Гейзер?

— Я хотел спросить об этом тебя. Как ты думаешь, что означает его приглашение?

— Он пригласил тебя! Он пригласил тебя, эта жаба!

Лодевийк ван Россум, подняв локти, выкарабкивался из глубокого кресла, точно из ванны.

— Он пригласил тебя, эта жаба! Что может хотеть жаба? Жаба хочет мух!

Он одергивал свой коротенький пиджачок и сучил рукава, выпрямляя плечи, словно перед боксом.

— Напрасно ты волнуешься, Лодевийк. Вопрос такта: отклонить невыгодные предложения, принять выгодные.

— Выгода! — воскликнул Лодевийк с таким негодованием, что Филипп раскрыл рот: можно было подумать, что этому человеку омерзительно слово «выгода».

— Он опять будет лезть со своим мазутом или парафином! До тех пор, пока я жив, фирма ван Россумов будет иметь дело только с лесом!

Лодевийк распустил свои голубые бакенбарды: он был почти вне себя. Филипп сказал в тоне благоразумия:

— Мы даем тоннаж под разный товар.

— Тем хуже!

Это был уже старческий крик. Филипп приподнял голову: неужели Лодевийк разучился управлять собою? Нет, он последний раз одернул пиджачок, взялся за проглаженные складочки брюк, опустил в кресло, как в ванну.

— Лес имеет запах, лес пахнет. Всякий другой товар смердит, — сказал он обиженно.

— Ты же ходишь на нефти.

— Хожу на нефти. Если почтенная техника открывает еще какую-нибудь гадость, я буду ходить на этой гадости. Так устроен мир. Но у меня болит голова от нефтяного дыма. Мне жалко смотреть, как эта зловонная жижа заливает наши пароходы. Если

было бы можно, я ходил бы на опилках. Опилки горят благородным огнем.

— Если было бы можно, ты летал бы на голубях, — сказал Филипп.

Это понравилось Лодевийку. Голубоватые веки спокойно прикрыли его глаза. Потом он взглянул на камин с таким движением, как будто, несмотря на летний день, хотел растопить его. Целомудрию камин ни разу не угрожали ни антрацит, ни брикеты: камин знал только русскую сосну, русскую ель. Лодевийк чувствовал его благодарным союзником.

— Я очень рад, что мы сходимся во мнениях, — проговорил Филипп, хотя было совершенно неясно, касалось ли это мнений о голубях, об опилках или об Эльдеринг-Гейзере. Надо было кончать.

— Я хотел сказать тебе о новом договоре. Чтобы положить конец арбитражам с русскими, мы детализовали текст договора. У нас будут теперь совершенно точные основания для рекламаций по качеству. Я прочту тебе, для примера, некоторые пункты... гм... нового договора на поставку двадцати тысяч ркс чисто окоренных еловых балансов с отгрузкой из Ленинграда сиф Роттердам... Ты не устал?

— Нет, продолжай... сиф Роттердам... — тихо сказал Лодевийк.

— Сиф Роттердам. Ну, например... такая подробность...

Филипп достал из кармана бумажник, раскрыл его, бесшумно развернул сложенный вчетверо тонкий, как шелковый платочек, лист бумаги.

— Гм... Балансы, поврежденные красной и белой гнилью, исключаются из поставки, тогда как поверхностная краснина, как следствие действия танидов, так же как и поверхностная, полосами и пятнами выступающая и частично проникающая в заболонь синь и поверхностное, не проникающее внутрь, побурение допускаются...

Филипп поглядел на брата. Видны были только неподвижные локти и розоватые, пухлые кисти рук, да ровная прядь седины Лодевийка белым пером улеглась на кожаной спинке кресла.

Филипп не спеша сложил бумагу, встал, поправил костюм. Он прошелся по комнате, строго оглядывая ее, остановился у камина. Как в детстве, он машинально пересчитал кафели. Их было тридцать шесть: двенадцать желтых птичек, двенадцать зеленых корабликов, двенадцать синих мельниц. Три гладких, блестящих ряда чередующихся изображений призрачно жили своей жизнью. Нет, эта жизнь была реальна, была упряма, была прочна! И Франс, пожалуй, прав: эта жизнь была почти невыносима!

Филипп уперся ладонями в камин, точно проверяя его стойкость.

На улице почтительно пробасила автомобильная сирена. Лодевийк встрепенулся, спросил:

— Ты кончил?

Поднявшись, протирая глаза, он подошел к Филиппу и с чувством пожал ему руку:

— Я с тобой совершенно согласен!

VII. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

В его ушах еще возникали отголоски полуденного концерта на колокольне гарлемской Сант-Баво-керк, когда столица замедлила движение «Розы». Филипп ван Россум обнаружил насыщенную гармоническую связь между пением колоколов и зрелищем, которое открылось за окном автомобиля. Колокола возносили благодарную славу предвечному небу. Их голоса от времени становились чище и проникновенней. Медь и серебро, сплавленные иждивением гарлемских граждан, воплощали мечту об ангельском совершенстве земного существования. Столица была застывшим концертом колоколов Сант-Баво-керк, столица была воплощением совершенства небесного бытия.

«Положим, — мог подумать Филипп, — это слишком». «Это слишком», — мог подумать Филипп.

Ибо полагается считать, что совершенства на земле нет, тем менее — ангельского совершенства. Но

счастье переполняло столицу — в этом Филипп ван Россум не сомневался. Ему было жалко людей, которые не знали, что такое Гаага — блаженная, как звон колоколов, исполненная довольства столицы, s'Gravenhage — ограда князей мира сего, ограда наслаждений, город счастья, даже почти уже не город, а произведение, создание фортуны, музей благоденствий!

Музей! Филипп ван Россум мог быть доволен: ему пришло на ум удачное слово — музей. Филипп ван Россум двигался с баюкающей плавностью по музею. Из галереи в галерею, из зала в зал. По галереям, как по улицам, прохаживались рантье. Их вид не вызывал недоумения: то были знатоки искусств, ценители фасадов, развешанных умело вдоль галерей, как здания — вдоль улиц. По залам, как по площадям, клубились тихо толпы: здесь выставлены были, с четырех сторон, произведения величайших из великих. Сюда стекались чужеземцы. Музей чуть-чуть шумел; негромко, полушепотом толпа дивилась: чудо-галереи! чудо-залы! Рантье переступали осторожно из галереи в зал. Рантье перед лицом фасадов раскланивались чинно, учтиво пожимали руки холодным меценатам, хранителям, опекунам музея.

— Какая странная мысль! — пробормотал ван Россум и переменил позу.

Справа от себя он увидел перегонявших автомобиль велосипедистов. Ехали два школьника, не держась за рули, облупливая бананы и пряча мягкую кожуру за пазуху. Ехал благостный, довольно упитанный патер, в черном котелке и сверкающих очках. Ехала уборщица мусора с корзиной за спиной и метелкой под мышкой. Пожалуй, не ехал, а как бы перемещался в пространстве упругий корпус полисмена, заверченный колониальным пробковым шлемом.

Приближались к перекрестку. Виллем тормозил. Постовой полисмен дал сигнал — стоп! Велосипедисты стали. Должна была, по обычаю, образоваться сплошная цепь, звенья которой поддерживали друг

друга: каждый велосипедист опирался на своего соседа. Не слезая с седел, школьники обнялись, привычно отыскав устойчивость. Сравнявшись с ними, уборщица положила руку на плечо соседа-школьника. Его товарищ, не оглядываясь, протянул руку в воздух и коснулся опоры. Но опора тотчас ускользнула из-под руки: это было округлое плечо патера. Патер нуждался в поддержке. Он усердно вертел рулем. Он уже собирался ступить на землю и спустил с педалей ноги. Из-под черной рясы выскочили штиблеты с резиночками по бокам и красными ушками, торчавшими спереди и сзади. Ни секунды дольше патер не мог обойтись без опоры. Но школьники не замечали его. Они вытаскивали из-за пазухи кожуру бананов и швыряли ее за спину уборщицы, в корзину. Уборщица смеялась. Патер падал. Тогда на руль его велосипеда уверенно, но с почтением, легла рука в белой перчатке: это была рука полисмена, подъехавшего к патеру с другого бока. Патер поправил очки и приподнял котелок. Полисмен приложил палец к пробковому шлему.

Филипп ван Россум отвернулся влево.

Там на соседней машине сидел шофер. Спина его показалась Филиппу чудовищно развитой. Филипп хотел рассмотреть лицо шофера. Но улица двинулась вновь. Филипп перевел глаза на спину Виллема. Она была такой же громадной, как у чужого шофера, покатые лопатки проступали сквозь пиджак, под рукавами видна была неторопливая игра мышц.

«Занятно, куда он меня повезет?» — подумал Филипп.

Перед ним тут же открылась солнечная поверхность пруда с лебедями, и он заметил, как утихает бег «Розы»: Виллем поворачивал к Дому Маврикия. Филипп взял телефон.

— Нет, нет, Виллем. Мне надо в министерство иностранных дел.

Виллем снова выдержал испытание. За этим вопросом — куда он меня повезет? — скрывался другой, которого, может быть, вовсе не сознавал Филипп. Но

он был доволен, что Виллем помнит и уважает его привычки. Ему казалось, что этот человек с огромной покатою спиной воспринимает его точно так, как он воспринимал себя: Филипп ван Россум — отец Елены, чудесной, жизнерадостной девушки, обладатель недурных старинных картин, знаток России, этой курьезной и многообещающей страны, хороший охотник и стрелок... еще что?.. ну, скажем, член очень почтенной и приятной фамилии, наконец — любитель живописи, который каждый раз, останавливаясь в Гааге, посещает Дом Маврикия и проводит некоторое время в десятом или восьмом зале, созерцая Рембрандта.

«Роза» выбежала на Плейн, фасады министерств развернулись перед Филиппом, развешанные по сторонам площади, как Рембрандт — по стенам зала. Чужеземцы очарованно застывали перед фасадами. Счастье переполняло столицу.

В министерстве Филипп ван Россум передал свою визитную карточку. Его скоро пригласили в кабинет. Навстречу ему из-за стола поднялся худощавый чиновник в высоком глухом воротнике, накрахмаленном до твердости и глянца фарфора. Они поклонились друг другу — чиновник министерства иностранных дел и Филипп ван Россум.

— Я хочу просить вас о разрешении одному русскому...

Филипп ван Россум просунул руку под лацкан пиджака.

— ...одному русскому...

Он перелистывал блокнот.

— ...м-сье Рогову, м-сье Ивану Рогову, посетить Голландию.

Чиновник сделал не совсем понятное движение головой, точно собираясь вывинтить шею из воротника.

— Этот русский... — начал он и тут же остановился.

— Этот русский, — предупредительно сказал ван Россум, — желает познакомиться с Голландией, и я прошу разрешить ему въезд.

— Этот русский, мэнэр, принадлежит к тем русским, которые... — сказал чиновник и чуть-чуть вдвинул шею назад, в воротник.

— Это — обыкновенный русский!

— ...которые имеют постоянное местожительство... — продолжал чиновник.

— М-сье Рогов живет в Ленинграде.

— Да? — спросил чиновник и вывинтил шею из воротника. Она оказалась довольно длинной. Так, не вправляя назад шеи, он проскандировал торжественно: — Мэнэр, конечно, знает, что королевство Нидерландов не признало правительства, которое находится в настоящее время на территории Российской империи.

— Да, мэнэр. Но это не касается нашей темы.

— На основании этого правительство Нидерландов не может иметь сношений с лицами, проживающими на названной территории.

— Вам нет надобности, мэнэр, вступать в сношения с какими бы то ни было лицами. Я испрашиваю разрешения на въезд в Голландию известного мне м-сье Рогова.

— В силу уже сказанного правительство Нидерландов запретило въезд в свою страну всем лицам, обладающим документами, выданными властью, не признанной де-юре нашим правительством.

— Мэнэр, — внушительно произнес ван Россум, — я не собирался обсуждать вопросов о тех или иных мероприятиях правительства. Однако среди этих мероприятий нет таких, которые запрещали бы нидерландским подданным вести дела на территории, о которой вы изволили сказать. Я деловым образом связан с советскими учреждениями. В интересах дела я прошу разрешения на въезд м-сье Рогова. Мне не хотелось бы утруждать по такому ничтожному поводу господина министра.

Филипп ван Россум слегка нагнул, как будто собираясь встать. Чиновник медленно и кротко ввинтил свою шею в воротник.

— Вы желаете поручиться за названного вами русского?

— Да.

— Вам угодно сделать свое заявление в письменной форме?

— Да.

Вопрос был исчерпан. Они поднялись и раскланялись немного энергичнее, чем при встрече.

Филипп сбежал по лестнице, распахнул дверцу автомобиля, коротко приказал:

— Роттердам!

Деловой разговор был еще впереди, а он чувствовал себя утомленным. Весь путь он проехал с закрытыми глазами, в полудремоте.

Чтобы приободриться, он решил пройти по Роттердаму. Он слез на Хафплейне, около вокзала электрической дороги, и пошел вдоль виадука. У него оставалось четверть часа свободного времени. Он двигался сдержанно, как человек, умеющий хорошо обращаться со своим временем. Он надвинул шляпу потуже, проверил, застегнуты ли пуговицы ульстера, спрятал руки в карманы. С Мааса дул быстрый ветер, донося смешанные запахи гаваней, то прикрывая солнце клочьями облаков, то проворно расчищая небо. Поперечные узенькие улицы на минуту веселились от света, потом хмурились и пропадали в тени. Ветер бил Филиппу в лицо, ульстер плотно облегал его ноги: он шел не сгибаясь.

На перекрестке Хоог-страат уличное движение помешало ему. Но он уже отдохнул и был свеж и спокоен, как обычно.

Он расслышал позади себя чьи-то шаги. Почти вплотную за его спиной кто-то старался идти с ним в ногу. Вдруг он услышал тихий голос:

— Господин финансист! Не откажите помочь человеку, который остался без крова.

Филипп ван Россум шел не оглядываясь.

— Господин финансист! — раздался тот же голос. — Если вы иностранец, я могу повторить просьбу на чужом языке.

Филипп ван Россум не оглядывался. Его шаги совершенно слились с ловкими, приноровившимися шагами неожиданного спутника. Он услышал довольно верную английскую речь:

— Господин финансист! Помогите бедняку, который три дня не обедал.

Филипп ван Россум продолжал шагать.

Спутник громче и торопливей пробормотал по-немецки:

— Я не обманываю вас. У меня нет работы. Помогите человеку, который...

Филипп ван Россум внезапно остановился. Человек, шедший за ним по пятам, налетел на него и отскочил в сторону. Это был низкорослый, добротного сложенного мужчина, с желтой бородой, кантиком обегавшей вокруг плоского буроватого лица. Костюм на нем и приплюснутая фуражечка поблескивали, как у людей, которые имеют дело с маслом, керосином, смолой.

— На каком языке вы не говорите? — резко спросил Филипп.

— С голоду заговоришь на любом языке.

— Мне некогда шутить с вами. Вы ищете работу?

— Да.

— Вы — моряк?

— Да.

— Сколько лет вы плавали?

— Мне сейчас тридцать пять. Первый раз я ушел в море, когда мне было четырнадцать.

— Ваше имя?

— Брайвер.

— Хорошо. Приезжайте в Амстердам, в контору ван Россума. Вам дадут работу.

Филипп пошел дальше. Голос нагнал его:

— Однако, мэнэр...

Он снова круто остановился:

— Вы не знаете ван Россума?

— Я голландский матрос. Я могу по пальцам пересчитать пароходы ван Россума: «Кальберген», «Вилли», «Дордрехт», «Франс Гальс»...

— Прекрасно. Что же вам надо?

— Вы посылаете меня в Амстердам. Но если я пойду туда пешком...

Филипп расстегнул ульстер и пошарил в карманах пиджака. Они были пусты. Он расстегнул пиджак. В жилете тоже ничего не было.

— Может быть... чек? — осторожно подсказал Брайвер и слегка отстранился.

Филипп вспомнил о маленьком потайном кармане ульстера, вшитом в большой. Там оказалась монета. Он дал ее матросу и повернулся. Биржа была уже недалеко.

Брайвер кивнул ему вслед, потом разжал руку. На ладони сиял райксдаальдер. Брайвер поглядел себе под ноги, осмотрелся кругом и решительно зашагал через площадь, подымая правую ногу выше левой.

Он зашел в писчебумажный магазин и спросил:

— У вас есть записные книжки?

— Есть.

— А есть такие резиночки для записных книжек, такие круглые?

Указательным пальцем он описал в воздухе несколько кружочков.

— Есть.

— Дайте мне потолще.

Он выбрал из коробки красную резинку, сел на стул, заложил правую ногу на колено и потрогал подошву: она беспрепятственно отделялась от башмака дюйма на два. Брайвер сложил резинку вдвое и надел ее на носок башмака, прихватив подошву.

— Не слишком ли большая роскошь? — заметил торговец.

— Могу позволить себе, — отозвался Брайвер, встал и кинул на прилавок райксдаальдер.

Торговец пренебрежительно отсчитал сдачу. Брайвер собрал с прилавка серебро, — четыре полугульдена, четыре монетки по десять центов. Одну за другой он опустил их в брючный карман, словно в кружку, позвенел ими и вышел вон из лавки.

VIII. БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ В РОТТЕРДАМЕ

Биржевой день был в разгаре.

Первый — фондовый — отдел являл собою наглядное пособие по происхождению биржевых видов. Дарвин-социолог не выходил бы из этой лаборатории месяцами. Он копался бы в первичных признаках множества особей, наполнявших все поры двухсотлетнего неуклюжего здания. Он изучал бы галстуки, воротнички, обследовал бы строение и форму котелков, шляп и макинтошей, как ювелир — рассматривал бы в лупу камешки колец, булавок, как портной — ощупывал бы ворс одежды. По цвету галстука и по фасону воротничка новый Дарвин откопал бы человеческие классы, группы, семьи, породившие биржевые виды, по чистоте алмазов и нежности ворса установил бы место каждой особи в обширной и многотерпеливой вселенной. И будущий выученик нового Дарвина легко усвоил бы из популярной книжки классификацию биржевых видов.

Первым видом такой классификации был бы дельец, который движется подобно беспозвоночному, в настойчивых и трудноуспешных поисках добычи. За свой рабочий день он десять раз выползает из биржи на улицу и десять раз вползает назад, он обнюхает каждый закоулок и всякую шелку биржевых коридоров и переходов, он заглянет в хлебный отдел и потолкается во всех бюро торговой палаты, он прислушивается к сотне кратких, состоящих из междометий диалогов, и он уползет к себе домой, с болью волоча свое беспозвоночное тело, зажав в кармане десять гульденов добычи и уныло перетряхивая в мозгу курсы доходных акций. Особями этого вида полонено биржевое здание, шелестением их голосов, непрерывным шарканьем стертых подметок создается музыка биржи.

Второй вид дельца относится к более высокому зоологическому классу. Позвонки у этого биржевика не только образовались, но необыкновенно окрепли, почти окаменели, и остатки извести, выработанной организмом, пошли на внешний защитный панцирь.

Такой делец не движется, такой делец стоит. Глазами крокодила, сонливо и мутно, он озирает происходящее вокруг него столпотворение, и — может быть — в самый патетический момент, когда музыка биржи достигает громоклокочущей силы, когда рушатся одни денежные царства и возникают другие, совсем зажмурившись, он раскрывает пасть — и в ней оказывается десяток-другой беспозвоночных первого вида. Иногда дельцы второго вида стоят в фондовом зале одиноко, иногда они собираются в группы, образуя своими панцирями живописные, как бы коралловые острова, и острова омываются потоками простодушных беспозвоночных, и сотни особей этого вида тихо гибнут, обманутые коварной мимикрией твердопанцирных биржевиков.

И вот, встречающийся реже, третий вид. По рудиментарным признакам нетрудно установить его происхождение. У него еще есть ноги, но они ему не нужны. Эволюция развития биржевых видов привела его к тому, что он приобрел способность сидеть. И он сидит. Вдоль однотонных стен фондового зала тянутся скамьи, разделенные переборками на узенькие кабинки, открытые спереди, как кабинки для раздевания на морском пляже. На задней стене кабинки привинчены эмалированные вывесочки с обозначением звучных прозвищ тех особей третьего вида, которые приобрели способность сидеть и арендовали для этой цели кабинки: ван дер Аа, де Юнг, ван Дам, Схаапфельт и Схаффельт, ван дер Меер, де Веер и многие другие. Особь, сидящая в кабине, не нуждается в ногах. К ней подходят. Ей пожимают руку, ей кланяются, ей задают вопросы. Она отвечает:

— Сто восемьдесят два и пять десятых.

Или, например:

— Двести одиннадцать и два. Вчера двести десять и девять.

Ее благодарят, с ней соглашаются, с ней изредка и уважительно спорят. Она сидит не шевелясь, не замечая массового хода беспозвоночных, ни мутно пристальных испытующих глаз крокодилов. Она лишь медленно вращает взор, проникновенно останавливая

его на звеньях превосходного сооружения, расположенного в центре зала.

Там, в центре зала, наподобие парковой клумбы разбито кольцо полированных кабинок. Но они уже не похожи на кабинки морского курорта. Это скорѐе католические исповедальни, где место найдется и для духовного отца и для кающегося грешника. В них произросла и культивировалась биржевая особь четвертого, самого высокого и совершенного вида, предмет вожделений биржевых дельцов всех нисходящих ступеней развития и некий, почти духовный, образ золотого абсолюта. И подобно глаголу заповедных скрижалей звучат над исповедальнями надписи эмалированных вывесок: Эльдеринг, Юстус Эльдеринг-Гейзер, «Рояль-Дотч Шелл». Этот наивысший вид не только не нуждается в нижних конечностях, но предполагает иметь дело единственно с себе подобными и для них уготовил соседнее место в своей кабине — в этом деревянном форту, вынесенном далеко за пределы золотой крепости.

Биржевой день был в разгаре.

Круговращались жуки и черви, сплетали непрочные сети пауки, мошки отчаянно бились в тенетах, тарангулы то живо бегали, то замертво свертывались в комочек. Притворно дремали крокодилы. В деревянных отполированных логовах сидели плотоядные. Каждое создание этого Ноева ковчега судорожно ждало своего часа, чтобы исполнить закон, который привел его сюда — закон взаимного уничтожения.

Среди бойких разноустремленных струй толпы пролегалo русло мощного течения. Оно направлялось к дверям хлебной биржи, к дверям великого зернового базара.

Как стояла огромных конюшен, тянулись вдоль зала наличники товарных образцов. Зерно наполняло ящики, сыпалось на пол, точно золотой песок — взвешивалось на весах, лилось из конверта в конверт, из кармана в карман, пересчитывалось, хрустело на зубах маклеров, комиссионеров, клерков, клиентов продажи и купли. Пол был скользок от раздавленного

маиса, воздух — прян и душен, и солнце, проникавшее в зал, меркло в рыжей пыли зерновой шелухи.

Пыль оседала на шляпы и котелки. Шляпы и котелки съезжали на затылки. Взгляды устремлялись вверх. Потом люди табунами бежали к телефонным будкам. Через минуту возвращались к стойлам. Жевали, щупали, растирали в пальцах пшеницу. Опять подымали головы, смотрели вверх.

На балкончике, перед черной доской, пришитой к стене, стоял человек с наушниками. На верху доски, по горизонтали, значились имена городов:

Чикаго Лондон Гамбург

По вертикали чинно спускались обозначения товаров:

*пшеница
мис
мичель*

Человек с наушниками, словно по произволу, стирал с доски написанные мелом цифры и четко выводил другие:

**103
80**

Под его ногами бушевало озеро котелков и шляп, и точно испарения колыхалась над озером рыжая пыль. Вдруг он брался за губку, и на месте 103 появлялось 102, 98. Тогда под его ногами проносился шквал, озеро низвергалось на берега: котелки и шляпы бежали к телефонным будкам, и новость, пойманная из эфира наушниками, распространялась по медным проводам:

— Чикаго, пшеница — 102 запятая 98. Да, да, Чикаго! Да, да, 102 запятая 98 центов за бушель.

И пыль от зерновой шелухи еще гуще оседала на котелки и шляпы.

Биржевой день был в разгаре.

В фондовом зале, в кабине с надписью — «Юстус Эльдеринг-Гейзер» восседал старший клерк фирмы.

Герой самого неправдоподобного и самого виртуозного романа Диккенса — обольщенный надежда-

ми Пип, попав на лондонскую биржу, не мог понять, почему все купцы казались не в духе. Роттердамское купечество прочно сохраняло традицию знатнейших биржевиков мира, и клерки, маклера, брокеры не уступали ни в чем купечеству.

Старший клерк Эльдеринг-Гейзера восседал с таким видом, как будто каждую минуту мог ожидать вынесения смертного приговора своей фирме, Эльдеринг-Гейзеру, самому себе. Взор его застыл в направлении ко входу, зрачки разрослись, пот обметал верхнюю оттопыренную губу, неподвижность его достигла предела: он был уже не человеком, он был изваянием.

Вдруг он поднялся и пошел, как может пойти оживший бронзовый памятник. Перед ним расступились. Ему навстречу двигался Филипп ван Россум.

— Мэнэр, — проговорил клерк, и пот полился с его дрогнувшей губы в рот. — Мой шеф просил вас, в случае если вы прибудете несколько раньше двух, любезно подождать условленного часа. Мой шеф обещал быть ровно в два.

— Но сейчас ровно два, — возразил Филипп.

Новый приступ потения прохватил клерка: у него взмок и заблестел лоб, но тотчас он вынул платок и с удовольствием обтер лицо. Его миссия кончилась: толпа волнами раздвинулась у входа, и в зал вступил Эльдеринг-Гейзер. В этот миг башенные часы биржи начали петь свою песню, в которой заунывно-божественное причитанье смешивалось с чем-то грациозным и светским, вроде кокетливого козери для клавесин.

Эльдеринг-Гейзер и Филипп ван Россум поместились в кабине.

Гейзер был в два раза ниже Филиппа, ноги его чуть прикасались к полу. Даже сидя, он глядел на Филиппа, приподняв голову, и оттого в его взгляде мелькало что-то вроде страха. Но говорил он властно, угрожающе разевая и захлопывая длинный рот с загнутыми на щеки углами.

— Мне поручено сделать вам одно предложение, ван Россум.

Филипп наклонил голову.

— Рояль-Дотч приступает к постройке новых складов.

— Где именно?

— В Роттердаме, на территории новой Керосинной гавани. Мы предлагаем вам взять на себя поставку лесных материалов, в первую очередь — свай.

— Размер потребности?

— Мы сообщим вам подробности, как только вы согласитесь вступить в переговоры. Не помню точно, но, кажется, одних свай потребуется тысячи три.

— Роттердамских свай?

— Да, как будто это у вас так называется. Строительство будет грандиозным.

— Оно не так велико. На роттердамский почтамт пошло шесть тысяч свай.

— Да? — произнес Эльдеринг-Гейзер с полным безразличием. — Значит, вас это дело не интересует?

— Вовсе не значит, Эльдеринг-Гейзер. Я только сказал, что новое строительство Рояль-Дотч не столь грандиозно.

— Нам предлагают свои услуги несколько фирм.

— Фирмы, которые покупают лес у нас либо импортируют его через наше посредничество?

— Я знаю вашу роль и вашу репутацию на лесном рынке, ван Россум, — недовольно сказал Гейзер.

Он отклонился от Филиппа. Монументально застывший клерк подал ему узенькую полосу бумаги с колонкой цифр. Эльдеринг-Гейзер просмотрел цифры.

— О, — проговорил он так громко, что маленькие дельцы, стоявшие поодаль и с таким видом, будто они понятия не имели, кто сидит в кабине, настороженно дернули головами.

— О, Рояль-Дотч по-прежнему устойчив. Прекрасно.

Восклицание было адресовано в эфир и, как по радио, распространилось по бирже.

— Прекрасно! — повторил Гейзер и снова приблизился к Филиппу. — Итак, ван Россум, вы согласны вести переговоры о поставке?

— Согласен.

— Между прочим, в отношении качества... — начал Гейзер и тут же наглухо захлопнул свой рот.

— Это будет русский лес, — сказал Филипп.

— Русский лес, — вразумительно проговорил Гейзер; — именно русский лес...

— Именно русский лес.

Они повременили немного.

— По этому поводу я полагал сказать, ван Россум...

Гейзер скрестил руки. Молчаливо он продемонстрировал себя как полководец. Коня ему заменяла скамья драгоценной кабины, адъютанта — неподвижный клерк. Войска шумели перед ним в рассыпанном строе. Эфир славословил его гений: акции Рояль-Дотч Шелла были устойчивы, как прежде.

Гейзер разжал руки и дотронулся мизинцем до обшлага Филиппа.

— Я хотел бы поговорить с вами... дружески... душевно...

Эти слова он употреблял редко и должен был покопаться в памяти, прежде чем выговорить их.

— Я очень рад, — легко сказал Филипп.

— Вы ничего не имеете против завтрака?

— С большой охотой.

Они поднялись и вышли из биржи, оставляя позади себя надвое рассеченную их движением взволнованную толпу, как моторный бот оставляет за кормою бурлящий след.

В ресторане они разместились за круглым столом; лицом друг к другу. Сквозь невидимые резонаторы крадучись доплывала музыка дневного танцзала, помещавшегося внизу. Коротенький ловкий человек, с коричневым лицом и фиолетовыми руками, служил у стола.

Точно шахматисты перед началом матча, Эльдеринг-Гейзер и ван Россум сосредоточились на своих мыслях.

— Моя маленькая демонстрация с Рояль-Дотч все не была умышленной, — сказал Гейзер. — Положение треста вполне устойчиво, биржа только констатирует факт.

— Не сомневаюсь.

— Мы охватываем теперь половину всей нефтяной продукции Индонезии, причем голландские капиталы треста за последнее время возросли. Мы оттесняем англичан.

— Это очень приятно.

— Немцы обнаруживают повышенный интерес к нашему Борнео.

— Естественно.

— Интерес будет расти.

— Очевидно.

Они не смотрели друг на друга. Фиолетовые руки переставляли перед ними тарелки. Кушанья появлялись и исчезали. Вилки старательно исполняли свое дело. Все это было не то!

И вот, в какой-то момент, может быть предопределенный состоянием желудка, когда фиолетовые руки поднесли соусник со шпинатом, Юстус Эльдеринг-Гейзер, не отрывая глаз от стола, тихо проговорил:

— Мне передавали, что вам пришлось выкупить у России несколько пароходов товара.

Филипп ван Россум ответил так же тихо:

— Вы обнаруживаете недурное знание международных торговых обычаев: брокер всегда выкупает товар, если импортер отказывается его принять.

— Неужели? — изумился Гейзер и поднял глаза.

Это было очень картинно. Ван Россум улыбнулся.

— Но, во-первых, мы занимаемся не только брокеражем, а импортируем лес за свой риск. Во-вторых, за все время работы с Советской Россией у нас не было случая, чтобы импортер отказался принять товар. Русские корректно исполняют свои обязательства, а их товар остается по-прежнему первоклассным.

Гейзер торопился прожевать яйцо. Зеленые пузырьки шпината надувались и лопались на его губах. Он схватился за салфетку.

— Я ничего не говорю о Советской России! Я знаю, что вы восхищены ее правительством! Я слышал, что вы выступаете за признание большевиков! Я ничего не говорю по этому поводу!

Он сунул салфетку на колени и откашлялся.

— Но, дорогой ван Россум, я — член правления неизвестного вам банка, и я знаю, насколько интенсивно вы изволите кредитоваться под залог вашего первоклассного леса.

— Мы свободно находим покупателя, — возразил ван Россум. — Что же касается кредитов, то мы работаем не на эти средства... Смешно не кредитоваться, когда можно кредитоваться.

— Кого вы хотите обмануть? Смешно? Не смешно, а неизбежно, не-из-бежно — кредитоваться, если рынок перенасыщен товаром, если...

— Дорогой Эльдеринг-Гейзер, дискуссия основана на вашей плохой осведомленности.

— Дорогой ван Россум...

Гейзер наклонился над столом, задел обшлагом и уронил нож. Коричневый человек, как ассистент хирурга, бесшумно и быстро привел стол в порядок. Гейзер поправил рукава. Он приступал к операции и взялся за нож.

— Вы думаете, я хлопочу о вашем лесе? Вы забили страну советским лесом на три года вперед, и мне известно, что скоро у вас не будет ни цента свободных денег! Вы уже размещаете товар среди мелких потребителей, потому что крупные сыты доотвала, и скоро мировая фирма ван Россумов станет продавать доски в розницу, любому плотнику, и балансы — пшутчно, любому джентльмену на зубочистки!

Эльдеринг-Гейзер бросил нож, выхватил из бокала деревянную зубочистку, переломил ее пополам и кинул к себе на тарелку, в шпинат.

— Тогда вы сами приедете ко мне и скажете: Эльдеринг-Гейзер, берите наш лес по любой цене. Не в этом дело! Но следите ли вы за деловой конъюнктурой нашего времени? Знаете ли вы, что, например, в Германии полпроцента всего количества предприятий получают половину всего прироста капитала? Оценили ли вы это? Одна двухсотая часть предприятий и половина всего национального обогащения!

— То же самое происходит в Англии, — спокойно произнес Филипп.

— То же самое происходит в Америке! — угрожающе прошептал Гейзер и снова взялся за нож. — То же самое происходит во всем мире! Это неизбежно, поймите, ван Россум! Капиталы будут все больше и больше концентрироваться. И все, кто не потерял рассудка, понимают, что сплоченным капиталам других стран Голландия должна противопоставить свой собственный капитал, мощный, эластичный, объединенный одной волей во всех своих операционных действиях, финансовый, промышленный, торговый капитал!

Филипп коротко спросил:

— И для начала такого объединения капиталов вы рекомендуете мне приобрести акции Рояль-Дотч?

— Я рекомендую вам благоразумие, — властно, но слегка понизив голос, сказал Гейзер. — Я рекомендую вам обратиться к отечественным интересам, а значит, и к личным интересам вашей фирмы. Вы распыляете голландский капитал и тем обескровливаете себя. Вы отрываете национальные богатства от их почвы. Вы выбрасываете их в страну, которая враждебна нам и умело пользуется разногласиями, подобными тем, которые происходят вот сейчас, за этим столом, чтобы расстраивать европейский рынок, взрывать наши финансы и в конце концов повсюду насадить свою анархию! Вы выступаете за признание правительства этой страны! Вы...

Эльдеринг-Гейзер ткнул ножом в соусник и опрокинул его. Шпинат зеленой мшистой кучей выплыл на скатерть. Гейзер бросил нож.

— Весь мир борется с советским ввозом! А вы поощряете его своим безумием!

Он собирался выговорить еще какое-то слово. Но рот его так плотно захлопнулся, что, казалось, никогда больше не раскроется.

Он прищурил и потом вдруг вытаращил глаза. В них мерцали какие-то ледяные знаки. Д-е-м, — прочел Филипп в правом глазу, — п-и-н-г, — увидел он в левом.

Демпинг!

IX. ДЕМПИНГ

Эта маленькая история случилась в нижней Силезии, в расторопном и ласковом городке Герлице.

Правление акционерного общества МБВ постановило, ввиду трудности сбыта, сократить производство на своем основном машиностроительном заводе. План сокращения стал осуществляться очень поспешно и начался с увольнения рабочих. В число уволенных попал кочегар Рудольф Кваст, человек лет под сорок, довольно нелюдимый и скучноватого характера. Когда он с товарищами, получив расчет, вышел на улицу, один из спутников хлопнул его по плечу и сказал:

— Тебе еще хорошо.

— Почему? — спросил Кваст.

— Потому что у тебя нет ребятишек.

Ребятишек у него действительно не было. Но он был женат, и жена его не могла похвастать здоровьем.

Так как он с молодых лет возился в кочегарке, то его размышления о заработке все время упирались в уголь. В конце концов он придумал себе занятие.

Выручил его велосипед — единственное богатство, накопленное за последние годы работы: Рудольф Кваст стал разъезжать по городу с корзиной и железной лопатой за спиной. Когда он видел, что перед каким-нибудь домом сваливают уголь, он предлагал свои услуги. Если его нанимали, он скатывал уголь лопатой с тротуара в подвальное окно, наводил чистоту на дороге и подымал несколько корзин угля на второй, третий, а иногда и на шестой этаж. Домой он возвращался такой же грязный, какой приходил с завода, но сводить концы с концами было уже невозможно, потому что очень много Квастов ездило по городу на велосипедах с корзинами и лопатами за спиной.

Тут произошла беда, которой Рудольф Кваст постоянно побаивался: заболела и слегла жена. Кваст позвал врача. Врач выписал два рецепта и сказал Квасту, что надо было думать раньше. Кваст ответил, что он думал. Тогда врач сообщил, что пришлет счет в декабре, а гонорар по счетам принимается до первого января. Шел июль, и Рудольф Кваст, прикинув,

сколько остается до нового года, поблагодарил доктора и признал, что все возможное для жены было сделано. И правда, больше ничего нельзя было сделать. Она пролежала недели три, пометалась, пришла на минуту в сознание, сказала:

— Рудольф, извини меня, Рудольф, — и умерла.

Кваст остался один. Чтобы похоронить покойницу, он продал ее подушку, два стула и — самое главное — продал велосипед.

После этого в три дня он стал зарабатывать не больше, чем прежде, пользуясь велосипедом, добывал за день. Это было из рук вон.

Той порой в городе разыгралось событие, имевшее некоторое политическое значение, хотя по виду оно было невзрачно и, пожалуй, смешно. Одному купцу, который торговал молочными изделиями, посчастливилось выгодно приобрести на севере остатки партии масла и яиц. Купец развез товар по своим магазинам и принялся торговать. Но не успел он подсчитать первой выручки, как все городские масленщики забили всполох: купец продавал масло и яйца ниже рыночной цены! Дело легко можно было бы кончить миром, если бы вдруг какой-то умник не догадался о происхождении товара. Масла и яйца были объявлены продуктом советского бросового экспорта. И тут началось. Случай наверстать провинциальную отсталость от злобы дня подогрел страсти, разноречивые интересы забурили, газеты, как повара, взялись за испробование мешалки. Поднялся чад.

В городской комитет помощи безработным, которому покровительствовали дамы из почтенного общества, например — жены социал-демократических депутатов магистрата и даже кое-каких акционеров МБВ, в этот комитет поступило требование на рабочую силу. Нужно было пять человек мужчин или подростков для работы на роли полуденных фантастических теней, маячащих по городу с рекламами на плечах. Требование было подписано союзом маслоторговцев, с указанием на спешность, и комитет завербовал первых попавших под руку безработных. Среди них оказался

Рудольф Кваст, уже истерзанный нищетою и поникший, разве что годный носить по улицам рекламы.

В тот день дежурным членом комитета была фрау Мария Криг, урожденная ван Россум. Придя домой, она рассказала мужу о том, что комитет успешно развивает деятельность, что одних ходатайств о помощи поступило более четырех тысяч, что сегодня было отправлено на работу сорок девять человек, а двести безработных получили горячий завтрак, и что союз маслоторговцев устраивает демонстрацию против ввоза советских товаров. Последнее обстоятельство вызвало энергичное одобрение мужа. Герр директор Каспар Криг живо вспомнил неприятности в правлении МБВ по поводу неудачной попытки машиностроительного завода получить заказ от советского торгового представительства.

И так как герр директор не имел никаких торговых дел с Советским Союзом, то он был решительно против торговли с русскими.

— Мы добьемся своего, — сказал он и от возбуждения начал отыскивать глазами пепельницу, которая стояла у него перед носом.

На другое утро Рудольф Кваст получил в союзе маслоторговцев плакат на фанере, прибитой к палке. Молодой человек, с тремя разноцветными карандашами и автоматическим пером в кармане пиджака, распорядительно отвел Кваста на перекресток и велел стоять около магазина под вывеской «Молочная торговля». Вместе с плакатом Квасту была выдана холщовая лямка. Он надел ее через плечо, поднял плакат над головою, вправил палку в холст и приступил к работе. Исполнял он ее со всею серьезностью, потому что всегда относился к работе серьезно и потому что знал, что получит за свой труд две с половиной марки, другими словами — два дня будет почти сыт. Инструкция, полученная им при найме, была несложна. Он обязан был стоять у дверей магазина, держа плакат лицевой стороной к прохожим, неколебимо отражая возможные нападки публики молчанием и строгостью вида. Он обязан был изображать собою «нерушимую скалу воли», как объяснили ему в союзе маслоторговцев.

Два сытых или почти сытых дня предстояли его взору в виде картофельного салата и студня из воловьих козанков с требухой. И хотя его поташнивало от голода и в глазах, точно мясные крошки в студне, плавали розовые и желтые пятна, он добросовестно сжимал в пальцах древко плаката с оранжевыми буквами по белому полю:

**В ЭТОМ МАГАЗИНЕ ТОРГУЮТ
РУССКИМИ ПРОДУКТАМИ.
БОЙКОТ
СОВЕТСКИМ ТОВАРАМ!
НЕ ПОКУПАЙТЕ МАСЛА И ЯИЦ,
ОТНИТЫХ КОММУНИСТАМИ
У БЕДНЫХ РУССКИХ КРОШЕК!**

Прежде всего из лавки выбежал краснолицый торговец, в черных клеенчатых манжетах, с длинным ножом в одной руке и точильным бруском в другой. Он прочитал плакат, ширкнул лезвием ножа по бруску, подошел к Рудольфу Квасту и проговорил убежденно:

— Ах ты подлая собака!

Рудольф Кваст молчал.

Торговец вбежал назад в лавку. Тотчас вылетела оттуда баба в подоткнутом переднике, с засученными по локоть рукавами, и, закручивая головную повязку, прихватывая и засовывая под нее липкие от масла косицы волос, заорала:

— Эт-то что такое? Это почему ты здесь расположился? Это что ты тут раскорячился со своей дурацкой доской? Это кто тебе позволил загораживать дверь в лавку? Кто тебе сказал, что я — коммунистка? Ты сам коммунист, ты сам большевик! По-ли-ция!

Она визжала и топталась вокруг Кваста, стараясь привести в порядок свои косицы и все больше раскормачиваясь, наконец сорвала с себя повязку и, размахивая ею над головой, бросаясь назад в лавку — просто-волосая, — завопила:

— Добрые люди! Добрые люди! На-си-лие!

Рудольф Кваст молчал.

Толпа собралась перед лавкой — женщины с коселками, трое мальчишек на роликах, велосипедист,

не слезая с седла, уперся одной ногой в тротуар, двое рассыльных загадочно попыхивали трубочками. Женщины говорили все разом — против России, но за дешевое масло, за коммунистов, но против большевиков, в защиту свободы торговли и в защиту бедных русских крошек. Мальчишка подкатил на роликах вплотную к Квасту, прутиком пощекотал его за ухом, тотчас получил подзатыльник от какой-то барыни и с хохотом откатился назад. Тут поднялся внезапный ветер, столб пыли, крутясь, налетел на толпу, прохожие стали разбредаться, торговка выскочила на улицу и, трижды плюнув, ринулась опять в лавку, велосипедист, оттолкнувшись ногой от тротуара, неизвестно кому сказал: «Идиоты!» Перекресток опустел.

Рудольф Кваст зажмурился от пыли. Ветер бил прямо в плакат. Плакат был широк. Как парус, он тащил Кваста назад, к окну магазина. Кваст наклонился вперед, расставил шире ноги. С каждым рывком ветра он покачивался и грузно переступал с места на место. Но ветер скоро утих. Тяжелые капли дождя ударили по плакату. Все громче и дробней, точно тревожный сигнал перед цирковым смертным трюком, трещал барабан ливня. Белые пузыри плыли по тротуару. Звонели водостоки.

Рудольф Кваст не сходил с поста. Пятна перед его глазами из розовых становились красными, из желтых — зелеными. Скоро вода потекла с промокшей шляпы за шиворот. Он опустил голову на грудь. Тогда струя полилась на руки и лужей скопилась в холщовой лямке, у живота. Дождь так же быстро перестал, как начался. Но Кваст промок до нитки, рубаха прилипла к спине, ему стало зябко, он вдруг ощутил мерзкую дрожь колен.

В этот момент на пустынной улице появилась толпа. Дождь, видимо, разбил ее ряды, и она перестраивалась на ходу. По четыре в ряд выступали мрачно солидные, безмолвные люди. Сходство между ними было необыкновенно, как будто шел один человек, размноженный на сотню. Человек был одет в поношенный костюм, на месте галстука у него висел грязный платок, из-под шляпы торчали давно не стри-

женные пучки волос, лицо был мраморно-серо. Сотни других людей, выступавших с ним рядом и позади него, повторяли его костюм, его платок, его мраморно-серое лицо, словно отражение в зеркале.

Первый ряд, поравнявшись с Рудольфом Квастом, остановился. Толпа начала сгущаться. Как семена, сжимаемые в горсть, — смещались и заступали друг друга люди.

Мгновенно прихлопнулась дверь молочной, и четкая вывесочка закачалась позади дверного стекла: «Магазин закрыт». В окне, по одну сторону, из-за отодвинутой кружевной занавески показались красная щека и выпученный глаз торговца, по другую — женская голова в повязке и масляных косицах.

Ближние к Квасту люди внимательно и строго прочитали плакат. Невысокий пожилой человек шагнул вперед и серьезно сказал Квасту:

— У тебя такой вид, точно ты только что позавтракал в казино.

Рудольф Кваст молчал.

— Что ты там ел? Наверно, сосиски по-нюрнбергски? — спросил другой.

— Нет, — возразил третий, — он не любит сосисок, он любит ветчину с зеленым горошком.

Кваст молчал.

— Есть же на свете счастливы, — проговорил пожилой в раздумье. — Ты, наверно, угостился и винцом?

— Нет, — опять сказал третий, — он человек рабочий, он пьет пиво.

— Черное или пильзенское?

Кваст молчал.

Протискиваясь вперед, молодой, тонкоголосый парень вскрикнул:

— Бросьте, вы! Он сейчас упадет. Видите, у него посинели губы.

— Я его знаю, — сказал кто-то сзади, — он с нашего завода.

— Сколько тебе обещали за то, что ты тут стоишь? — резко спросил пожилой и взял Кваста за рукав.

Тогда Рудольф Кваст разжал губы.

— Две с половиной марки, — тихо сказал он.

— Смотри-ка! Ну, ладно, это мы устроим.

Он полез в карман, вынул сверток из салфетки с бахромой и в полинялых лиловых цветочках, аккуратно развернул салфетку и протянул Квасту ломоть хлеба.

Кваст плотно сжимал древко плаката.

Тогда пожилой мотнул головою соседу. Тот подошел ближе.

— Послушай, товарищ, — сказал он негромко, слегка наклонившись над плечом Кваста. — Мы тут, когда собирались за мостом, чтобы идти, так мы немножко подрались с рейсбанными. Понял? Ну, они были против нашей демонстрации, понял? Так вот в драке мы сломали одну палку у стяга. Твоя палка от этой твоей вывески нам как раз подходит. Для стяга, понял? Вот смотри.

Он положил большие, твердые руки на пальцы Кваста. Какую-то долю секунды длилась борьба между колебанием и решимостью. Потом пальцы Кваста были легко разжаты, и тотчас выскользнула вверх палка, и мигом плакат распластался на мокром тротуаре, обдав всех грязью брызг, и тут же наступили на плакат чьи-то ноги, и палка со свистом и скрипением была отодрана от фанеры. Длинная полоса материи языком огня метнулась перед глазами Кваста. Его кто-то взял под мышку. Потом он увидел у себя в руке кусок хлеба.

— Мы идем в центр, — сказал пожилой, — мы там встретимся с другими. Со всех сторон идут туда люди.

Он всмотрелся в лицо Кваста.

— Ешь, — сказал он твердо.

Дверь молочной лавки осторожно отворилась, нерешительно выглянула наружу баба в повязке, поглядела на затоптанный плакат, юркнула назад, в лавку. Потом вырос на пороге торговец. Заложив руки за спину, напыжившись, он оглядел толпу.

— Если я верно понимаю, — самоуважительно говорил он, — вы положили конец агитации, которая препятствовала нашей торговле.

— Вы понимаете совершенно верно, — тонкоголосо откликнулся молодой. — Но мы постановили наложить на вас контрибуцию!

Толпу колыхнуло веселым шумом. Его остановил величественный жест торговца. Как трибун, он поднял над головою правую руку.

— Один момент!

Затем он медленно извлек из-за спины другую руку. На ладони лежал брусок масла, завернутый в пергаментную бумагу.

— Это получит вот тот несчастный! — пасторским голосом произнес торговец, поднося масло Рудольфу Квасту, и едва не прослезился.

— Твой труд не пропал даром! — крикнул, смеясь, молодой.

Стяг был готов. Его расправили и подняли. Люди начали живо строиться. Над передним рядом по красному полю белели буквы:

МЫ ТРЕБУЕМ РАБОТЫ И ХЛЕБА!

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДАТЬ НАМ НИЧЕГО!

ТОГДА — УБИРАЙТЕСЬ!

В безмолвии, по четверо в ряд, толпа отправилась своею дорогой. В третьем, седьмом, а может быть, в тринадцатом или четвертом ряду шагал с толпою Рудольф Кваст, ничем не отличный от своих спутников, похожий на них, как отражение в зеркале...

Союз маслоторговцев отправил в комитет помощи безработным письменную претензию на то, что комитет рекомендует непроверенных и негодных людей. Газетные мошки с ликованием зазвенели перышками, обвиняя комитет в коварнейшей политике против государственно-важной кампании и намекая на советские симпатии некоторых руководителей комитета.

Фрау Мария Криг два дня спустя писала на почтовом листке с оборванными краями:

«Нет, в этом унылом, филистерском Герлице прямо можно умереть со скуки! У меня иссякла фантазия в поисках какого-нибудь приличного занятия. Я работаю в двух благотворительных обществах, между прочим — в комитете помощи безработным. У нас страшно много безработных! Но, ты знаешь, как мало

признателен этот народ. Он доставляет мне одни неприятности. От этого становится еще скучней. Ах, как я завидую нашей славной Елене! Счастливица! Такое чудесное путешествие к дикарям! Ты непременно устроишь мне такое же турне, правда; папа? Почтительно и с любовью целую тебя. Твоя М.».

На конверте с длинным острым клапаном и пестрой, как пасхальное яйцо, подкладкой был отпечатан типографской краской адрес: «Господину Филиппу ван Россуму. Амстердам. Принсен-грахт, 68».

Х. БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ ОКОНЧЕН

Фиолетовые руки проворно наводили порядок на столе. Скатерть с зеленой кучей шпината исчезла, свежие тарелки блеснули кольцами светящихся точек. Юстус Эльдеринг-Гейзер все еще сидел, захлопнув рот. Медленно таяли в его глазах ледяные знаки, взор тускнел.

Подали горячую воду для рук. Филипп ван Россум вынул часы и продолжительно поглядел на циферблат. К спарже он не притронулся. Ее обточенные желтоватые палки на секунду пропадали во рту Гейзера и тотчас пучком обсосанных белых локутов вытягивались сквозь оскаленные зубы наружу. Ван Россум нашел момент удобным для завершения спора.

— Вас раздражает то, что я выступаю за признание советского правительства. Не так ли, Эльдеринг-Гейзер? Но я считаю это логичным. Мы ведем дела с Россией, и в этом тоже есть своя логика. Мы могли бы вести дела лучше и обширней, если бы наши чиновники не были близоруки. Самый сильный довод против сотрудничества с Россией тот, что, торгуя с ней, мы поддерживаем систему, направленную против нас. Но этот довод основан на неверии в мощь и в систему Европы. Я знаю Россию и знаю Европу. Я убежден, что в России будет еще двадцать систем, потому что русские ничего не умеют делать до конца, а наша

система будет по-прежнему оправдывать себя и совершенствоваться. Я верю в Европу.

Филипп ван Россум отпил глоток воды и передохнул.

— Что же касается ваших предложений, — сказал он, довольный, что Гейзер не переставал заниматься спаржей, — то наши интересы расходятся не потому, что у нас разные взгляды на русский вопрос. Наоборот. Взгляды, и даже ошибочные взгляды, продиктованы нам нашими интересами. Рояль-Дотч расширяет нефтяные разработки на Борнео. Насколько я в курсе, Советы также расширяют разработку у себя в Баку.

Он приостановился. Исчезали последние палочки спаржи. Эльдеринг-Гейзер показывал свой широкий, желтоватый, как спаржа, оскал.

— Наша фирма в ином положении. Россия расширяет свои лесные разработки на своем севере. Мы готовы помочь России, потому что на голландских плантациях лес не растет, а мы потребляем его. И наконец еще одно обстоятельство, Эльдеринг-Гейзер. Покупатель нефти — весь мир. Непроданная Франции нефть продается Италии. Голландский лес не нужен никому, кроме Голландии. Роттердамские сваи, на которых вы будете строить свои склады, не годятся даже Амстердаму: они длинные. Никому в мире нет до этих свай никакого дела. Вот что отличает нашу работу от вашей. Вы предлагаете объединить капиталы, чтобы усилить свои позиции против России. Я ищу капитал, чтобы усилить свою позицию в России. У нас разные пути.

Эльдеринг-Гейзер поднял глаза на собеседника и внушительно помешкал. Потом он придвинул к себе горячую воду, неторопливо пополоскал в ней пальцы, со тщанием, поодиночке, вытер их салфеткой и снова молча поглядел на Филиппа. Он буквально омывал руки.

— Может быть, вы желаете что-нибудь выпить? — совершенно новым голосом спросил он.

— Мне надо спешить, — ответил Филипп и с признательностью наклонился.

Автомобили ждали их, когда они вышли из ресторана.

— Мне было очень приятно в вашем обществе, — сказал Гейзер.

Чуть-чуть задержав в своей руке пальцы ван Россума, он произнес загадочно:

— Конъюнктура будет развиваться против вас, ван Россум.

Филипп пристально оглядел его автомобиль.

— Какой приятный оттенок у вашего роллс-ройса, — сказал он.

Они одновременно захлопнули за собой дверцы. Передняя машина пошла прямо, задняя, описав поворот, покатилась в обратную сторону. На юг ехал голландский король нефти, Юстус Эльдеринг-Гейзер, на север — голландский король леса, Филипп ван Россум.

Он прибыл в Амстердам в начале шестого часа. Он был утомлен и решил просмотреть только спешные дела. Клерк говорил ему что-то, помогая раздеваться. Он почти ничего не слышал. Он пошел в уборную, намылил руки, долго мял в ладонях белую, густую, как масло, пену, потом выбрал одеколон, намочил им полотенце, растер лицо и голову, помахал на себя другим полотенцем, почистил ногти. Стоя перед зеркалом, он разглядывал прекрасно знакомые складки и одутловатости щек, длинноволосые брови. Потом заново перевязал галстук и вернулся в кабинет.

— Есть ли что-нибудь важное? — спросил он.

Клерк раскрыл бювар и повторил то, что уже докладывал шефу, помогая раздеваться.

— Хорошо, ступайте.

Филипп ван Россум поместился за столом и надел пенсне. Он взял телеграмму, лежавшую поверх бумаг, но читать ему не хотелось. Он поглядел за окно, поправил пенсне, вынул часы и сверил их с хронометром в кожаном футляре, который стоял рядом с календарем. Затем он вскрыл телеграмму.

«Для обеспечения дальнейшей работы с советскими учреждениями, которая временно может быть продуктивна только в форме брокеража, настойчиво прошу полномочий для аннулирования обязательств, связанных с концессионным договором и самого договора,

Настоящий момент наиболее выгоден для расторжения договора по обоюдному соглашению сторон. Промедление связано с ростом претензий к нам и эвентуальной потерей авторитета фирмы. Подробности с капитаном Баарсом. Привет. *Франс ван Россум*».

Филипп снял и бросил пенсне на стол. Спустя секунду оно опять очутилось на носу. Телеграмма была прочитана второй раз. Был дан продолжительный звонок. Но, когда в дверях появился клерк, Филипп круто повернул к нему голову и приказал:

— Потом!

Филипп разгладил телеграмму, посмотрел дату и часы подачи и приема, отметку конторы о времени доставки. Деша поступила в 14 часов 30 минут. В этот час он завтракал с Эльдеринг-Гейзером. Прощаясь, Эльдеринг-Гейзер сказал: конъюнктура будет развиваться против вас, ван Россум. Филипп взялся за телефонную трубку. Клерк предстал перед ним молча. Филипп молча глядел на него. На канале, под самым окном, просвистела сирена парового катера.

— Конъюнктура... — проговорил Филипп и, взглянув на окно, поморщился.

Клерк шагнул к окну, притворил полуоткрытую раму.

— Одно из двух, — сказал наконец Филипп, — либо мы договариваемся, либо нам диктуют.

В знак совершенного согласия и полной готовности клерк достал из кармана блокнот.

— В Ленинград, срочно, — продиктовал Филипп. — Необходимо продолжать работу на договорных основаниях стоп вопрос во всей полноте рассмотрим по прибытии капитана Баарса стоп по-прежнему полагаем отстаивать наряду с сохранением брокеража право самостоятельных разработок и самостоятельного экспорта.

С последним словом к Филиппу возвратилось спокойствие. Клерк понял, что может покинуть кабинет. Филипп уверенно взял с бювара вторую депешу. Это была пароходная радиограмма. Ее не вскрыли в контроле: она была адресована лично Филиппу ван Россуму.

«Радио парохода «Франс Гальс», via Калькутта, Аден, Порт-Саид, Марсель», — прочел Филипп. Это он назвал лучший пароход ван Россумов «Франсом Гальсом», хотя Лодевийк подтрунивал над этим именем, считая, что океан должен прославлять города, порты, мореплавателей и военачальников, а не художников и не артистов. Но Филипп гордился искусством своей родины и был счастлив, что происходит из одного города с великим живописцем.

Он прежде всего увидел последние два слова радиogramмы — «жду распоряжений» — и подпись капитана. Это удивило его, однако он сел удобнее, чтобы получше углубиться в содержание текста.

Почти в тот же момент он резко, точно от боли, выпрямился, потом вскочил, отбросив ногою кресло, поднес депешу ближе к лицу, вдруг скомкал ее в кулаке и застыл. Пенсне свалилось с его носа на бювар. Он туго зажмурил глаза, словно в них попала кислота. Рот его медленно раскрылся. Он стал какой-то беззвучно-кричащей кинематографической маской. Так прошла минута. Он тяжело поднял руку и провел ладонью по лицу, ото лба к подбородку. Пальцы, чуть дрожа, потрогали галстук. Он открыл глаза и расправил скомканную депешу.

«Мэйфрау Елена три дня назад внезапно заболела кишечным кровотечением. Немедленно приглашенные врачи не могли оказать помощи. Во время операции перитонита, следовавшего в результате прободения кишок, мэйфрау Елена скончалась сегодня в шесть часов пять минут. Врачебный консилиум констатировал осложнение скрытой формы брюшного тифа. Потрясенный скорбью, молю господ бога помочь вам в постигшем вас великом горе. Офицеры и команда «Франса Гальса» в трауре. Жду распоряжений».

Когда Филипп ван Россум почувствовал силы заново перечитать депешу, у него поперек лба вздулась кривым двузубцем синяя вена. Не глядя на стол, он принялся нащупывать на нем пенсне. Несколько раз пальцы его касались стекол, но как будто не ощущали

их, и опять и опять двигались по бумагам, бювару, по краю стола.

Тогда в кабинете снова появился клерк. Он постоял в нерешительности, мягко покашлял и произнес осторожно:

— Мэнэр, вас желает видеть один моряк.

Филипп ван Россум не слышал.

— Вас хочет видеть один человек, — погромче сказал клерк.

— Что? — спросил ван Россум, продолжая отыскивать пенсне.

— Вас желает видеть один моряк, который говорит, что вы приказали ему явиться к вам лично.

— Что?

— Моряк по фамилии Брайвер.

— Кто?

Клерк наклонил голову и замолк. Филипп ван Россум перестал ощупывать стол, но ничего не говорил.

— Он уверяет, — начал тихо клерк, — что вы велели ему приехать в Амстердам. Он будто бы встретился с вами сегодня в Роттердаме.

— В Роттердаме?

— Совершенно верно.

— Кто?

— Моряк по фамилии Брайвер.

Филипп ван Россум отступил от стола и поднял руку, зажав в кулаке радиогамму.

— Брайвер? — необыкновенно громко переспросил он.

Падая в кресло, красный, с багровым двузубцем жилы на лбу, он закричал не своим голосом:

— Гоните его вон!

XI. КОРОЛЬ

Автомобиль Юстуса Эльдеринг-Гейзера был, собственно, не автомобилем, а некоторым фундаментальным понятием современности, подобно имени какого-нибудь политического диктатора или международного рекордсмана. Это было нечто такое.. Словом, отде-

ланный на знаменитой фабрике и доставленный в Лондон роллс-ройс — ослепительное беззвучно мчащееся шестнадцатилиндровое чудовище — роллс-ройс Эльдеринг-Гейзера переполошил всю Европу. Его фотографировали со всех сторон как девятнадцатилетнюю кинозвезду, инженеры-конструкторы читали радиодоклады о его моторе, в автомобильной прессе о его внутренней отделке были напечатаны стихи. Когда Эльдеринг-Гейзер прибыл в Байрейт на вагнеровские празднества и поставил свой роллс-ройс рядом с двадцатью другими роллс-ройсами около театра, публика начала выходить из зала во время действия, чтобы взглянуть на роллс-ройс Эльдеринг-Гейзера, потому что Эльдеринг-Гейзер в любую минуту мог уехать из театра и из Байрейта, и из Баварии, и из Германии вообще, и даже — прочь с континента, а куда могли уехать Нибелунги или Зигфрид, или Лоэнгрин на своем лебеде? Тосканини со злости обломал дирижерскую палочку, но это нисколько не изменило дела, так как половина театра должна была видеть роллс-ройс Эльдеринг-Гейзера, чтобы потом каждый современный джентльмен мог сказать, что вот на вагнеровских празднествах, где дирижировал сам Артуро Тосканини, он — современный джентльмен — видел своими глазами роллс-ройс Эльдеринг-Гейзера.

Вот что такое был автомобиль Юстуса Эльдеринг-Гейзера. И владелец его не мог изредка не посидеть за рулем, особенно — въезжая в какую-нибудь приятную местность или в модную часть большого города.

Северный Брабант — приятная местность. Еще более приятная местность — Зееланд, и, может быть, самая приятная местность в мире — западный остров Зееланда — Вальхерен. Тут, в устье Шельды, лежат райские города, о которых знают только избалованные туристы, и тут лежит Флиссинген — курорт, в котором жизнь совершается точно на экране кинематографа: из неизвестности приходят корабли, плывут по Шельде, как по полотну, и в неизвестность уплывают. Тут начинали именовать Эльдеринг-Гейзера «сэром», потому что близка была Англия, где он действительно был сэром, и тут, в «Гранд-отель Брита-

нии», он почти переставал чувствовать свою родину — немного простоватую и без прикрас, деляческую Голландию.

И вот, въезжая в Брабант, Юстус Эльдеринг-Гейзер пожелал сесть за руль. Только что прошел дождь, воздух был нежно прохладен, всякий врач посоветовал бы в такой час заняться спортом. Роллс-ройс остановился посередине дороги, и Гейзер вышел на дорогу, чтобы пересесть на место шофера.

Тогда прокатился мимо какой-то встречный грузовой автомобильчик, потрескивая, позвякивая, погромыхая, твякнул, как-то по-бульдोजьи, измятым, охрипшим рожком — а-ы, а-ы-а, и обрызгал Эльдеринг-Гейзера грязью, — не слишком сильно, однако так, что два-три пятна появились на пальто и капелька попала в лицо, даже как будто — в глаз. И, протирая глаз платком, Гейзер поглядел вслед грузовику. На задней стенке дощатого короба увидел он — красным по желтому — знакомое слово из знакомых букв и знакомой прописью: *Шелл*.

Вряд ли это слово примирило его с грузовиком, но, кажется, он почувствовал облегчение, потому что молча стер с пальто грязь и так же молча сел за руль.

План Эльдеринг-Гейзера был обыкновенен: остановиться в «Гранд-отель Британии», переночевать; утром — прогуляться по дюнам, потом — экспресс Флиссинген — Гарвич; дела — не ранее как в Лондоне. Эльдеринг-Гейзер хотел отдохнуть.

Но уже утро расстроило план. Утром, проснувшись, Гейзер почувствовал: закрыт правый глаз. Закрыт он был плотно: распухшие веки нельзя было силой разжать, глаз только слезился.

Через четверть часа после того, как это обнаружилось, были заняты три линии междугородного телефона: говорили с соседней Бельгией — Антверпеном и Гентом — и говорили с Роттердамом. Антверпен оказался на высоте: специалист по глазным болезням, едва расслышав имя Эльдеринг-Гейзера, сел в автомобиль и выехал с инструментами во Флиссинген.

Он промыл Гейзеру глаз и сказал, что, по-видимому, воспаление неопасно, что надо заварить ромашку

и накладывать на глаз ромашковые компрессы и что переход через море в Гарвич надо отложить хотя бы на сутки, потому что трудно уберечься в море от простуды и потому что... Впрочем, этого глазник не сказал и даже не подумал. Он как-то упоительно почувствовал, что сделает Гейзеру еще один визит из Антверпена и вкатит ему в счет внушительную поломку автомобиля, ибо за ромашку много не возьмешь, немного же брать с Эльдеринг-Гейзера — просто комично.

Так случилось, что Юстус Эльдеринг-Гейзер остался на сутки во Флиссингене, в «Гранд-отель Британии». Медицинская сестра делала ему компрессы, а он одним глазом смотрел, как на взморье появляются и пропадают пароходы. Но он был слишком жизнелюбив, слишком подвижен, чтобы вынести эту пытку компрессами. Он томился в пяти своих пустых комнатах, которые постоянно занимал в «Британии». Ромашка теплой и горькой струйкой катилась по щеке в большой его рот. Он начинал ненавидеть сестру за то, что она вопрошала невозмутимо-сиделочным тоном: «еще не остыл?» — и потом так долго мочила компресс в кувшине с ромашкой, что глаз становился совсем холодным. Ей было важно, чтобы не остыл компресс и никакого дела не было до глаза Эльдеринг-Гейзера. В конце концов Гейзер про себя обозвал сестру блаженной душой, прогнал ее вон, сам начал делать компрессы, залился весь ромашкой, и тогда вдруг, словно что-то поняв, велел вызвать из Роттердама референта по ближневосточному рынку.

Референт прилетел в сопровождении стенографистки — такой голубоватой девушки, с тоненькими, как на мраморе, жилочками на висках, с прической бубикопф. Она была бледна, от бледности действительно голубовата, и у нее подергивались, дрожали пальцы, может быть потому, что ее укачало и потопило в аэроплане, может быть потому, что ей впервые предстояло увидеть Эльдеринг-Гейзера. Референт был похож на магистра каких-нибудь наук, то есть на человека, хотя и надевшего спортивный костюм с короткими штанами, но сохранившего кривые плечи — одно повыше другого — и нестройную походку человека,

который, кроме вскакивания в трамвай на ходу, никаким спортом не занимался.

Эльдеринг-Гейзер вышел из соседней комнаты в кабинет, куда провели прилетевших служащих Шелла, вышел в теплой пижаме, придерживая на глазу компресс и неся розовый кувшин с ромашковым отваром.

— Извините, — сказал он, неловко поглядев одним глазом сначала на референта, потом на девушку.

— Господа, — проговорил он так, как будто это относилось к «извините».

— Вы, вероятно, знаете, — показал он на компресс.

— Это неприятно, — произнес он, обмакивая компресс в кувшин.

— И наконец даже смешно! — раздраженно добавил он.

— Наоборот, — взволнованным баритоном сказал референт, — это только бесконечно печально, этот достойный сожаления случай. Может быть, сэру было бы удобней сделать перевязку?

— То есть как? — спросил Гейзер и почему-то вдруг с отчетливостью вспомнил число, которое с утра вертелось в голове — 95955.

— Я хочу сказать — завязать глаз было бы сэру удобнее, чтобы не утомляться.

— Доктор велел именно так — макать и прикладывать. Не давать остывать.

— Ах, доктор! — шепнул референт и потряс головой.

— Может быть, на время наших занятий, — сказал Гейзер.

— На время занятий, — повторил, не поняв, референт и замялся.

— Может быть, перевязать? — спросил Гейзер.

— Конечно! — облегченно ответил референт и, взглянув на стенографистку, сделал два шага к письменному столу, за которым с кувшином сидел Эльдеринг-Гейзер. Стенографистка сделала тоже два шага, но поменьше.

— Если бы, сэр, платок, — смущаясь, как барышня, произнес референт.

— В кармане, — сказал Гейзер и быстро повернулся в кресле, подставляя референту свой короткий бок в пижаме, расшитой пестрым шнуром.

Тогда референт задержал бровями, показывая стенографистке, что она должна подойти. В то же время он спросил:

— Если сэр позволит...

— Да, — разрешил Гейзер.

Он не мог понять, откуда взялось это число — 95955, все время мелькавшее в памяти, и сказал «пожалуйста» таким тоном, каким говорят «скажи пожалуйста!».

Стенографистка, поборов трепет, вынула из кармана пижамы платок, сложила его в полосу и принялась накладывать на голову Эльдеринг-Гейзера повязку.

Гейзер увидел перед собою руки девушки — обнаженные, белые, с голубоватыми жилками, убегавшими под короткий рукав, к плечам. Под мышками у нее было опрятно выбрито, локти показались Гейзеру нежно круглыми. Он почувствовал себя странно одиноким в этот момент, в этом уныло-огромном отеле, в этой глупейшей истории с глазом.

— Можно потуже, мэйфрау, — попросил он плаксиво.

Она опять на секунду показала ему синеватые подмышки — правую, затем левую. Пальцы ее дрожали, но она все делала точно и ловко.

Прогоняя от себя беса, Гейзер властно распахнул рот:

— Я хочу выслушать положения, с которыми концерн выступает перед правлением Ост-Бензина.

Он указал референту на кресло. Стенографистка в стороне разложила свои карандаши.

Баритон был убеждаючи вкрадчив. Он изложил:

— Точка зрения Шелла вытекает из самой необходимости добиться вхождения Ост-Бензина в концерн. Мы утверждаем таким образом, что наблюдающееся за последнее время падение акций Ост-Бензина является следствием повсеместного сокращения сбыта нетрестированных обществ. При этом прежде всего депрессия распространяется на общества с террито-

риально ограниченным рынком. Входя в концерн, Ост-Бензин получает дополнительные рынки и регулирует свои взаимоотношения с конкурирующими обществами при посредстве Шелла. Мы утверждаем далее...

— Надо дать почувствовать, что согласие Ост-Бензина Шелл ставит своей целью, — перебил Гейзер. — На какую сумму продано акций Ост-Бензина?

— Операции только что начаты, для сэра приготовлены данные, — сказал референт и, привстав, протянул Гейзеру лист бумаги, искрапленный цифрами.

По-птичьи — набок — повернув голову, Гейзер посмотрел цифры.

— Надо действовать оживленней. Не тот темп. За неделю до заседания продать весь остаток. Найти возможность приобретать Ост-Бензин помимо биржи и энергично ликвидировать на бирже. Но это не должно носить характера аферы, боже избави!

Гейзер приподнял глаз и закрыл его.

— О сэр!

— Затем?

— Затем Шелл утверждает, что намечающееся незначительное сокращение добычи на разработках некоторых входящих в концерн обществ вызвано вовсе не начавшимся кризисом сбыта, как стараются доказать противники Шелла, а твердым решением концерна не ухудшать положения нетрестированных обществ опасной для них конкуренцией.

— Э, — начал Гейзер.

И на секунду наступило безмолвие. Референт не дышал, Гейзер, раскрыв рот, позабыл его захлопнуть. Стенографистка переменяла карандаш. Гейзер сказал:

— Тут я внес бы ясность.

— Сэр! — вздохнул референт и с нажимом пробаритонил дальше: — Шелл решительно отвергает утверждение Ост-Бензина о связи концерна с советской нефтью.

— Неслыханно! — почти вскрикнул Гейзер.

— Неслыханно! — согласился референт. — В частности, именно Ост-Бензин должен быть деловым образом признателен Шеллу за приобретение последним в тактических целях советской...

— Нет, нет! — поморщился Гейзер. — Построение этого довода должно быть совершенно иным. Я хочу сказать: мы обязаны раскрыть перед Ост-Бензином истинный смысл позиции Шелла в этом... в этом вопросе. Факты.

— Одни факты, сэр.

— Что говорят факты? Несколько обществ, не имеющих никакого отношения к Шеллу, — не правда ли?

— Никакого, сэр.

— И даже враждебных ему — не правда ли?.. Во всяком случае это легко доказать, если господа из Ост-Бензина и тут пожелают иметь доказательства. Несколько враждебных Шеллу обществ из побуждений наживы приобретают так называемую советскую нефть. Сбыт этих обществ территориально совпадает со сбытом Ост-Бензина. Купленная по низким ценам нефть предназначается для давления на цены нефтепродуктов Ост-Бензина. Шелл справедливо видит в этом угрозу своей постоянной политике забот о нефтяном рынке...

Эльдериинг-Гейзер, остановившись и вздохнув, вдруг прикрикнул:

— Тем, что рынок нефтепродуктов является самым организованным в мире, мы обязаны...

Он начал шумно, торжественно выгибая грудь, набирать воздух. Референт воспользовался паузой и вставил, наклоняя голову:

— Вам, сэр.

Впрочем, он тут же показал стенографистке пальцем, чтобы она не портила записи вставкой.

— Рояль-Дотч Шеллу, — благоговейно выговорил Гейзер. — Естественно, что Шелл счел долгом предотвратить дезорганизацию рынка и устранить из оборота ту массу товара, которая давала несправедливое преимущество одной стороне в ущерб другой... Шелл, собственно, вовсе не *приобретал* так называемой советской нефти через посредство третьих обществ, а именно *устранил* с рынка товар, угрожавший Ост-Бензину. Ясно ли?

— Да, сэр.

Гейзер подумал: что должен ответить он на вопрос Ост-Бензина, — какую сумму заприходовал Шелл в результате заботливого *устранения* с рынка советской нефти, — но тут же, как все это утро, лишь только Гейзер принимался думать числами, в голове его возникла неизвестно откуда взявшаяся цифра 95955. Это было как с музыкой: откуда-то с улицы впорхнула в окно пустенькая мелодийка, и вот она держится в памяти целый день, целый вечер, и поет, поет в мозгу, и чем больше хочется, чтобы она отвязалась, тем назойливее кружат в ушах ее нотки: 95955, 95955. Странно мизерное число для чисел, которыми обычно оперировала голова Эльдеринг-Гейзера, и притом какого-то нарочито симметричного начертания, точно телефонный номер пожарного депо или полиции.

Гейзер встал. Как все люди маленького роста, он предпочитал сидеть, и когда стоял, легче и сильнее раздражался. Поэтому изредка он вставал нарочно.

— В целях поддержания цен на нормальной высоте Шелл сокращает добычу и производство отдельных обществ. В это время является продавец с анархически низкими ценами. Разум диктует не допускать его к свободной конкуренции, заранее исключить самую возможность становления его рыночным фактором. Вот в чем смысл операций с так называемой советской нефтью, за мнимую связь с которой на нас осмеливаются нападать. Не связь, а непримиримая война и недопущение на свободный рынок. Ост-Бензин должен это понять. Нами устраняется единственный конкурент, равно враждебный всем обществам. Но даже в том случае, если Ост-Бензин не пожелает объединиться в борьбе против этого враждебного конкурента...

Гейзер дотронулся до повязки — глаз давал себя знать.

— Для Шелла советская нефть все равно останется краденой нефтью.

Эльдеринг-Гейзер внушительно, как печать, приложил к столу ладонь и сел. Эльдеринг-Гейзер кончил.

Тогда, вспыхнув, затеребив на себе пиджак и даже слегка заикаясь, приступил к речи референт. От на-

пряжения у него начал двигаться скальп, подтягивая кверху брови и уши. Волосы на затылке ожили. Было видно, что дело касалось референта кровно, и если до сих пор он искал доводы в области логики, то теперь открывал все двери чувству.

— Если сэр позволит... Шелл не занимается скупкой краденого. Шелл стоит на высоте понимания интересов собственности. Шелл предлагает Ост-Бензину рассмотреть политику концерна под углом зрения права. Законные владельцы прикаспийских и кавказских разработок находят защиту своих поруганных революцией прав единственно у концерна. Операции с так называемой советской нефтью, вынужденность которых с таким блеском доказана сэром, имеют ту положительную ценность, что возмещают, хотя только в известной доле, потери законных собственников этой нефти и их наследников. Процент, выплачиваемый Шеллом русским владельцам нефти, мог бы быть выше, если бы...

— Позвольте, — засмеялся Гейзер, — позвольте.

Смех его был тих, почти неслышен. Маленький, яйцевидный, точно надутый бычий пузырь, живот вздрагивал под пижамой так, как будто жил отдельной от прочего тела жизнью. Рот обнаружил всю свою непомерную величину. Повязка поползла вверх на голову и вдруг скатилась вместе с компрессом на плечо. Кривой, большеротый, дерзко глядя одним глазом на своего партнера, быстро остывавшего под этим взглядом, Юстус Эльдеринг-Гейзер хохотал.

Две трети акций былых русских нефтяных обществ, купленные за медный алтын, давно вылеживались в нескораемых шкафах Гейзера, и остальную треть он подумывал скупить на парижской барахолке или там, где могут найтись этакie ценности, чтобы навсегда положить конец причитаньям и нытью многолетних попрошаек, или — как это у них называлось — правомерным претензиям законных собственников. Чтобы однажды, в хорошую минуту — вот как сейчас, — заложив руки за спину и смеясь, сказать им всем в лицо: «Смилуйтесь, господа, о какой собственности вы все еще толкуете? Эти шкафы набиты вашими

обязательствами. Если бы закон, о котором вы скулите, был восстановлен, то право собственности на ваши богатства, вместе со всеми вашими ножками и рожками, было бы признано за мною, за единственным обладателем вот этих шкафов с бумагами. Я, Юстус Эльдеринг-Гейзер, являюсь собственником русской нефти. И, если угодно, господа, — это меня ограбила советская власть, ха-ха, а вовсе не вас, и позвольте мне, господа, самому лучше знать, как я с советской властью рассчитаюсь. Вы тут ни при чем. И ваши бумаги мне нужны вовсе не затем, чтобы предъявлять иски к Советам, а лишь затем, чтобы развязаться с вами, господа, право. Я человек действия, и здравый ум не чужд мне, нет. Бумаги находятся в моих руках, а нефть — в руках Советов. Если она в результате моих операций потечет в цистерны Шелла, произойдет реализация существующего правового положения: добыча моих разработок будет поступать в мое распоряжение. Это уже не ваша нефть будет наполнять цистерны Шелла, нет, господа. Это будет моя нефть на моих складах. И это уже не будет краденая нефть, нет, господа, как же!.. Ведь тогда, собственно, не будет советской нефти, ибо я договорюсь с Советами о своей собственной нефти, да, да, господа! О собственной. Договорюсь, договорюсь...»

Эльдеринг-Гейзер хохотал. Словно стараясь привлечь к участию в веселье своих помощников, он покашивался на референта и на стенографистку. Но они сидели неживые, с улыбками парикмахерских манекенов.

Смех его утихал медленно, пока разговор с воображаемыми собственниками русской нефти не пришел к концу и он не разглядел как следует испуганного лица референта. Он подумал: «Отличный молодой человек, и уж не такой схоласт в юриспруденции...» И, успокоившись, сказал:

— Я буду присутствовать на заседании. Прения покажут, следует ли вновь коснуться нашей политики в отношении русских обществ. Всему миру известна гуманность этой политики. Я прошу вас составить меморандум на основе положений, которыми мы обме-

нялись здесь, и с тем, чтобы он мог быть обращен как к Ост-Бензину, так и ко всякому обществу, противопоставляющему себя Шеллу.

Крепко зажав в тонких пальцах карандаш и разглядывая его остро отточенный кончик, голубоватая барышня гадала, смеет ли она встать без приглашения Гейзера и предложить ему поправить повязку. Он сам, подождав, нехотя натянул на глаз платок.

— Запишите, — сказал он: — «Трест рекомендует своим членам не фрахтовать пароходов тех транспортных компаний, которые не являются держателями акций Шелла».

Он покосился на референта и добавил:

— Например — фирмы ван Россум. Зачем? Не понимаю. Существуют более дружеские Шеллу компании.

— Совершенно очевидно, — подтвердил референт и, так как Гейзер молчал, попробовал заговорить на светскую тему: — Сэр, вероятно, уж знает, что у ван Россумов траур?

— Да, да, — вздохнул Гейзер, — я видел объявления. Совсем молодая особа. И такая странная болезнь... Отлично, что вы напомнили.

Он повернулся.

— Телеграмма. Подадите сейчас, из отеля. Амстердам, господину... Ведь это, кажется, дочь Филиппа? — спросил он через плечо. И, получив ответ, убедительно продиктовал:

— «Амстердам, господину Филиппу ван Россуму. Глубоко сочувствую вам в постигшем вас по воле господя горе. Да будут ниспосланы вам душевные силы. *Юстус Эльдеринг-Гейзер*».

Он опять вздохнул. Как будто продолжая телеграмму, приподняв голову, он проговорил в пространство:

— Для складов в Керосинной гавани ван Россум предлагает советский лес. Зная нашу борьбу с нынешней русской торговлей, это по меньшей мере... Тут мы можем вполне солидаризоваться с законченно

деловой формулировкой американцев... Запишите: «Трест рекомендует своим членам не приобретать товаров, происхождение которых связано с применением подневольного труда». В скобках: «русские товары, продаваемые монополией Советов».

Он встал.

— Это можно для печати. Все, — сказал он, берясь за кувшин. — Вы приготовите бумаги и телеграмму здесь и дадите мне подписать.

Он шевельнул головой.

Первым пошел к двери референт, за ним — стенографистка. Эльдеринг-Гейзер поглядел ей вслед: ничего в ней не было, кроме круглых локтей и бритых подмышек. Лопатки угольниками торчали под платьем, бедра ровно, как по отвесу, сливались с очертанием плоских ног. Такая худоба была уже не в моде. Но желтое платье на ней было модно, подол ниже колен поперечной полосой хлопал по ее тонким икрам, когда она, по-девичьи семеня, торопилась выйти из комнаты. Эта желтая полоса стремительно что-то напомнила Гейзеру, он опять почувствовал боль в глазу — что-то там щипало, кололо, резало, господи, твоя воля, боль не хотела проходить! Не выпуская из рук кувшина, он обмакнул в него платок и тут же громко позвал:

— Мэйфрау. Момент.

Стенографистка была уже в дверях. Обернувшись, она увидела, как Гейзер бросил мокрый платок на стол и, подняв руку над головой, щелкнул пальцем.

— Запишите.

И она записала, держа блокнот на весу:

— «Шелл. Правление розницы, Роттердам. Предлагаю уволить от работы шофера автомобиля номер 95955...»

Гейзер подходил к ней, прикрыв одной рукой больной глаз, другую — заложив за спину. Он с ясностью, более сильной, чем в действительности, видел этот потрескивающий, погромыхивающий грузовичок и желтую доску, под которой отчетливо чернел номер и —

в овале — литеры NL — Нидерландов. Теперь он поймал эту распроклятую цифру и с радостью освобождал от нее свою голову навсегда.

— Номер девяносто пять девятьсот пятьдесят пять, — с удовольствием повторил он, подходя вплотную к стенографистке. — Уволить за... неосторожную езду!

Он стоял к ней совсем близко, касаясь ее локтя плечом, и вдруг так засмеялся, что ее бросило в холод.

ХИ. ПРИМЕЧАНИЯ ГОСПОДИНА АББАТА ДЕ ЛА ПОРТ

«...Голландия, сим образом учинясь всеобщим складом и безмерным магазином товаров света, сама оные перевозила в другие государства и стесняла их торговлю. Жители ее учинились и банкирами Европы и законодателями вексельного курса. Ни один народ не оказал еще толикого искусства, толикого тщания, толикой бережливости в мореходстве и торговле: и, что наиболее примечательно, сие тщание, сия бережливость соединилась в ней с роскошью, которую ввели богатства...»

В Ставангере Рогов простился с Норвегией. Кучки людей торопились на рынок, в гору, оттуда тащили связанных крабов, останавливаясь, чтобы передохнуть, опуская чудовищ на мостовую и безразлично поглядывая на их клешни и ноги, запутанные, как хворост. Деревянные сооружения порта лоснились от дождя. Камень берегов был холоден и мутен. Поднимаясь и падая, город отступал от парохода, поглощаемый севером.

На другое утро море улеглось. Млечно-опаловый простор его разгладился, и пароход скользил ровно, как конек — по чистому льду. Тут начинались большие дороги между континентом и британскими островами, и, если бы не огромность небосклона, можно было бы сказать, что на море стояла толчея судов.

Рогов насчитал их десяток. Курсы их встречались, перекрещивались или совпадали, трубы выбрасывали черные комья дыма, он редел и, отставая от пароходов, рыжими тесемками повисал в небе.

«...их Государство не может быть земною державою, потому что земля их едва произрастает чем прокормить четвертую часть жителей. Оно есть держава морская, которая родилась от торговли и меньше помышляет продавать свои собственные произрастения, нежели получать прибыль от произрастений других народов. В сем намерении Голландцы старались завести у себя первый рынок в Европе, и тем достали, сверх выгоды беспрестанной покупки и продажи, выгоду коммиссии, которая чрезвычайна, особливо в Амстердаме».

Немного отвлекало Рогова от книги. Глаз привык к легкой ясности воздуха и быстро улавливал несложные перемены на палубе и в море. Откуда-то сверху упал голубь, прочертил кривую вокруг парохода, исчез на секунду в тяжелом клубе сажи, уверенно вырвался из него и сел на верхушку мачты. Он расправил и сложил на спине крылья, наклонил набок голову и одним глазом принялся рассматривать пароход. Он отдыхал на мачте, удобно и спокойно, точно сидел на знакомой крыше. Потом поднялся вместе с дымом, отстал от парохода, снова появился над палубой и, круто повернув в сторону, улетел в море, на запад.

Рогов опять взялся за книгу. Он приобрел ее случайно, еще не думая о поездке в Голландию. В Копенгагене, в этом городе мировых антикваров и старьевщиков, его привлекал подвал с крошечными оконцами, в которых выставлены были золоченые рамки, позеленевшие монеты, книжные переплеты, источенные червем. Лавка была настолько театральна, что не заглянуть в нее было невозможно. И вот в углу, за рыцарскими доспехами, скорее бутафорского, чем исторического происхождения, Рогов натолкнулся на русскую книгу восемнадцатого века. Это был «девятыйнадесять» том изданного господином аббатом де ла

Порт «Всемирного путешественника, или Познания Старого и Нового Света, то есть: описания всех по сие время известных земель в четырех частях света». Полный титул сочинения занимал целую страницу, и, конечно, короче нельзя было сказать о предметах, которых касался многотомный «Путешественник». Любопытный и просвещенный господин аббат посетил Голландию в те времена, когда, преобразенная европейской политикой в республику, страна процветала под эгидою штатгальтеров из дома князей Оранских и графов Нассауских. Господин аббат восхищался как преимуществами республиканских вольностей, так и гражданскою доблестью князей и графов, говоря, впрочем, о статгудере, что «подобный начальник не далеко от Королевства».

Это было чудесное чтение, и теперь, приближаясь к Роттердаму, нельзя было вообразить себе что-нибудь своевременнее описаний воспетых нидерландских городов, или рассуждений об «Уроке анатомии» Рембрандта и голландском характере, или известий об Эразме, о торговле, философии, шинках и «всяких особенностях, примечания достойных».

«...Приведите себе на память удивление молодого Телемаха при виде древнего Тира, и тогда будете вы иметь образ представляющегося в Амстердаме.

...Все походит на непрерывный прилив и отлив; вдали виден лес мачт и судов, препятствующий обозреть воду, их поднимающую. Вообразите себе великолепное зрелище двух тысяч кораблей, заключенных или плывущих на одном месте; вообразите обширный город, созданный посреди вод: и тогда вы не будете еще иметь ясного понятия о всей красоте, производимой сим множеством судов, коих мачты, флаги и вымпелы представляют взору бесподобное зрелище.

...Входя в сей город, почтете вы его за общую столицу всех народов, потому что чужестранные купцы приезжают в него из всех частей света и потому что голландцы сами суть первейшие купцы всей земли».

Рогов ехал к первейшим купцам всей земли. Он представлял себе удивление молодого Телемаха при виде Тира. У него было такое состояние, будто он всю свою жизнь путешествовал. Вспоминая о Ганзе, он называл ее города вместе с аббатом де ла Порт «ансеевскими», точно обретался в восемнадцатом веке. Он говорил на языке этого века так же легко, как на языке своих современников. Однородная беспредельность пространства, окружавшего его, — вода, небо, свет — была очевидным, слепящим взор выражением другой такой же однородной беспредельности — времени. Нельзя было сказать: вон там начинается вода, вон там кончается свет. Рогов шел путем аббата де ла Порт, продолжал его путешествие, его познание Старого и Нового Света. И опять с живою силой он испытывал томительное и восторженное чувство бродяги, одурманенного простором моря. И он перечитывал строки, написанные лет двести назад, с таким волнением, будто писал сам неведомой корреспондентке, которую вечно искал, отыскивать которую шел сейчас на корабле «в общую столицу всех народов».

«...Обратите взор, Государыня моя, на историю торговли, вы в ней увидите те же перемены, как в Государствах. Вы найдете, что она занимала Азию, Европу, Африку, рождалась от тех же причин, возрастала теми же средствами, подвергалась тем же несчастиям.

...В Голландии, и особливо в Амстердаме, есть немалое число купцов, одаренных всем нужным для торговли просвещением, когда они сами на себя одну управляют или когда производят на счет чужестранных. Они получают заказы из всех частей света о покупке или продаже и в состоянии тотчас же оные исполнять. К сим знаниям присовокупляют великую честность, и дела вверившихся им отправляют с тою же рачительностью, как свои собственные; а ежели отличают их от своих, то только тем, что в чужих наблюдают еще больше точности.

...Когда в других землях купец не различался от самого подлого поденщика, здесь возвышался он на степень законодателя. Сильные Монархии сотворяли солдат, сие малое Государство привлекало купцов; и,

хотя страсть к прибытку вредила страсти ко славе, хотя народ сделался не столь военным, сколь торговым, Голландия тем паче учинилась трудолюбивейшею прочих».

Экономические размышления «Путешественника» сменялись истинно брабантской живописью обычаев, и тогда амстердамская биржа, или смирительный дом, славный сад господина Пинто, или трактир мадам Бужи, многоцветными миражами возникали над морем.

«...В сем превеликом стечении людей не может не случаться, чтоб не было и мошенников, кои обкрадывают добрых Голландцев. Руки часто здесь работают, — говорил мне один банкир, — но жребий больше падает на чужестранных. Пойманный мошенник берется тотчас под караул, выводят его из биржи, бросают в канал и корабельным крюком не допускают его вылезти из воды. Спустя некоторое время вытаскивают его, кладут на берегу, сушат ему платье палками и опять бросают в воду, повторяя сие до тех пор, пока придет комиссар, который освобождает преступника из рук черни и сажает его в тюрьму на сутки. Ежели случится, что он от побоев умрет, никто не взыскивает его смерти, дабы сей пример приводил в страх тех, кому вздумается идти тою же дорогой...

На бирже, как и в других людных местах, есть род людей, кои промышляют позволительнейшим способом. Они прохаживаются с двумя табакерками, имея в одной обыкновенной, а в другой Гишпанский табак. Купец, позабывший, может быть, и умышленно, по опасности мошенников, свою табакерку, к ним подходит, и они потчуют весьма учтиво своим табаком. При конце месяца дают им из благодарности Ескалень, то есть копеек пятнадцать, а в новый год также что-нибудь им дарят. Есть между ними такие, коим сей промысел приносит в год до пятисот рублей».

В смирительном доме аббат наблюдал «...непокорных людей, с коими родители не могут управиться. Сажает туда также злодеев на разные сроки, смотря

по их преступлениям. Заставляют их пилить и тереть Брезильское дерево и, ежели, несмотря на наказания, работать и исправляться не хотят, сажают их в погреб, который мало-помалу наполняется водой и в котором бы они потонули, ежели б воды не выливали насосом. По нужде должно тогда работать или погибнуть».

Найден был аббатом и приятель, который взялся сводить его в увеселительные места.

«...Повсюду видел я великие сборища, доказывающие чрезмерную в городе многолюдность. Каждой человек с своею бутылкою, трубкою и подругою пил пиво, ел сыр и масло, не говоря ни слова. Все происходит без шума, без крику даже до танцев, в которых, кажется, и скрипач и плясуны согласились дремать вместе. В сем не походят они на наших Прованских мужиков, кои любят столь вертеться».

Рогов охотно поделился бы с кем-нибудь чувством веселости, которое пришло за книгою господина аббата. И как постоянно, когда возникало такое желание, незаметно появилось другое чувство — раздраженности и недостатки. Нужен был не просто слушатель или искушенный собеседник: нужен был какой-то сообщник, разделяющий каждую мысль, существо, встречи с которым болезненно недоставало.

Рогов должен был увидеть веками измененную Голландию, собравшую профит со своего могущества, толково и упрямо берегущую свои старые сундуки.

Прибыток доставался теперь не только накоплением богатств, но и уничтожением их, и Голландия примерно научилась такому искусству растить барыши. Она топила в море, по пути из колоний, перец, умело портила на складах коринку, какао и кофе, надолго запрещала сбор каучука. Пряности, за обладание которыми, как из-за золота, столетиями велись войны, целыми урожаями шли ко дну. Не хуже других первейших купцов всего света рачители Голландии поддерживали свой престиж, ибо чем больше исче-

зало с лица земли товаров, тем меньше падали цены, и с каждым потопленным пароходом перца упрочивались курсы товарной биржи. Правда, добрых голландцев обкрадывали теперь не презренные карманники, которых можно было бы выкупать в канале и просушить палками: надо было бить по рукам прожорливых и властолюбивых, уже захвативших первенство на море и суше, и палки не годились против этих рук, — против этих рук годилось золото. И как ни старались сделать из голландца человека, позволительнейшим образом потчующего европейскую биржу гишпанским табаком, он отвергал такую роль: так в старину, он сам благосклонно угощался из чужих табакерок.

Все это можно было бы передать недостающему собеседнику, сообщнику мысли, способному вступить в какой-то, не очень ясный самому Рогову, заговор понимания, — передать вместе с веселостью, внушенной господином аббатом. Тогда невольно Рогов вспомнил уже приходивший в голову расчет: четыре недели до Батавии, четыре обратно; шел третий месяц с тех пор, как он увидел ее в Стальхейме; стало быть, скоро она могла вернуться в Европу. Черт знает за чем понадобился этот расчет!

Он встал, рывком засунул книгу в карман и пошел в кают-компанию.

Пассажиры сидели за столом. Пристойное место хозяина занимал капитан парохода. Как у младенца, розовели его пухлые щеки, — только что из-под бритвы, — золото нашивок на рукавах сверкающего и гладкого, как скатерть, кителя пышно пылало. Запахи одеколона, духов и мыла развевались по каюте: перед обедом пассажиры меняли туалеты, мужчины брились. За столом ароматы парфюмерии перемешивались с запахом буфета и кухни: подавали суп из спаржи с гренками, посыпанными сыром.

Когда исчезли горничные и буфетчик отодвинулся в сторонку, вошел радист с громкоговорителем в руках.

— Настроили? — поощрительно осведомился капитан и переложил гренки кончиками пальцев. Он слегка кокетничал белизною своих манжет и начищенными ноготками.

— Да, скипер, — ответил радист.

Он водрузил громкоговоритель на пианино и воткнул вилку провода в штепсель.

Органное гудение многотонно вдвинулось в каюту, заглушив собою рокот паровой машины и винтов. Хор человеческих голосов старался следовать за органом, но отставал, и его одноголосое созвучье, точно уносимое ветром, еще наполняло каюту, когда орган переходил на другой тон.

— Божественное, — произнесла дама справа от капитана.

— Да, мадам, — проговорил капитан, — воскресная месса, Лондон.

— Воскресная месса, — сказал пассажир с бритым затылком и опустил гренок в суп.

— Лондон, — немного погодя, добавил пассажир, с оранжевыми, как у плотвы, глазами, и тоже опустил гренок в суп.

— Воскресная месса, — сказала стриженная дама с приклеенными к вискам фитюльками из волос.

— Лондон? — удивленно спросила дама, начавшая отпускать косы.

Орган гудел, то подавляя хор, то уступая ему, и казалось, что это от органного гудения звякали стаканы, поставленные вокруг графинов с водой, и покачивались грушевидные кнопки звонков, спускавшиеся над столом. Точно на церковных скамьях восседали слушатели, молитвенно опустив глаза в тарелки и благоговейно поднося ко рту ложки с супом. Что-то алебастровое было в этих позах, как у размалеванных статуэток, рядом расставленных на базарной лотерее. Круглоголовый и грузный сосед Рогова, вытирая платком лысое темя, веско сказал буфетчику:

— Алло, мистер стюард! Бутылку содовой, полбутылки Нирштейна.

Тут смолк орган, пасторский баритон начал проповедь, и вошли горничные с жарким и соусами.

Рогов вдруг поднялся. Его сосед недовольно сопел, выпрастывая свой живот из-под стола. Почти все с недоумением посмотрели вслед человеку, неожиданно оборвавшему обед. Только младенчески-розовый ка-

питан понимающе улыбнулся: он хорошо знал пассажиров, их паспорта хранились у него в шкафу, рядом с судовым журналом и документами. Он чуть-чуть повернулся направо:

— У проповедника приятный голос, мадам.

— О да!..

До вечера Рогов не выходил из своей каюты. Когда он снова появился на палубе, огненно-оранжевый клуб солнца скатывался на запад, и на востоке сверкали два почти таких же, как солнце, жарких и огромных клубка не то отражений, не то каких-то заходящих планет. Рогов долго шурился на них, считая их появление игрой света, когда клубки вдруг померкли и над ними всплыл черный вал дыма. Это были лесовозы, державшие один курс с пароходом и шедшие друг за другом на трех- или четырехузловой дистанции. Пароход обогнал их. Желтые кубы леса высоко поднимались над корпусами лесовозов, он изредка загорался пылающими пятнами кадмия, каким горит свежий окоренный лес под огнем позднего солнца. Лесовозы плыли тяжело, и, если бы позади них не оставалось бесконечного следа работающих винтов и над ними — исчерна-рыжей ленты дыма, они были бы похожи на замысловатые волжские беляны, мирно подставляющие желто-оранжевые дощатые бока ветру и свету.

Мимо Рогова прошел кругленький пассажир — сосед по табльдоту — с биноклем на животе. Рогов попросил у него бинокль. Пассажир, вероятно, не помнил, что Рогов помешал ему за обедом: он незлобиво и медленно стянул ремень бинокля через голову, сняв раньше шляпу.

Сквозь стекла резко очертились корпуса лесовозов, палубный груз размежевался светящимися гранями высоко выложенных штабелей, и на кормах стали отчетливо видны короткие красные флаги.

Тогда, улыбаясь, Рогов вспомнил кудрявую тираду о государстве голландском: «Оно есть держава морская, которая родилась от торговли и меньше помышляет продавать свои собственные произрастения, нежели получать прибыль от произрастений других народов».

— Золотые ваши слова, господин аббат, — сказал Рогов, усаживаясь на скамью.

Он пробыл на палубе до темноты, пока не скрылись сигнальные огни лесовозов и не возникло мерцание первого на пути голландского маяка — Схевенингена. Скоро пароход вошел в устье Мааса и принял на борт роттердамского лоцмана.

XIII. ПОДДАННЫЙ

Однажды Рудольф Кваст закашлял и вдруг в пустой комнате расслышал чей-то чужой кашель, отзывавшийся хлопаньем и свистом. Ему стало не по себе, он вспомнил покойную жену — незадолго до смерти она пугала его таким кашлем. В волнении он шагнул к окну. Тогда позади него и где-то вверху, под потолком, и во всех углах раздались незнакомые шаги, как будто по комнате разгуливало множество пришельцев. Он осмотрелся. Но комната была пуста. Она была слишком пуста — ни занавеска на окне, ни постель на кровати, ни пиджак на вешалке, ни тряпка на пороге не поглощали шума. Звуки гуляли по комнате, как по чердаку, и комната отличалась от чердака только тем, что посредине ее висела, попискивая и мигая, лампа. Рудольф Кваст прилег на голую кровать.

Еще не очень давно его нельзя было отличить от сотен других людей, бродивших по берегу Нейссе около узеньких железных мостов. Потом прохожие стали в упор разглядывать его покрасневшую от солнца жилетку, его странно маленькую голову, насаженную на тонкую, как флагшток, шею. Он сам с безразличием подолгу разглядывал свои руки: ладони сделались светло-желтыми, стали различимы мелкие, как на смятой бумаге, морщинки, пальцы начали легко сгибаться.

Он болтался около лодочных пристаней, где раскрашенные, как улыбка, ялики давались напрокат серьезными, аккуратными владельцами. Изредка ему случалось помочь кому-нибудь вылезти из лодки.

Он получал на чай. Иной раз его нанимали грести. Он сидел в веслах, а на корме помещалась парочка, занятая собою. Он подгрребал к луговому берегу и оставался стеречь лодку, а парочка удалялась в зеленую, волновавшуюся от ветра чашу низкого тальника. Один раз он подкрался и сквозь кусты смотрел, как проводили время возлюбленные. Ему приглянулась девушка, одетая в праздничное белое платье с голубыми полосами. Лежа, она крепко сжимала глаза, — солнце лилось ей в лицо, — рот ее был сладко оскален. На ней были необычайно длинные, блестящие огнем шелка, чулки, покрывавшие всю ногу, как трико на цирковой наезднице. Он остался равнодушным. У них был с собою сверток в бумаге, — они засунули его под кормовое сиденье. Кваст побрел к лодке и прилег у самой воды, терпеливо ожидая любовников. Вернувшись, они велели ехать дальше, достали сверток и занялись вином и едою. Скоро они развеселились и опять захотели пристать к берегу. Бутылку из-под вина они закинули в воду, объедки лежали разбросанные на бумаге. Прижимаясь к своему другу, девушка исчезла с ним в тальнике. Кваст очутился наедине с остатками роскошного пира. Он отлично понимал все. Он знал, что, если он вытерпит и доставит счастливых назад, на пристань; у него будут деньги. Он купит на эти деньги в десять раз больше, чем измятые, поломанные куски булки с сыром и надкушенный кекс. Он придет потом опять на пристань и будет ждать, когда его наймет другая счастливая парочка. Это может случиться на другой день или через день, может случиться через неделю. Но на пристани, около лодок, сердце тайло какое-то подобие надежды. Если же он не вытерпит... Он все понимал отлично! Он с ненавистью плюнул на надежды, на лодочную пристань, на счастливых. У него дрожали колени, он упал, перебираясь на корму лодки. И он проглотил, как пес, булку, намазанную маслом, сладко пахнущую от приклеившегося сыра, и надкушенный кекс. Его тут же стошнило, в воду. Он вылез из лодки, качаясь, с ледяным потом на лбу и губах, и пошел вдоль берега в город, съездившись, не подымая глаз, как вор. Больше он не показывался на пристанях.

Однажды к нему подошел потертый и выцветший человек. Они сидели на берегу Нейссе. Вода всегда и во всем мире тянет к себе людей, которым нечего делать. Они сидели часа два и почти все время молчали. Но, не глядя друг на друга, они отлично познакомились. Тогда Кваст узнал, что по субботам есть возможность заработать порцию картофельного салата и кружку пива. Новый знакомец назвал работу «живым примером» и заметил, что главное — не смущаться. С тех пор Кваст два раза побывал в пивной, неподалеку от вокзальной площади, и действительно оба раза ел салат и пил пиво.

Сегодня была суббота, и Рудольф Кваст опять мог идти в пивную. Он встал с кровати. Вечер успел затемнить комнату, она уже не казалась чердаком. Кваст уделил ей несколько взглядов, как человеку, с которым после совместной жизни приходится навсегда расстаться: он обязан был освободить комнату через день. Два раза оставалось ему переночевать под крышей, потом его ожидало гостеприимное, любезное всем чetyрем ветрам, небо.

В пивную он шел без робости, уверенным шагом работника, призванного к делу. Все, что он там встретил, показалось ему знакомо. За стойкой перемещались руки хозяйки, испещренные по локоть веснушками. Веснушки украшали переносицу и голубым гнездом вились на лбу, перед прямым пробором рыжих волос. Две толстых косы были положены венчиком вокруг головы, словно перенесенной из прошлого, смирного века.

Нынешний век разгуливал по пивной: белотелая Фрида, с черным ворохом стриженных завитых волос и выбритой синей шеей, по-баварски горячо и весело смотрела на мужчин. Как хищник, из-под облаков примечаящий полет десятка ничтожных пернатых, она одним безошибочным взглядом пронзала полсотню пивных кружек, стоящих перед подбородками гостей. И стоило хотя бы одной кружке опорожниться, как, хищником из-под облаков, прилетала Фридина искусная рука — и кружка тотчас снова зажигалась янтар-

рем пива. Но госги тщательно размеривали и обдумывали каждый глоток, и Фриде не хватало дела.

Когда вошел в пивную Кваст, заседание было уже открыто и говорил толстый. Человек сорок сидело за столиками. Ленточки сигарного дыма подымались над полувыпитыми кружками. За большим круглым столом, в дальнем углу пивной, находились председатель и два-три новых знакомых Кваста. Посетители слушали толстого, одни — рассеянно, безразлично, другие — с участием.

Он говорил задыхаясь, едва поворачивая голову, зажав в ладони свою кружку, точно согревая остатки пива. Кваст быстро оценил положение: салат был уже съеден, только пустые тарелки стояли на круглом столе, пиво было выпито чуть ли не до дна. С осторожностью, чтобы не помешать оратору, он забрался за стол и покорно посмотрел на председателя.

— Нам разве верят? — вопрошал толстый, вздыхая после каждых двух слов. — Ведь мы получаем пособие! Вот и весь сказ. А увидят мой живот... Конечно дело: «Тебе неплохо живется, пузан!» Поди докажи, что живот-то пуст...

Кваст снова покосился на председателя. Тот не двигался, своей сосредоточенностью призывая к вниманию. Он был болен бронзовой болезнью: его лицо матово поблескивало, как старая медаль, и выпуклы, как на медали, были открытые глаза. Он опустил веки. Тогда Фрида, развевая ворохом черных своих кудель, примчала и поставила перед Квастом порцию картофельного салата, извергавшего запах лука, и кружку светлого пива. Вилка дрожала в руке Кваста, он пододвинул тарелку под самый подбородок. Председатель написал ему записку: «Ты что опаздываешь? Тебе сейчас говорить».

— За огород я ведь тоже плачу деньги, — продолжал толстый, — как они думают?.. И вот живем мы на огороде. Дом я построил сам. В доме мы с женой лежим вдоль, а четверо ребят — поперек. Если кому надо выйти — шагай через других. Дом я строил из фургона. На одной доске была старая надпись — «Цирк». Я начал думать про цирк... Младшему моему сыну три

года. Он заболел. Ночью не спит. Скулит все время. Мать ему — воды. А он — молока! Дай ему молока! Молока, молока, — что я могу сделать?..

Толстый отпил пива.

— Молока! — повторил он, отдуваясь. — Я потерял сон за эту проклятую болезнь. Не могу слышать, как он скулит!.. И мы сочинили вместе с женой письмо в цирк. Жена мне хорошие слова подсказала.

Пивная начала шуметь. От рассеянности и безразличия не осталось следа.

— Вы что? — спросил оратор. — Слышали про письмо? Не слышали?.. Ну, послал письмо, стал ждать... Вдруг знакомый товарищ приносит газету. В газете — мое письмо. Я обмер. А жена говорит: «Ты теперь знаменитый, мы станем хорошо жить». Стало письмо ходить по газетам: Очень всем понравилось, что я предлагал войти ко львам в клетку. За сто марок. Это верно; цену я написал напрямик: готов войти в клетку с совершенно незнакомыми львами за сто марок; которые нужны на пропитание малюток. Про малюток посоветовала жена.

Знаменитым я стал, правда. Приезжает ко мне на огород фотограф. Спрашивает: «Вы?» — «Я». Смотрит на меня. Улыбается. «Вы что?» — спрашиваю. «Видите ли, для львов вы, вероятно, как раз подходящи. А в газете вас изобразить — никто не поверит, что голодаете...» Уехал. А через день стали везде печатать неизвестного человека с моим именем. Из больницы, что ли? — Одни кости... «Вот моя знаменитость», — сказал я жене. Цирк мне совсем не ответил... Вдруг под вечер к огороду подъезжает мерседес. Чуть не свалил изгородь: узко ему. Жена шепчет: «Вот оно, счастье!..» Является дама: «Это вы хотели в клетку со львами?» — «Я». — «Зачем?..»

— А ты правда полез бы? — перебил толстого чей-то простоватый голос.

— Вот, — говорю даме, — посмотрите. — И показываю на свой дом. Она заглянула в дверь. Потом объявляет: «Я — фрау директор Криг, вот вам от благотворительного общества». Передает жене пакет. В пакете — полкило кофе-суррогата. Вот оно, счастье!..

А фрау директор ко мне: «Вы, конечно, понимаете, что в нашей стране нужда — обстоятельство случайное и долго не может продолжаться...» Я ей в ответ: «Сомной как раз такой случай. И всего — второй год!..» — «Но вы, спрашивает, не за разрушение общества?» — «Ах, дорогая фрау директор!..»

У толстого перехватило дыхание. Он разжал руки, выпуская из их кольца кружку, но тут же схватил и поднял ее ко рту. Не раздумывая, он проглотил подонки. Голос его зазвенел остро:

— Я ей не сказал. Потому что жена и дети — рядом. Но я хотел сказать: «Ты платишь по сто тысяч за автомобиль...»

— Платят и по двести! — крикнули из угла.

— «Ты катаешься на таком автомобиле, — тоже кричал толстый, — и говоришь про общество, что его нельзя разрушать! Ты живи так, как живу я! Тогда ты можешь говорить! А я в твоём обществе издыхаю! Издыхаю вместе с детьми! Издыхаю! Издыхаю!..»

Он выкрикивал это слово, бессмысленно подергивая руками, не зная, что с ними делать в такой момент. Бронзовый председатель потянул его вниз. Толстый повалился на лавку, задыхаясь. Тишина в пивной была необычной.

Тогда поднялся сосед председателя и, точно в рупор, глухим, сильным голосом, ровно расставляя слова, на всю пивную проскандировал:

— Ничего — подобного — не — может — случиться — в Союзе — советских — республик!

И сел.

Одним порывом заговорила пивная. Нельзя было понять отдельных слов. Каждый требовал, чтобы его слушали. Никто не желал слушать. Молодой человек, почти мальчик, покраснев и подойдя к круглому столу, пронзительно просил слова:

— Позвольте! Я, например, счетовод. Моя фамилия — Шудель... Позвольте!

Но ни ему, ни кому другому из возбужденных гостей говорить не удалось. Тот же глухоголосый человек опять поднялся и, переставив слова, зычно повторил:

— В Советском — Союзе — не — может — быть — ничего — подобного!

Новым взрывом шума отозвалась пивная. Но тут медленно встал председатель. Он повернул во все стороны голову, с выпуклыми и мутными, как на медали, глазами, и выждал тишины. Затем вразумительно сказал:

— Еще один живой пример нужды в нашей стране. Будет говорить безработный Рудольф Кваст, кочегар завода МБВ, тридцати восьми лет, одинокий.

— Одинокий, — застенчиво повторил Кваст, поднимаясь и грузно сдвигая с места тяжелый стол.

В это время хозяйка, будто предчувствуя какую-то тревогу, громко позвала Фриду. Фриды не случилось поблизости. Она стояла в полусвете коридора, который вел в кухню и уборные. Молодой счетовод с фамилией Шудель, краснея, прижимал Фриду к стене. Фрида умело отбивалась, лукаво болтая:

— Щупать — я ничего не говорю! А дальше — ну, не-ет!.. А ты сейчас же норовишь целоваться!.. лезешь и лезешь... Пошел!..

— Фрида! Фри-да! — звала хозяйка, сразу охрипнув от возбуждения. Голубые гнезда веснушек на ее лице становились фиолетовыми; она хваталась то за одну вещь, то за другую, словно надо было, как на пожаре, спасти все сразу.

— Фрида!

Громоздкие тени метнулись в большом окне.

— Фри-да!

И вдруг со свистом что-то прорвалось сквозь оконное стекло, и оно, звонко грохоча, испещрилось трещинами, мгновенно превратившись в громадную сияющую звезду, точно прорубленный страшным ударом лед. И тут же, удваивая звон и грохот, в наотмашь распахнутую дверь ворвалась по-солдатски — один, другой, третий — целая толпа гладко одетых коричневых парней.

Расталкивая, раскидывая скамейки и столы, они быстро вышвырнули нескольких человек, сидевших с краю, за дверь, на улицу.

Фрида бегала от стола к столу, собирая кружки. Хозяйка засовывала посуду под прилавок.

Кваст, не успев начать своей речи, одним глотком выхлебнул пиво, зажав кружку в кулак, и спрятал ее под стол. Гости отступили в задний угол, сбившись стеною, готовые обороняться. В центре обороны оказался круглый стол с бронзовым председателем. Почти не было криков. Пивная коробилась от шарканья ног, огодвиганья столов, стука и звяканья кружек. Все, кто не хотел или не мог защищаться, были выброшены вон из пивной, или молниеносно убежали по коридору в уборные и кухню вслед за притким счетоводом Шуделем. Атакующие подбирались к цепи людей, сомкнувшейся вокруг председателя. Было видно, что они обладали опытом и пришли, хорошо подготовившись.

Но внезапно почин ускользнул из их рук.

Председатель ожил. Темнея и становясь еще больше схожим с бронзой, он скомандовал своим друзьям:

— На улицу!

Чуть ли не всей цепью они навалились на круглый стол, двигая его перед собою и в один миг, что было мочи, опрокидывая его неуклюжую, огромную массу на коричневых парней. Под его прикрытием, как под щитом, они прорвали фронт нападавших и бросились к выходу. Тогда здесь, вокруг двери, завязалась свалка, и едва простонал кто-то от боли, как поднялись крики, стремительно возрастая и превращаясь в сплошной бурный рев.

Кваст помнил, как он заносил над головою пивную кружку, стискивая в кулаке ее стеклянную ручку и ударяя обо что попало железнотвердым ребром дна. От удара в затылок у него помутилось в глазах; он опомнился и стал видеть уже на улице, в куче сцепившихся людей, которая вопящим шаром каталась по дороге. Он продолжал махать кулаками. От кружки оставалась у него отбитая ручка с острым куском стекла. Он бил и резал этим куском.

В кратчайший миг он увидел падающего бронзового человека, с вытаращенными глазами, без капли

света в зрачках, и распростертого в ногах толстяка оратора, заявившего готовность войти ко львам в клетку. Лицо толстяка вдруг почернело от крови. Синий мундир с блестящими пуговицами замахивался на Кваста дубинкой. Это был бы удар не хуже того, который только что свалил толстяка. Кваст отпрянул, припадая к земле. Кто-то схватил его локти и повис на нем. Что было силы, он стряхнул с себя цепкий груз. Нельзя было терять ни мгновения. Он побежал.

Кто-то из зевак попробовал помешать его бегу. Смешно! Для него уже не существовало препятствий. Прилив жгучего желанья спастись мчал его так, что он не слышал земли под ногами. Какой-то человек, высокий и худой, стоял, прислонившись к фасаду дома. До Кваста долетел отчаянный вздох:

— О немецкий народ!..

Он бежал, бежал без оглядки. Он не мог понять, почему все оставалось прежним, ни на волос не изменяясь от его мучительного бега. Из-за вокзала тянулись равнодушные свистки, поезда отколачивали свои торопливые марши. Тут таилась какая-то хитрость врага. Страх сжал его сердце. Жизнь не хотела ничего о нем знать, ей было все равно, спасется он или нет, убежит от своих преследователей или грохнется на мостовую и будет лежать с лицом, почерневшим от крови. Но он, Рудольф Кваст, он хотел одного, он весь, с ног до головы, состоял из единственного желанья — спастись, и страх перед окружающим безразличием к тому, спасется он или нет, страх вынуждал его рассчитывать на одного себя, на свои силы, и он напрягал, напрягал их, пока они не иссякли и он не слетел с ног.

Он лежал ничком на откосе железнодорожной насыпи. Кругом не было ни души. Огни остались далеко позади. Земля под ним начала содрогаться. Он приподнялся, чтобы опять бежать, если поблизости окажется погоня и если встанут ноги. Прогремел поезд, рычащая топка локомотива на секунду ослепила и провалилась, как молния, в черноту.

Некоторое время Кваст пробыл в холодной дремоте. Раскрыв глаза, он ощутил острую ноющую боль

в голове; будто медленно сдирали с затылка скальп. Он боязливо потрогал затылок. Волосы склеились в сосульки, пальцы стали липко-мокрыми.

Опять тоскливым приливом сдавил ему грудь страх. Он вскочил, озираясь и прислушиваясь: Ночь была тихой. Он долго решал, как ему идти. Наконец перелез через насыпь и пошел в обход вокзала.

В свою комнату он вернулся поздно. Дом спал. Вздрагивая от ночного колючего холода, он нащупал на пустой плите спичечный коробок. В коробке была всего одна спичка. Комната отчетливо повторяла каждый шорох, и, когда Кваст ногтем вылавливал в коробке спичку, в углу, около входной двери, кто-то совершенно так же царапал ногтем.

Кваст нащупал на лампе верхнюю цепочку и потянул ее вниз. В тот же момент он решил не зажигать лампы, потому что свет мог привлечь к окну внимание преследователей, от которых он только что спасся. Он ясно подумал о том, что спасся, и эта мысль немного обрадовала его, так что он улыбнулся. Ему было холодно, боль то давила на голову, то отбегала, как волна. Он решил лечь. Надо было закрыть газ. Его приторный запах начинал щекотать и пощипывать в носу. Надо было поднять руку и потянуть за цепочку. А Кваст стоял, опираясь кулаками о край стола, навалившись на него усталым, обвисшим телом.

Вдруг он тяжелыми шагами двинулся к кровати. Там еще лежали кое-какие тряпки. Он лег на голые доски и, съездившись, прикрылся. Ему страшно хотелось согреться. Он дрожал непрерывно. Боль наваливалась на мозг, как хмель. Сами собою зашуривались глаза, и сознание то пожиралось темнотою, то вспыхивало, когда, как волна, отступала боль. Но волна сейчас же набегала, покрывая собою все, и булькала, била в мозг, как в лодку. Лодка покачивалась сладко, на корме лежал белый хлеб с маслом и сыром, сыр пахнул приторно, от его запаха щекотало в гортани. Комната была большая, хозяин, разводя руками, говорил: «Теперь я ничего не могу с вами сделать, господин Кваст, живите сколько вам хочется.

Живите, потому что вы — вор». «Вор, вор! — кричала девушка в праздничном белом платье с голубыми полосами и бежала за ним, показывая на него пальцем: — Вор, он украл сыр!» Кваст бежал, задыхаясь и прожевывая клейкий, вонючий сыр. Сыр заткнул ему нос, приторно-сладкий, клейкий, его тошнило от этой вони, он бежал, его кто-то схватывал и выпускал, ему нечем было дышать, он стонал и кашлял, кашлял, как жена перед смертью. Жена говорила тихо: «О немецкий народ!» Он обнимал ее. Она была холодной, черные длинные чулки на ней обтягивали ноги, как трико, высокая трава поглощала ее, она сладко оскаливала рот. Сладость была нестерпимой, ни одного вздоха нельзя было больше сделать, горло было залеплено мерзкой вонью, ни секунды нельзя было терять — бежать, бежать, надо было бежать.

Рудольф Кваст заметался. На один миг с силою дневного света зажегся в нем какой-то огонь, и этот огонь прокричал отчаянное слово:

— *Газ! Газ!*

Он вывалился из кровати на пол. От удара в нем возродилась жалкая и чуждая способность двигаться. Он пополз к столу, схватился одной рукой за край. До цепочки лампы его отделяло невеликое расстояние. Надо было ухватить цепочку и дернуть. Но Рудольф Кваст затих. Без всякой боли он вспомнил, как к его недавним соседям приезжают пожарные и, в присутствии синего шупо, взламывают двери. Пожарные входят в масках и раскрывают окна. На кровати лежат муж и жена, черно-синие от светильного газа. У жены в прическу вколоты восковые мирты, в которых она венчалась у пастора тридцать пять лет назад. Синий шупо и полицейский без униформы входят в комнату, когда она достаточно проветрилась, и начинают составлять акт...

Ах, как тихо, как тихо говорит жена: «Извини меня, Рудольф!» В белом праздничном платье она наклоняется над Рудольфом и глядит на него юными девичьими глазами в слезах.

Тягучие свистки паровозов сопутствуют утру. Приезжают пожарные. Трещит дверь. Рудольф Кваст лежит на полу. Одна рука его поднята вверх и все еще держится за стол.

ХIV. ВАН РОССУМ ПРИСПУСКАЕТ ФЛАГ

Спущенный на воду новый пароход ван Россума заканчивался оборудованием. Судно должно было краситься в белое с голубым, и для кормы были выточены и позолочены деревянные буквы: «Гарлем». Но в разгар работ верфь получила распоряжение: покрыть голубое черным, снять золото с кормы, выложить новое имя пароходу — «Елена» — и буквы тоже крыть черным. И белый корпус парохода по борту, белая штурвальная будка, белый капитанский мостик окаймились трауром. Весь порт хорошо знал, в чем здесь дело.

Филиппу ван Россуму доставили эскизы новой внутренней отделки кают «Елены» — цвет и рисунок тисненой обивки стен, форму и раскраску арматуры. Он внимательно рассмотрел чертежи, потом взял объяснительную записку инженера и написал на ней синим: «Оставить по-старому». Было нерасчетливо задерживать выпуск тоннажа поисками лучшего стиля.

Тогда ему доложили, что прибыл господин Рогов из Ленинграда и желает его видеть. Он снял пенсне и поднялся. Идя навстречу Рогову, он улыбался и мягко приговаривал:

— Ну, как же мы будем с вами говорить? По-английски? По-немецки? По-русски?

Он владел русским хорошо, с точностью иностранца, тщательно поучившего грамматику, и, так как это был самый трудный из знакомых ему языков, охотно говорил на нем, чуть-чуть поигрывая своим акцентом.

— О да, да! — восклицал он, усаживая Рогова против себя. — Ведь я прожил в России пятнадцать

лет! Я исполнял ту работу, которую теперь несет Франс... Что?.. О, наша фирма работает с Россией почти пятьдесят лет. Полвека! Когда был жив отец, в России работал мой старший брат, Губерт. После смерти отца я заменил брата, я стал русским, ха-ха! Сейчас я стал опять голландцем, а русский у нас теперь Франс... Франс?.. Да, он мой племянник, сын покойного старшего брата. Вы, наверно, сделали его совсем большевиком, нашего русского Франса, а?

— Это был бы подрыв советской внешней торговли, — засмеялся Рогов.

— Да? Мы перестали бы посылать к вам своих агентов? Ха-ха! Ну, я надеюсь, что Франс устоит против красной опасности, а?

— Я думаю то же, — согласился Рогов.

— Да, да, — улыбнулся Филипп ван Россум, — я сам с удовольствием подвергся бы этой опасности... на месяц, на два. Вы знаете, я уехал из России до войны. После революции я был у вас всего один раз, чтобы договориться с новым правительством. О, оно оказалось вовсе не таким страшным. Я пробыв всего месяц. И я очень отдохнул. Я купался в вашей чудной Неве, потом поехал по Мурманке... так? — Мурманка?.. Да. Я охотился в ваших лесах. Вы охотник?.. О! Превосходная охота по перу! Так говорят: «по перу»?

— Когда же вы успели договориться?

— О, это — раз, два! Ваши большевики слов не теряют. А я — деловой человек. И у меня был старый опыт.

— Старый опыт?

Ван Россум немного пристальней взгляделся в Рогова и пододвинул ему коробочку с папиросами.

— Я имею в виду свое знание России. А вы думаете о революции, да? Революция — слишком глубокое явление. На поверхности все кажется по-старому. Так что мой старый опыт...

— Я не верю, что вам все показалось по-старому, даже на поверхности, — сказал Рогов.

— Да? — спросил ван Россум и точно в нерешительности помолчал. Но тут же в прежнем тоне сло-

воохотливого и радушного человека договорил: — Уверяю вас! В существе дела было много нового и... несколько непривычного. Но вообще... О, тогда было, конечно, погрязней и поменьше порядка, чем до войны. В Москве я остановился в какой-то гостинице, где раньше жили актеры. В крупных отелях все было занято. Я попросил щетку для платья, и мне ее долго не приносили, разыскивали щетку по номерам. Наконец выяснилось, что щетки в гостинице нет. Я спросил — как это возможно? Тут слуга... знаете, такой... коридорный... сказал мне, что щетка была, но приезжали какие-то там делегаты, требовали щетку... и теперь щетки нет. Это — все перемены, какие я заметил.

— Ну, это как раз дореволюционный анекдот.

— Я ведь говорю, что мне показалось у вас все по-старому. А так как я живу по поверхности, — Филипп ван Россум снова и очень умно улыбнулся, — то я тоже не изменял своих прежних привычек. Я купался и охотился, Франс вел дела. Я, знаете, нигде так не отдыхаю, как в России. Здешние курорты — о! Но когда я сижу в вагоне где-нибудь на Мурманке... Мне довольно суток, чтобы переродиться.

Филипп ван Россум играл в общительность. Он не мог знать, что услышит, если заговорит сидевший против него господин Рогов из Ленинграда. Он предпочитал говорить сам, неторопливо, благодушно, будто у него было много свободного времени и он соскучился по дружеской болтовне. Так что едва в кабинет просунул нос клерк, ван Россум сокрушенно потряс головою, словно жалуясь, что вот не могут понять, насколько ему приятно беседовать с господином Роговым из Ленинграда.

— Ничего спешного, мэнэр, — сказал клерк. — Опять явился этот матрос Брайвер...

— Я же распорядился, чтобы его взяли на какой-нибудь пароход.

— Совершенно верно. Но капитаны отказываются принимать его.

— Негодный моряк?

— Отличный моряк. Но его всякий раз приходится списывать на берег. Капитаны говорят — смутьян.

— Протестант? Революционер? — смеясь, прококетал ван Россум.

Он взбирался на вершину благодушия, он шутил с клерком.

— Ну, не будем ссориться с капитанами. Зачислите этого большевика в будущую команду «Елены» и дайте ему аванс.

Он будто спохватился, что русский ничего не понял, и живо рассказал ему историю с Брайвером.

— Как видите, я не боюсь большевиков, — добавил он все так же добродушно.

— Я вижу это по себе, — сказал Рогов. — Я пришел поблагодарить вас за хлопоты, без которых я не попал бы в Голландию.

— О, пустяки!.. Но разве вы — большевик!.. Да, да, понимаю: все русские теперь большевики, не правда ли?.. Надеюсь, что вам понравится у нас. Где вы остановились?.. На Вармус-страат! Это едва ли лучше моей гостиницы в Москве, а?

— Никакого сравнения, — усмехнулся Рогов, — щеток тут в изобилии!

Ван Россум усмехнулся совершенно так же, как Рогов, и привстал.

— Мне доставит большую радость, — пышно проговорил он, — видеть вас у себя дома. Русские всегда так принимали меня, что я буду счастлив отблагодарить их в вашем лице. Однако...

Он делался все более торжественным, его осанка окаменевала, он помедлил и повторил:

— Однако... к сожалению, я не могу пригласить вас ни сегодня, ни завтра...

Он поднял взгляд на уровень потолочного карниза.

— Сегодня на пароходе прибыло тело моей покойной дочери, и завтра состоится ее погребение.

Рогов поднялся.

— Вашей дочери?

— Моя младшая дочь скончалась в Батавии.

— В Батавии... ваша дочь? Мог ли я встретиться с ней в Норвегии? Неужели...

— Да, это было ее путешествие. Из Скандинавии на Яву, и вот теперь — сюда, — строго произнес ван Россум и опять взглянул вверх, на карниз, как будто именно там находился источник подобавших случаю благоговения и твердости. Вдруг, снова меняя весь облик, округляясь радушием и ласково выпевая слова, он сказал:

— Вы, конечно, поживете в Голландии, и мы еще не один раз увидимся. Я считаю вас своим гостем, начиная с послезавтра. Здесь сейчас жена Франса, Клавдия Андреевна. Вы знакомы с ней?.. Нет?.. Она — русская. Впрочем, она уже бывала в Амстердаме, и мы попросим ее помочь вам разобраться в нашем маленьком Вавилоне. До свиданья.

Он проводил Рогова до двери и взглянул на часы.

Ему подали черное пальто, цилиндр и черные перчатки, палку черного дерева с круглым набалдашником слоновой кости. Он посмотрелся в зеркало. Все было в порядке. Но ему не понравилось, что в комнату неуверенно заглянул клерк, прижимавший к груди бювар для докладов.

— Ну? — поторопил ван Россум.

— Радио капитана ван Рейхена. Норвежцы расторгли договор. Пароход без фрахта, в Драммене.

— Потом! — оборвал ван Россум.

Распахивая дверь, он кого-то толкнул.

На площадке стоял капитан — начищенный, выложенный скипер, в куртке, расшитой по рукавам зигзагами золота до локтей, в фуражке с золотой кокардой в ладонь величиной, в ядовито-желтых перчатках, как лимонная корка, как уличный рекламный плакат, со стеклом под мышкой, с желтым стеклом в серебряной оправе.

— Капитан Баарс, — проговорил ван Россум и отвернулся.

Он хотел сказать: «Это бестактно — являться сегодня ко мне в желтых перчатках и со стеклом». Но сказал:

— Вы передадите в Ленинграде господину ван Россуму пакет, который вам сейчас вручат в конторе. Больше ничего.

Он сделал два шага вниз по лестнице, но тут же приостановился. Кровь бросилась ему в лицо. С усилием он повернул голову и сощурился на желтые перчатки.

— Однако сообщите господину Франсу ван Россуму на словах, что я сейчас скажу.

Он ударил палкой о плюшевые перила, точно собираясь побить капитана.

— Ван Россумы не претендуют на то, что у них отнято русской революцией. Но ван Россумы ничего не уступят из того, что революция им предоставила!

— Ничего! — проникновенно проговорил он, приобретая выравненную окраску лица и чуть-чуть потише стуча палкой.

— Запомните ли вы это? — спросил он, снижая голос и постепенно примиряясь с желтыми перчатками. — Всего лучшего, капитан!

Он решительно пошел вниз.

Капитан Баарс стоял не шевелясь, как перед фотографом. Он не привык, чтобы его третировали, он был отличным капитаном, за ним не числилось ни одного проступка, Филипп ван Россум на деловых приемах обычно угощал его сигарой. Он пожал плечами и шепотом повторил — на что его шеф не претендует и чего не уступит. Потом достал роскошную кожаную книжку и с точностью записал не вполне понятные слова. Так было вернее. Разглаженный, золотой, сияюще желтый, в мерцании кокарды и пуговиц, капитан Баарс элегантно надавил на дверь конторы...

День был дряблый, осунувшийся, коричневая толща тумана устало висела над портом, парходные дымы тяжело стлались под ней.

Перед тем как войти на Хандельскаде, Рогов встретил военный оркестр. Он выступал впереди быстрых взводов пехоты и играл марш — танцующий, рыкающий восторгом, точно только что на свет явился какой-то развеселый искупец и об этом как можно скорее надо было известить вселенную. Всезажигающими солнцами горели басы, валторны, баритоны. Никакой туман, никакой сумрак, никакой дым не

могли бы затушить этих светящихся планет, и нужны были пороховые взрывы, чтобы переспорить безрассудство этой музыки. Как повсюду на земном шаре, за оркестром мчались восхищенные, задыхающиеся мальчишки, наострив уши, наступая друг другу на ноги, отпихивая препятствия локтями, — толпа с единым трепещущим сердцем, с глазами, ослепленными сиянием планет, чем-то похожая на кучу крыс, очарованно бегущих за свистулькой крысолова. Каждый из мальчуганов вдохновенно верил, что самая упоительная в мире жизнь заключалась где-то в середине оркестра, и, словно подтверждая эту веру, музыканты гарцевали, припадая на левое колено, подпрыгивая обтянутыми ляжками, щедро расточая призывы и огонь звенящих медных солнц.

Хандельскаде рукавами дорог исчезала в бесконечности тумана и дыма. Слева и справа, точно автомобили на бестолковой городской площади, шныряли увертливые катеры и буксиры. Океанские пароходы многоэтажными доходными домами стыли вдоль набережной.

Выбрав в людском потоке неторопливого человека, Рогов спросил, где пристают пароходы индийских рейсов.

— Вы не туда попали... Чей пароход вам нужен?

— Ван Россума.

— «Франс Гальс»?

— Я не знаю. Мне нужен пароход... который был с Явы... на котором...

— Ну, да, правильно. Вон, видите, приспущен флаг? Это он и есть.

Рогов не видел никакого флага. Однотонно терялись в тумане громадные пароходные корпуса, верхушки мачт были совсем незаметны. Он пошел дальше. Внезапно вдоль его пути выстроился ряд автомобилей. Один за другим, не двигаясь, они появлялись из мгlistой пелены, легко скидывая ее с себя и облачаясь в свои многоцветные краски, сиявшие, как радостные трубы оркестра.

Рогов обернулся в другую сторону. У причальной стены высилась гигантская тупая корма парохода

с матовым золотом слов: «Франс Гальс». Около ее массива, на набережной, портовая жизнь нарушалась резко. Тут степенно строились казавшиеся кукольными черные фигурки людей. Дамы в траурном крепе становились впереди, господа в цилиндрах — сзади. На первом плане, под самою кормой, стояли обособленные два цилиндра. Три дамы присоединились к ним. Морские офицеры равнялись под углом к цилиндрам. Толпа посторонних в почтительном отдалении обступала зрелище. Медлительный, печально пышный проследовал и остановился белый катафалк. Четыре пары коней в белых сетчатых покрывалах обоченно соблюдали покой.

На борту парохода виднелся фронт команды с офицерами. Скипер по-военному высился на верхней ступени парадного трапа, поглядывая вниз на цилиндры. Все приняло намеченный порядок и пришло в неподвижность. Тогда оба цилиндра, стоявшие обособленно, приподнялись и раскрыли головы, — гладко причесанную, темную и — мохнатую, голубую от седины. Скипер на трапе, картинно подняв ко рту руку, дал сигнальный свисток.

Раздался гудок «Франса Гальса», усиливающийся, растущий. Соседние пароходы подхватили его разногласым плачем своих сирен. Цепь кормовой лебедки, опущенная в трюм, натянулась. Офицеры взяли под козырек. Вопли гудков росли. Из трюма всплыл на цепи, непохожий на европейский, гроб — прямой, белый. На миг задержавшись в воздухе, он поплыл над палубой к борту. Один офицер помахал кистью руки, как на погрузке, чтобы потравили цепь. Другой возложил на гроб белые розы. Гроб начал опускаться на набережную. Обок с ним, по трапу, спускался караул офицеров. Порт дрожал от гудков. Офицеры скинули с гроба цепь и, взяв его на руки, понесли к катафалку. За ними двинулись мужчины и женщины, стоявшие впереди, потом — ряды траурных дам и господ, моряки и толпа ротозеев. Как по команде, на непокрытые головы были водружены цилиндры. Собираясь завершить кортеж, шоферы сверкающих автомобилей положили руки на рули. Рогов узнал Фи-

липпа ван Россума по его темной, гладко причесанной большой голове. Узнал скипера, высившегося на трапе, по его неприятной картинности и росту: это был капитан, сопровождавший из Стальхейма Елену ван Россум. И Рогову почудилось, что он узнал третьего человека — Елену ван Россум: она шла в трауре под руку со своим отцом, по-прежнему легкая и беззаботная, несмотря на траур, шла следом за своим прямым белым гробом.

Рогов зажал руками виски и пошел прочь от уныло-заводной процессии в даль набережной, усталый, преследуемый непрекращавшимся плачем порта, странно уверенный, что ему незачем было приезжать ни в этот город, ни — может быть — в эту страну.

ХV. ТРИ ДИАЛОГА

— Что же вас так поразило? — спросил Филипп ван Россум.

— Я пережил что-то вроде восторга открытия, — сказал Рогов. — Я обошел добрую половину мюнхенской пинаотеки, смотрел итальянцев, немцев, голландцев, и вдруг, где-то в величии Возрождения, — настоящий Сезанн! Первый момент я ничего не понимал. Изломанная линия, диспропорция частей тела, грязные, нецельные тона, просвечивающие один сквозь другой. Импрессионисты! Конец прошлого столетия. А в каталоге — середина шестнадцатого, начало семнадцатого. Я впился в этот Доменико Теотокпули. И чем дольше смотрел, тем ближе отыскивал в старом греке совсем не старых французов.

Рогов усмехнулся своей речи. Филипп ответил вежливой улыбкой.

— Я был поражен, конечно, не своим открытием. Его сделало мое незнание, но разве не изумительно, что два совершенно одинаковых явления разделены тремя столетиями? Грек писал мадонн, апостолов, но это был поход против канонов Возрождения, против всей тогдашней эстетики. Ведь у него ничего

не оказалось от общепринятых пропорций, от условности палитры итальянцев. Он бил сразу по всем сложившимся представлениям о красоте. И замечательно: через три века после него, для борьбы с совершенно иной эстетикой, применяются точно такие же способы. Повторяется в тончайших подробностях явление, которое так долго было бесплодно.

Филипп с любопытством покашивался на Рогова.

— Молодая Россия, — сказал он, почтительно, но все еще с улыбочкой, — кажется, отвергает тот взгляд, что на этом свете не бывает ничего нового? Между тем в действительности все повторяется.

— Повторяется многое. Из этого не следует, что не бывает ничего нового. По виду старые явления приносят неожиданно новый результат. И не только в искусстве. В хозяйственной жизни, например, у вас, на Западе...

Рогов столкнулся взглядом с Филиппом.

Они сидели в креслах, отдыхая после осмотра нескольких зал живописи Государственного музея. Гордость Амстердама вызвался показать Рогову сам Филипп. Он отлично знал едва ли не все коллекции грандиозного музея. Но он отобрал то, что составляло блёск, и они толково посмотрели гарлемскую и амстердамскую школы, лейденский и утрехтский залы, два кабинета, названных именем Рембрандта, достойных этой чести, даже если бы в них не висело четырех его картин, наконец, — испанцев, среди которых Рогову сразу бросился в глаза бескрасочный и единственный Эль Греко. Ван Россум водил Рогова по музею с таким видом, с каким иной доктор, положив больного на открытом воздухе, справляется: каково? вкусно ли? — как будто воздух состряпан по его, докторскому, рецепту в какой-нибудь аптеке. Это ему, ван Россуму, принадлежала виртуозная культура живописи, это он собрал мировые картины в роскошном дворце, это он проявлял утонченные знания художественных школ. Служители, охранявшие порядок, здоровались с ним, он не замечал поклонов. Он хотел знать: каково? вкусно ли? Ученик, попавшийся ему, казался — из способных. Филиппу не нравилась

только одна его черта: он слишком легко расставался с великолепием деталей, стараясь ко всему найти ключ в каком-то обобщении, часто отвлекаясь в сторону. Вот и сейчас, воспользовавшись малейшим поводом, Рогов зачем-то заговаривает о хозяйстве. Какое отношение к живописи может иметь подобный разговор? Не является ли он замаскированным способом получить газетное интервью? Франс — человек дальновидный, вряд ли он не имел в виду пользы для дела, способствуя путешествию советского журналиста. Рассказывают, что печать большевиков приобрела значительное влияние у себя в стране. Во всяком случае, надо быть осмотрительным.

Словно вычитав во взгляде Филиппа нежелание отвлекаться от живописи, Рогов упрямо сказал:

— Неизвестно, как будет развиваться кризис, который начал засасывать Европу. Но его последствия будут, конечно, печальнее для капитализма, чем последствия прошлых кризисов. В этом будет нечто новое, хотя сами по себе капиталистические кризисы повторяются нередко.

Филипп пожал плечами. Ему было обидно слушать лекции. Он ответил нравоучительно:

— Когда в России говорят о Западе, подразумевают две-три державы. Но Европа — бесконечно более сложный организм. Здесь зачастую с болезнью борется не пораженный ею орган, а другой, по виду — малозначущий. Затруднения в деловом мире Германии отражаются на других странах, верно. Однако не только в том смысле, что другие страны тоже испытывают затруднения, но еще в том, что они вырабатывают противоядия, которые временно не могут быть выработаны больными странами.

— Пожалуй, так, — сказал Рогов. — Если одно европейское государство не может покрыть своей потребности в вооружении, то другое помогает ему. Тут действительно почти нет никакой разницы между большой державой и малой: каждая старается в меру своих сил. Не совсем понятно только, против какого яда применяются пушки?

Филипп опять пожал плечами.

— Узнаю в вас задор русского агитатора.

— Задор человека, которому хочется понять происходящее. Знаете, мне странно, что до сих пор либералы поддерживают миф о европейской семье народов. Неужели кто-нибудь верит в эту семейную идиллию? Вы говорите, что мы не оцениваем роли по виду второстепенных государств? Я старался прислушиваться к настроениям Скандинавии. Там без утайки ждут новой войны, потому что прошлая война обогатила всю деловую Скандинавию. В копенгагенской гавани сооружен памятник потопленным в войну пароходам. Сотни траурных имен отлиты на памятнике. Очень импозантно. А посмотрите, каким модернизированным и огромным флотом обладает нынче Дания. Да и одна ли Дания? Сейчас там, как повсюду, штиль. Предприятия лежат в дрейфе. Понемногу все оголяется. Европа малых государств обнаруживает себя не хуже великих держав. И, по-моему, маленькая Европа ничем не отличается от большой. Те же воды, только другие глубины. На этих глубинах легче наблюдать то, что в ином месте слишком хорошо скрыто.

— Не лежит ли, по-вашему, Голландия как раз на глубине, удобной для такого рода наблюдений? — почти официально проговорил ван Россум.

— Ну, что вы! — вдруг тепло воскликнул Рогов. — Я давно, чуть ли не с детства, мечтал побывать в Голландии. Если мимоходом я найду какое-нибудь подтверждение своим общим взглядам, ведь это, надеюсь, не повредит вашей стране?

Тогда потеплел и Филипп: надо было вспомнить хорошее правило — относиться снисходительно к славянскому пристрастию русских сводить все к политике. Политика, политика! Плохое воспитание — вот что такое пристрастие к политике.

— Мы совсем забросили нашего Эль Греко, — с прекраснодушием созерцателя выговорил Филипп. — Я не жалею, что тут всего одна его картина, я не люблю его. Даже рассматривая лучшее, что он создал, в Испании, я всегда чувствовал беспокойство и тоску. Это все же распад. Ведь и то, что он породил

триста лет спустя — такое же движение распада. В живописи, как и во всем, хороши лишь эпохи ясной формы.

Он сам себе показался кристаллом: гладко и точно были отполированы грани его рассуждений.

— Такие, как Эль Греко, расчищают место для создания новых форм, — сказал Рогов.

Это замечание угрожало опять завести разговор бог знает куда. Да и что, кроме упрямства, мог предъявить молодой русский в споре с ван Россумом? Филипп поднялся.

— Вы не желаете посмотреть соседний фламандский зал?

— Я уже устал.

— Тогда... — Филипп показал на лестницу.

Они молча спускались, то попадая в голубую свежесть окон, то минуя полутоня затененных площадок, и эта световая игра перекликалась со сменой чувств, занимавших Филиппа все утро. Впервые музей не произвел на него обычного действия, не устранил рассеянности, не успокоил. Он не мог разобраться, что, собственно, мешало: может быть, несговорчивый русский, может быть, воспоминания о похоронах Елены, может быть, еще что-нибудь. Но вот он покидал галерею, которая всегда была ему — как гребень волосам, и его чувства оставались спутанными.

Уже выходя на улицу, Филипп спросил:

— Вы сегодня встречаетесь с Клавдией Андреевной?

— Мы хотим поехать по каналам.

— Вам не кажется, что Клавдия Андреевна... — начал Филипп, но тотчас оборвал себя и принялся отыскивать перчатки, лежавшие на своем месте, в кармане пальто. Он не привык говорить опрометчиво, и ему нужна была минута, чтобы спрятать замешательство. Он жестом пригласил Рогова сесть в автомобиль.

— Спасибо, — ответил Рогов, — у меня есть время, я поеду на трамвае.

— Не забывайте, что мне доставляет удовольствие видѣться и беседовать с вами, — сказал Филипп, прощаясь.

В автомобиле, вытянув ноги, он подергивал носками черных туфель и хлопал тремя пальцами по коленке — та-ра-рап, та-ра-рап. Бог знает, зачем приехал сюда русский, а он, Филипп ван Россум, поручился за него письменно в министерстве. С образовательной целью? Та-ра-рап, та-ра-рап! Образовательная цель — слишком растяжимое понятие. В конце концов всегда приезжают с какой-нибудь целью. Без цели не ездят. С какой-нибудь... та-ра-рап.

Но у Филиппа было много иных забот, и он перестал думать о Рогове, как только приехал домой. Он взялся за телефон и говорил сначала с конторой, потом — с Гарлемом, с Лодевийком. Брат пожаловался на боли под ложечкой и сказал, что доктора мучают его, берут на исследование желудочный сок тонким зондом. Процедура длится два часа, сок выкачивают через каждые пятнадцать минут, понемногу, и он, Лодевийк ван Россум, должен сидеть с каучуковой трубкой, впихнутой в желудок одним концом и заложенной за ухо, словно карандаш, — другим.

— Я — старый человек, — сказал Лодевийк, — меня унижает такой способ. Я читал, в Москве так делают с собаками. Я не собака. Они мне сперва дадут бульон, потом выкачивают его назад. Наука зналась.

Филипп должен был согласиться, что выкачивание желудочного сока неприятно. Но он посоветовал брату потерпеть, потому что исследование необходимо для диагноза.

— Ты вовсе не стар, ты обязан вылечиться.

Он говорил приветливо и пространно, соблюдая родственный этикет, но ему не терпелось поскорее перейти к делу. Дело же заключалось в том, что уже четыре парохода фирмы стояли без фрахта — два в портах Соединенных Штатов, один в Драммене, один дома, в Амстердаме, и не было надежды, что их скоро зафрахтуют. Связи ван Россумов в Советском Союзе могли помочь в затруднении, надо было предложить пониженные тарифы за фрахт, чтобы успешнее конкурировать с другими компаниями, охотно работавшими с черноморскими и северными русскими

портами. Брат терпеливо выслушал обстоятельные доводы Филиппа и смиренно сказал, что, может быть, ему, Лодевийку, осталось не так долго жить и что после смерти ему будет все равно. Но так как Филипп не выразил склонности останавливаться на вечных темах, то он добавил:

— Размеры депрессии сильно раздуты. Наша клиентура скоро восстановится. Я убежден. Но я, конечно, понимаю, что пустой тоннаж есть пустой тоннаж. И к тому же мы все равно работаем с Советами.

Он опять не удержался:

— А когда я умру...

Филипп хотел перебить его.

— Когда я умру, — строптиво настоял Лодевийк, — фирма ван Россумов может вступить хоть в Интернационал.

— В какой? — уже с досадой спросил Филипп.

— Как в какой? Разве их много?

— Например, у нас, в Амстердаме.

— В Амстердаме? Это наверное — контора московского!..

Оставалось только засмеяться в телефонную трубку, послушней, но, однако, так, чтобы не раздражить Лодевийка. Пиетет требовал не предпринимать серьезных решений без ведома брата. «Стареет, стареет», — думал Филипп о брате, отходя от телефона и радуясь, что разговор кончился.

А вот он, Филипп, не старел, нет, не старел. Он перенес горе, оно не сломило его. Он не потерял вкуса к делам, неудачи вызывали в нем сопротивление, в любой час он готов был маневрировать и бороться. Его самочувствие было бодрым, да, бодрым: вон как прям и упруг его торс — зеркало отражает сильного, ничуть не грузного мужчину, право. Он всегда с удовольствием прогуляется по городу, хотя бы сейчас, например, в обществе Клавдии Андреевны.

Филипп приближается к зеркалу, приглаживает волосы и идет к двери. Он проходит одной комнатой, другой, в третьей он неожиданно видит старшую дочь.

Она сидит в трауре, у окна, за рукодельем, верная своему пристрастию — постоянно чем-нибудь заниматься. Немного провинциальная манера, опрощающая женщин.

— Здравствуй, фрау директор Криг, — шутит Филипп, приближаясь к Марии.

Она растягивает на коленях вязанье из шаффгаузенской шерсти марких цветов, наклоняет голову вправо, потом влево:

— Хорошо?

— Очень. Что-нибудь для спорта?

— Не скажу.

Филипп мельком покашивается на дочь и находит, что ей уже не к лицу кокетство.

— Я хотела тебя попросить: когда ты ешь шоколад или конфеты, не выбрасывай, пожалуйста, свинцовой обертки. Знаешь — бумажки?

Филипп подергивает головой.

— У нас их собирают, и потом это идет в пользу безработных.

— А-а, ну, тогда я спокоен за безработных.

— Ты думаешь, не стоит? Если бы собирать во всей Европе и в Америке...

— Ну, да, если в Америке...

— Ты смеешься?

— Как можно, мой друг! Но я, видишь ли, не ем шоколада.

Он пристально следит за чем-то через окно. Мария замечает его движение и отрывается от рукоделья.

Через дорогу переходит Клавдия Андреевна. Она только что вышла из дома. Если бы Филиппа не задержал разговор о свинцовых бумажках, он, может быть, шел бы сейчас вдоль Принсен-грахта рядом с нею. Он видит, как она, балуясь, притрагивается к решетке набережной рукой в темной перчатке — раз, два. Затем она пропадает за деревьями.

«Клавдия, Клавдия», — почему-то выпевается в его мозгу, и он не может оторвать глаз от решетки.

Потом он чувствует, что дочь наблюдает за ним. Неужели это его дочь? В сущности, уже не очень молодая женщина.

— Как мило с твоей стороны, что ты еще остаешься погостить у меня.

Он пожимает ее прохладные пальцы.

— Меня ждут занятия.

Он уходит.

XVI. АМСТЕРДАМ ДНЕМ

Три цвета поочередно окрашивали зигзаговидный путь катера по каналам и порту — зеленый, синий, черный.

Катер бежал, иногда наполовину, иногда целиком прячась под бесчисленными мостами, останавливаясь, чтобы пропустить низкобортную баржу или моторный ботик, вынырнувший из-под поворота. Суда передвигались по воде точно по подвалам города. Наверху, вдоль набережных, одетых в тусклые камни, маршировали деревья, листва их глухо занавешивала улицы, только изредка сквозь нее проглядывал фасад дома, чинностью окраски и орнамента отмечавший свое патрицианское происхождение. Здесь было тихо, безветренно, сигнальные гудки давались вполголоса, все было пронизано уважением к благородным кварталам, и зелень, как ковер, услужливо поглощала нечаянно долетевший шум.

В гавани зелень каналов переплавлялась в синеву: как ни велико было скопление пароходов, как ни рябила пестрота их одеяний, — вода размашисто и мощно отражала яркую краску неба, и все кругом было окутано ее веселящим блеском. У пристаней теснились нарядные суда каботажных линий, с севера, из бледно-дымчатой дали морского канала, появлялись осторожные, медлительные громады океанских судов; черномазые буксиры старательно наводили порядок в толпах товарных флотилий около набережных, тянули плавучие краны, угольщики, грузные наливные баржи. Катер, выбежав в гавань, прибавил ходу, но расширившееся пространство легко поглотило его озабоченный бег, и пассажирам казалось, что

движение стало медленнее, чем в каналах. И медленно, будто в какой-то церемонии, развертывался омытый синевой порт.

Как вдруг стремительно синева начала исчезать. Уже давно позади остались расфранченные увеселительные пароходы для экскурсий; выраставший из воды клокочущий содрогааниями поездов вокзал; переливавшиеся звонами металла плавучие доки, в которых были вставлены, как в коробочки, яйцевидные, чуть сплюсненные корпуса судов.

Снова катер близко обступали каменные стенки канала. Но путь шел в особый мир. Темнота нависала над головой, как будто меркло солнце. Канал ломался на короткие колена, казавшиеся замкнутыми, точно шлюзы. Было тесно. И чуть ли не ошупью катер подполз под низкий, глухой, длинный мост. Прежде чем окунуться в холодную сажу этого странного тоннеля, штурвальный дал предупреждающий гудок, и долгий грустный звук прощально напомнил оставленную позади жизнеобильную синюю гавань. Невольно, следом за мотором, притихли пассажиры. Навстречу им, из темноты, тянуло тухлым холодом. Сквозняк пронзал сырым, зловонным током. Постепенно впереди забрезжил пролет моста, и сверкнул, словно лакированный, отсвет воды. И тогда начал раскрываться зажатый мраком, накрытый плащом испарений, подобный могиле, вырытой на болоте, гниющий черный Амстердам.

Здесь слепо кучились тылы, затылки, задние фасады древних, казалось, со времен Исхода не чищенных, не мытых зданий. Дома стояли в воде, своими основаниями, фундаментами образуя берега канала. Далеко в высоту уходили стены — раскрашенные, расписанные разводами бесчисленных оттенков гнили, плесени, грибов и мхов. Разводы кое-где оживали, видоизменялись: из щелей и трещин, из каких-то огдушин и форточек вылезала, пузырясь, новая гниль, стекая вниз. Над самою поверхностью канала, из труб и стоков, зиявших в стенах, хлестали и струились потоки нечистот. Та жижа, по которой пробирался катер, лишь отдаленно напоминала воду, своей густою

массой тяжко противясь работе винта. С урчанием и дрожью винт подымал из глубины целые полчища рыжих, багровых, трупно-синих полурастворенных отбросов, и они, как медузы, расширяясь и суживаясь, отплывали прочь. Там, где падал пробившийся сквозь нагромождение домов случайный луч солнца, в его свете кадильными дымами поднимались языки испарений. Но тут же, дорожа этим лучом — теплым пришельцем из чужого мира — на лодке, причаленной к каменному спуску, зажатому между зданий, играли с куклой девочки. Улыбаясь, они помахали катеру своими голыми тоненькими руками и наклонили голову куклы, такую же кудрявую, как у них, чтобы и она приветствовала пассажиров. Но пассажиры не ответили. Они глядели на девочек окаменело, не веря, что на дне миазмической могилы можно играть в куклы. Они глядели окаменело на выцветшие тряпки, развешенные по веревкам, протянутым между редкими окнами на высоте чердаков. Это были вымпелы, сигналы несчастных, безнадежно странствовавших в океане нищеты. Пассажиры глядели окаменело на косматые головы детей, торчавшие из тех же окон, откуда свисало тряпье, или красные подушки, или замоченные матрацы, или вывернутые наизнанку штаны. Пассажиры глядели окаменело на гида, стоявшего на носу катера, лицом к гостям, и невозмутимо, подобно Вергилию в Дантовом аду, приглашавшего полюбоваться ужасами черной клоаки. И хотя пассажиры путешествовали в поисках впечатлений и понимали, что яма, по которой плыл катер, на всю жизнь останется сильнейшим впечатлением, они почти с мольбою посматривали на штурвального, слишком добросовестно исполнявшего свою работу и чересчур медленно ведущего судно: задохнуться и потерять чувство не хотелось даже самым любопытным.

Наконец, миновав один за другим горбатые мосты, катер выбрался на свет. Опять возникла впереди отрадная даль широкого канала, опять усмехнулась по сторонам зелень. Вздохнув глубоко, Рогов повернулся к Клавдии Андреевне. Она сказала:

— Это был задний двор гетто, его помойка. Мы должны теперь посмотреть парадные лестницы. Мы пойдем на Ватерлооплейн. Там сейчас базар.

Они почти не разговаривали, только в самом начале поездки, во время короткой стоянки под мостом, когда вдруг стало зябко и сыро, Клавдия Андреевна спросила:

— Правда, как в Питере? Где-нибудь у Конюшенной площади, на Мойке.

То, что они были из одного города, прелесть которого напоминали набережные, лестницы, ограды его западного прообраза, — делало их общение простым и занятым. Их развлекало, что они молча понимали друг друга, увидев на каком-нибудь доме старенький барельеф с морским сюжетом. Им нравилось, что без сговора их мысли перекрещиваются на одном и том же. И, однако, для Рогова все кругом было пронизано еще не разгаданным значением новизны.

Они вышли из катера на набережной Рокин, в центре города, и, перед тем как отправиться в Иоденхук — еврейский квартал, — решили подкрепиться. Они пересекли насыщенную движением площадь, многокрасочную и щедрую перспективами, овеянную звоном и голосами сигналов, и очутились в улице, в которой внезапно исчезло все: люди, краски, звуки. Это была даже не улица, а щель между высокими домами, старательно вымощенная снизу и, как колодец, годная для наблюдений за заездами при дневном свете. В глубине щели, над дверью, приклеенной к освещенному изнутри окну, они увидели вывеску прославленной ликерной. Они вошли. Лавочка напоминала стародавнюю аптеку, полки ее отягощались бутылками с жидкостями бесконечного разнообразия цветов. Батальоны рюмок послушно окружали женщину за стойкой.

Клавдия Андреевна попросила налить Болса. Поднимая рюмку, она сказала:

— Ликер называется Трипл-сек-Болс. Его секрету три с половиной столетия. Только.

— За что же выпьем? — спросил Рогов. — За секрет Болса? За три с половиной века? Или за то, что

по ликерам вы такой же отличный проводник, как по Амстердаму?

— Я — плохой проводник. Я — ученица своего мужа. Он живет легко и учит меня жить так же.

— Другими словами — за мужа?

Она не ответила, но Рогов увидел ее скрытую рюмкой улыбку. Ликер обжигал горло вкусным, душистым пламенем, на минуту заглушая все ароматы, наполнявшие лавку. Потом ожог исчезал, и опять становились слышны смешанные запахи пряных масел, пары спирта, которыми были продублены прилавки, вековые стены, бочки, расставленные по углам. Из заслуженных двух сотен сортов ликеров они попробовали еще два: листовано-зеленый, вроде деревянного масла, и ярко-янтарный, как смола. Ликеры расцвечивали мир, преломленный стеклом рюмок, в детски лакомые оттенки. Сквозь солнечную игру этого мира, приподняв рюмку вровень с глазом, Рогов поглядел на Клавдию Андреевну. Ее голова крошечным дробным пятном повторялась во всех гранях стекла. Рогов протянул свою рюмку, и, опять улыбувшись, его спутница чокнулась с ним.

На улице она спросила:

— Вы как будто встретились с покойной Еленой в Норвегии?

— Да.

— Правда, я на нее похожа?

— Кто мог вам сказать?

Заглядывая ей в лицо, Рогов почти взволнованно ждал ответа. Он немного обогнал Клавдию Андреевну, чтобы удачней сличить ее черты с обликом, настойчиво державшимся в памяти.

— Что с вашей ногой? — вдруг вместо ответа услышал он.

— Скучная история, — буркнул Рогов, сразу замедляя шаги, — как-нибудь после, успеем.

— Вы думаете — успеем?

Они переглянулись быстрым вопросительно лукавым взглядом, потом уличная жизнь перервала их болтовню.

Перед ними открывались набережные и переулки, замысловато сцепленные в каменный узел. С каждым шагом в глубь этого узла возрастал жизненный темп. В горячей спешке люди выбегали из домов, семенили по тротуарам и мостовым, катились на велосипедах, тревожно треща в звонки, как будто где-то поблизости случилось несчастье. Местами, на небольших площадках, свободных от суеты, роились дети, забавляясь играми с увлечением и непринужденно, как под кровлей дома. Из-за угла трое мужчин, впряженных в лямки, вывезли на тележке орган — величественный, благоговейно убранный, точно чертог Иеговы. Один взялся обеими руками за колесо органа, двое других, не теряя времени, отправились с эмалированными чашечками собирать даяния. Басистой мощью труб, составленных по фасаду чертога как церковные свечи, орган выдувал совсем нецерковный вальс. Девочки еврейки, женственно обнимаясь, кружились по мостовой. Число пар росло, кудри всех оттенков развевались в воздухе — от чернильно-вороных до бронзово-красных, — монетки уже весело позвякивали в чашках. На миг остановившись и с чувством откашлявшись, инструмент перешел на чарльстон. Юные пары заходили взад и вперед, подражая взрослым и мгновенно наполняя клочок улицы возбуждением танцзала. Приоткрывались розовые рты, горели несмышленые глаза, подпрыгивали маленькие бедра. Прохожие мужчины начинали заглядываться на танцорок. Тогда орган целомудренно смолк. Чашки неумолимо подсовывались под нос раскрасневшимся девочкам и легко поглощали медяки, может быть минуту назад предназначенные для каких-нибудь высоких целей. Орган двинулся дальше, дети разбрелись по дворам и закоулкам; темп, темп, темп! — как в музыке — властвовал над людьми, все нарастая. Уже невозможно становилось велосипедистам ехать, они соскакивали со своих потасканных машин и волокли их, марш-марш, в бегущей толпе мужчин и женщин. Уже не было разницы между мостовой и тротуаром, и потоки пешеходов завивались в воронку и кружились на месте. Уже казалось, что действительно происходит стихийное

бедствие, что, может быть, пала куда-нибудь египетская тьма и, как из-под руин, надо скорей извлекать из нее несчастных.

Неподалеку стоны и вскрики жестко прорывались сквозь клокочущий гул, подобный разбушевавшемуся морскому прибою.

Прибой начинался за углом. В прибой были кинуты, с горстью других зевак, Рогов и Клавдия Андреевна: в длину всей Иоденбрее-страат простерся перед ними базар гетто.

Что здесь было самое главное? Товары, раскиданные и расставленные на жидконогих столах? Соленодымный аромат копченой рыбы, плававший по всему городу, но тут уплотнявшийся до духоты коптильни? Жадный огонь черных глаз, отыскивающих покупателя? Живое месиво самих покупателей, из которых каждый готов скорее продать с себя последнюю жилетку, чем израсходовать на покупки хоть полцента? Старухи, дрожащими пальцами щупающие на прилавках поддельный шелк? Или библейские пророки, в кольцах серебряных бород, увенчанные котелками и безгневно выпекающие вафли?

Нет. Главным были вопли и призывы купцов. Вопили не единичные купцы и даже не сборище отдельных купцов: вопило все бесчисленное, как песок моря, купечество гетто. Бедность взывала к миру о том, что ей тяжело бедовать. Нищета плакалась, что изношены рубища, и язвами покрылись ступни ног, и некуда пойти за исцелением незрячих глаз.

Бледнолицый торговец пел зажмурившись, покачиваясь из стороны в сторону. Вдруг он переходил на молитвенное бормотанье, потом вскрикивал и, голоса пронзающе-стеклянным альтиком, взывал к базару: «купи-те, ку-пите!» Он кричал, как утопающий, еще не растерявший всех своих сил, но уже ясно увидевший смерть. Крик его переходил в визг — он хотел, он должен был перекрыть клокотание базарного гула, как погибающий хочет преодолеть рев ветра и волн. Он приоткрывал на мгновение веки, чтобы взглянуть, не спешат ли к нему на помощь, и, никого не видя, снова

зажмурившись, в отчаянии и мольбе, чуть не в слезах, запевал ласково и унывно.

Он пел о том, что предосудительно забывать семейные празднества и события, что хорошие нравы требуют внимания к бабушке, которой исполняется восемьдесят лет, к друзьям, у которых серебряная свадьба, к счастливым родителям, которых господь благословил еще одним мальчиком. Не знакомы ли вы с невестой, на днях выходящей замуж? Или — так сказать, наоборот — с женихом, собирающимся жениться? На все такие и, о, на все подобные случаи имеются поздравительные карточки из слюды, из бристольского картона, из целлулоида. Вот они разложены на столе, раскрашенные, позолоченные, с благородными текстами и рисунками. Полюбуйтесь этой дивной красотой: раввин читает молитву над женихом с невестой под малиновым балдахином. И какой текст! — «Мы желаем вам счастливой жизни на долгие годы!» Остается только подписаться... Или обратите взгляд на такую картину: юная мать, прекрасная, как восход, нянчит первенца, и любовно глядят на него папаша и дед, бабушка, тети и дяди, и картина обведена гирляндою алых роз. Цветет жизнь алыми розами, боже мой правый — как цветет!

Так купите же поздравительную карточку, купите!

Купец опять принимался взывать о спасенье, и на щеках у него проступал румянец, и визгливый альт его ненадолго перекрывал вопли соседей, и пересохшие губы, казалось, изо всех сил сдерживали самое уместное слово: то-ну!

Купечество тонуло на глазах всего гетто, бессмысленно цепляясь за соломинку своих призывов. И с безжалостным равнодушием прибой базара грозил, играючи, подхватить прилавки с товарами и, как береговую гальку, бросить их в пучину...

Клавдию Андреевну отмыло в сторону, какие-то спорящие женщины толклись между Роговым и ею, теребя тряпку, похожую на гардину, матрацный чехол и кринолин. Рогов и Клавдия Андреевна должны были протянуть друг другу руки, чтобы дальше дви-

гаться вместе. И Рогов уже больше не выпускал ее руки из своей.

Это было странное ощущение, новое и неожиданное. Рука пряталась в короткой перчатке, а у запястья, там, где вздрагивал пульс, была обнажена узенькая полоса тела полированной гладкости и мягкой теплоты. Пальцы Рогова обнимали, как браслет, эту нежную, наполненную жизнью полосу. И постепенно все его чувства начали средоточиться на одном ощущении, притупляясь ко всему другому, так что он почти перестал слышать крики отчаяния торговцев, и неистовство базара отодвигалось от него медленно, плавно, как берег от тронувшегося корабля. Корабль тронулся в знакомый по воображению мир нежности, полной и нераздельной, прежде существовавший в каком-то юношеском сне. Но сон раскрывался на грани действительности, воспринимаясь внятно, отчетливо и только в одном не теряя сходства с ночной фантазией в неистребимой силе влечения к цели. Нет, Рогов не напрасно приехал в эту страну, в этот город. Тут наступал конец его поискам, или — нет, он ничего не искал! Но в эту минуту он знал, что можно навсегда освободиться от состояния, которое он упорно не хотел называть одиночеством и которое не было ничем иным. С уверенностью он готов был сказать, что ведет за руку существо, недостававшее ему всю жизнь. И он шел сквозь толпу, соприкасаясь, сталкиваясь со множеством людей рукой, плечом, грудью и непрерывно ощущая только единственного человека, ступавшего обок с ним. Ни разу он не ответил на вопросы Клавдии Андреевны невпопад и сам спрашивал ее толково и даже деловито, но позже, когда она с женской настойчивостью высвободила руку из его пальцев, он, словно придя в себя, понял, что не заметил, как они выбрались из толкучки, не помнит, о чем они говорили перед домами мрачной узенькой улицы, забитой людьми не меньше базара.

Он вернулся к действительности недовольный, точно ему не дали сказать что-то крайне нужное, хотя о своем ощущении он не собирался говорить даже Клавдии Андреевне.

Они оставили позади через край переполненный суетою Иоденхук — одно из раскиданных по земле крошечных арендованных отечеств народа, показавшего всему свету примеры нищеты и богатства, — и снова дошли до городского центра.

— Вы устали, — сказала Клавдия Андреевна. — Тут близко от вашей гостиницы. Не провожайте меня.

Ему казалось, что он ничуть не устал, он принял ее слова за новое напоминание о больной ноге и ответил хмуро:

— Хорошо. Устал. Тогда зайдем ко мне?

— Невозможно. Это не у нас, в Ленинграде.

— Выходит, вы живете по-разному: одной жизнью — там, другой — здесь?

— Так же, как и вы. Ведь вы подчиняетесь здешнему порядку?

— Какому порядку? Я хочу вас видеть у себя. Это непорядок?

— Это не принято у голландцев. Я не хочу ослаблять ван Россумов.

— Так.

Он помолчал, заново вглядываясь в ее лицо.

— Как вообще случилось, что вы стали голландкой? — спросил он.

— Как я стала голландкой?

Клавдия Андреевна засмеялась.

— Ну, это длинная история... Как-нибудь после. Успеем...

— Вы думаете — успеем? — тоже смеясь и припоминая ее недавнее понравившееся ему кокетство, сказал Рогов. — Ну, что ж...

Он протянул, прощаясь, руку.

ХVII. ПРИМЕРНЫЙ ВИЛЛЕМ

Из буфетной винтовая лестница вела в маленькую комнату, смежную с кухней, в нижнем этаже. В углу комнаты стояла изразцовая лежанка, всегда теплая от соседней плиты. На лежанке, забившись в угол, на

старом стеганом одеяле, облепленном шерстью, сидела, сгорбившись, Йогели — маленькая обезьяна с голой розовой грудью, в рыжей тонкой шерсти на животе, морщинистая, тихая. Сцепив на затылке черные руки, пятерню в пятерню, она грустно, мутным взором, следила за мухой, бродившей по стенке.

Филипп спускался по лестнице, подняв над головой руку и крепко держа маленькую горячую кисть Клавдии Андреевны, шедшей следом. Предосторожность была лишней, потому что винтовые ступеньки ему давались не легко, а она шутя сбегала бы вниз, если бы шла впереди. Но через каждые три-четыре шага он пожимал ей пальцы и просил побережься.

Йогели расцепила пятерни, выпрямилась и зорко взглянула — что принесли? Филипп дал ей банан. Она взяла, привычно отодрала от корки одну тонкую ленточку, но тут же сунула банан в угол и скучно вытерла ладони об живот.

— Она ничего не ест, — проговорил Филипп, — и все время вот так тоскует. А ведь от природы — непоседливый зверек. Она из нашей Гвианы, из Парамарибо.

— Давно она у вас?

— Около года. И пока была... пока не уехала Елена...

Вдруг Йогели в один скачок очутилась на краю лежанки. Клавдия Андреевна, вскрикнув, отпрянула от обезьяны.

— Не бойтесь! — успокоил Филипп. — Подойдите к ней.

На Клавдии Андреевне был английский костюм, она держала руки в карманах жакета. Йогели вытащила ее правую руку из кармана и проворно пошарила в нем, пофыркивая и возбужденно морща лоб.

— Что у вас в кармане?

— Да он пустой.

— Дайте ей что-нибудь, — засуетился Филипп, — вот, дайте орехов.

Он бросился к окну, схватил кулек и, разворачивая, подал его Клавдии Андреевне.

— Вот, вот!

Она протянула на ладони несколько китайских орехов. Зубами и пальцами Йогели притко расправи-лась с кожурой орехов и засунула очищенные яд-рышки за щеку, про запас. Исподлобья разглядывая Клавдию Андреевну, она неожиданно прыгнула к ней, цепко обняла ее и, прижимаясь к груди, жалко запи-щала.

— Поразительно! — воскликнул Филипп.

Клавдия Андреевна стояла растерянная, не дове-ряя обезьяне, боясь оттолкнуть ее, не чувствуя ника-кого желания приласкать.

— Погладьте ее! — не унимался Филипп. — Пора-зительно, поразительно! Я говорю, возьмите ее с со-бой. Я хочу, чтобы вы взяли. Прошу вас. Она погиб-нет здесь... без Елены. Они были такие друзья! Возь-мете? да?

— Я подумаю, — нехотя отозвалась Клавдия Ан-дреевна.

Она попробовала отцепить обезьяну, но Йогели не разжимала пальцев, попискивая и дрожа. Филиппу пришлось ударить ее. Она отскочила в угол, оскали-лась и закричала.

Клавдия Андреевна с каким-то осадком раздраже-ния пошла наверх. Филипп торопился за нею. Необы-чайно близко, прямо перед его глазами, мелькали ее ровные, хорошо сложенные ноги. Лестница показ-лась ему чересчур короткой. Он приговаривал:

— Тихо... тихо... осторожно...

Когда они входили в столовую, горничная, разыскивая их, появилась в другой двери и доложила, что пришел Рогов, не пожелавший войти в дом, так как уже подан автомобиль и пора отправляться.

Они с утра условились поехать в Лейден. День выдался ветреный, облачный, но не холодный, барометр клонился к дождю, и следовало поспешить.

Виллем начистил «Розу» до такого блеска, что она ничем не отличалась от рекламных автомобилей, показываемых мировыми фирмами за зеркалами вы-ставочных окон. По обыкновению, перед поездкой он обходил вокруг «Розы», испытанным глазом прищури-ваясь на ее лоснящиеся части. Он был важен —

с окурком пахучей сигары в оттопыренных губах, с ярким воскресным галстуком, в зеленых чулках до колен и туфлях на резиновой подошве. Иную секунду важность переходила в торжественную сосредоточенность, и Виллем напоминал человека, только что получившего благословение на подвиг.

Рогов, наблюдая за ним, не сразу решился заговорить.

— Я читал, на сегодня объявлена забастовка шоферов?

— Да, мэнэр, я слышал тоже, — свысока ответил Виллем.

— Но я не заметил, чтобы на улицах было меньше автомобилей, чем всегда.

— Люди слишком трудолюбивы.

Ухмыляясь, Виллем пососал окурочек, потом выдернул его изо рта и щелчком швырнул через дорогу, в канал: из подъезда выходили Филипп ван Россум с Клавдией Андреевной.

Пока они здоровались с Роговым и усаживались, Виллем незаметно расположился за рулем, молчаливо-спокойный, готовый, как механизм, к работе.

— Поедем через центр? — почему-то спросил Филипп.

Ему не ответили, он протелефонировал Виллему, «Роза» поплыла.

Едва они выехали на Дам, как Виллем должен был затормозить. Происходила какая-то бестолочь на всей площади: трамваи стояли нескончаемыми омертвелыми поездами, автомобили беспомощно толклись на месте, полисмены цепочкой пробежали между кузовов такси и кучкой пешеходов, вышколенно согнув в локтях руки. Виллем пробирался сквозь толчею, маневрируя осторожно и упрямо. Понемногу дело становилось ясным: таксомоторы мешали движению, запружая на перекрестках выходы с площади. Лучше всего было бы повернуть назад, но там уже заплетались хвосты автомобильных очередей. Полиция стягивала силы, кирпичнолицые офицеры, выпячивая животы, предвкушая, точно знатный ужин, победу, жмурились, откашливались, подергивая усами. Но

пока перевес был явно на стороне беспорядка. Шоферы, бросив автомобили с открытыми дверцами, раскуривали трубки и сигары, словно в кафе, трамвайные пассажиры, топчась у подножек вагонов, громко доказывали друг другу, что никто не имеет права мешать им ехать куда нужно.

— Чего, собственно, не хватает господам шоферам? — сказал Филипп, вскидывая брови и смотря через стекло на толпу.

— Я здесь чужой и не совсем понимаю, в чем дело, — улыбнулся Рогов. — Вероятно, они хотят слегка увеличить свой заработок?

— Разве кто-нибудь мешает их желанию?

Рогов взглянул на Клавдию Андреевну. В ней было в этот момент какое-то сходство с Филиппом, точно их объединяла одна мысль.

— Вы считаете, что заработок шоферов достаточно? — спросил Рогов.

— Я не имею по этому поводу мнения, — осмотрительно, будто давая ответ суду, сказал Филипп. — Я знаю, что мои шоферы зарабатывают довольно.

Всю площадь стало охватывать истерическое возбуждение: трамваи неустанно звонили, гудки сирен, трещотки, свистки, людские крики соединились в устрашающий хор. Скопище вагонов и автомобилей дрогнуло, зашевелилось, в середине его наметилась сплошная полоса медленного, но непрерывного движения. Полиция добивалась своего: она разгрузила главную магистраль, заставив шоферов двигаться прочь от площади в одном направлении, очистила от автомобилей трамвайные пути и не давала остановиться возникшему потоку, силой поддерживая и ускоряя его течение. Полисмены вскакивали в такси, насильно сажали за руль шоферов или сами брались за рычаги и с проклятиями давили педали и нажимали кнопки сигнальных гудков.

Виллем тронул вместе с другими автомобилями, зашевелившимися по-черепаши, «Розу» и начал осторожно обходить маленький таксомотор. От его руля на мгновенье оторвался могучий детина.

— Алло, Виллем, — крикнул он, стараясь высунуться в узенькое окно, — хет ис тейд! Пора!

Он помахал маслено-желтой рукою. Виллем сидел не шевелясь, аккуратно продвигая вперед «Розу». К таксомотору подбежал полисмен, рубанул одной рукою в воздухе, показывая направление, другую — засунул для убедительности в окно к шоферу.

С помощью предупредительных блюстителей порядка «Роза» выбралась из толчеи, миновала новую биржу и уже на свободной улице, там, где можно было наконец дать скорость, неожиданно-псгаданно подкатила вплотную к тротуару и остановилась.

Виллем обернулся, отодвинул стекло, разделявшее внутренность автомобиля, снял с головы кепку.

— Мэнэр, в двенадцать часов началась забастовка шоферов...

— Какое вам дело до забастовки? — тихо, но с злым нажимом на каждом слогe произнес ван Россум.

— Мэнэр должен извинить меня...

— У кого вы служите, дружище? — перебил Филипп. — У арендатора такси или...

— Я солидаризуюсь, мэнэр, — пробормотал Виллем, распахивая дверцу и вываливаясь на тротуар. — Я не хотел оставить вас на площади, в этой каше...

— Вы рехнулись, черт вас побрал! — крикнул Филипп.

— Я состою в союзе, — вразумительно заявил Виллем, одергиваясь и собираясь надеть кепку.

— Сожалею, что не знал этого раньше! Убирайтесь вон!

Филипп привскочил, ударился головой об верх, смял шляпу. Багровый, потерявший свою ловкость, задевая дверцу локтями и коленями, он вылез наружу. Виллем важно обкусывал кончик свежей сигары, отступив от «Розы» на два шага.

— К дьяволу! — хрипел Филипп, забираясь на место шофера.

Одутловатости его щек, сразу выросшие в мешки, дрожали, он все больше наливался кровью. Прохожие

глазели на скандал. Виллем достал из кармана спички.

Филипп быстро включил мотор. Первые метры езды внесли некоторое успокоение. Тогда Филипп вспомнил, что он не один, что свидетели его беспомощности и бешенства молча едут с ним в автомобиле. Полуоборачиваясь, он сказал с насмешкой и злым презрением к своей остроте:

— Рука Москвы!

Он засмеялся, хотя ему хотелось обругаться последними словами. Он попросил Рогова прикрыть стекло и дал запретную в городе скорость.

Рогов опять посмотрел на Клавдию Андреевну и изумился: она насилу сдерживалась от смеха, то заглядывая через стекло в лицо ван Россума, то отворачиваясь. Рогову тоже стало смешно. Как на уроке сердитого учителя, когда нельзя смеяться, так было им здесь — во вместительной, холеной карете мерседеса, позади зеркального стекла, за которым в безукоризненно выделанном траурном пальто, в черной смятой шляпе, строго и надменно восседал оскорбленный ван Россум. Мучительно и сладко разбирал смех — и надо было сохранять пристойность, строить напыщенно-серьезную мину, чтобы хозяин кареты, вдруг обернувшись, не оскорбился еще больше.

Но он не мог обернуться. Среди равнин польдеров он гнал автомобиль по полированной глади дороги, какую-то часть мысли и чувств объединив со скоростью машины, механически готовый к неожиданностям езды. Другая часть его сознания все еще переживала оскорбление. Он не мог понять, откуда к нему явилось воспоминание о широкой спине сидящего перед ним человека в синей, масленисто-потной рубаше, в ременных подтяжках, лопнувших и сшитых дратвой. Спина была круглой, покатые лопатки выступали железными скобами, мышцы рук не спеша подергивались, растягивая закатанные в браслеты рукава. Филипп ван Россум в воображении своем давным-давно уволил Виллема от службы, выгнал его за ворота, написал о нем в аттестате, что он бесчестен, насладился его унижением, раболепством, нищетою, перестал о нем

думать. Давным-давно, будь он сто раз проклят! Но спина маячила перед глазами, и в мозгу ныла глупая фраза: «С ними надо быть поближе, поближе, черт возьми, в конце концов им доверять свою жизнь!»

— К дьяволу! — еще раз и с наслаждением прохрипел Филипп и надбавил километров...

— Я сначала думал, что вы сочувствуете ему, — сказал Рогов.

— Моему дядюшке?

Клавдия Андреевна наклонилась вбок, чтобы еще раз взглянуть на Филиппа: стекло отсвечивало, но все же Филипп был виден — в смятой шляпе, надвинутой на уши.

— Ван Россумы ужасно потешны, если у них какая-нибудь незадача, — засмеялась Клавдия Андреевна.

— Они привыкли, чтобы им все удавалось?

— Вероятно. Не знаю. Франс даже злится смешно. К ним идет, только когда они спокойны или веселы... А мое сочувствие...

Клавдия Андреевна с задором потрянула головой:

— Вы, конечно, сочувствуете забастовщикам? Помоему — ерунда. Буря в стакане воды.

— Это уже не сочувствие, а оценка. Если бы буря была побольше, вы переменили бы к ней отношение?

— Выходка Виллема бессовестна и груба, — обидчиво проговорила Клавдия Андреевна. — Он обязан был сказать о стачке перед поездкой. И не ехать. А так — ужасная гадость.

Она помолчала немного, глядя в окно на далекую линию ветряных мельниц, в струнку расставленных по каналу и с веселой спешкой, наперегонки махавших крыльями, жилисто-прозрачными, как у стрекоз. Не отрываясь от окна, почерствевшим голосом она отрезала:

— И вы совершенно правы: я сочувствую Филиппу Федоровичу, потому что Виллем — свинья.

Она резко повернулась к Рогову.

— Что вы так смотрите? По-вашему, конечно, нельзя сочувствовать ван Россуму? Да? Симпатии к таким людям, разумеется, подозрительны, так?

— Ваши симпатии к ван Россуму естественны, — сказал Рогов с такой осторожностью, что сам себе удивился.

— Ну, конечно, вы должны найти какое-нибудь «родовое» объяснение, — ухмыльнувшись и вскинув брови, воскликнула Клавдия Андреевна. — Но ведь не в том же дело, что я — тоже ван Россум! Дело... Вы извините меня, — быстро смягчилась она, — может быть, вы и не так думаете. Но в корне неправильного отношения к ван Россуму всегда лежит одно и то же: что вот он — капиталист, а капиталисты — наши враги: значит он — наш враг, значит симпатии к нему — измена! Ужасно!

— Чьи — «наши» враги? Чей — «наш» враг? — спросил Рогов.

— Ну, наш враг, — враг русских! Но ведь это неверно! Неверно и несправедливо! Я отлично знаю, что ван Россумы — друзья Советской России. Спросите у Франса, сколько пользы они нам приносят. Сколько принесли и сколько еще принесут!

— Кому — «нам»? — опять спросил Рогов.

— Нам, русским! И само собой — советским русским, никаким другим.

— Я спрашиваю, потому что ведь вы-то — иностранка, не русская...

Клавдия Андреевна забилась в угол. С испугом и отчаянием она в упор смотрела на Рогова, будто только таким взглядом могла выразить свое изумление.

— Как глупо! — едва слышно сказала она. — Боже мой, как глупо!

— Может быть, уж и не так глупо, — заметил Рогов, словно извиняясь и в то же время с каким-то упрямством. — Ведь вот насчет пользы вы думаете совершенно как ваш муж, иностранец.

— А по-вашему, ван Россумы приносят вред?

— Ну, нет. Разумеется — пользу. Им, так сказать, ничего другого не остается. Их допускают приносить только пользу. И потом — им выгодно делать нам полезное, это внушительно окупается. Словом... тут

скорее достоинства советского строя, чем... простите, благородство ваших родственников...

Клавдия Андреевна не ответила. Она снова отвернулась к окну. Понемногу лицо ее сделалось спокойным. Да и стоило ли волновать себя химерами человеческих противоречий? Люди спорят из-за слов, пустых, как дутые пуговицы. Когда же дело доходит до желаний, до инстинктов, разница взглядов исчезает, будто дым. И тогда, неприкрытый кудряшками и завитками домыслов, голый, как Адам, человек предстает во всей простоте жалкой обезьяны. Попробуй сказать это вслух: какой ропот подымется вокруг, как примутся все умничать, с каким ханжеством начнут изобличать отсталость, ложность, пошлость такого взгляда! Зряшные речи! Женщину не обманете! Как раз женщине хорошо известны превращения мудрецов в обезьян. Особенно — красивой женщине, — такой, как я, Клавдия ван Россум, — молодой и привлекательной, — превосходно знакома ничтожность человеческих противоречий. Всё, и всегда, и у всех кончается желанием обладать красотой и поклонением перед нею. А сколько напустословлено хотя бы о красоте! О том, что она не вечна, и что понятия о ней условны, и что как таковой — или как это называется? — ее не существует, и еще что-то на сто мудреных ладов, так что и я, за свой малый век, наслушалась досыта. А ведь очевидно: тысячи лет назад был и вперед на тысячи лет будет единственный источник представлений о красоте — природа. Вот с таким небом, как сейчас, за окном автомобиля, с такой равниной... Дальняя видимая черта равнины, водянисто-туманная, живая от дробной смены освещения, переходит в белую полосу. Полоса растет, зеленеет. Зелень размягчается в голубизну, которая медленно набирает силу, становясь гуще и гуще, и вдруг сжимается до лазури и лазурным взмахом летит вверх. Там, в высоте, бегут белые поезда облаков, наспех сцепленные ветром, безболно сталкивающиеся и налезające друг на друга. Равнина внизу потягивается и сонливо выдыхает бледные туманы своих неисчерпаемых вод... Сколько раз люди видели

это простое соединение земли с небом? И всякий раз, увидев вновь, смотрят на него остановившимся взором. Значит, есть же на свете что-то бесспорное? Пять человеческих чувств, желания, страсти. О да! И незачем, незачем все это опреснять тоскою умствований и фраз, фраз — какая скука!

— Какая скука! — вслух повторила Клавдия Андреевна. — Все слова, слова, слова!.. Я иногда завидую кошке или еще какому зверю... не знаю, обезьяне! Завидую обезьяне...

Она отвернулась от окна и нацелилась на Рогова так, словно решала: что получится, если она его подразнит?

— Мне сегодня Филипп Федорович подарил обезьяну покойной Елены. Хочет, чтобы я взяла с собой, в Ленинград.

— А вы что?

— Я думаю взять.

— Вот и хорошо. Все порядочные барыни ходят с мартышками.

Рогов внимательно глядел в глаза Клавдии Андреевны. Нельзя было понять, как она ответит. Серьезность, досада и нерешительность вперемежку высвечивались в ее взгляде.

— Ну, и ладно, барыня! — вздохнула она, помолодому застенчиво отводя глаза.

Потом улыбаясь, мягко договорила:

— Слушайте, барыня расскажет вам свою историю. У нас есть еще время. Хотите?

— Да.

XVIII. МАРШ БИЗЕ

Только часть сознания Филиппа была объединена со скоростью автомобиля. Другая, бо́льшая часть оставалась свободной и, пережив, перемолов раздражение против Виллема («спина — почему, откуда спина в ременных подтяжках, с лопатками, похожими на железные скобы?»), принялась извлекать беспокойство из каких-то неожиданных тайников, о суще-

ствовании которых у себя Филипп не знал. В зеркальце, прикрепленном над стеклом перед сиденьем шофера, Филипп видел Клавдию и Рогова. Она что-то рассказывала увлеченно. Черта, поражавшая в ней, — стремительная жизнь мимики, — в зеркале становилась необыкновенно наглядной. Всякий раз, вскидывая глаза, Филипп встречал в нем новое лицо Клавдии — удивленное, обиженное, ласковое, смеющееся, злое. Рогов рядом с нею казался однотонным. У них была общая тема, ясно. Они отлично находят, о чем говорить. Они, вероятно, смеются над тем, как негодяй Виллем одурачил Филиппа ван Россума на улице Амстердама, у самой биржи, где каждый прохожий знает «Розу», знает Филиппа в лицо. Их, вероятно, злит, что они не могут остаться наедине, что спина Филиппа все время торчит у них перед глазами. Может быть, Рогову ненавистна эта спина так же, как Филиппу — чья-то неотвязная спина в ременных подтяжках? Что ж! Пусть и у Рогова будут кое-какие неприятности. Не все же удовольствие. Филипп охотно поменялся бы с ним местами и посмотрел, каков вид у молодого человека за рулем. Филипп раскаивается, что сам попросил задвинуть стекло и теперь ничего не слышит из щебетанья Клавдии Андреевны. Конечно, молодых людей сближает то, что они — земляки и у них общие взгляды — взгляды большевиков. Все русские в конце концов — большевики, в этом Лодевийк вряд ли ошибается! Филипп ван Россум катает в своей комфортабельной «Розе» большевиков. Естественно. Кто сказал «а», должен сказать «б». Нельзя торговать с Советами и не общаться с их агентами. Агенты, черт возьми! Агенты большевиков, рука Москвы. Да. Какая только дрянь не лезет в мозг, когда видишь рот молодой женщины, которая смеется другому! Другому! Другому следовало бы быть скромнее и отложить слишком задушевную беседу с Клавдией Андреевной до следующей встречи. Ведь встречи происходят довольно часто. Даже слишком часто. Так вот, пожалуйста, в следующий раз! А не сейчас, не на глазах у Филиппа, не в его автомобиле. Да, уж пожалуйста! Хорошо

еще, что автомобили не знают усталости, что давно позади скрылись польдеры Гарлемского моря и мелькают последние марши Старорейнской долины. Хорошо, что Лейден мчит навстречу свои слепленные в пригоршню крыши, хорошо, что скоро конец, выходить...

И вдруг, вдруг Лейден решительно разрушает мрачные ожидания Филиппа. Магически открываются перед ван Россумом нечеткие, но увлекательные дали, и он толково начинает смаковать бытие.

В Лейдене, на краю города, Филипп сдал «Розу» в гараж-мастерские. Два подмастерья, предвкушая невредные чаевые, рьяно схватились за тряпки, на-сандаливая запылившиеся лаки и полировку автомобиля. Хозяин гаража вкрадчиво осведомился об амстердамской стачке.

— Бастуют все болваны! — с жару отхватил Филипп.

Он так и двинулся от гаража, все еще распаленный недовольством и раздражением. Но тут он заметил, что разъединяет собою Клавдию Андреевну и Рогова, что они маршируют по его бокам, что это не он как-нибудь нечаянно разделил их, а они сами добровольно выбрали его перегородкой. Он прикинул на глаз по очереди — сначала Рогова, потом Клавдию Андреевну. «Эге! — вот оно что! Неважные вы актеры, молодые люди, переживания так и просятся у вас наружу: задушевное щебетанье в автомобиле кончилось неполадками. Посмотрим, что будет дальше!» Филипп попробовал заговорить. Обнаружилось, что оба готовы трещать с ним о всякой чепухе, но между собой — ни слова. Тогда он почувствовал себя как скрипка, которую настраивает хороший музыкант.

Он принялся высыпать, вываливать из себя все, что когда-нибудь слышал о Лейдене, всем телом, всем существом участвуя в своих рассказах. Это были гимны архитектуре, славословие войнам, оды герцогам, торжественный реквием Рембрандту ван Рейну. Забравшись на крепостные валы кольцевидного Бурхта и показывая на окрестности женственно-

уютного города, Филипп ван Россум пропел целую былинку об осаде Лейдена испанцами в шестнадцатом веке. Несмотря на почтенную давность события, он живо изобразил, как по адмиральскому приказу лейденцы пробивают плотины каналов и как испанские орды бегут, по пятам преследуемые страшной стихией вод. Он наслаждался позором бегущего врага; он собственноручно подымал затворы шлюзов, отрезая отступление ненавистным войскам; он поистине ненавидел эти войска — никто не знает, какими они казались его воображению: может быть он отрезал отступление дивизиям и корпусам Рогова, может быть полки московских большевиков тонули в расшвирупевших волнах, и утопающие красные командиры соглашались на любые условия ван Россума. Вдохновенный стратег, он простирали над Лейденом руку, будто демон-искуситель предлагая Клавдия Андреевне требовать, что она хочет, и великодушно отвечал на вопросы Рогова, давая понять, что вот вы, молодой человек, сейчас обнаруживаете похвальную скромность, а на что вы столь дерзко покушались, находясь tête-à-tête в автомобиле вот с сей юной леди?..

За осмотром Сан-Панкратиус-керк, перед памятником бюргермейстера ван дер Верфа — действительного защитника Лейдена от испанцев — ван Россум все еще купался в зефирах патетики, все пел и пел. Клавдия Андреевна сказала, что ему недостает знаков отличия бюргермейстера: в них он был бы современным ван дер Верфом.

Он сбавил тон, но благодушие не покидало его, он перешел на лирику.

Прогулка располагала к лирике, как мягкое кресло — к дремоте. Улицы были игрушечные. Ребятишки грохотали деревянными чеботами по асфальту. В ряд с домами на каналах попадались ветряные мельницы, похожие на женщин в кринолинах, узенько перетянутых в талии. Обвисшие паруса барок дожидались ветра. Длиннотелые баржи проталкивались вдоль Старого Рейна шестами. Когда разводились переброшенные через каналы древние подъемные

мостики, перед их вздернутыми на цепях створами накапливались велосипедисты и прохожие, неторопливые, как сельчане. Здесь Филиппу подвертывался случай отметить с довольным вздохом устойчивость родной культуры: если бы не велосипеды и не асфальт, чем отличалась бы лейденская идиллия от того, что тут происходило триста, четыреста лет назад? Звонко топочут деревянные башмаки, булькает шест в канале, сторож ревностно смотрит, чтобы баржа не сорвала мостовых механизмов, хозяин баржи, рейнский немец, растопырив ноги и косясь на толкачей-матросов, бреется без зеркала половинкой бритвы. Сейчас потянет зюйд-вестом, и ветрянка замашет крыльями, выполняя свой извечный урок перекачивания воды из нижней ступени канала в верхнюю. Филипп ван Россум умилялся: мир и тишина господствовали в человеке! Перед цветочным магазином, перечисляя названия луковичных растений, Филипп довел свою растроганность до мыслимой чувствительной формы и, совсем прибеднившись, вздохнул:

— Луковки тюльпанов понемногу подкармливают наше маленькое королевство.

— Этим главным образом заняты ваши колонии, а не тюльпаны, — возразил Рогов.

Но даже такое чужеродное вторжение не могло расстроить Филиппа.

Они вернулись к гаражу. «Роза» дожидалась их, блестя и лучась, по-женски готовая покорять. Чумазые физиономии подмастерьев выглядывали из-за кузова. Хозяин мигнул им — прочь! — деньги уже звенели в его кармане.

Филипп мчал назад. Изредка он подымал глаза в зеркальце. Все было в идеальном состоянии: Рогов и Клавдия Андреевна набрали в рот воды. Филипп посвистывал от удовольствия — фьють-фи-фи-фи-хи-хи-хи — достолавный марш Бизе.

По Амстердаму можно было лететь без задержек: автомобили попадались редко, как перед войной. У подъезда дома дежурил помощник Виллема, младший шофер. Он распахнул дверцу «Розы» и сказал:

— Мэнэр, вам не пришлось бы сидеть за рулем, если бы вы взяли в поездку меня.

— С нынешнего дня вы на должности Виллема, — тоном маршала объявил ван Россум.

Рогов поблагодарил за прогулку и без малейшего различия попрощался с ним и Клавдией Андреевной.

Тогда ван Россум молодо вошел в дом.

— Фьють-фи-фи-фи! — засвистел он, на глазах у Клавдии взбегая по высокой лестнице. — Гоп-гоп!..

ХІХ. ИСПЫТАНИЕ АЛМАЗАМИ

Фрау Мария Криг занималась перематыванием шерсти, распялив моток на спинках кресел и вертя в руках клубок. Холмы разношерстных вязаний пухли на столе и подоконнике. Филипп поцеловал дочь в темя.

— Жалко, что ты не поехала с нами. Прогулка чудно удалась.

— Мне сейчас не хочется развлечений, — врасстяжку сказала Мария. — Ты слышал что-нибудь о Гольцапфеле? Нет? Это — новый предтеча.

— Чего?

— Предтеча новой совести. Рудольф Мария Гольцапфель. Не слыхал? Я недавно была на лекции о пан-идеале. Исследование глубин человеческой души освобождает ее созидательные силы. Новый искупительный путь показан устремлениям совести, религиозным исканиям, творческим мукам. Открыты врата духовному строительству и возвышенной борьбе на общее благо.

Она размеренно поводила пухлыми руками вокруг кресел и вертела клубочек. Она была пышной и мягкой. Она говорила, как будто прочитывала объявление — однотонно и без запинок.

— Я хочу прослушать весь курс, когда вернусь домой.

— Не лучше ли немного спорта? — озабоченно предложил Филипп. — Ты полнеешь.

— Одно не может заменить другого, папа!
— Я понимаю. Я думаю хотя бы соединить...
— Это возможно. Зимой и, пожалуй, летом — спорт, осенью — пан-идеал.

Она сосредоточилась. Филипп не сводил с нее глаз.

— Смерть Елены... — начала она.

— Не надо, — грубо сказал Филипп.

— Наше духовное вооружение мизерно. Мы пренебрегаем им. В это время растет мировой порок большевизма.

Филипп взмахнул руками и присел на краешек кресла.

— Странно. Почему именно сегодня?

— Я всегда размышляю за рукоделием. Когда вы ездили, мне показалось... я вообразила, что Клавдия может быть тоже...

— Фантазия! — выкрикнул Филипп.

— И этот Рогов...

— Мне нет дела до Рогова. Кто такой Рогов? Пыль? Сор? Ветер? Пустота? Пошади, мой друг! Ты видела, что я пожимаю ему руку? Это не я. Это деловой такт. Но какое отношение к большевизму может иметь Клавдия? Никогда!

— Почему?

— Потому что... — Филипп поднялся, напыщенный, исполненный уничтожающе холодного укора. — Потому что она совершенно не нуждается в социальной опеке. Она — жена Франса, Франса ван Россума.

Он повернулся и зашагал к выходу.

— Жена Франса, — повторял он про себя, шествуя по комнатам, прикрывая, прихлопывая за собой двери. — Жена Франса. Какое мне дело, что она — жена Франса? Что она чья-то жена?

Двери ахают позади него, замки лязгают сталью и чуть слышно звенят. Он ступает все решительней и быстрее. В коридоре, около маленькой двери, ведущей на половину Елены, он останавливается и, стараясь в каждый удар вложить побольше деликатности, стучит. Тишина. Он стучит резче. Голос Клавдии доносится издалека, емкий и певучий. Филиппу

нужно сказать ей два слова. Она не может впустить его к себе, потому что собирается в ванну. Он слышит, как в мягких туфлях она бежит по ковру. Он говорит, чтобы на полминуты она открыла дверь. Клавдия не может: она, оказывается, уже в пижаме. Так за чем же дело? Это как раз — что ему нужно! Он этого, конечно, не говорит. Нет, нет. И даже не думает. Он никогда не был пошляком. Но он притихает, ухо его тянется к двери. Каким-то чувством, которое тоньше и выше слуха или зрения, он угадывает очертания спины Клавдии. Ему хочется угадать очертания ног. Ему кажется, что он чувствует даже цвет пижамы. Она наверно бледно-бледно-зеленая. Такая была у Елены. Он испытывает приступ отцовской нежности, переходящей в мучительное ощущение. Где-то в груди скапливается боль. Она щемит, делается нестерпимой: он должен, должен взглянуть на Клавдию! Он говорит, что разговаривать через дверь неудобно. Клавдия смеется. Смех ее не похож на смех Елены: женское лукавство преобладает в нем над веселостью. Этот смех берedit в Филиппе что-то новое, не отцовскую нежность, о нет! От нежности не осталось следа. Приступ иной боли, приступ тоски давит его сердце. Филипп не может произнести ни слова. Клавдия окликает его. Ага! Он будет нарочно молчать. Она подумает: «Он ушел», — и отворит дверь. Он ворвется к ней. Этот азиатский план не доходит до сознания. Он где-то глубоко в боли, в тоске, и держится секунду. Сознание на высоте: Филипп шепчет обрывышек подвернувшейся молитвы. Действительно, до чего может дойти многогрешный человек! Он берет себя в руки. Он пришел, чтобы пригласить Клавдию Андреевну погулять с ним вечером по городу. Она соглашается с большой радостью. Он благодарит и отходит прочь с таким ощущением, точно поперхнулся коньяком.

И вот наступает вечер.

Фонари, словно живые, раскачиваются на ветру. Рекламные огни бегают по крышам и карнизам домов. Буквы догоняют друг друга и, выложив слова, пропадают в черной пустоте. Тысяча слагаемых

заключена в большую светящуюся клетку городской площади. Запах пудры, металлическое торканье ресторана-автомата, плач гавайской гитары, хрипение газетчиков, аромат рыбы, кепстена, пота, шарканье подошв, вопли света — голубого, красного, синего, желтого, — сигары, хлородонт, ноги сорока англичанок из ревю, ликер, джаз, рот кинокрасавицы, и окна, окна, окна с моделями трансатлантических пароходов, с бюстгалтерами и корсетами, с сибирскими мехами, с фотоаппаратами Кодак и Лейка, гастрономией, драгоценными изделиями ювелиров.

Ювелиры — традиционная тема Амстердама, которой Филипп касается молодежavo и страстно. Он знает, что заговорит на эту тему, но пока молчит и, довольно подергивая губами, слушает Клавдию. Они идут вдоль магазинов. Сияние реклам радужно оmyвает их лица. Клавдия опирается на руку Филиппа. Нельзя сказать, что между ними разница лет в тридцать пять. У них счастливый вид. И правда, Клавдия уверяет, что она так счастлива. Она счастлива, потому что любит Франса. Он такой простой, такой веселый, такой сильный. Когда он заработается и потом выскочит из кабинета, всклокочив волосы, и начинает приседать на одной ноге, держа другую в воздухе, — он такой смешной и такой милый, что его нельзя не расцеловать. С ним так легко жить. Она страшно соскучилась по нем и скоро, очень скоро вернется в Ленинград. Филипп просит ее не торопиться? Он оживает в ее обществе? Да, но как же Франс, милый Франс? Если бы была зима или весна, когда у Франса мало работы! А ведь сейчас он с утра до ночи пропадает в порту, отправляя пароход за пароходом. Он устает, бедняга, он нуждается во внимании, в заботе, он тоже соскучился... Камни? Драгоценности? О нет. Зачем? Франс столько раз собирался подарить ей украшения, она всегда отказывалась. Она не любит камней. Она просто не представляет, как надела бы на себя эти коварные побрякушки. И к тому же — у нее на родине, в революцию...

— Подождите, — говорит Филипп. — Остановимся у этого окна. Это окно известно всей Европе.

Но она тянет его дальше, посмеиваясь и что-то сочиняя о своем советском воспитании.

— Вы бежите от камней, точно боитесь соблазниться их очарованием, — продолжает Филипп. — Хорошо. Если вам кажется зазорной эстетическая сторона дела, то отнеситесь к нему как к интересной промышленности. Это было бы действительно в советском духе. Промышленность роскоши, эксплуатация несчастных рабочих. Не так ли? Ха-ха! Ну, не буду, не буду. Неужели вы не побывали на наших шлифовальных фабриках? Стыдно! Что же смотрел Франс, когда был здесь с вами? На алмазной бирже — тоже нет? Вы определенно трусите. Нет? Ну, докажите, что нет: пойдемте в магазин. Не хотите?.. Жалко...

Он наконец заговорил с уверенностью, как человек, привыкший овладевать вниманием.

— Париж сейчас претендует на первое место по выделке бриллиантов? Увы! Если говорить о торговых оборотах, то, к сожалению, это так. Но культура камня, искусство оживить алмаз, раскрыть его тайну — в этом мы по-прежнему не уступаем никому в мире. Париж развращен подделками. Там никогда не создастся наше отношение к шлифовальному искусству, наш культ. Да, уверяю вас — культ. Наш мастер рассматривает свой труд как миссию. А в Париже не мастера — мастеровщина. И вояжеры на манер пфорцгеймцев. Знаете такой город — Пфорцгейм? Около Штутгарта. Он весь занят фабрикацией суррогатов драгоценностей, немецкой химией фальшивых камней. Вы понимаете, что германцы не умеют работать плохо или дорого. Они наводнили украшениями весь земной шар. Они делают свои фальшивки так, что магараджи присылают в Пфорцгейм за «самоцветами индийских пещер». Такие немецкие «самоцветы» горят в коронах царьков, попадают в Англии, в Южной Америке, в Сиаме. Их распространяют комиссионеры-продавцы, которые на пфорцгеймском диалекте называются тигерерами. Они работают примерно так, как у вас работали

вожеры в Нижнем, на ярмарке, обегая поутру гости-
ницы и подсовывая под двери номеров визитные кар-
точки своих фирм. Массовое производство нуждается
в массовом сбыте. Поэтому Пфорцгейм обречен. Он
не создаст ничего ценного, он отравлен ядом фальши.
Он делает вещи совершенно как настоящие. Дайте
ему настоящую вещь: она выйдет из его рук совер-
шенно как подделка. В Париже есть сходство с этим
гасителем культуры камня — Пфорцгеймом. Париж
тоже ослеплен подделкой. Ведь подделка в каком-то
отношении лучше подлинника. Как во всяком искус-
стве. Подделка легче понимается, скорее заслужи-
вает признание публики; она внешне живее, эффект-
нее подлинника, наконец — она доступна. Но она
снижает вкус, и, раз упав до уровня подделки, вкус
уже никогда не подымается на высоту мастерства.
В Париже немало настоящих мастеров. Но нет ам-
стердамских традиций, потоки массовых изделий за-
ливают все выдающееся, художественное. Рынок,
отравленный вкусами рыскающих повсюду тигереров,
диктует свою волю, мастера сбиваются, у них нет
никакой опоры, они дают банальщину, гибнут. Ко-
нечно, и в Амстердаме появляются искатели деше-
вого хлеба. Но почва тут для них неподходяща. Наши
мастера, наше купечество, наш город все еще вме-
щают в себе такой запас вкуса и понимания подлин-
ности, что подделка чувствует себя у нас во враже-
ском стане. Наша культура не падает, нет. Состоит
же она в том, что огранка алмазов в фабричных
масштабах не мешает у нас индивидуальному отно-
шению к отдельному камню. Ведь часто искусствен-
ная грань дает бóльшую игру цветов, чем естествен-
ная. Это отношение от шлифовальщика передается
ювелиру. Прежде чем одеть камень в одежду изде-
лий, ювелир разгадывает его содержание. Внешние
приметы камня — его размеры, вес, характер гра-
ней — еще не определяют формы оправы: внутренние
качества решают его судьбу. Не всякий глаз пони-
мает эти качества. Поэтому не всякий ценит их.
Знаете, есть бриллианты веселые, есть грустные. Есть

такие, которые смеются, вроде... вроде вас сейчас. Правда. Посмотрите...

Они незаметно вернулись к лавке, об окне которой Филипп сказал, что оно известно всей Европе.

Ван Россум остановил Клавдию у яркого стекла. Ламп не было видно, и внутренность лавки наглухо скрывалась черной драпировкой окна. Черное сукно обтягивало уступы и возвышения выставки. На черном бархате раскрытых футляров лежали камни.

Филипп молча вглядывался в них.

— Ничего чрезвычайного, — медленно произнес он. — Впрочем, вот...

Он взял Клавдию под руку.

— Видите смарагдовую булавку? Над ней — кольцо? Видите — большой бриллиант и вокруг него ободок из мелких камней? Видите?.. Ну, смотрите отсюда, вот отсюда.

Он крепко прижал к себе ее руку и плечо.

— Вот отсюда кажется, что камень струит непрерывный голубой луч. Правда?.. Видите?.. Отклонитесь теперь чуть-чуть сюда. Ближе ко мне. Еще ближе. Смотрите, как он начал мерцать... как рассыпается разноцветной крошкой, будто он собран из множества зерен... Подвиньтесь немного еще...

Вдруг Филипп обеими руками сжал плечи Клавдии и сказал тихо:

— Зайдем в магазин. Чтобы рассмотреть бриллиант, его надо держать в руке.

Клавдия Андреевна быстро двинулась к двери. Войдя в лавку, она почувствовала удушающую спертость воздуха, закупоренного в четырех стенах. Обитые черной материей и застекленные шкафы были скупно уставлены хрусталем в серебре. Белый свет наполнял эту душную коробку, немой потоком изливаясь откуда-то сверху из-за карнизов.

За прилавком стоял ювелир: лысоголовый, отшельнической худобы человек со старомодной плоской бородой и страдальчески запавшими глазами. Он поздоровался, назвав Филиппа по имени. После его слов стала заметней душная немота окружения — стальной двери несгораемого шкафа, зеркальных

стекло низкого наличника, какой-то скорбной черно-белой пустоты всей лавки.

Филипп сказал:

— Мы хотели полюбоваться вашим искусством.

Продавец прикрыл усталые большие веки. Щелкнув запором наличника, он вынул из-под стекла футляр и раскрыл его.

Клавдия Андреевна и Филипп нагнулись над прилавком.

С этой минуты магазин отстранился от Клавдии, как вещи, переходящие из видимого обихода в воспоминание. Вместе с тем ей стало ясно, что духоты не было, что ей просто причудилось, будто здесь трудно и неприятно дышать. Она чувствовала себя очень легко, гораздо легче, чем обычно. В мире, который неожиданно начал перед ней возникать, ускользнувшую действительность напоминали только сухие, костлявые руки ювелира на краю наличника да холеные ногти Филиппа.

Ван Россум вынул из футляра кольцо. Вправлен был один небольшой камень, круглой бриллиантовой огранки. Свет падал и на коронку и на кулису, все грани были открыты, кружево оправы совсем не мешало видеть все ряды фасеток, бриллиант словно висел в кольце. Филипп посмотрел его на свет: он был совершенно бесцветен, и жар огня возгорался и потухал в нем несчетно. Филипп подал его Клавдии.

— Посмотрите.

Ей показалось, что его голос был заглушен далеким расстоянием. Она взяла кольцо. Непонятной была его легкость. Но это первое впечатление сразу заслонилось другим: откуда-то из неисчерпаемой глубины бриллианта непрерывно выбегал многоцветный блеск и тут же куда-то прятался. Это была крошечная карусель цветов, настоящая игра, баловство света, и если бы Клавдии подставили в этот момент зеркало, она увидала бы, что улыбается.

— Наденьте его, — издали услышала она голос Филиппа. Его руки медленно, точно в волнении или нерешительности, стянули с нее перчатку. Когда он надевал кольцо на безымянный палец ее левой руки,

у ней в глазах ее пальцы перемешались с его. Потом она увидела бриллиант у себя на руке.

Все, что происходило и говорилось дальше, приобрело странную зыбкость. Было похоже на чтение перед сном, когда слипаются глаза и вычитанная история нащупывает какое-то продолжение в дремоте. Книжка тихо закрылась, выскользнула из рук, ее место заступило что-то слишком отчетливое для сна и чересчур расплывчатое для действительности.

Ювелир отодвинул беззвучно тяжесть двери стального шкафа. Тяжело лег большой футляр на стекло прилавка. Костлявые руки священнодейственно открыли крышку и скинули прочь лежавшее под ней плотное покрывало. Из-под него выпорхнуло пляшущее горение камней. Их было много; словно живые, они все время менялись местами, теснясь и рассыпаясь вокруг большого бриллианта. Он был необычайной простоты, будто сложенный из пирамидок, которые выступали наружу треугольниками плоскостей. Спокойно и нежно рассеивал он прозрачные цвета, точно утишал резвую живость своего окружения.

Филипп заговорил с ювелиром. Клавдия расслышала отрывки речи. Большой камень в середине кольца был африканским алмазом, ограненным розеткой. Его окружали розовые бриллианты и восточные рубины. Сквозь какие-то восклицания она уловила, что кольцо стоит столько же, сколько хороший морской пароход, с машинами, с грузом леса и — Филипп шутил — со всей паровой командой! Клавдия, кажется, тоже смеялась: — со всею командою? Неужели?

Потом ее голова с холодающей быстротою опустошилась.

Клавдия побелела. Ее руки свалились с прилавка. Филипп успел схватить ее и оттащить на стул.

— Воды! — вскрикнул он.

Ювелир мгновенно спрятал кольцо в нескораемый шкаф и позвонил. Все стало появляться с поражающей последовательностью, как будто дело происходило не в ювелирной лавке, а в приемном покое:

услужливый молодой человек, вода, пахучие капли для сердца, полотенце. Филипп волновался, ухаживая за Клавдией.

— Вам лучше? — спросил он, когда она начала приходить в себя.

— Пойдемте на воздух, — ответила она, не открывая глаз.

Он помог ей встать и, поддерживая ее, пошел к выходу. Ювелир страдальчески глядел на него. Этот взгляд означал: а кольцо? Филипп утвердительно кивнул. Это должно было означать: я беру его.

Но у самой двери Клавдия вдруг высвободилась из предупредительной руки Филиппа, вернулась, сняла кольцо и положила его на прилавок.

— Извините, — сказала она и, покачнувшись, протянула Филиппу руки.

Он вывел ее на улицу.

Осторожно шагая рядом с нею, он не знал — торжествовать ли ему, или готовиться к каким-нибудь неожиданностям. Она попросила его не говорить, и он довел ее до дома, не промолвив ни слова. Тут оказалось, что Клавдия Андреевна вполне отдохнула и чувствовала себя уже прекрасно: дело заключалось просто в том, что в лавке было невыносимо душно.

— Я испортила прогулку, — сказала она. — Я поднимусь к себе одна. А вы погуляйте еще, чтобы рассеять плохое впечатление.

Филипп внезапно согласился.

Он подождал, когда закрылась дверь, и еще повременил минуту, словно подсчитывая некоторые итоги.

Потом он уверенно зашагал сначала вдоль Принсенграхта, затем плохо освещенными запутанными улицами Иордаана. Он открыл ключом низенькую решетчатую калитку и вошел в сад. Дорожка из светлых бетонных плиток, белевшая в темноте, вела к подъезду, прикрытому деревьями. Он позвонил, над его головою вспыхнула лампочка, горничная выскочила из двери и сделала книксен.

— Не помешаю?

— Мадам будет очень рада, мэнэр.

Он снял пальто, постоял у зеркала, внимательно разглядывая себя. Проходя комнатами, он осматривал и узнавал вещи как хозяин, давно не приезжавший домой.

Услышав его шаги, мадам почти выбежала навстречу. Она притронулась маслянисто-красными губами к его щеке.

— Наконец-то, — шепнула она, — мой бедный...

Он обнял ее. Она была дородной, под стать ему, и он с сочувственным изумлением вспомнил Клавдию: в его пальцах еще сохранилось ощущение ее тонкой руки. Что-то было обременительно-сложное в этой тонкорукой Клавдии, как во всех русских. Бедняге Франсу, наверно, тяжело с ней... Впрочем, черт с ним, с Франсом!

— Мой бедный, — повторила мадам.

И Филипп улыбнулся ей благодарно:

— Правда, я последнее время немного пересутомился.

XX. ЧЕРТЫ ИЗ ДВУХ БИОГРАФИЙ

Ночью у Рогова несносно разболелась нога. Никогда еще не было таких болей. От ступни до бедра разгуливала ломота, ни на минуту не давая передохнуть. Рогов вертелся в кровати. Кости словно сплющивались под давлением тупой тяжести. Тяжесть медленно собиралась в одну точку, где-нибудь в коленке, начинала остро резать, чтобы затем опять расплыться по всей ноге и тупо зажать ее в колодку.

С лекарями было решено кончить. Невеселые хождения по докторским кабинетам и клиникам за границей ничем не отличались от накопленного опыта давно привыкшего к врачам больного. Уныние ремесла штамповало работу медиков одинаковыми приемами. Причину болезни искали либо в нарушении нервной деятельности, либо в каких-нибудь изменениях кровеносных сосудов. И вот повсеместно, за расспросами, выстукиваниями и выслушиваниями,

начиналось: «сядьте»; «вытяните руки»; «закройте глаза»; «скажите — раз, два, три»; «положите ногу на ногу» — и прочее и прочее. Измерялось давление крови, делались лабораторные исследования, и понемногу, само собою наступало время врачам пожимать плечами: со стороны крови и сосудов не обнаруживалось ничего; что же касается нервов, то, вы понимаете, — в наше время... А нога терзала Рогова все сильнее.

Историю болезни он вел с конца девятьсот девятнадцатого года. В наступлении на Пулковку, при обороне Петрограда от генерала Юденича, Рогов был ранен пулей навывлет в ногу, выше колени. Ранение оказалось легким, повреждена была только мякоть, и уже в январе следующего года он бегал по лестницам и коридорам типографий и редакций. Он работал тогда в комсомольской печати, и где только не видали его краснощекого, обветренного лица, его военной шинели, кое-как накинутой на плечи, в тепло и холод. Счет его возраста шел вровень с годами нового века, молодость влекла его сквозь самое варёвое событий, он жил с удовольствием. Революция быстро привила ему свою счастливую науку — смелость, он учился и учил одновременно, переделывая себя на ходу, вечно двигаясь и никогда не уставая. Он привлек к работе нескольких литераторов и художников, которые уже начинали засыпать около «буржук», топившихся комплектами дореволюционных журналов. Эти старые люди не только принялись за дело, но даже помолодели под напором неустанных требований Рогова, его планов, предприятий и выдумок. Среди своих молодых товарищей, не успев оглянуться, он сделался образцовым журналистом и старым работником, ничуть не утратив молодости, но на каждой годовщине комсомола выступая с поучительными воспоминаниями как маститый юбиляр. Его опыт явно обгонял возраст, который все еще лихо поддурманивал ему щеки, привлекательно растягивал рот в улыбку и нисколько не скупился на подвижность и силу.

Лет пять спустя Рогов впервые познакомился с болью в ноге. Понемногу он понял, что боль не случайна. Он переносил ее сперва легко, потом она стала раздражать и злить его. Врачи не долго обнадеживали Рогова: он скоро с каким-то непонятным злорадством отчаялся в них. Из года в год делались попытки найти новое лечение. Все было безуспешно, и по тому, с какой охотой доктора объясняли болезнь ранением, стало очевидно, что они не знают ее причины. К счастью, боль появлялась довольно редко и, продержавшись с неделю, исчезала. В здоровые промежутки Рогов по-прежнему отлично работал, и если б не нога — проклятая нога! — он оставался бы таким же неустанно молодым, каким был в гражданскую войну. Проклятая нога (Рогов не величал ее иначе) надоедала, портила характер и — черт побери совсем! — старила, старила не на шутку. Из-за проклятой ноги зародилась потребность в постоянных, хотя бы маленьких удобствах и — сказать откровенно — в некотором сердечном участии. Не так-то просто лежать на кушетке, стиснув зубы, чтобы не застонать от боли, кипятить воду для припарок или массировать ноющую коленку, раскачиваясь, точно мусульманин на молитве, и иногда неделями не услышать подбадривающего слова, не ощутить пожатия руки. Впрочем, нет. Эти настроения он звал инвалидными, и болезнь только пуще озлобляла его, когда они появлялись.

И вот боль нагнала Рогова на чужбине и словно в отместку за то, что он махнул рукою на заграничных лекарей, принялась потешаться над ним. Он сразу понял, что на этот раз придется много выстоять, и зарядился терпением.

В тишине уснувшей гостиницы, в одиночестве и настороженности ночи мысли — куда б они ни забредали — все время возвращаются к утренней поездке в Лейден. Рогов дает воспоминанию сосредоточиться, и Клавдия Андреевна заново повторяет свой рассказ о том, как она в Риге вышла замуж за Франса ван Россума.

— В Риге? — переспросил ее Рогов.

— Да.
— Вы были эмигранткой?
— Господь с вами!
— Как же вы там очутились?
— Неужели непременно нужно эмигрировать, чтобы очутиться за границей? А контрабандисты?
— Так вы контрабандистка?
— Вы серьезно?
— Но должно же быть какое-нибудь объяснение...
— Объяснение?.. Сначала перестаньте допрашивать меня как следователь... А объяснение заключается в самой истории. Ведь вы собрались слушать, правда? Извольте слушать...

В номере тускло желтеет маленькая лампа над кроватью, но Рогов хорошо видит лицо Клавдии Андреевны, как будто она все еще сидит рядом с ним, в потоках света сквозь окна автомобиля.

— Я была беглянкой. Обыкновенной беглянкой... Чтобы эмигрировать, у меня не было причин. А удрать... как удирают ребята из отцовского дома... Словом... Мне было восемнадцать. Я держала конкурсный экзамен в Технологический и провалилась. На чем, по-вашему? Конечно, на обществоведении: я не знала, в каком году была первая стачка в России. Ужас! Конкурс был громадный, но меня должны были бы принять: я — дочь педагога. Папаша мой до сих пор живет на Ждановке, в тех же двух комнатах, в которых я росла. Теперь, когда мы встречаемся, все трясет головой и твердит: как ты могла, как ты могла? А я сама не знаю, как могла. Вина была не в стачке, хотя эта несчастная стачка меня страшно обидела. Смешно: школьники на ней проваливаются, студенты должны ее знать, как прежде — отче наш, а взрослые ни сном ни духом о ней, и — ничего, их за это не казнят... Я хотела заниматься химией, мечтала стать инженером по искусственному шелку. Меня до сих пор волнует — как это из дерева можно шелковые чулки делать?! А вместо химии мне предстояло тихо доживать осень с папашей на даче. Обидно. Мы жили в

деревне, рядом с Белоостровом, на границе. И вот как-то отправилась я собирать чернику, зашла далеко в лес, дождалась заката и прямо — в Финляндию. Прости-прощай.

— Так просто? — удивился Рогов.

— Очень просто, — улыбаясь, продолжала Клавдия Андреевна. — Прошла я, наверно, около версты. Начало темнеть. Тогда выходит из-за сосенки пограничник с винтовкой и действительно просто, преспокойно так спрашивает: «Не далеко ли, гражданка, зашла?» Я стала лепетать, что заблудилась, принялась плакать. Он повел меня назад. Не не лесом, а болотом, чуть не по колени. Я впереди, он сзади, винтовка наперевес. Так добрались до поста. Допросили меня, обыскали. Кроме черники, ничего. Отправили в город. Продержали четыре недели в одиночке. Допрашивали раз десять. Все попусту. Да ведь и не было ничего: глупая девчонка заблудилась в лесу, только и всего. «В другой раз будь умней», — сказали мне и отпустили... Я и стала в другой раз умней...

Клавдия Андреевна испытующе поглядела на Рогова. Он молча ждал...

Сейчас он понимает ее взгляд. Она хотела увидеть, догадывается ли он, что с этого момента в игру вступает воля, пожалуй злая воля, и что Клавдия Андреевна готова защищать свою злую волю, как защищают какое-нибудь неотъемлемое право. Она заранее заявляла, что постоит за себя.

Но тогда Рогов не заметил вызова. Он ждал продолжения рассказа, решив не забегать вперед.

— Через неделю я убежала по-настоящему, — быстро проговорила Клавдия Андреевна и опять взглянула на Рогова: «Ну, как теперь?» Он все молчал.

— Это уж было не так просто... Я выбрала дождливую погоду и отправилась, когда стемнело. Пошла я не лесом, а как раз тем болотом, по которому меня

пограничник привел назад. Это было совсем по-ребячески — убегу там, где меня поймали. Назло всем! Сколько я шла — не знаю. Да и нельзя знать: ведь я никогда в жизни так не передвигалась. У меня вязли ноги, каждый шаг доставался с мучением, дождь поливал меня без устали. Я напоролась на проволочное заграждение, перелезла через него, поранив ногу. К счастью, оно было нешироким, знаете — козлы, обтянутые проволокой. Но скоро началась пытка; я все время натыкалась на кусты, на маленькие деревца и, конечно, давно потеряла направление. Я уже стала подумывать — хорошо бы опять попасться. Но все-таки еще шла. Потом мне показалось, что за мной гонятся с собаками. Я залезла под елку. Не знаю, может быть, и гнались. Собаки в дождь работают плохо: могли найти след и потом потерять. Я просидела под елкой, пока не стало светать. Я увидела в пяти шагах тропинку. Мне надо было идти. Я так дрожала от холода, что когда вздумала поесть — у меня в кармане были сухари, превратившиеся в тюрю, — то не могла жевать: зуб на зуб не попадал. По заре я определила восток и пошла на запад, по тропинке. Это было отчаянно и беспомощно: я ведь не знала положения границы. Но на этом уже кончалось приключение. Дальше — как в хороших книжках...

И правда, дальше идет какая-то английская история прошлого века, столько же чувствительная, сколько маловероятная. Рогов пробует отнестись к ней снисходительно... Тропа должна была, естественно, куда-то привести. Она привела к лесной сторожке. Девочка была измучена, едва держалась на ногах. Финский лесник мог, конечно, сжалиться над ней. Вместо того чтобы заявить о перебежнице властям, он мог приютить ее и помочь добраться до Териок, где у беглянки жила тетка. Ах, уж эти тетки! Всякий раз, как нужно выпутаться из щекотливой истории, везде и всюду на свет божий выплывает искупительница тетка. Ну, хорошо. Рогов допускает, что тетка на самом деле была, что, снаряжаясь в свой жуткий поход, беглянка втайне рассчитывала на благодеяния род-

ства. Она должна была, само собою, похворать после перенесенных страданий, и тетушка могла за нею самоотверженно поухаживать. Отлично. Но тут — стоп! Тут не хватает важнейшей главы, именно тут! И Рогов посмеивается над идиллической развязкой, будто бы закончившей приключение. Нет! Сударыня не рассказывает чего-то весьма существенного... В пограничной зоне, в которой добрые соседи едва ли потчуют друг друга пирогами, как снег на голову — является девушка. Она живет неделю, другую, не показываясь никому на глаза. Разве может она не вызвать всепоглощающего любопытства к себе? Несчастные Териоки прямо иссохнут от страсти выведать что-нибудь о таинственной пришельце. И если допустить правдоподобие милосердной тетушки, то ведь у нее, наверно, найдутся товарки. И если сама тетушка со страху не побежит в полицию заявить о богом данной племяннице, то уж товарки-то это сделать не преминут. Словом, беглянка в какой-то миг оказывается перед лицом закона. Тогда что же, что должна говорить она, чтобы смилостивить судью, рассеять подозрения, смягчить гнев? Рогову очевидно: если она не была отправлена назад через границу и если не познакомилась с порядками иноземных тюрем, — значит она признала пески Териок страной обетованной, а свою родину — крошечным адом. Она должна была сказать, что обманом вырвалась из узилища, которым сделалась ей ее страна, и, пренебрегая опасностями, достигла широт териокской добродетели. Она должна была умолять закон Териок предоставить ей убежище сколь угодно малое и ничтожное, ибо само убожество в Териоках сладостней и краше любого великолепия в ее стране. Да, она должна была предать свою страну — и она предала ее. Рогов это знает...

Он в сотый раз поворачивается в постылой кровати и дает волю стону.

— Будь ты проклята! — приговаривает он, подсовывая под ногу подушку...

Он круто, всем корпусом обернулся к Клавдии Андреевне:

— Отлично. Вы подвергались опасностям, вас могли убить, вы насилу преодолели всякие тернии и преграды. Но скажите же наконец, зачем все это? Ради чего вы взвалили на себя эти испытания?

— Ради чего? — переспросила она, прищуриваясь, точно медленно прочитывая ответ. — Я сама не совсем понимаю до сих пор. Я знаю только — у меня не было никаких особых целей. Просто хотела убежать.

— Авантюра?

— Я никогда не чувствовала себя авантюристкой. Ни до побега, ни после.

— Весна? — усмехнулся Рогов.

— Это — плохая шутка. Я говорю: у меня не было положительной цели. Я не хотела больше оставаться дома, и все: не хотела и не могла. Мне стало невыносимо. Не знаю. Особенно после того, как вышла из одиночки. Меня все раздражало. Больше всего — скука! Ну, согласитесь, что ведь у нас так разлилась повсеместно скука, что от нее деваться некуда. И главное — кто не хочет примириться с ней, тот — нечто вроде изменника. Разве не правда?

— Ага, — мотнул головою Рогов, — вы не захотели быть вроде изменника и стали... настоящим изменником.

— Если вы будете...

— Но ведь вы бежали, бежали! — почти крикнул Рогов. — Ведь вы должны были понимать...

— Бежала, — с сердцем оборвала его Клавдия Андреевна, — бежала, и это, конечно, имеет какой-то преступный вид — со стороны, внешне. У нас ведь заботятся прежде всего о том, каким покажется проступок людям, которые могут взять его в пример или станут его судить. А каким он казался человеку, который его совершил, — этого знать не хотят. Но у меня есть своя внутренняя оценка вещей. И как бы ни убеждали меня, что я — преступница, я себе — самый справедливый судья.

— Жалко, что не самый строгий...

— Строгость — ваше дело. Я — не власть. И не героиня. Я — обыкновенный человек, из каких склеен мир. Я, может быть, неверно поступала, но за что я буду казнить себя? Я убежала от скуки, от тоски. Я не умела найти себе места. Мне хотелось легкости, веселья, пестроты. А наша жизнь... У нас даже отдохнуть не умеют. У меня тогда все время было чувство, что я прикована к тачке.

— У нас нет тачек, — жестко перебил Рогов, — нет цепей, нет оков. У нас они розданы по музеям. Вы что — не знаете этого?

— О музеях? — улыбнулась она. — О музеях знаю... Напрасно вы всполошились. Я говорю — у нас не умеют создавать радость жизни, — и только.

— У нас нет радости безделья, это верно.

— Вы бурчите, как старый холостяк.

Клавдия Андреевна отвернулась к окну и долго молчала.

— Вот что, — прижимая к груди руку, начала она, точно решив увещевать Рогова до тех пор, пока он не согласится. — Вы можете извлекать политические корни из моих слов. Но вы поймите, о чем я говорю. Веселости боятся только попы. Молодежь тоскует о ней. Я была очень молода. Я хотела быть легкой, красочной. А мне все вокруг казалось сутулым, одноцветным. Мы не умеем украшать нашей жизни, не умеем, не хотим.

Клавдия Андреевна вздохнула, словно освобождаясь от усталости.

— Вы все еще коситесь, товарищ Рогов? Вам не нравится мое недовольство. У нас ведь всякое недовольство — признак чужеродности. Недоволен — значит, чужак.

Сдерживая себя, Рогов сказал:

— По поводу нашей бескрасочности я слышу не в первый раз. Вы должны знать, что каблуки сбиваются не походкой, а бедностью. С бедностью же борются, а не бегут от нее. Вот и все... Впрочем, недалеко время, когда весь наш быт переменится не-

узнаваемо и превосходно. Я это знаю... А теперь разрешите вам доложить: если все, что вы мне сейчас рассказали о скуке и тоске, было вашим философским достоянием, когда вы убежали, то вы — совершенный образец эмигранта!

Она откинулась назад, закрыв лицо ладонями. Он не глядел на нее. Приступ черного отвращения мучил его. Чудесная автомобильная отделка вдруг стала казаться ему пресыщенно самодовольной. Он возненавидел ее. Воздушный бег «Розы» был ему неприятен: отсутствовало то ощущение, которое давала обычная езда. Беззвучная, холеная тварь не двигалась, а необъяснимо перемещалась в пустоте, и Рогов чувствовал себя посаженным в какой-то снаряд для эксперимента. Зачем Рогов сидел на этих кожаных подушках? Зачем он общался с этими людьми? Любое одиночество легче и достойнее рассуждений Клавдии Андреевны. Выслушивать ее и возражать деликатно, когда, по-настоящему, надо остановить машину и распрощаться посреди дороги. Смерть как бездарно и тошно, — с души вон!..

Усевшись в кровати и растирая сухой ладонью коленку, тупо покачиваясь, Рогов дивится самому себе. Если виною его внезапного расстройства была Клавдия, то чего, собственно, он ожидал от нее? Почему рассказ о побеге должен был повлиять на отношение к ней? Измена? Но Клавдия Андреевна ван Россум ничему не изменяла. Ее побег так естествен, что если бы она не совершила его...

— Нет, нет, дружище, — бормотал Рогов, через силу ухмыляясь. — Сиди и три свою ногу, не огорчай себя понапрасну, с тебя хватит. Три, братец, три...

Боль копится и копится в коленке.

— Хоть кричи! — громко говорит он. — Хоть кричи, черт побери эту окаянную бессмыслицу, а-а!

Он соскакивает с кровати и топчется на месте, словно примеривая новый сапог. Боль начинает стихать. Он берет подушку и плед и усаживается в кресле. Становится совсем легко, приятно и спо-

койно. Сна, правда, нет, но пусть — лишь бы не болело.

Рогов улыбается от удовольствия. Потом обрадованно смеется. Хорошо!..

Он и тогда смеялся, в автомобиле, когда Клавдия Андреевна стала продолжать свой рассказ. Смех вышел злорадным, и странно, что Клавдия Андреевна нисколько не обиделась на него. Она даже сама засмеялась, пожав плечами, вдруг сделавшись беззащитно маленькой и растерянной, как перепуганная девочка.

Может быть, она и была такой в то время, как некий знакомец териокской благотельницы препровождал ее сначала в Гельсингфорс, оттуда — в Ригу. Там Клавдию Андреевну обучили цыганским песням и пляске, и она каждую ночь тщательно подвывала ресторанному хору и — накрашенная, ослепляемая прожектором — трясла плечами, притопывая туфелькой.

Вот тут-то Рогов и засмеялся: «Ага, вы искали веселости? Легкой жизни искали вы? У вас не достало терпенья смотреть на сермяжный тон наших улиц? Заботы о большой, на первых порах слишком серьезной жизни показались вам скучными? Что ж, обетованная земля отвела вам в удел самый славный вид веселья — кабак. Поделом!»

Рогов видит несметную череду всеевропейских трактиров, опоясавшую собой воспетый быт цивилизации. Как ладно, крепко и соблазнительно сбиты все эти маленькие и большие храмы обжорства, как прочно взяты ими привилегии на обслуживание всякого проявления удовольствия, радости, счастья. И поразительно, что кабацкое преуспеяние во всем свете облеплено, окружено роями российской эмиграции, двинувшейся в поисках покровительственной сени Запада и не нашедшей для себя ничего, кроме официантских да изредка артистических комнат ресторанов. Куда же еще, кроме цыганского хора, мог привести путь Клавдии Андреевны?.. И вдруг в конце хоровода гостиниц, пивных, пансионеров, трактиров пе-

ред Роговым выплывает статный, величественный отель на вершине горы. Над его крышей тигровой спиною выгибается полотнище национального флага, гостеприимный подъезд ждет, когда в него войдет Рогов. Это — единственный отель, который вспоминается им без неприязни. Беззаботно, непринужденно проходит мимо Рогова Елена, и с этой минуты, не признаваясь себе, он ожидает новой встречи с ней. Он настигает ее где-то в безлюдных лабиринтах большого города. У него стучит сердце. В каналах, как старых черных зеркалах, смугло трепещет ее узенькое подвижное отражение. По ногам, точно флаг, бьется подол тонкого платья...

Рогов раскрывает глаза. Так, так, он начал дремать, боли исчезли совсем. Не лечь ли опять в постель? Но он боится пошевелиться и только закутывается потуже в плед...

Итак, в рижском ресторане, под дребезжанье гитар, Франсу ван Россуму пришлось по душе молодая хористка. Он приехал из Ленинграда на несколько дней, чтобы принять пароход, после аварии отремонтировавшийся в рижском порту. Франс выходил из ресторана только в те часы, когда там не было цыган, но и эти часы он отдавал без остатка Клавдии Андреевне.

— Никогда прежде, — рассказывает она, — ни с одним русским я так не тосковала по родине, как с этим голландцем. Он так говорил о Ленинграде, что я плакала.

Но дело было не в Ленинграде, не в родине, два года отступавшей все глубже в воспоминания: дело было в нетерпении, с каким Клавдия Андреевна ждала зимою нового приезда Франса в Ригу. Он увез ее из ресторана в Голландию, и отсюда началась ее новая жизнь, примчиво и почвенно вросшая в жизнь ван Россумов: Клавдии Андреевне далось не трудно носить это имя.

— Вполне ли вы довольны? — спросил ее Рогов, когда она кончила рассказ.

Она не сразу отозвалась, почувствовав, что это — последний его вопрос.

— Вы не знаете, — сказала она тихо, — Франс — замечательный человек...

Всю ночь повторялись в памяти Рогова обрывки разговора, до четкости обостряясь вместе с болью в ноге. тускнея в полусонном забытии. Он возражал то Клавдии, то себе, опровергал свои возражения и заново возводил их. Он заснул утром, сидя в кресле.

Его и кого-то вместе с ним преследовала полосатая кошка с болтавшимся по-собачьи языком и пеною, густо и кипенно выпадавшей из пасть. Кошка делалась меньше и меньше, как резиновая игрушка, из которой выпускают воздух. Но бежала она все быстрее и вот-вот должна была настигнуть того, кто мчался, задыхаясь, рядом с Роговым. В отчаянии Рогов нащупал руку бежавшего, притянул его к себе и, обняв, полетел с ним вместе. Рука была нежно-теплой, но холод преследования ужасал безнадежностью, кошка сделалась совсем крошечной, с мышонка, и перебирала лапами быстро-быстро, и если бы не полет в провал с обломками распадавшихся под ногами ступеней, то...

Рогова разбудил резкий стук. Номерной, пробегая по коридору, у каждой двери возглашал:

— Половина восьмого, половина восьмого!

Гостиницу заселяли деловые люди, и завтрак подавался рано. Рогов заказал черный кофе, но выпить его не успел, потому что снова началась боль. Он пробовал опять улечься в кровать, пытался, ковыляя, ходить из угла в угол, садился за стол и брал книгу, боль не унималась. Часам к десяти он выполз в коридор, к телефону, и попросил номерного соединить его с квартирой ван Россума. Его немного развлекло подобоострастие, с каким была исполнена просьба.

Он вызвал Клавдию Андреевну. Он сказал ей, что хочет увидеть ее и просит прийти к нему в гостиницу. Она ответила, что рада будет встретиться, но отказа-

лась прийти по тому мотиву, о котором говорила ему раньше.

— Но я скверно чувствую себя, я болен, — нарочно грубо возразил Рогов. — А о чем вы говорили — это просто предрассудок.

— Что с вами? — спросила она с беспокойством. — Я скажу Филиппу Федоровичу, может быть мы придем вместе. Хотите?

— Спасибо. Я обойдусь, — отрезал он и смаху нацепил трубку на рычаг.

Он насилу вволочил в номер проклятую ногу!

XXI. АМСТЕРДАМ НОЧЬЮ

Когда наступает тишина, на улицах появляются ночные полицейские. Они идут попарно, заложив руки за спину, совершенно так, как их знает весь свет по иллюстрациям к английским детективным романам или по европейским кинохроникам. Короткие накидки слегка раскачиваются на них. Они идут в ногу, медленно, мерно и молча, словно на лечебной прогулке: шаг — два, шаг — два. Они держатся темных или малоосвещенных мест. Они прислушиваются к звукам ночи, различая их, как дирижер — тембры инструментов. Вот проскрежетал в замке ключ — уверенно, сильно... Шаг — два, шаг — два... Где-то открыли скрипучее окно: ночь душна... Шаг — два, шаг — два... В нише подъезда громко поцеловались, и женщина всполошенно залепетала: вы с ума сошли, оставьте!.. Шаг — два, шаг — два... За углом кто-то побежал, стараясь тише бить подошвами по асфальту. Внимание! Прогулка кончена, шаг сломан. Один полицейский отходит к черному фасаду дома и прилипает к нему, слившись с темнотой. Другой отыскивает прикрытие под деревом напротив дома. Из-за угла показывается девушка. Она бежит, сняв шляпу, прижимая к груди сумочку. Она остановилась у двери и робко тянется к звонку портье. Слышно, как она переводит дыхание. У нее срываются руки, когда она натягивает

на прическу шляпу. Бедняжка! Хорошую она сейчас получит дома головомойку: не шляйся по ночам... Шаг — два, шаг — два!..

Техника службы требует, чтобы изредка полицейские пары разъединялись. Выбрав район, обильно изрезанный переулками, стражи двигаются по большим параллельным улицам. Дойдя до угла, полицейский останавливается, прислушиваясь к жизни переулка. Потом выходит на дорогу. Обычно на таких перекрестках фонарей не ставят, но посередине переулков освещается хорошим светом. Из полутьмы перед наблюдателем раскрывается вся освещенная перспектива. Если переулок прямой, то в противоположном конце его, на параллельной улице, почти одновременно появляется другой полицейский. Минуту они держат переулок замкнутым. Каждая распахнувшаяся дверь, каждый человек, перебежавший дорогу или появившийся на тротуаре, фиксируются сразу двумя парами зорких, все понимающих глаз. Если переулок изломан на колена, полицейские входят в него и останавливаются не раньше, чем увидят друг друга. Если один из них подозрительно долго не показывается на условленной позиции, другой идет разыскивать собрата. Так, не теряя связи, они обследуют изученный до косточек район и потом снова объединяются в пару и снова движутся как близнецы. Оттого, что эти два человека действуют до музыкальности слитно, их силы не удвоены, а удесятерены... Шаг — два, шаг — два.

Они называются исполнителями закона, но это не все: они не только применяют закон, они толкуют его во всяком отдельном случае, как судьи, определяя меру дозволенного и запрещенного; они сами законодательствуют, творя и утверждая право; они без раздумья объединяют в себе парламент и сенат, практично заменив торжественную пышность высоких инстанций парю прочных ног, поставленных посреди улицы наподобие заглавной альфы, поперечником которой может служить резиновая дубинка. Они — закон в быту. Они — изобретатели одежды, в которую поневоле облачается все живущее, если оно не хочет

умереть. Они — придумщики имен, которыми обязано прикрываться преступление, если оно хочет слыть добродетелью. Если они говорят: «Допускаем», — любой порок, любая пошлость, любая тупость могут радоваться бытию. Стоит им произнести: «Запрещаем», — как стремглав начинает расти извечная безработица здравого смысла.

Улица одета в корсаж, шнурки которого натуго затянуты, или ослаблены, или распущены совсем: от строгих запретов до потворства. Но и в корсаже она живет своей отгалкивающей и упоительной жизнью, и человек не в силах обойтись без нее, как больной не может обойтись без рвотного, или пьяница — без вина.

Вот тащится прохожий по узенькой набережной канала. Прохлада, пахнувшая лежалой рыбой и прелыми сваями мостов, кажется ему приятной после духоты вечера. Сняв шляпу, он поднимает голову и с облегчением проводит ладонью по волосам.

— Пс-с! — неожиданно слышит он. Кругом ни души, и этот уличный осторожный сигнал может относиться только к нему. Но он не озирается и продолжает поглаживать волосы... Хорошо!

— Пс-с! — доносится до него снова. Он оглядывается, но на улице пусто, тишина.

Тогда прохожий поворачивается к полуосвещенным фасадам зданий. Он стоит против узенького высокого дома. Из окна второго этажа ему ухмыляется женщина. Она оперлась локтями на подоконник и свешивается наружу. Толстые руки ее обнажены, между сплюснутых, готовых вывалиться из щедрого ворота груди видна глубокая черная складка. Прохожий всматривается в женщину. Фонарь издали подсвечивает бойкую раскраску ее лица и алебастровый холод пудры на плечах. Она приятно кивает прохожему. Этажом выше, над нею, высовывается другая женщина. В окне четвертого этажа, совсем смутно, можно различить еще одно лицо с черными впадинами глаз и бледные полосы голых рук. Все женщины торопятся на разные лады завладеть вниманием прохожего. Верхняя, освещенная хуже своих

подруг, заламывает руки за голову и потягивается, громко вздыхая.

Прохожий быстро оглядывает дом — ничем не примечательное строение с одностворчатой дверью, в верхнюю часть которой вделана чугунная решетка из завитушек на средневековый вкус и вставлено круглое стеклышко. Над дверью — вывеска, писанная по жестяному листу и подвешенная, как все цеховые вывески — на железном пруте под прямым углом к фасаду. Вывеска оповещает о том, что в доме «сдаются меблированные комнаты».

Прохожий отправляется дальше. Через дом он видит такую же вывеску. Такие же мясистые, подпудренные руки белеют на подоконниках, такие же раскрашенные лица улыбаются ему, и все ласковее становятся кивки, все слаще — громкая позевота. Он уже не один на улице. Подвыпившие зеваки прогуливаются мимо окон, от одной вывески к другой, или переговариваются с красотками, раскачиваясь на податливых, точно пружины, ногах. Весь район сплошь состоит из меблированных комнат, которые никак не могут быть сданы, о чем свидетельствует фундаментальность вывесок, рассчитанная на десятилетия. Но внешность домов понемногу меняется: в нижних этажах начинают попадаться торговые лавки с большими освещенными окнами, и вдруг — прохожий останавливается перед новым зрелищем.

Квадрат зеркального стекла, начищенного, как в богатом магазине, занавешен тончайшей тюлевой гардиной. Внутренность комнат освещена стоячей лампой под расфуфыренным красным абажуром. Любая подробность обстановки отчетливо видна с улицы. Под лампою накрыт стол для двоих; фаянсовые тарелки с веселенькими цветочками, стаканы для вина, ликерные рюмки; букет свежих цветов и поблескивающий сосуд для замораживания шампанского. Все приготовлено к обеду. Перед столом — широкая софа, на ней раскиданы шелковые подушки. На заднем плане арка ведет в соседнюю комнату, занятую величественной кроватью. Постель убрана со всей роскошью, какую в состоянии себе представить моряк, не сходяв-

ший на берег месяцев восемь, или вояжер, уехавший от жены на полгода: постель в шелку, кружевах и лентах, рука хозяйки ухаживала за нею как за божеством. Весь этот уют, купающийся в красном свете, вся домашность цветочков, картинок по стенам, манящее тепло подушек и одеял, все это — только подножие истинного соблазна, помещающегося за зеркальным стеклом. Соблазн восседает у самого окна, мечтательно освещенный все тем же красным абажуром. У соблазна черные брови, фантастически взбитые льняные кудри, три подбородка, наглухо скрывающие шею, и такие округлости форм, что они могут быть сравнены только с искусно сложенными глобусами разных диаметров, рядом с которыми диаметр головы, завершающий все сооружение, поражает своей незначительностью. Соблазн держит на коленях рукоделье и, опустив глаза, усердно дергает крючком и перебирает пальчиками, унизанными бриллиантами.

Прохожий, как вкопанный, стоит перед невиданной живой выставкой домашнего счастья. Он думает: как лучше назвать такое заведение — бюро, контора, магазин? Женщина поднимает на него взор и старается придать лицу задумчивое, томно-пьянящее выражение. Прохожий изучает красную комнату. На стене под углом к окну подвешена полочка с гипсовыми фигурками. Все фигурки одинаковы, как в корзине итальянского торговца скульптурами. Если какой-нибудь бродяга, зайдя в красную комнату, будет придиричь, назойлив или просто недогадлив, хозяйка ограничит свое общение с ним продажей гипсовых фигурок: не хотите — можете убираться. А сейчас она улыбается прохожему, бровями показывает на стол и постель, приглашая оказать честь гостеприимному очагу. Прохожий бесчувствен и безжалостен, он предпочитает изучать красную комнату через стекло и тюлевую гардину. Женщина перестает глядеть на него и нервно ковыряет вязанье крючком. Прохожий все еще стоит. Она машет на него рукой: пошел вон, ротозей, от тебя нет никакого проку! Он все не уходит, он ждет развязки. Женщина бормочет ругатель-

ства и отворачивается от окна. Он все стоит. Тогда она со злобой ведьмы показывает ему свою спину и что есть мочи хватается за шнурок занавески. Красная комната, как театральная сцена, исчезает из глаз прохожего.

Он смеется и бредет дальше. Он встречается еще окно и за ним — зеленый абажур и зеленую комнату с хозяйкой брюнеткой. Потом — желтую комнату, потом — комнату плотно занавешенную. Он уже не задерживается подолгу перед этими конторами паслаждения. Он только выискивает в них отдельные черты различия или штампа. Он как будто и правда бесчувствен, этот прохожий. Он не моряк, истосковавшийся по берегу, и не вояжер, давно не выдавший жены.

Хотя как знать? Может быть, удел этого прохожего печальней судьбы моряка? Может быть, он потерял надежду сойти на берег? Может быть, его никто не жлет дома и сам дом существует для него только в чужих рассказах?

Этот прохожий — Рогов.

Он шел по ночным улицам, вдыхая их влажно-горклый осенний холодок. Боль в ноге так же внезапно пропала, как появилась; он чувствовал себя готовым и годным к новым впечатлениям. Но недельное бессмысленно изнуряющее торчанье в гостинице оставило свой след: еще ненужнее показался Рогову чужой, безразличный город, и уже сложилось решение кончать путешествие и возвращаться домой.

На Вармусстраат теснились бары. Из вентиляторов вместе с космами табачного дыма вылетали рокошующие стоны музыки. Кое-где хрипели и взвизгивали патефоны. Разнородность звуков напоминала птичник зоологического сада. Как в птичнике — раскрытые и машущие на солнце крылья, над дверями загорались и потухали световые надписи.

Рогов выбрал бар поскромнее и решил войти поужинать, когда у него за спиной кто-то отчетливо выговаривал его имя. Он тотчас, не успев повернуться, узнал голос.

— Не думали? — спросила Клавдия Андреевна.

Какая-то беспомощность проглянула в нем; он неловко пожал ей руку.

— Я от вас.

— Вы были у меня в гостинице?

— Я была у вас в гостинице.

— Так поздно?

— Так поздно.

— И без провожатого?

— Как видите.

— Бедные ван Россумы, все кончено!

Рогов быстро преодолел растерянность и говорил с усмешкой:

— Как вы решились?

— Не все ли равно?

— Идемте, — показал он на дверь, — вам, как говорится, нечего больше терять.

В баре было пусто. Пьяница с обвисшими усами дремал за столом, два молодых человека перед стойкой молча наблюдали, как буфетчик сбивает коктейль. Кельнерша, поздоровавшись, тряхнула кошельком с деньгами, вытащила горсть мелочи, выбрала монетку и опустила ее в отверстие оркестриона. Автомат взвыл, как слон, в буфете заплясала посуда, пьяница вскинулся и стал ловить стоявший под носом стакан.

Усаживаясь в углу, подальше от воющего слона, и заказывая вино, Рогов разглядел возбужденное лицо Клавдии Андреевны.

— Что-нибудь произошло?

— Я поссорилась с Филиппом Федоровичем, — ответила она торопливо, точно только и ждала этого вопроса.

— Значит, действительно нечего терять...

— Тут нет ваших заслуг... это произошло не в результате ваших наставлений...

Ему захотелось прикоснуться к ней, — такой влекущей показалась ему проглянувшая в ней женственность: он потянулся через стол к ее пальцам, но она отдернула руку.

— Да не ершитесь вы, как ребенок.

— Перестаньте держать себя со мною как с ребенком. Странно. Это у всех мужчин с так называе-

мым «мировоззрением». Из сознания превосходства, что ли?

— Из участия.

— Из грубости, думаю я... Я вам два раза звонила, вы даже не соизволили подойти к телефону.

— Да я же не на шутку болел!.. Что там у вас случилось, с вашим дядюшкой?

— Он оскорбил меня. Гадость? Я не давала ему никакого повода. Он явился ко мне с кольцом... с бриллиантом... Ну, я не догадалась... не могла сразу отказаться... Я терпеть не могу камней. Он это знает. Я ему говорила прежде. Но он раз затащил меня в магазин. Мне стало там худо. Просто случайно. Я не знаю, что он подумал... Я как-то потом вечером ходила гулять и смотрела на выставку бриллиантов. Мне хотелось проверить себя. Ну, и ничего особенного! Конечно, если долго смотреть... если смотреть, то... может быть, это вроде музыки — когда слушаешь музыку, которую не понимаешь, и не можешь оторваться, потому что думаешь о чем-то своем. Не можешь оторваться, собственно, не от музыки, а от того, о чем думаешь... Это очень волнует. Даже можно расплакаться, если музыка неожиданно прекратится... Если бы меня тогда оторвали от окна, я бы, может, тоже расплакалась... может, даже ударила бы, кто посмел оторвать... Но разве это что-нибудь означает? Вот если хочется танцевать — ведь тоже что-то дикое. Но все ведь это ничего не значит...

— Что же Филипп Федорович?

— Он сказал, что следил за мной... что видел, как я стояла перед окном... И что я люблю камни, и будто бы из одного упрямства говорю обратное... Это когда он принес кольцо. Пока я рассматривала бриллиант... тот самый, который он показывал мне в магазине... он стал себя так вести, что я прогнала его... за дверь!

Лицо Клавдии Андреевны переливалось живыми полосами краски, она спешила выговориться поскорее, глаза ее не отрывались от Рогова.

— Кольцо я ему кинула вслед! — комкая слова, добавила она.

Рогов молча смотрел на нее.

— Вся история, от начала до конца, кажется мне ужасной! Ужасной, ужасной!

Он все еще молчал.

— Я решительно не давала повода! Я ни в чем не виновата! Но мне стыдно перед Франсом. Не знаю — почему, я не могу думать о нем без угрызений...

Наконец она передохнула и стала ждать, когда он заговорит. Она перебирала и теребила пальцы, вздрагивая, пожимая плечами, словно от холода.

— Вы не понимаете, зачем я говорю вам это, да? Чтобы вы знали. И потом, это меня облегчает... облегчило...

Он улыбнулся.

— Я не о том, — сказал он ровно. — Я думаю — какая вы... насколько вы могли быть другой...

Ее возбужденность вдруг прошла, она стихла, ее взгляд смягчился и остыл.

— По-моему, вы постоянно должны чувствовать себя пришлецом там, у ван Россумов.

Она хотела возразить, но отвела глаза и только несогласно покачала головой.

— А Франс? — спросила она.

— Даже он, — с убеждением отозвался Рогов, — даже с ним такой человек, как вы, не может быть самим собою.

— Чушь! Вы не знаете Франса.

— Мне не нужно знать его.

— Ему тоже не по себе бывать с Филиппом. Он тяготится здешним домом не меньше меня.

— А вы тяготитесь им самим.

— Неправда!

Она готова была защищаться, вскинув голову и опять загоревшись. Но им помешали.

В бар вошли две женщины, облаченные в темные платья, в шляпах с малиновыми лентами. У одной из них через плечо висела кожаная сумка, распухшая от газет.

Рогов сразу признал женщин — по их лентам и по той смиренной, почти монашеской неслышности, с какой они приближались к столу: это были рядовые Армии спасения. С состраданием, кротко они погля-

дели на Клавдию Андреевну. Одна положила перед ней черную книжечку с тисненым золотым распятием. Клавдия Андреевна поблагодарила книгоношу, но купить отказалась. Тогда на столе появилась книжечка подешевле — без золота и тиснения. Но и тут Клавдия Андреевна осталась непреклонной. Молчаливые переговоры не кончались: поочередно из сумки были вынуты и предложены тоненькая брошюра, нотная листовка со словами, затем открытое письмо с Сикстинской мадонной и под конец — вполне светские виды Амстердама, которые Клавдия Андреевна довольно энергично отодвинула от себя.

— Они хотят спасти вас любой ценой, — серьезно сказал Рогов.

— Почему они не адресуются к вам?

— Я — совратитель и со мной много работы, а вы — жертва, на вас легче призвать милосердие неба.

Книгоноше не изменили ни смирение, ни настойчивость: она положила перед Клавдией Андреевной газету. Но даже тут сделка не состоялась, и вместо пяти центов она снова получила спасибо. Тогда она шепнула предупреждающе грозно:

— Подумайте о спасении души! — и, взяв у своей спутницы другую газету, размером поменьше, подсунула ее Рогову.

— Ага, — воскликнул он, — в вас они отчаялись!

Внимательно посмотрев вслед уплывавшим книгоношам и развертывая газету, он со вздохом высказал предположение, что — может быть — у смиренных дев на самом деле больше оснований рассчитывать на него. Потом он захохотал. Шумно поднявшись, он пересел на диван Клавдии Андреевны и разложил перед нею газету.

— Настолько мы с вами понимаем по-голландски, правда?

Элегантно обрамленное объявление состояло из двух плутоватых головок, пригодных для передового журнала дамских мод. Одна головка была украшена соломенной шляпой в виде котелка полисмена, на другой красовалась шляпа-колокольчик, богато уви-

тая лентой, спускавшейся бантом на плечо. Обе плутовки были одеты в мундирчики с погонами, петличками, светлыми пуговицами. Текст был такой:

АРМИЯ СПАСЕНИЯ, ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ.

НОВЫЙ АХТЕРГРАХТ, 138, АМСТЕРДАМ

ШЛЯПЫ «АЛЛИЛУИЯ»

1-й сорт — 35 гульд., 2-й сорт — 20 гульд.,

3-й сорт — 15 гульд.

Рогов и Клавдия Андреевна хохотали дружно. Он сжимал ее руку, раскачивался и приговаривал: аллилуия первого сорта... аллилуия второго...

— Ну их всех к черту! Пора уезжать отсюда вон!

— Я поеду вместе с вами! — воскликнула она.

Он повернул ее к себе и, оборвав смех, со строгой миной принялся исследовать ее лицо.

— Может быть, вас и правда уже пора спасать, мой друг? — многозначительно прищуриваясь, спросил он.

Она откинулась на спинку дивана, прищурилась так же, как Рогов, и ответила, растягивая слово за словом:

— Ну нет, дорогой товарищ, не обольщайтесь: еще далеко не пора!

Смеясь, они взяли за вино и распили его весело и со вкусом. Их тянуло на волю. Не размыкая рук, близко друг к другу, они появились на безлюдных улицах. Они не отличались ничем от тысяч пар, которые бродили ночью по городу, по городам — кто не видал, кто не знает эти медлительные силуэты сомнамбулов, точно туман рождающиеся с появлением темноты и пропадающие на рассвете? Какая печаль постигла бы мир, если бы эти попарно сомкнутые привидения — по вине ли человека, или самой природы — исчезли с набережных, площадей, из садов и переулков города!

Рогов испытывал чудесное слияние с безмолвно большой, притаившейся жизнью, сотканной из множества частиц, полно и пышно раскрывавших себя в музыке тишины. Тишина охватывала собою любовно. Город — самое милое Рогову выражение жизни —

подставлял свое сердце: слушай! Второй раз за все путешествие Рогов телесно ощущал свою принадлежность миру. Но это ощущение сейчас было сильнее, чем в Бергепе: женщина, ступавшая пога в ногу, сгущала каждое ничтожное восприятие, придавала ему счастливый, пугающе новый смысл.

Рогов спросил:

— Вы что, пришли ко мне из потребности пожаловаться или из желания встретиться?

Она шла, долго не отвечая, прислушиваясь к ножи, казавшейся ей новой и необычайной, как и ее спутнику.

— Ненасытный, — проговорила она, пройдя целый квартал.

Рогов ничего не сказал. Вероятно, он забыл, о чем спрашивал.

Они повернули в переулок, знакомый им по ликерной, где они впервые поглубже заглянули друг в друга. Матовый свет по-лунному холодно лежал на стенах, было безжизненно тихо, словно в пустой комнате.

— Вы, наверно, из тех людей, с которыми счастье угнетает, — сказала Клавдия, как будто продолжая мысль, оставшуюся без ответа.

Рогов молчал.

— А с Франсом легко всегда.

— Я это слышал. Я это знаю. Я не хочу этого ни слышать, ни знать.

Он остановил и обнял ее. На один миг глянув ей в глаза, он притянул ее голову к себе. Он целовал ее, и ему было так, как будто бы он целует свою немного одинокую, но все-таки любимую жизнь, и чувства, которые испытывались ночью в городе, и самый город, и прелесть путешествия — влекущего и утомительного хождения в чужие земли, и губы, губы — жаркую награду поисков и ожидания. Ему было странно и хорошо.

Когда это кончилось и, отдышавшись, они посмотрели вдаль — на перекрестке, в конце переулочка они различили полицейского. Он стоял неподвижною альфой, раздвинув ноги, накрытый треугольником накладки. Они повернулись и пошли назад. Но и там,

с другой стороны, на перекрестке стоял, словно отраженье, такой же полицейский и глядел на них застыло, как удав.

Они засмеялись. Махнув рукою, Рогов опять обнял и опять поцеловал Клавдию. Оторвавшись друг от друга, они увидели, что полицейских нет: целоваться было разрешено, закон не возражал против поцелуев.

XXII. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА

Директор машиностроительного завода МБВ в Герлице был не просто инженером и не просто диплом-инженером, то есть — инженером с высшим образованием: он был доктор-инженером, получившим ученую степень за практические заслуги. И он звался: герр директор доктор-инженер Каспар Криг. Понятно, что в обиходе, в быту его звали проще: герр директор, или совсем запросто — герр доктор. Но что такое быт? В мезонине особняка директора Крига чихал и кашлял пожилых лет инвалид войны, государственный пенсионер, штабной врач в отставке, которого изредка за глаза называли просто — наш Бекман. А у этого носителя двух горбов, туберкулеза легких и круглых карих глаз, проникновенных, как у кроткого зверя, у этого существа было звание генераль-обер-арцта, открывавшее ему многие уважаемые дома. Первая частица звания означала «генеральный» в том смысле, в каком бывают генеральные представители страховых обществ или фирмы «Одоль». Но эта частица звучала решительно так же, как «генерал». Поэтому, если мезонинного жильца знакомили в обществе, то старались погромче нажать на слово «генераль»: гер *генераль*-обер-арцт Бекман. Это всегда действовало.

Герр директор Криг в середине мая пригласил гостей. Проездом из Москвы у него остановился его приятель со студенческих времен — инженер Касти, швейцарец, консультант большого завода в Сан-Галлене. Герр Криг хотел, чтобы два главных акционера

МБВ, владевших почти всем богатством общества — Герр Пик и герр Мезе, — поговорили по русскому вопросу с инженером Касти. Встреча могла быть очень полезной также и потому, что у Крига гостил тесть — Филипп ван Россум, накопивший большой опыт работы с Советами.

Инженеры Касти и Криг не считали свою жизненную миссию тихим ремеслом. Они оба стояли вне круга рядовых профессионалов, вечных школьников, не заглядывающих дальше заданного урока. Касти объездил Европу и Азию и умел судить не только об организации заводов. Криг был малоподвижен. Усидчивость дала ему некоторые преимущества перед Касти: он больше него теоретизировал, читал по экономике, всю жизнь учил языки. Он знал английский как язык передовой техники. Мог объясняться по-итальянски, потому что до войны Италия, будучи союзницей и промышленно укрепляясь, обещала дать Германии устойчивый приработок. Само собою — он говорил по-французски: Франция была и оставалась врагом, врага надо знать — так поучали еще в школе. Наконец он научился по-русски, потому что Россия была рынком бездонной емкости и потому что ориентация на восток заповедовалась прусским гением Бисмарка. Учился герр Криг по системе Туссена-Лангенштейдта. Аккуратненькие тетрадошки с текстом и переводом «Обломова» в разгар революции лежали в письменном столе, потом, когда большевики принялись торговать, снова всплыли на поверхность. Три раза герр Криг подзубривал, как Обломов попадает ногами в туфли, и с удивлением вникал в капризные особенности русской натуры.

Главный машиностроительный завод МБВ уже около года шел на неполной нагрузке. Заново оборудованный совершенными станками, с иглолки, он задыхался от нехватки заказов. Его работой было изготовление текстильных машин. Он снабжал им ткацкий район Лаузица и Силезии, успел перевооружить всю его заслуженную промышленность, успел перебросить массу машин на юг Германии, в Баден, завязать дружбу с итальянским севером, с южными

славянами. Затем начался спуск вниз, почти безостановочный, иногда отдающий холодком омертвения, как бывает на пороге какой-нибудь беды. Потом стали лопаться тормоза. Это было самое ужасное. Герр Кринг сидел с акционерами, сидел с заказчиками, сидел с кредиторами в заводских, ресторанных, банковских, домашних кабинетах, залах, приемных и считал, считал, считал. Потом это постепенно изжилося: все принялись ждать — что же будет дальше? — и, с виду, даже перестали волноваться.

Иные заказчики объявляли банкротство с эпической простотой. Например, герр Энзайт — забулдыга, богач, собственник текстильной фабрики в нейштадтском округе Бадена, крупнейший покупатель МБВ — остановив работу своего предприятия, прислал Каспару Кригу такое письмо:

«Милостивые государи; уведомляю Вас, что моя фабрика закрыта, рабочие рассчитаны, служащие отпущены, платежи приостановлены, склады продукции и сырья опечатаны, моя личная недвижимость описана и на счета в банках наложен арест. В надежде встретить Вашего представителя в будущей администрации по делам моей фирмы, пребываю с совершенным почтением

Энзайт».

Этот самый Энзайт явился в Герлиц, чтобы установить ясность в отношениях с заводом, и был тоже приглашен Кригом к чаю.

Он был, в сущности, порядочным человеком, хотя с печальной склонностью к озорству, которое ему прощалось за богатство и незлобивый характер.

Он пришел первым в сопровождении рыжего дога. Дог, обнюхав переднюю, выбрал угол, трижды повернулся вокруг одной точки и лег. Герр Энзайт, так же как дог, обдуманно выбрал в гостиной кресло. Он страдал одутловатостью лица, делавшей его дряхлым, и это не клеилось с его мансрой крикливо, поребачьи болтать. Все его лицо было испещрено свежими, розовыми шрамами мелких порезов, и с этих

порезов начался разговор, едва в гостиную вошел герр Криг, торопливо и мелко переставляя ноги, как хозяин, который желает показать, что он спешит извиниться перед ожидающим гостем.

— Уверяю вас! — тонко кричал герр Ензайт, ощупывая пальцами скулы, нос и подбородок. — Политика, все политика, уверяю вас. Ну, отчасти, конечно, мумм. Я, как правило, не мешаю, нет. Если мумм, так мумм, а если наш асбах, так асбах. А тут сначала асбахуральт, а потом — мумм. В таких случаях я пою. Это было у нас на Фельдберге, мы ездили смотреть закат. Я пою, и вдруг ко мне приближается молодой человек. Он идет не на двух ногах, а словно на одной с четвертью — что-то слишком неровно. Оказывается, он — ваш единомышленник. Ведь вы, герр Криг, наци? Не совсем? А он был совсем. Он сразу это обнаружил. Он подходит и спрашивает, кто я. Я посылаю его ко всем чертям. Он приказывает мне перестать петь. Я пою громче. Он берет мой стакан с муммом, вот так, между пальцев и вдавливает мне его в лицо. Хрусталь в крошки. Я встаю. С меня льет шампанское и кровь. Я беру изо льда бутылку мумма и ударяю этого молодца по уху. Он валится прямоком, не сгибаясь. Я перешагнул через него и пошел в уборную умываться. Вот вам политика!

— А молодой человек? — деловито спросил герр Криг.

— Он знал, на что шел. У него хорошая голова. Он выжил. Таких политических противников я уважаю.

Герр Ензайт готов был покричать еще, но ему помешали другие гости.

Появился герр Пик. Он выступал правым плечом вперед. Левое плечо отставало, и на нем висела неподвижно рука. Герр Пик был ранен под Верденом, когда в Верден верила вся страна как в начало искупления, когда в Верден верила социал-демократия, которой верно служил герр Пик. Он принадлежал к славной когорте социалистов, пошедшей защищать черно-бело-красное отечество по зову парламентария, доктора Франка. После ранения герр Пик нашел

место в городской организации своей партии и в медовый месяц революции баловался перышком, подувая доннер-веттерами над головами — как он уверял — низвергнутых буржуа. В марте следующего года он посрамлял этим самым перышком спартаковцев. Потом биография социал-демократии стала его биографией. Он попал в ландтаг, затем в магистрат. Звание штатдтрата пришлось ему по душе, и он задержался в этой скромной должности, охладев к массажу языка в парламенте, тем более что там доводилось говорить только в комиссиях. С ним что-то произошло, или, вернее, стали утверждать, будто бы и с ним что-то произошло, как происходило с его партийными коллегами, насаждавшими райские березки своего социализма вокруг касс магистратов. Но ничего установлено не было. Герр Пик понемногу привыкал ко всему — к поклонам секретарей магистрата, к обывательским сплетням, к тому, что, по необходимости, власть должна быть твердой, к тому, что росли дети, что жена требовала установить день открытых приемов, что на каком-то фабричном собрании рабочие называли его бонзой, как называли всех социал-демократов, потерявших память прошлого и заснувших у казенного пирога. Несколько лет герр Пик привыкал ко всему этому, а когда вполне привык — в его банковском сейфе и других положительных хранилищах, среди прочих бумаг и бумажонок, оказалась чуть ли не треть акций МБВ, после чего герр Пик считал возможным, получив от магистрата пенсию, удалиться, по болезни, в отставку. Помнил ли он свое партийное прошлое? Если бы социал-демократия раздавала бонзам мундиры с нашивками, может быть, по парадным дням, одеваясь, они вспоминали бы отеческое лоно. Но социалист в отставке носит визитку, из петлицы которой выпущена черно-белая ленточка Железного креста второго класса. Что может напомнить Железный крест, кроме Вердена?

Следом за Пиком в гостиную вошел герр Мезе. В петлице его визитки не было Железного креста. Если бы он был — он относился бы скорее к семидесятому году, то есть к Седану, а не к Вердену, по-

тому что герр Мезе был старичком. Он был из тех старичков, по которым можно ставить часы. Пожалуй, единственной заслугой таких людей перед человечеством является живой опыт долголетия, секрет продолжительной молодости. Герр Мезе жил хитро и так математично, что нельзя было угадать, ни сколько ему лет, ни зачем он живет, ни даже — сколько у него акций МБВ: одни говорили — добрая половина, другие — всего только четверть. Несомненно, у него было их немало, потому что он легко, не изменяя вымеренного образа жизни, доставлял МБВ беспокойства или удовольствия на фондовой бирже. О своих политических симпатиях герр Мезе любил говорить одно слово, а именно, что они у него *определенны*, и его обыкновенно никто не переспрашивал.

После акционеров в гостиной объявились герр шульрат (школьный советник) Рунде — дальний, но приятный родственник хозяина, человек солидных и воспитательно-ценных воззрений, и генераль-обер-арцт Бекман, представленный сейчас же всем гостям как *генераль*-обер-арцт. Он вошел тихо, неся в горбах большую голову с умными карими, блестящими от слезы, как у животного, глазами. Среди недугов, мучивших этого малоречивого человека, был один изнурительный и жестокий: лет пятнадцать назад, при ранении под лопатку, ничтожный металлический осколок проник в легкое и совершал небольшие прогулки по легочной ткани, от поры до времени разрезая кровеносные сосуды. Надо было каждую минуту быть готовым к концу, и, вероятно, оттого герр Бекман стал замкнут и тих.

Шульрат занялся стереоскопом, разглядывая в стекла поучительные виды Монте-Карло, изящно оттопырив мизинчики. Пик и Мезе взялись за сигары. Они ждали, когда заговорит герр Ензайт: как-никак он нес часть вины за то, что дивиденды МБВ катились под горку. Ензайт предполагал, что заговорит Пик или Мезе: как-никак они были больше заинтересованы в его платежах, чем он. Чтобы помешать неловкости, герр Криг позвал гостей взглянуть на питомник кактусов, накрытый стеклянным футляром и

подогреваемый лампами. Но тут из внутренних комнат вошел в гостиную герр Касти.

Он мало отличался от рядового швейцарца глухого горного кантона: ходил вразвалочку, нагнув голову и растопырив руки, точно гнал перед собою скот и волочил хворостину, поворачивался всем корпусом вместе с головою, будто приклеенной к ключицам, и речи держал, крепко подумав. Но лицо и глаза его были пропитаны красками жизни, как у людей, которые помногу пьют и легко переносят вино хорошей, раз навсегда избранной лозы.

С его приходом завязался разговор, и начали подавать чай. Впрочем, Энзайт громко спросил:

— А держат ли в этом доме другие напитки?

Так что понемногу всё стало принимать достойный вид.

Филипп ван Россум долго пробыл у дочери, в обществе дам. Там находилась супруга Мезе, женщина с бесчувственным профилем, с холодно лоснящимися, как черная клеенка, волосами. Она стойко сочувствовала военизированной партии, входившей в моду на выборах и обещавшей вывести усталое отечество на какую-то особенно светлую дорогу. Эта дорога, вероятно, представлялась фрау Мезе чем-то вроде американских гор с музыкой, и прокатиться по такой дороге, после автоматизированной жизни с напичканным акциями старичком, фрау Мезе чудилось сладкой наградой. Ее соседкой была фрау Рунде, супруга шульрата, отличавшаяся сверхъестественным объемом живота. Дальше сидела фрейлейн Барейс — пухлая особа с милой вдавливающей на подбородке и загадочной улыбкой, — вместилище сокровенных знаний о медицине негров Камеруна, о гипотезе сновидений Фрейда, о врачевании волей, о пользе некоего определенного массажа, о новейшей (отвергающей бурность) форме любви и о культуре наготы. Хозяйка уделяла пристальное внимание этой милой фрейлейн, пикантной не только по характеру своих познаний, но и по некоторым личным качествам.

Дамы занимались рукоделием (кружок зрелых людей, убежденных, что только труд является перво-

основой горестного земного бытия), беседа медленно пошевеливала нейтральные темы о шерсти и шелке, о сочетании желтого с красным и желтого с черным, о вязке столбиком с накидкой и отчасти о пан-идеале. Под это воркованье, как под уговоры старой няньки, размышлялось лениво и скупно, и Филипп ван Россум не торопился к мужчинам.

Он думал о прошедшей зиме. Про себя он называл эту зиму страшной. Она была полна тревоги, чем-то похожей на худшие времена войны, когда отказывалось служить даже чутье, не говоря о расчете, об оперативном даре, о деловом предвиденье. Работа, казалось, могла внезапно принести феерическое богатство. Но вернее всего она могла низринуть ван Россумов в катастрофу. Работа почти переставала быть собою, приближаясь к чистой спекуляции какого-нибудь Шалита. Сколько раз приходило Филиппу на память это имя? Вот три поколения работали в России, на лесном экспорте, и последнее на глазах у Филиппа вырождается в мировых спекулянтов. Шалит приобретает в Лондоне старинный замок (конечно, старинный!) и дает в нем обеды *avec un petit jeû*¹. Шалит отправляется в Москву и во главе английской делегации, наподобие державной стороны, ведет переговоры с правительством Советов. Но судьба спекулянта шествует за ним по пятам. Наступает трудный год, и колосс валится, сбитый со своих фантастических ходуль плывущим с востока лесом: стремительно, безалаберно распускаются штаты международного «лесного министерства» Шалита... Разумеется, Филиппа ван Россума смешно заподозрить в наклонности к спекуляции. Но время ведь, правда, слишком трудно! Оно трудно на родине, в Нидерландах, где рынок завален лесом и сбыт сжимается неуклонно. Оно трудно в России, где на концессии увеличиваются расходы по добыче и транспорту и где советские экспортеры чуть ли не с улыбкой предлагают бросить лесоразработки и вывозить готовые изделия русских лесозаводов. Это будет выгоднее,

¹ С игрой в карты «по маленькой» (франц.).

уверяют они! Бедняга Франс! Ему, должно быть, нелегко перед лицом грубого советского наступления на иностранный капитал... И все это умело принимает в свой низменный расчет мультимиллионер Эльдеринг-Гейзер — скользкая жаба, которая таращит глаза на божий свет из своей вонючей нефтяной ямы! Лодевийк — умница, Лодевийк прав во всем. Жалко, что прошлая зима вконец сломила здоровье старика. Быть может, ему довелось бы сразиться с Гейзером. Гейзер мстит русской нефти всеми способами, и Филипп с отвращением ощущает где-то поблизости от себя сырой холодок жабьей кожи. Ван Россум торгует с Советами! Смерть ван Россуму! И к десятку затруднений присоединяется еще одно, самое чувствительное и тревожное: затруднение в кредитах.

Да, да, позади — страшная зима, и черное дыхание ее все еще веет вокруг Филиппа. Тоннаж дожидается грузов. Грузов нет. Банки ждут процентов. Не остается ни одной не заложенной доски. Нигде, никто не хочет покупать. Весь мир состоит из торговцев. Покупателей не стало. Боже мой, боже мой! Филиппа утомляет одиночество, у него нет близкого человека, ему хочется пожаловаться, впервые с детских лет хочется пожаловаться, ему нужно участие, нужен человек, который отвлек бы от неотвязных мыслей о деле. Он встретил такого человека, встретил Клавдию, и она уехала от него — как он был убежден, неприлично уехала вдогонку за Роговым! Боже мой, боже мой!..

— Слышишь, папа? — сказала Мария. — Тебя зовет Каспар.

— Я иду, — ответил Филипп, не тронувшись с места.

— Итак, — продолжала Мария, оглядывая дам в порядке их общественного состояния. — Учитель пан-идеала явился сквозь мрак нашего безвременья как благодатный светоч. На жизненном пути его сопровождали неслыханные страдания; нищета в отрочестве, голод в юности, мучительная болезнь в зрелые годы. Он все преодолел своим пылким состраданием к несчастному человечеству. Его дело — утверждение, в то

время как господствует хаос отрицания. Подъем в момент крушения всей нашей современности.

— Я слышала о пан-идеале, — подергивая большой костяной спицей, откликнулась фрау Мезе. — Духовность идеи Гольцапфеля мне, право, симпатична. Но его метод мягкосердечен. Он как будто верит в демократию? Нам нужен вождь!

Фрау Мезе на мгновение перестала вязать и подняла свой замороженный взгляд на Филиппа.

— И потом насчет воспитания детей, — произнесла фрау Рунде, причем рукоделие на ее животе вздрогнуло и зашевелилось, как живое: — Мой муж считает, что мальчиков свыше семи лет надо сечь. Допускает ли это пан-идеал?

— Еще один вопрос, — вкрадчивым голосом дополнила фрейлейн Барейс и продолжительно посмотрела из-под плотных ресниц на хозяйку. — Я лично против розог. В таком возрасте. Может быть, в более зрелом... Но интересно знать, как же относится учение Гольцапфеля к другим способам и системам воспитания? Например, распространенная в Англии культура нагого тела есть только гармоническое выражение возвышенной духовности и воспитывает человека для жизни в новом идеальном обществе. Я согласна с уважаемой фрау Мезе: нам нужен вождь. Но, может быть, — нагой?..

Филипп встал шумно, так что дамы проявили беспокойство, вдруг вспомнив о его присутствии. Но тут вошел герр Криг и, извинившись, увел тестя с собою.

В момент их появления мужчины смеялись, инженер Касти рассказывал, как он ехал по Москве ночью на извозчике.

— Мы повернули на Кузнецкий мост. Вы должны знать, что это не мост, а улица. Она идет круто под гору и гладко вымощена. Лошаденка начинает скользить больше и больше. Наконец ноги у ней расползаются в стороны, и она катится на подковах, точно в скеттинг-ринге на роликах. Тогда случается невообразимое. Фаэтон налезает на лошадь, оглобли толкают ее вперед, она задирает морду и происходит настоящее представление: рвется шлея, развязывается

хомут, лошадь выпрастывает из него морду, распутывается подпруга и — хлоп! — оглобли с хомутом и русской дугою валяются на мостовую. Лошадь, с чересседельником на боку, в полном недоумении перелезает через оглоблю и наконец останавливает собою фаэтон. Я все время сидел, готовый выскочить, как только начнет вадиться фаэтон. Извозчик перепугался больше меня. Вцепился в свои высоченные козла и знай орет: тпрру-у! тпрру! Когда мы стали, он бросил ненужные вожжи и прыгнул на дорогу. Вы представляете себе, господа: рассвет, как-никак, центр мировой столицы, ни души народу, распрягшаяся лошадь стоит боком к передку фаэтона и машет хвостом. Я жду, что будет дальше. И вижу: извозчик обходит вокруг упряжки, смотрит на лошадку, сдвигает картуз на лоб и чешет в затылке. Потом отчаянно машет рукой и говорит мне: кончать надо, барин, эту музыку!..

Гости доктор-инженера Каспара Крига смеются. Заливается Ензайт. Беззвучно хихикает генераль-обер-арцт. Грохочет, багровея от прилива крови к бритой голове, шульрат. Повизгивает от удовольствия герр Мезе, и герр Пик мощно шевелит одним здоровым плечом. Даже Филипп ван Россум улыбается добродушно, отлично представляя себе Кузнецкий мост и пролетку, похожую на карусельного лебедя, и клячу, обмахивающую поджарые бока неприглядным хвостом.

— Не забудьте при этом, господа, — комментирует инженер Касти, — что перед революцией в Москве было больше тридцати тысяч извозчиков, и среди них — много тысяч особенно роскошных, каких у нас в Европе не бывало.

Гости качают головами, сочувствуя роскошным извозчикам, или современной Москве, оставшейся вовсе без извозчиков, или — может быть — укоряя революцию, которая в жажде истребления не остановилась даже перед извозчиками.

— Но, господа, — не унимается инженер Касти, — этот доведенный до отчаяния московский извозчик; я

бы сказал — последний русский извозчик, глубоко символичен для современной нам России.

Гости притихают и выжидательно поглядывают на инженера Касти.

— Это мое убеждение, — медленно говорит он, церемонясь на швейцарский лад. — Этот последний извозчик — символ Советской России. Ибо Советская Россия пересаживается сейчас на автомобиль.

Гости шумят и посмеиваются, но хозяин успокаивающе трясет пальцами и обращается ко всем сразу:

— Не попросим ли мы моего друга, инженера Касти, подробно передать нам впечатления, вынесенные им из путешествия по Востоку?

Естественно, все только для этого и собрались.

И так начинается беседа.

XXIII. ДОКТРИНЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Герр Ензайт от времени до времени пропускал хороший глоток остуженного белого вина и посмеивался. К бутылке присоединился генераль-ober-арцт. Дрожащими длинными пальцами он держал бокал, с удовольствием щурясь сквозь зеленый хрусталь на окно.

Касти вытирал со лба пот. Отдуваясь и ерзая в кресле, он кончал речь. С его слов выходило, что план большевиков действительно чрезвычайно велик и если его осуществить только на три четверти, то и тогда Советы превращают свою страну из захудалой хлебопашеской в современную индустриально-аграрную. Образование новых и оборудование старых топливных и металлургических баз даст возможность создать промышленность машиностроения, то есть решить главную задачу механизации сельского хозяйства. Попутно будет идти перевооружение всей потребительской — или, как говорят русские, легкой — промышленности, перевод ее на дешевую энергию гидроэлектрических станций. Пока большевики работают над своими основными предприятиями, составляющими план, им необходима помощь технически передовых

стран Запада и Америки. Строительства заводов, которые Касти осматривал на Волге, на Украине и в Сибири, поразили его своими размерами, вполне передовыми сооружениями и какими-то сверхамериканскими темпами. На рассказе об этих строительствах Касти больше всего и задержался. Предвидя неизбежный технический вопрос, он остановился на проблеме рабочих кадров, как самой трудной и — по его мнению — даже решающей для всей советской за-теи. Он сказал, что надо прибавить к общей проектируемой стоимости строительства процентов до двадцати на обучение и квалификацию рабочего. Другими словами, одна пятая часть затрат, по видимости, уйдет в воздух. Этот расход на индустриальном Западе и в Америке давно произведен, и производился он на протяжении веков. Так что строительство в России будет, конечно, не дешево. Но вот он, Касти, наблюдал, как неуступчивы и изысканны большевики в создании своих промышленных кадров, и убедился, что эта проблема, характерная для отсталого Востока, будет ими разрешена. Общий же вывод инженера Касти таков, что никогда прежде для известных областей промышленности Запада не было более выгодной обстановки сбыта на Востоке, чем теперь. С этим выводом он, инженер Касти, и возвращается к себе, в Сан-Галлен, чтобы побудить свою отечественную индустрию отказаться от бесплодного, недальновидного и неделового игнорирования советского рынка.

Он говорил с оживлением, не очень подходящим к его неуклюже застенчивой натуре. Он старательно обтер лоб, щею, лицо и приложился к чашке с остывшим чаем. Слушатели молчали. Каждый старался извлечь из его речи урок, годный для одного себя, и каждый подбирал в уме вопрос, со своей точки зрения самый умный, самый практический или самый каверзный. Первым обратился к инженеру Касти герр Криг:

— Ты говоришь, что наша техника нужна большевикам, пока они осуществляют свой план. А потом что?

— Потом они нас вышвырнут, — убежденно и просто сказал Касти.

— Но тогда...

— Тогда зачем им помогать? — договорил за своего друга Касти. — Это ведь старая штука. Во всех действиях мы исходим из наших, а не из чужих потребностей...

Тут взрывом расхохотался Ензайт.

— Вы все хлопочете о чужих большевиках, — сквозь кашель, свист и звон дыхания проголосил он. — А пора хлопотать о своих. Вот посмотрите, скоро они нас будут резать...

Все подождали, пока пройдет этот припадок веселья. Но Ензайт, отсмеявшись, со вкусом повторил:

— Вот они нас будут резать, — и даже как-то странно покрутил пальцами по направлению к животам Мезе и Пика.

Генераль-обер-арцт утвердительно задвигал в горбах головою и поднял бокал. Радостно доливая себе вина, Ензайт мигнул собутыльнику.

Мезе сказал:

— Мы много читаем в прессе и слышим в определенных кругах о строительстве в России. Герр Касти любезно поделился с нами своими, можно сказать превосходными впечатлениями. Но позволительно задать вопрос: с какою целью Советы собираются индустриализировать свою страну? Чтобы конкурировать с нами? Этого, видимо, мало. Чтобы подчинить нас себе? Но в этом — смысл всякой конкуренции, и, значит, этого тоже мало. Чтобы уничтожить нас? Но, следовательно, мы должны думать немедленно об обороне и ни о чем другом. Враг у ворот!

Румянец проступил у Мезе на блестящем от бритья подбородке и под глазами.

Касти ответил почтительно: он не изучал политических или других целей советского плана; ему хотелось установить реальность, осуществимость этого плана в русских условиях; кроме того, он имел конкретное поручение своих заводов — узнать, можно ли рассчитывать на советские заказы и в каком объеме.

В том, как был дан ответ, заключался, несмотря на всю почтительность, изрядный афронт. Считавший себя опытным примирителем несогласных сторон,

вынесший эту опытность из магистратских и ландтаговых недр, герр Пик решил, что настало время принять дирижирование оркестром.

— Герр Касти прав, — сказал он, — нас должна и может интересовать узкоделовая, а не политическая сторона русской проблемы. Политизировать мы могли бы бесконечно. Разрешите спросить: обеспечен ли у Советов материальный базис их плана?

— Есть ли у русских большевиков деньги? — Вот куда надо бить, это верно! — с восхищением крикнул Ензайт. — У наших большевиков, господь милостив, пока нет ни гроша.

— Заплатят ли русские по своим заказам и когда? — боязливо спросил шульрат.

— В праздник Обрезания богоматери, — прогрохотал Ензайт.

— Какими средствами располагают Советы? — повторил герр Пик, строгостью тона осуждая неуместную шутку.

— Я не могу на это ответить, — сказал Касти. — Я знаю одно: не было случая, чтобы большевики не заплатили по своим обязательствам. Я полагаю, что их покупательные возможности вытекают из их торгового баланса.

— А! — крикнул Мезе. — Вот именно: торговый баланс, экспорт! Что такое экспорт в условиях советской торговой монополии?

— Виноват, — перебил Пик, — виноват. Герр Касти называет торговый баланс источником кредитоспособности Советов. Как же, однако, ответит герр Касти своим заводам на вопрос — в каком объеме могут они рассчитывать на заказы? Для этого необходимо знать не только баланс, но и размеры обязательств, выданных Советами.

Улыбаясь и немного застенчиво поглядывая на дельцов, методически организовывавших его осаду, Касти заметил, что искусство коммерции, к сожалению, сопряжено с риском, и Меркурий, если угодно, не уступает в отваге Марсу. Когда бы весь мир был убежден, что Советский Союз — здравница для больных

европейских валют, тогда не существовало бы советской проблемы.

— Мы хотим дать работу нашей промышленности, огни которой начинают меркнуть. Надо пробовать, господа, надо решаться.

— То есть, позвольте! На что, собственно, решаться? — как обожженный вскинулся Мезе. — Что вы нам предлагаете? То есть, я хочу сказать, что предлагают нам сторонники торговли с Советами? Мы должны кредитовать Советы на каких-то... на каких-то совершенно... слабоумных условиях. Мы должны дать им машины, организовать их промышленность, а они будут выбрасывать на наш рынок товары по ценам ниже себестоимости. Торговля с Советами — медленно действующий яд, и если вы являетесь ее глашатаем, значит, вы — сознательный самоубийца. Нет? Вы не понимаете, что вы — самоубийца? Значит, вы действуете несознательно? Нет? Вы настаиваете на своем ходе мыслей. Но ведь только советская агентура может игнорировать очевидность и...

— Однако, герр Мезе, я решительно... — начал Касти, поворачиваясь вместе со стулом и неожиданно наклоняя голову, словно готовясь боднуть своего оппонента.

— Простите, вы не должны это истолковать как-нибудь...

— Решительно отклоняю... — продолжал швейцарец.

— ...как-нибудь неправильно... .

— Отклоняю такую вольность сопоставлений. И буду вас просить...

— Но герр Мезе имел в виду... — вступился Пик.

— ...буду просить впредь...

— Ты не должен, — попробовал со своей стороны помочь делу хозяин.

Но Касти упрямо договаривал свою мысль, еще глубже кренив голову и уж совсем исподлобья, побычи, нацеливаясь на Мезе:

— ...впредь выбирать слова обдуманнее.

— Я несколько не мог иметь в виду вас, господин инженер, прошу покорно, — прошипел Мезе и замкнулся.

Герр Пик выступил мягко, как певец:

— Господа. Здесь была высказана ценная мысль. Ходом исторических событий стороны поставлены в неравные условия. Мы не знаем, какие результаты дает России плановое хозяйство внутри страны. Я лично убежден, что приобретения государства меньше суммы потерь уничтоженных частных предприятий и хозяйств. Советы этого никогда не признают. Тут мы упираемся в политику. Но несомненны преимущества планового хозяйства в области внешнего товарообмена. В торговле наш противник устранил посредничество. В производстве им упразднена прибавочная стоимость. Эти два фактора, не считая возможности устанавливать заработную плату, вполне достаточны, чтобы низкими ценами деморализовать наш рынок. Вы правы, герр Мезе: демпинг — логически неизбежный ответ на наше стремление наладить товарообмен с Советами. Тем не менее прав также герр Касте: мы исходим из наших потребностей и должны найти выход, если бы он заключал в себе даже больше обычного в подобных операциях риска. Но, господа...

Герр Пик подвинулся на самый краешек кресла. Он начинал испытывать ослабленное подобие того волнения, которое когда-то придавало вкус его партийным речам, его репликам в комиссиях ландтага. Как аромат пробуждает воспоминания об утраченном и бесконечно милом прошлом, так терминология газетной передовой и два-три слова из увядших в памяти экономических брошюр восстанавливали в бывшем депутате щекочущее брожение отработанных чувств. Все это было очень невнятно, очень слабо, как ложное оживание угасшей силы, но это все же было хорошо, потому что напоминало нечто юношеское — может быть, гражданский долг, может быть, преклонение перед реформаторством, может быть, славу или даже страсть.

— Рискуют по-разному, господа. Кто был в окопах (герр Пик пошевелил изломанным, выдвинутым вперед плечом, словно указывая на выпушку черной белой ленточки в петлице), тот знает, что только об-

думаный риск вознаграждается успехом. Что можем мы противопоставить централизованной торговле Советского Союза? Разрозненные ряды экспортеров, несогласованные действия покупателей, часто враждующих между собой, стремящихся... м-м-да, стремящихся... к узколичной выгоде. Что мы могли бы противопоставить — точнее: что следовало бы противопоставить — торговой монополии Советов? Организацию представителей вывоза и ввоза с централизованным управлением; организацию, распространяющуюся на все страны, ведущие значительную торговлю с Советами; организацию по эластичности не только отвечающую советской монополии, но превосходящую ее. Вот какую инициативу необходимо проявить нашей промышленности, нашей торговле, если мы хотим лишить противника преимуществ, добытых хитростью и узурпацией, и положить предел демпингу; если мы хотим рисковать как смелые, однако благоразумные, предприниматели; если наконец мы хотим, в защите наших принципов, перейти от слов к делу.

Герр Пик мотнул головой в знак окончания реплики и снова пересел поглубже в кресло. На его щеках появился едва заметный румянец. Этот румянец решительно отличался от ярких, здоровых, с резкими границами, румянцев Мезе, выражавших оживленную добротность отправлений его загадочного возраста. Герр Пик румянился робко. Розоватые тени на его скулах были, пожалуй, только отблеском какой-то жизни, а не самой жизнью. Это был румянец далекого, далекого прошлого. Боже, как хороша все же юность!

Никто не отозвался на выступление Пика, вероятно потому, что никто не ожидал столь государственного почина в столь частном обществе. Заключительное обращение Пика показалось слишком неожиданным: призыв перейти от слов к делу считался каноническим заклинанием парламентских ораторов, повторяющих его наподобие церковного возгласа: «И ныне, и присно». Возможно, герр Пик понял несоответствие выступления обстановке; возможно, он с новой реальностью увидел себя акционером МБВ, давно отказав-

шимся от политической карьеры; возможно, его охватила грусть по поводу обманчивого пробуждения уже не существовавшего чувства. Как знать. Но герр Пик постарался замять неловкость паузы.

— Мне кажется, было бы чрезвычайно важно для всех нас, — сказал он, — если бы господин ван Россум, обладающий большим опытом деловых отношений с Москвою, высказался бы о затронутых здесь предметах.

Все дружно обратились к Филиппу, точно зрители, ожидавшие выхода актера. Он стоял у книжного шкафа, позади Крига, и, когда его вызвали говорить и молча стали смотреть ему в лицо, он подвинулся к столу, дотронувшись до него костяшками согнутых пальцев, пожалуй, именно так, как это сделал бы на его месте актер. Но только одним этим жестом он обнаружил некоторую артистичность. Говорил и держался он просто, и если его по манере и виду следовало бы сравнить с министром, то старше начальника департамента в комнате никого не было. Его и слушали сначала — как чиновники своего шефа, пока не наступила минута, когда все принялись разбираться по углам, словно звери разных пород, брошенные в один загон.

— Извините меня, господа. Вы говорили не о том, о чем думали. Вы производите текстильные машины. Значит, вам нужно знать, выгоден ли сбыт этих машин в Советской России. Ничто иное не может вас интересовать. Иначе вы из коммерсантов становитесь газетчиками. На протяжении всех лет работы с Советами я именно так рассматривал и рассматриваю свою задачу: я торгую лесом, — выгодно ли мне вывозить лес из Советской России? Сегодня выгодно — я вывожу. Завтра невыгодно — я прекращаю вывоз. Больше я ничего не хочу знать. Как только вы разделили эту точку зрения, вам стало все ясно.

Филипп остановился, вызывая слушателей немедленно с ним согласиться. Герр Ензайт, блаженно притихший за остатками вина, вдруг опять бурно ожил.

— Я не произвожу машин. Я не произвожу сейчас ничего. Когда-то я производил мануфактуру. Мою ма-

нуфактуру описали. Но она лежит на складах. Ее никто не покупает. Может, ее купит Россия? Как бы не так! Россия продает, а не покупает. Она продает Персии, продает Турции. Большевики знают, что требуется от купцов. В Турции они кланяются полумесяцу, в Персии готовы вместе с шиитами полосовать себя кинжалами. А моя мануфактура лежит. Вы ищете сбыта своих машин в России? Браво! Вы прокладываете дорогу советской экспансии на Востоке. Советы навсегда отнимут у Европы Ориент. А моя мануфактура будет лежать.

— Может быть, мы все-таки попросим господина ван Россума... — заметил герр Пик.

— Пожалуйста, — воскликнул Ензайт. — Я только хочу сказать, что этак вы никогда не получите с меня долга. Ваше здоровье!

Он приподнял бокал и со смехом поклонился Пику и Мезе.

— Вот видите, — улыбнулся Филипп, — это вполне деловая оценка мануфактурной проблемы. К проблеме текстильных машин отношение должно быть, естественно, иным. Таким образом, действуя в каждой экономической области независимо, мы можем надеяться в конце концов установить применительно к Советам такую хозяйственную политику, которая вернет Россию в семью европейских народов.

Из какого-то отдаления, точно из-за двери, занавешенной ковром, просипел новый, до сих пор не раздававшийся голос:

— Разрешите узнать: для какой цели вы считаете нужным включать в семью европейских народов Россию?

Генераль-обер-арцт Бекман сидел красный. Бокал с вином плясал в его длинной руке. Горбы лезли вверх.

— Россия всегда принадлежала к этой семье, — отозвался Филипп.

— Я полагал, — возразил Бекман, совсем осипнув от возбуждения, — что, где начинается Польша, там кончается Европа.

Он должен был поставить вино на стол, и зажать руки между острых, высоко торчавших коленок. Круглые глаза его светились фонарями. В нем накопала жажда возмущения.

— Я хотел бы уклониться от спора, — сказал Филипп. — Но извольте, я отвечу. Россия должна быть возвращена в семью европейских народов, так как нет иного способа заставить ее отказаться от безумств и заблуждений. В деловом общении с нами она будет принуждена изменить систему своей экономики, приблизив ее к нашей и со временем восстановив старый хозяйственный строй. Такое перерождение России оздоровит общеевропейскую ситуацию. Поэтому наша задача — возможно более обширные связи с Москвой. Эту задачу мы должны решать нашими методами свободной конкуренции, отвергая всякого рода объединения, несвойственные природе частного капитала. В том, что я здесь слышал от господина Пика — не так ли? — я нахожу отголоски тех самых утопий, против которых господин Пик желал бы соорудить свою капиталистическую монополию торговли с Москвой. Мы должны оставаться практиками. Я лично всегда практик, только практик. Меня удивляет, что наша беседа проходит так расплывчато. Вы обсуждаете, можно ли и нужно ли торговать с Советами, тогда как вашей страной это давно решено: у Германии есть торговый договор с Москвой, и ваше правительство гарантирует кредиты, предоставляемые русским. Я на вашем месте желал бы одного: побольше советских заказов. Будем практиками до конца. Вам, господа, не удалось получить советские заказы, не так ли, Каспар?

Филипп повернулся к зятю. Герр Криг передернул плечами и взглянул по очереди на Пика и Мезе, как в пантомиме предоставляя им слово. Но они молчали, и ему пришлось самому подыскать возражение.

— О неудаче не может быть речи. Шаги, которые предпринимал лично я, имели информационный характер. При этом у меня создалось впечатление, что заказчику нужны новые модели машин, больше ничего. Россия учится строить машины, и дело зашло далеко. Советы вывозят не только мануфактуру: они вывозят

машины. При оборудовании мануфактурных фабрик на Востоке мы уже сталкиваемся с советской конкуренцией. Москвичи держат себя так, как будто обладают опытом по крайней мере английского машиностроения.

— Еще шаг вперед! — опять улыбнулся Филипп. — Теперь мы знаем, как обстоит с текстильными машинами. Послушать тебя, Каспар, так рассчитывать на торговлю с Москвой невозможно. Но вот твой друг, господин Касти, вывез из России другие впечатления.

Герр Криг тоже улыбнулся:

— Впечатления — одно, а вот заказы... И потом ты упускаешь из виду, что покупать в России куда легче, чем продавать.

— Ну, это вряд ли в одной России.

— Возможно. Но как раз этим объясняется, что мы сейчас не понимаем друг друга. Ты, например, не хочешь понять замечаний господина Пика об известных преимуществах советской монополии.

— Изволь, — отозвался Филипп, — я готов расширить эти замечания. Преимущества Советов перед нами заключаются не в самой монополии. Они в том, что Москва объединила финансовый и торговый капиталы и не знает противоречий, которые мешают нам на каждом шагу. Мы не в состоянии вполне устранить эти противоречия. Мы должны...

Герр шульрат громко вздохнул. Он сидел в дальнем углу комнаты, и о его присутствии почти забыли. На первом плане трепыхал насилие сдерживавший потребность говорить герр Бекман. Герр Ензайт реагировал на изгибы разговора посасыванием вина, раскуриванием сигары, и движения его, так же как беспокойство Бекмана, все время привлекали к себе внимание. Оба они повернулись на неожиданный вздох шульрата, так что невольно возник антракт, и ван Россум, всматриваясь в угол, спросил:

— Вы как будто желаете что-то сказать?

— Нет, нет, — предупредительно отказался шульрат.

— Пожалуйста! — настаивал Филипп.

Герр шульрат кашлянул, деликатно прикрыв рот. Он не вполне доверял себе, стараясь понять этих людей с помощью обрывочных знаний, почерпнутых из торговых страничек газет. Ему представлялось, что от него что-то утаивается, что понятность и доступность речей — простая видимость, прикрывающая какую-то тайну. Как скромный профан, он считал коммерцию делом изощренно-тонким и, очутившись лицом к лицу с живыми дельцами, подозревал в каждом слове хитрость. Но у него были свои убеждения, твердые как асфальт, и они просились наружу.

— Ну, палите, что ли, скорей! — простецки поторопил Ензайт.

И шульрат сказал, чуточку поперхнувшись:

— Противоречия капитализма — об этом слишком много говорится. Но в чем, собственно, противоречия заключаются — от нас держат в секрете. И вот... хм... сейчас приходится это слышать здесь. Но если господа капиталисты сами видят противоречия, то почему они не устраняют их? Остаётся заключить, что они не видят никаких противоречий и вслепую повторяют утверждения социализма.

— Надеюсь, вы не считаете меня социалистом? — справился не без рисовки Филипп. — Противоречия, обнаружившиеся здесь, вам недостаточны? Может быть, вы назовете их несогласием по определенному вопросу? Различием интересов? Вы хотите увидеть органический порок нашей системы? Хорошо. Я приведу пример, который, право, составил бы честь социалисту. Я беру этот пример из моей области. В Лондоне действует банк, кредитующий лесопромышленность. Нам нет надобности знать его имя. Он дает кредиты финляндским экспортным фирмам. В то же время в Англии и в других странах он дает деньги импортерам, покупающим лес в Финляндии. Банк заинтересован в том, чтобы продавец вывозил свой лес по возможно высокой цене. И он заинтересован в том, чтобы покупатель приобретал лес по возможно низкой цене. Так как один и тот же товар не может одновременно стоить и дорого и дешево, то выигрывает некто третий.

— Нам нет надобности знать его имя, — приплел герр Ензайт.

— Удовлетворены ли вы? Или вам продолжает казаться, что наши противоречия придуманы социалистами? Но я охотно увеличиваю этим примером арсенал сторонников плановых систем, монополий и прочее. Я остаюсь верен свободе торговли, свободе борьбы с ее противоречиями.

— Потому что бессильны справиться с ними, — воскликнул Бекман.

— Не *потому что, а несмотря* на то, что бессилен справиться. Как с морем: я не могу устранить риск аварий, но продолжаю строить корабли.

— Да, да, да! — почти задыхаясь и с усилием одолевая беспокойство, вдруг прокричал Бекман. — Не в силах побороть зло и потому миритесь с ним. Заключаете с ним союзы. Подписываете договоры. Я это давно слышу в вашей речи. И во всем, что тут сказано, — слышу. Дух времени. Посеянный политикой. Да.

Он попытался привстать, вцепившись длинными трепещущими пальцами в сиденье. Но всю его силу отнимала работа легких — тяжкое, шелестящее дыхание, разрывавшее речь на лоскуты. Он уступил легким: ему надо было говорить — он остался в кресле. Его большая голова, похожая на какую-то глазастую и умную птицу, ворочалась в горбах как в гнезде. Он не договаривал слов: они были длинны для него, они мешали дышать. Он их кое-как выталкивал, высвистывал. Но, как ни мучительно было ему, он уже не мог остановиться.

— Гони природу в дверь... Не хотели слышать о политике, а все только и говорите о ней. Гони политику в дверь — такой нужен бы нам перифраз... Улаживание... соглашение, уступки — дух нашей политики... Пережиток парламентаризма, да. Парламент насадил культ уговоров. Мы обязаны парламенту либеральной модой на Советы. Да, да. Парламент со своей идеей примирения... сожительства, содружества... общественных формаций... Пожалуйте... Парламентская мания приводит к примирению с кем угодно. Капиталисты сотрудничают со своими антиподами...

уговаривают большевиков... вернуться в семью европейских наций... Возводят их в моду...

Он передохнул, кашель начинал встряхивать его после каждого двух-трех слов, лицо поблескивало потом.

— Непонятно, — с обидою поторопился вставить герр Пик, — к чему подымать тут тему парламентаризма...

— Мы присутствуем при его последнем издыхании, — неожиданно осмелел шульрат. — Природные парламентарии смеются над парламентаризмом. Вот как выразился лорд Хартингтон: «Я задремал в то время, как произносил речь в парламенте. Я проснулся, и, честное слово, оказывается, я продолжал говорить!»

— Очень, очень мило! — засмеялся ван Россум, отходя к шкафу. — Кто это, вы говорите, так элегантно состроил?

— Друг Уинстона Черчилля. Не менее.

— Весьма мило, — повторил Филипп и повернулся лицом к книжным корешкам.

— Наш долг, — продолжал насилу откашлявшийся Бекман, — бороться с модой на большевиков... на чужеземцев мысли, духа, да. «Прочь все чужое!» — должны мы сказать. Мы обязаны думать о себе... Потому что мы дошли до предела... в забвении самих себя... Вы заблуждаетесь, господа. Вам следует решить, как сделать наше хозяйство независимым. А чем озабочены вы? Как лучше его закабалить. Да...

— Однако... Что же вы желаете предложить? — перебил герр Пик.

— Автаркию! — громогласно вступился шульрат. — Истинный выход из нашего бесславия. Из нищеты, к которой мы идем. Самостоятельно обслуживающее себя государство. Экономически независимое ни от кого, замкнутое, свободное. В таком государстве снова можно будет навести порядок.

Он пристукивал кулаком по коленке и озирался с таким видом, как будто хотел взять розги и отсчитать всем по очереди. Генераль-обер-арцт кашлял. Шум начинал грузно поднимать чинный порядок комнаты.

Обрывчиво стали возражать, не адресуясь ни к кому, герр Криг и Касти. Давно угасший, заворчал что-то Мезе. Поднялся и разочарованно опрокинул в рот пустой бокал герр Энзайт.

— Надо думать о новом устройстве хозяйства, — восклицал Бекман, — надо обуздать машину... которая работает без смысла. Оживить ремесла, да... вернуть человеку труд... А вы...

Он опять закашлял. Словно кто-то залез к нему в горбы и нещадно тряс его изнутри. Он не успевал хватать воздух.

— Вам невозможно так волноваться, герр генераль обер-арцт, — озабоченно сказал хозяин дома.

Но он продолжал выталкивать побелевшими губами:

— Должны... навсегда... беспомощность, терпимость... либерализм... заменить героикой... да. Героикой долга... перед нашим поруганным отечеством...

— И порвать, порвать, — кричал из своего угла шульрат, — путы, связывающие... накинутае на нашу страну...

Герр Энзайт не спеша отошел к дальней двери. Он как будто подражал позе ван Россума, пренебрежительно отказавшегося участвовать в споре, руководимом слабыми нервами и партийной страстью. Разница между ним и ван Россумом была в том, что его ухода в сторону никто не заметил, а Филипп привлек к себе раздраженное внимание: черные взгляды Пика и Мезе нависали на его спине. Этот ширококостный, медлительный голландец — чем-то близкий, понятный и одновременно холодно-далекий, превосходный, — по-видимому, счастливо процветал там, где оба они, несмотря на свой разнородный опыт, нелепо топтались, точно слепцы ощупывая пространство. Они были прикованы к спине, нагло, безбоязненно обращенной к ним и ко всему обществу, и почти не слушали тяжких выкриков Бекмана.

Герр Энзайт приоткрыл дверь в переднюю. Дог тотчас поднялся с лежки и обрадованно застукал хвостом по стене.

— Пойди сюда, — позвал Энзайт.

Он взял пса за ошейник и втащил его морду в дверь.

— Вы боитесь... демпинга товаров, — задыхался герр Бекман. — Демпинг безумия... угрожает нам!

— Возьми! — приказал Энзайт, дергая дога за ошейник.

— Демпинг идей... яд революции.

— Возьми! — повторил Энзайт.

Дог брехнул неуверенно. Ошейник жал ему глотку. Пес не мог взять в толк, что хочет от него повелитель. В чужом жилье брехать не полагалось. Но повелитель больно мял горло и усыкал: «Возьми!»

— Сколько лет ввозят к нам... яд революции. В любых количествах... — хрипел герр Бекман.

— Дешевле себестоимости! — подхватывал шульрат.

— Возьми!

Дог начал брехать. Энзайт хохотал. Герр Криг смятенно вылезал из-за стола, с трудом отодвигая громоздкое, как трон, кресло.

— Это вопиющее озорство! — кричал он.

Все поднялись. Герр Касти безбоязненно двинулся к собаке. Раскрылась еще одна дверь, фрау директор испуганно заглянула в кабинет. Безобразие предстало перед ней в своем подавляющем цинизме.

Швейцарец с тупой решимостью, как скотину, выталкивал в переднюю хохотавшего Энзайта. Пес озлобленно лаял, вырываясь, царапая когтями паркет. Герр Криг махал руками. Выкарабкавшийся из кресла герр Бекман — белый, трясущийся, потный — беспомощно ловил ртом воздух. Что-то выкрикивал возбужденный шульрат.

Фрау Мария с протянутыми руками бросилась к отцу.

— Спокойствие, мой друг! — сказал Филипп, обнимая ее. — Тут обсуждаются вопросы внешней торговли...

В эту минуту шум стихнул.

Герр Бекман упал в кресло. Он упал боком, так что горбы его заняли все сиденье, прижав голову в угол мягкой податливой спинки. Он с трудом повер-

нул лицо кверху, заложив подбородок на плечо. Его уродство было в этот миг печально и страшно. К нему кинулись фрау Мария с мужем и шульрат. Герр Бекман подал им руку. Они подтянули его и переложили на спину. Он заткнул рот ладонью.

Тогда сквозь его белые пальцы побежали струйки крови, быстрее и быстрее скатываясь на грудь, под топорщившийся, лезший на голову пиджак.

Фрау Мария вскрикнула и зажмурилась.

— Что надо делать? — перепуганно нагнулся над Бекманом герр Криг.

Бекман отдернул руку ото рта, силясь вздохнуть. Кашель тихими, короткими судорогами выталкивал из него пузырящуюся, липкую черно-красную пену. Наконец он втянул воздух и задержал его в груди. Несколько секунд прошло в тишине. Бекман пальцем позвал фрау Марию. Она в ужасе наклонилась к его лицу. Оно было перемазано кровью.

— Воды... с солью, — чуть слышно шепнул он.

— Наш милый Бекман! — с нежностью всхлипнула фрау Мария. Но, увидев себя окруженной чужими людьми, поправилась: — Наш милый герр *генераль-обер-арцт...*

Нельзя было ни на минуту оставлять больного в кресле: он наполовину висел в воздухе, упираясь пятками в ковер. Решили перенести его на диван. Принялись обсуждать — как это лучше сделать. Филипп сказал, что сначала надо придвинуть поближе диван, и первым пошел в угол кабинета показать пример.

Ензайт, опять объявившийся в комнате, посторожился растеряннo и словно виновато. Филипп попросил его помочь. Он метнулся к дивану и старательно принялся сдвигать его с места. Но понадобились еще усилия Касти и Крига. При этом переговаривались почему-то шепотом, и перенесение дивана всех страшно взволновало.

Фрау Мария позвала на подмогу фрейлейн Барейс, знавшую и умевшую все на свете. Сияющая фрейлейн приняла команду, и Бекман вскоре лежал, прикрытый пледом, на низкой, удобной подушке. Лицо его было вытерто начисто, под намокшую рубашку

подложено полотенце, он глотал с ложечки соленую воду и благодарно опустил веки, когда ему сообщили, что на кухне для него колется лед. Он снова поманил к себе фрау Марию и, взяв ее руку, что-то зашептал. Фрейлейн Барейс всплескивала пухлыми ладошками, ужасалась, цепенела, но больной договорил, что хотел.

Выпрямившись, фрау директор обратилась к мужчинам.

— Герр генераль-обер-арцт просит извинить, что он невольно нарушил вашу беседу, господа. И потом...

Она оглянулась на Бекмана. Он мигал своими огромными глазами, сверкавшими и полными страха, как у подбитой птицы.

— Он просит провозгласить за него: «Да здравствует Германия».

Гости, поглядывавшие в окна или изучавшие кактусы, значительно покосились друг на друга и, так как больному надо было дать покой, стали расходиться, стараясь не шуметь. Один герр шульрат приветствовал Бекмана энергичным поднятием руки, как самый вышколенный наци...

Под вечер Филипп должен был уехать в Берлин. Поездка складывалась незадачливо: один автомобиль зятя стоял в ремонте, другой был неудобен для большого пути, приходилось выбирать между вечерним и ночным поездами. Филипп просил не провожать его на вокзал и, захлопнув дверцу автомобиля, облегченно откинулся в мягкий угол. Он с удовольствием задремал бы. Сцена у зятя представлялась ему мелодрамой, разговор — ненужным и слишком утомительным. Впрочем, он всегда считал родную чету Кригов безнадежно провинциальной.

Проезд на вокзал по главной улице оказался закрытым. Филипп выглянул наружу. Цепь конных полицейских загораживала дорогу, пешие рассортировывали автомобили по боковым улицам, со смаком размахивая белыми указками. Вдалеке, позади цепи, ожившими монументами пронеслись верховые, и чуть мутнела недвижная, как забор, толпа.

Автомобиль побежал окружными дорогами, больше обычного оживленными, но бесцветными и сумеречными. Филипп понял, что на главную улицу в интересах стратегических операций был дан раньше времени свет, — поэтому так отчетливо виднелись всадники.

Выехав на вокзальную площадь, Филипп увидел по-военному, в рядок построенные кареты Красного Креста. Главная улица упиралась сюда другим концом, и тут тоже распоряжалась полиция. Двери крайней кареты были распахнуты, и санитары, подняв над головами носилки, изо всех сил вдвигали их внутрь. На носилках приподнималось и падало что-то черное, бесформенное, непохожее на человека. Необыкновенно коротенькими показались Филиппу носилки. Он взглянул на свои протянутые ноги и подумал, что ни за что не уместился бы на носилках. Да и санитары ни за что не подняли бы его так высоко над своими головами: ведь он весил без верхней одежды сто два килограмма.

Филипп встряхнулся: что за адская чушь лезла в мозги после этого глупейшего спора у зятя!

Приподнимаясь, чтобы вылезти из авто, он почти измученно вздохнул:

— Боже мой, когда же, когда же кончатся эти истории...

XXIV. ПОХВАЛА БЛАГОРАЗУМИЮ

Для окружающих визит Филиппа в Гарлем носил вполне корректный смысл: Филипп должен был выслушать пожелания старшего брата перед своим отъездом в Россию. На самом деле Филипп явился попрощаться с Лодевийком навсегда. Доктора с изумлением отзывались о природной крепости Лодевийка, но свои речи с Филиппом — деловым человеком — вели по-деловому: недели в две, самое большее — в три оценивалась жизнь Лодевийка ван Россума.

Капитан Меес — приятель Лодевийка с детских лет, старикан, подстригавший бакенбарды под Лоде-

вийка, вечно сосавший коротенькую трубочку-носогрейку, как умный кот прижившийся к дому, — перенял некоторые священные обязанности хозяина. Филипп встретил его во дворе за чистой голубятни. Попыхивая язвительным дымком табачной смеси, напоминавшей подгорелую корочку сыра, Меес рассказал, как обстояли дела. Лодевийк уже не вставал с постели и принимал только жидкую, чуть теплую пищу. Всякий раз после питания наступали боли, и поэтому с каждым днем труднее становилось уговорить больного поесть. О том, что Лодевийк болен не язвой желудка, а раком, всем было известно, и наконец недавно стало известно и самому больному от проговорившейся в рыданиях Элизабет. Врачи признали операцию бесполезной. Все подвигалось просто и неотвратно к концу.

— Он уже не выйдет из дома, — сказал Меес. — А какой был важный корабль!

Коричневыми от табака, тупыми пальцами он потер слезившиеся глаза...

Лодевийк заснул, и его нельзя было беспокоить. В столовой было накрыто к чаю, но что-то поминальное показалось Филиппу в горестно пустовавшем месте хозяина, и он ушел в другую комнату.

В боковом кармане, в бумажнике, лежала телеграмма Франса. Филипп все время ощущал ее, как жар раздутого угля. Но он заранее твердо знал, что брату не скажет о ней ни слова.

Телеграмма сообщала о том, что можно было ожидать давно и во что, несмотря на предупреждения Франса, мало верил Филипп: на концессии среди сплавщиков леса разразилась забастовка. Разразилась! Черта с два! В наше время ничего не «разражается», — думал Филипп. В наше время все организуется, мы живем в великую послехристианскую эру организации. Организуются возмущения, восстания народов, организуются войны, организуются голосования, успех, неудача, провал коммерческих дел, организуются слава, бесславие, авторитет, обожание и ненависть. Все человеческие стремления и страсти изучены, и смелыми, искушенными руками

переливаются из одного сосуда в другой. И вот в разгар лесного сплава, когда реки Севера безвозмездно мчат на своих вздутых горбах любую тяжесть, как раз в это подлинно золотое время раздражается забастовка. Ребенок лет четырех от роду, пожалуй, поверит в такую социал-волшебную сказку: дяденьки-сплавщики выбирают делегатов, бородатых и хмурых; делегаты идут в лесную контору, переминаются с ноги на ногу, говорят: «Вода — она ледяная, в лаптях — все одно как босиком, давай об это место болотные сапоги, не то — шабаш, не погоним ни одного бревна, вот те крест»; контора волнуется, у конторы одна пара сапог на десять человек, а пока будешь искать сапоги — сойдет вода, и прощай сплав; контора набавляет заработную плату; бородачи стоят на своем — сапоги и боле никаких; контора набавляет еще; делегаты теребят бороды, решают идти к сплавщикам, совещаться — и так дальше! Действительно, для малых ребятишек. Филипп — не дитя. Филипп едет в Россию не для разговора о лаптях с хмурыми делегатами забастовщиков. Он явится в эту страну, чтобы твердо сказать, что договор есть договор, чтобы раскрыть карты и посидеть с партнером, как за бриджем. Что вы хотите от концессии? — спросит Филипп у своего партнера. Большевики — трезвые практики. Так давайте же говорить трезво, — скажет Филипп. Вы знаете, что заготовленный на концессии лес вывезен к рекам; что пароходы один за другим направляются за этим лесом в ваши северные порты; что мои заводы в Голландии, которые еще идут и которым есть расчет идти только на сырье концессии, ни на каком ином, нет, ни на каком! — что заводы ждут леса; что у меня есть обязательства; что наконец у нас договор и что он двухсторонен, и если я чего-то там не выполнил, если у меня не хватило каких-то болотных сапог для ваших мужиков, или... как надо сказать? — то посмотрим, все ли выполнено другой стороной. Тут и обнаружится... о, Филипп уверен, что тут непременно должно что-нибудь обнаружиться и что Франс не сумел найги с большевиками

нужного языка. Филипп твердо спросит: что вы хотите от концессии?

— Что вы хотите, господа? — возгласил Филипп.

Неслышно появившаяся в пустоте сумерек горничная зажгла свет, и он залил Филиппа, стоявшего посредине комнаты, раздвинув ноги, запихав руки в брючные карманы, нагнув вперед массивное туловище.

— Чего изволит мэнэр?

Мэнэр ничего не изволил, он просто разговаривал сам с собою. Он защирился от электричества и пробурчал:

— Что там такое?

Оказалось, больной проснулся, и к нему можно было пройти.

Филипп прежде всего увидел тоненькие белые палочки, лежавшие на темном одеяле по краям постели. Он понял, что палочки были руки, потому что они вылезали из закатанных до плеч рукавов рубахи. Бакенбарды и шевелюра Лодевийка потеряли привлекательную голубизну седины, стали тускло-желтыми. Хотя это могло только казаться в усталом полусвете чем-то прикрытых ламп. Лицо странно уменьшилось и покрылось множеством складок, точно его, скомкав, подержали под прессом. Открылись большие глаза, складки задвигались. Вероятно, прежде это движение освещало лицо улыбкой. Сейчас Филипп увидел неприятную и словно бессмысленную гримасу. Он сел поближе к брату.

Лодевийк приподнял руку с постели и тихо сложил пальцы в кулак. Но держать кулак было трудно, он разжался сам собою. Лодевийк слегка погрозил указательным пальцем.

— Едешь? — пропиликал он чужим голосом. — Ты их там... — начал он, но тут же резко, словно от отрыжки, захлопнул рот и бросил руку на постель.

— Комплот, — сказал он немного погодя, — комплот вредных негодяев...

— Я все улажу, не беспокойся, — почтительно и с боязнью, как умирающему, доложил Филипп.

Лодевийк закрыл глаза. Все тем же голосом он вдруг, не подымая век, отчетливо спросил:

— Я хочу посоветоваться с тобой. Какие средства я могу вынуть из дела... без ущерба...

Он подвинул руку к своему животу.

— Надо бороться с этим...

— Для твоего лечения, мой друг, — все средства!

— Науке.

— Науке?

— На борьбу с этим, — Лодевийк пошевелил пальцами на животе.

Вдруг Филипп спохватился: нельзя уезжать сейчас, нельзя оставлять больного, пока он еще поворачивает языком, пока он еще может держать перо. Все должно быть оставлено, брошено, забыто, пока смерть не кончила своего дела. Это сознание пришло так властно, что на него отозвалось все тело, будто облитое несносным холодом. Филипп вздрогнул. Что делает болезнь: такая твердыня разума, такой корабль, как выразился Меес, и — эта блажь!

— Ты знаешь конъюнктуру, — строго сказал Филипп, подвигаясь еще ближе к постели. — Затруднения увеличиваются, а не уменьшаются. Надо бы вкладывать средства, а не вынимать. С банками Эльдеринг-Гейзера мы вынуждены будем порвать.

— Жаба, — ясно шепнул Лодевийк.

— Решай сам, что можно сделать для науки... Я одобряю твою идею. Она великодушна, как ты сам... Но наука, по традиции религии, слишком много получает и чересчур мало дает.

— Мне она уж не даст ничего, — проговорил Лодевийк и медленно распахнул глаза. — Элизабет!

Элизабет всплыла у его изголовья, будто рожденная мраком. Лодевийк подергал бровями. Он волновался. Она успокаивающе кивнула ему и позвала Филиппа с собою, в кабинет.

Идя за ней по пятам, он торопился спросить обо всем, что раньше не приходило на ум: какие врачи и профессора лечат Лодевийка, кто навещает его, кого он любит слушать, дают ли ему почту, думает ли он о деле, не бывает ли у него каких-нибудь

странных желаний. Как будто все обстояло гладко, и опасных влияний не обнаружилось. Но, когда Филипп доставал пенсне и насаживал его на нос, холод все еще прогуливался по его пояснице.

Элизабет отперла конторку и вынула несложный лист гербовой бумаги — завещание Лодевийка ван Россума. Филипп должен был прижать лист к конторке, чтобы скрыть трепет рук. Проглотив наспех торжественные вступительные фразы, он начал осторожно вникать в содержание.

Так пунтик входит в неизвестную клокочущую реку, отыскивая брод. Вот первый шаг, — вода по щиколотку; вот по колено; выше, выше; сильнее и упрямее поток; вот по пояс, — и рвет, сбивает с ног трезвонящая, кипенная масса; еще один шаг — не последний ли? — поток бьет в грудь, покрывает плечи, надо пуститься вплавь, иначе — смертельная опасность; но нога нащупывает опору — раз, другой; уже выпрямилось над водою посеребрённое туловище, увереннее и свободнее становятся шаги; и вот — все позади, и легкой, едва ли не пустячной кажется преодолённая переправа.

Филипп небрежно скинул пенсне. Вздыхнув, он обернулся к Элизабет и умиленно открыл ей объятия.

— Мой тихий друг, — пропел он голосом, забулькавшим где-то в глубине кадыка, — вам ниспослано прискорбное испытание. Но милость всевышнего не покинет вас. Я же всю свою жизнь буду вашим советчиком и слугою.

Он давал обещание с горячей искренностью и, как только почувствовал, что плечи Элизабет встрепнулись и задергались, обильно прослезился.

Действительно, было от чего растрогаться: воля умирающего не оказывала никакого давления на судьбу фирмы. Лодевийк передавал свои капиталы Элизабет, оставляя их неприкосновенно в деле. Все другие пункты завещания касались наивных подарков. Твердыня разума ничуть не пошатнулась. Из моря предательства, измен и всяческой неверности отходил в вечность бесспорно-важный, надежный и

благородный корабль. Н-да, как-то это в нашем мире все шероховато устроено, господи сил!

Филипп стер с глаз слезинки. Ласково и толково он объяснил Элизабет, что его отъезд в Россию не может быть отложен ни на один день. Кроме того, он просил передать Лодевику свое полное одобрение рыцарски выраженной воли и посмотреть за тем, чтобы никаких перемен в завещание не вносилось. Элизабет тотчас разделила его доводы: как ни простовата была ее природа, она все же перевоплощалась в юридическую компаньонку довольно таинственной для нее, но могущественной фирмы.

Успокоившись, они вернулись в спальню Лодевийка.

Он лежал не шевелясь, с закрытыми глазами.

— Прощай, брат, — сказал Филипп, притрогиваясь к руке больного. — До свиданья, — договорил он дрогнувшим голосом.

Не получив ничего в ответ, он вышел на цыпочках.

В столовой капитан Меес, собираясь заводить часы, прилаживал к ним скамеечку. Филипп хотел приласкать этого домового уютным словом, но надо было спешить.

XXV. ПО ПУТИ В МОСКОВНЮ

Пароход «Елена», за полгода после выпуска совершивший несколько небольших рейсов, дожидался Филиппа в Бергене, чтобы идти за лесом в Белое море, в Сороку. В другое время было бы нерасчетливо гнать этот пароход на север в роли рядового лесовоза, но многие обстоятельства понуждали к этому, прежде всего то, что не предвиделось, чтобы «Елену» скоро зафрахтовали для других рейсов. Маршрут Филиппа был составлен так: Амстердам — Копенгаген на автомобиле, через Варнемюнде — Гьедзер, затем Копенгаген — Осло пароход и Осло — Берген поезд. Такая комбинированная поездка не слишком утомляла, вместе с тем Филипп быстрее

обычного пароходного рейса достигал Бергена и отправлялся прямо к цели, в Поморье, в район Мурманской железной дороги, которую он так кокетливо называл Мурманкой и вокруг которой средоточились лесные массивы и промышленность. Он хотел лично познакомиться с положением на концессионных лесоразработках по западному берегу Онежской губы. Кроме того, у него были особые соображения насчет сорокской гавани, предположительные, вполне секретные и жгуче его занимавшие, потому что именно из них мог подобраться «большой шлем» в том бридже, который ему предстояло сыграть с советским партнером.

Филипп прибыл в Берген поутру. Серенький, дождливый день собирался прочно установиться, по горам и над океаном вились однотонные плотные завитушки туч. Автомобиль проскочил мимо базара, и на минуту в окна ворвался и захватил дыхание запах живой рыбы и моря, словно Филипп окунулся в морской аквариум и, отведав воды, вынырнул. Потом пробежал Немецкий мост с острыми угольниками крыш справа, с возбужденными, как сплетницы, толкущимися на месте мачтами судов слева. Потом потянулась набережная с пристанями. За насупленным замком Гакона, похожим на церковь без колокольни, в отдалении от других пароходов стояла «Елена». Только тут Филипп охватил взглядом и понял подавляющее отличие ее траурной окраски: она высилась богатым катафалком, безжизненная и надменная. У Филиппа сжалось горло. Он тотчас решил, что кое-где нужно снять черную полосу, чтобы устранить грубую навязчивость контраста. Он пошел на пароход с тем чувством обиды и боли, с каким навешают близкую могилу.

Его встретили skipper и старшие офицеры. Был приготовлен кофе, но Филипп заявил, что будет завтракать после ванны, а пока хочет быть гостем skipпера, если у того найдется коньяк. У того нашелся не только коньяк. Целый табунок бутылок с жидкостями радующих душу цветов толпился на низком столе, крепко охваченный никелевым кольцом — на

случай качки. Филипп выбрал шотландское виски, значительно взглянул на белую лошадь этикетки и предложил капитану отставить идею коньяка и присоединиться к виски. Они выпили за счастливый рейс. Филипп снова посмотрел на белую лошадь и стукнул по ней ногтем. Скипер подтянул брови на максимальную высоту и смачно облизал толстые губы. Вопрос был вне дискуссии.

Капитан надеялся, что ван Россум примет от него нечто вроде рапорта о «Елене», но Филипп махнул рукою, едва сообразил — о чем пойдет речь. Тогда капитан сказал:

— Среди офицеров не раз выражалось желание украсить кают-компанию портретом мэйфрау Елены. Мы не хотели делать этого без вашего согласия, мэнэр.

— Хорошо. Я пришлю портрет.

Он с шумом встал, поднял воротник пальто и кивком поблагодарил хозяина. Выйдя из каюты, он принялся энергично отмеривать шаги по палубе, от носовой части до шлюпок. Новое напоминание о Елене раздражило его. Он не любил чувства грусти, принижающего мужское достоинство, делающего мужчину невзрачным подростком. Человек, подверженный грусти, терял способность управлять мыслью, которая начинала произвольное движение, заводящее в тупик мечтательности. Он никогда не вспоминал мертвой Елены, он не видел ее мертвой, его воображению она была доступна и близка только такой, какой он провожал ее из Роттердама на Яву. Но слишком часто этот ее образ подменялся другим, живым, но так же, как она, утраченным образом Клавдии, населявшим Филиппа беспокойством.

Он принудил себя думать о делах. Это было сравнительно нетрудно, потому что дела тревожили больше обычного и потому что путешествие всегда становится рубежом, очеркивающим прошлое итоговой чертою и заставляющим оглянуться.

Он маршировал, хлопая по сырой палубе широкими подошвами туфель и в такт шагам прищелкивая пальцами. Вдруг он увидел, что ветер треплет

и отворачивает угол парусины, покрывающей одну из шлюпок. Пароход собирался отшвартоваться, на мостике стояли второй офицер и бергенский лоцман. Рулевой выглядывал из штурвальной. Филипп помахал рукою мостика и ткнул пальцем на шлюпку. Офицер позвал свистком матроса. Тот бросился к шлюпке и принялся натягивать конец, продетый сквозь кольца парусины, однако приостановился, уцепился за борт шлюпки и, подтянувшись, заглянул в нее.

Одну секунду он висел неподвижно. Офицер поторопил его свистком. Он оторвался от шлюпки, обернулся к ван Россуму, потом взглянул на офицера, точно не зная, к кому следует обращаться, когда на борту сам владелец парохода. Наконец он шагнул к мостика и крикнул:

— Тут надо проверить билеты!

Мгновенно пароход оживился — свистки, топот, откуда-то взявшиеся люди, бегущие к шлюпке. Матрос, забравшись на шлюпку, отогнул парусину с ее носа, как крышку с консервной коробки. Несколько человек заглянули в шлюпку, потом медленно отступили от нее.

Из-под парусины вылез и, тихо поднявшись, распрямился высокий человек, с виду — моряк, в кожанке и шляпе с куцыми полями, съехавшей низко на нос. Он постоял, молча озирая из-под шляпы кольцо оцепивших шлюпку людей, затем сел на борт, выкинул одну за другой ноги наружу и спрыгнул на палубу. Все чуть-чуть отодвинулось от его большого, грузно ухнувшего тела, от его высоких, по колено, сапог.

— Тебя неважно зашнуровали, — сказал обнаруживший его матрос.

— У вас скверная прислуга, — спокойно, даже как будто с ленцой откликнулся пассажир.

Его разглядывали некоторое время, словно монстра в паноптикуме, и он отвечал тем же, все еще не подымая с носа шляпы. Лоцман норвежец громко и приветливо спросил с мостика:

— Нильсен, может, ты поделишься с нами своими намерениями?

Нильсен вскинул шляпу на затылок, потрянул головой, узнав лоцмана, и сказал серьезно:

— Исключительно образовательные цели.

Младший офицер и двое матросов повели его прочь с парохода. Он выступал с достоинством, даже, пожалуй, торжественно, глядя перед собою внимательно, прищуренными глазами моряка.

На набережной его окружил разный люд — таможенные досмотрщики, матросы. Не было ни шума, ни суеты, все было исполнено медлительности и самоуважения бывалых на море людей, и Нильсен насколько не был похож на пойманного зайца. Кое-кто начал попыхивать табачком, тогда и Нильсен извлек из-за пазухи трубочку и не спеша занялся ею. Какой-то старикан поднес ему спичку и, пока держал ее над трубкой и огонек то вскакивал над нею бледно-желтым язычком, то исчезал, спросил:

— Ты, видно, вышел на пенсион и собирался попутешествовать, э?

Выталкивая плотный шар дыма, Нильсен буркнул ему в тон:

— Да, я хотел съездить на курорт.

— Как же ты ошибся классом, э?

— Тебе надо было лезть в трюм, в уголь, — вставил кто-то.

— Я боялся, что без компании будет скучновато.

— Теперь тебе будет весело, — сказал сухощавый чиновник.

После его злорадного замечания все смолкли. Дым миролюбиво кружил, растягиваясь в пряди, над головами, и кучка людей, увенчанная им, ничем не отличалась от обывателей, собравшихся потолковать на досуге.

Явился полицейский. Желтоволосый, с блестящими, как солома, бровями и ресницами, с круглыми, как карманные часы, румянцами, он пришел обходительный и улыбающийся, точно на именины. На его черной накидке и на фуражке не было ни пылинки. Перед ним расступились, и дым трубок, сгустившись,

запеленал его на мгновение. Он остановился лицом к лицу с Нильсеном и оглядел его так, словно хотел поздравить с чем-то очень приятным.

— Позвольте, — сдавленно пробормотал Нильсен. — В конце концов никому не возбраняется ехать куда хочешь. Мне просто надоело тут. Вот и все. У меня морская книжка.

Полицейский высунул из-под накидки растопыренные пальцы. Нильсен полез в боковой карман и торопливо выловил в нем книжку. Полицейский взял ее с каким-то необыкновенным совершенством, касаясь кончиками пальцев, раскрыл, поднес к глазам, захлопнул и спрятал под накидку.

— Конечно, у меня не было билета, разве я отрицаю? Я заплачу штраф. Я не отказываюсь. Я должен заплатить, будь я проклят...

Нильсен оглядывал ротозеев, только что приятно болтавших с ним. Они дымили и молчали. Ему сначала казалось, что вся история кончилась его конфузом, что он достаточно поплатился, чуть ли не за ухо вытащенный из шлюпки и ссаженный на виду у всех с парохода. Молчание всполошило его, он вдруг увидел себя всеми брошенным, отвергнутым, выданным на милость этому румяному черту в накидке. История только начиналась.

— Будьте любезны, мою книжку, — сказал он с решимостью отчаяния. — Штраф я заплачу.

Этой немощной нотки сопротивления было довольно, чтобы полицейский бесследно потерял обходительность.

— Пошли, —дохнул он дубовым басом.

Единственное слово, ради которого он раскрыл губы, таило в себе необъятную мощь. Никто не сомневался, что, если оно сказано, его действие последует немедленно. Поэтому все подвинулись, давая дорогу Нильсену — большому, валкому человеку, словно провинившийся мальчик, послушно и вдруг как-то нескладно зашагавшему впереди непреклонной накидки. Табачный дым пополз за ними длинным, серым, постепенно тающим шлейфом...

Пароход тем временем отошел от стенки.

С палубы, облокотившись на парапет, Филипп ван Россум наблюдал, как удалялся Нильсен, как глядели ему в спину любопытные. Потом он пожал плечами.

— Не понимаю, — сказал он, — почему они туда стремятся?

— Фата моргана, — со рвением отрапортовал стоявший позади скипер.

— И что же, такие вещи часто случаются?

— У меня первый случай. Не думаю, чтобы часто. Большевики не принимают этих бродяг. Впрочем, кто может знать большевиков?

Капитан отгораживался от большевиков, готов был на всякий случай отгородиться от всего на свете. Его ущемило комическое происшествие, будто нарочно разыгравшееся на глазах у ван Россума. Он не был ответствен формально, однако он чувствовал себя так, точно запятнал свое доброе имя. Бедняга! — это был его черный день: другой скандал подкарауливал его с коварством забавляющейся судьбы.

Перед выходом «Елены» в открытый океан бергенский лоцман оставлял борт парохода. Из каюты Филиппа видно было, как побежал, прыгая и браво поклевывая волну носом, паровой катер, увозивший лоцмана назад, в Берген.

Коротконогий, крепкий матрос не спеша выбирал трап. Молодой офицер, руководивший высадкой лоцмана, смотрел за работой. Вдруг он что-то сказал. Матрос ответил. Офицер крикнул на него. Матрос перестал работать и насмешливо, почти театрально развел руками.

Филипп увидел покрасневшее лицо офицера, который, как в боксе, прямым стремительным ударом кулака толкнул матроса в плечо. У того слетела фуражка.

Офицер побежал.

Филипп опустил окно.

— Попросите ко мне скипера! — вдогонку приказал он офицеру.

Его обуревал гнев. В его присутствии на одном из лучших его пароходов творилось неподобающее. Команда, как видно, состояла из бездельников, командиры — из мальчишек, мнивших установить дисциплину тумаками. Картина произвола и хаоса, пожирающих корабль, со страшной быстротой овладела воображением Филиппа. Он думал, что доверил свою жизнь благородной и дружной семье мореплавателей, а его окружала шайка разгильдяев. Кто знает, какие события, какой удел ожидают его в океане. Может быть, бунт. Может быть, смерть. Стоит вспомнить Колумба. Впрочем, кажется, Колумб... он умер не от смерти, то есть не от бунта... Ну, да тут дело не в Колумбе. Дело в негодовании, переполнявшем все поры Филиппа. В эту возвышенную минуту он был убежден, что порядочные суда управляются какими-то цивилизованными приемами, а не тумаками. Во всяком случае, он ожидал встретить совсем другое. У него исчезло чувство безопасности. Он был взбешен.

Но скипера он встретил уравновешенным, лояльным тоном, свидетельствующим о доброкачественности воспитания и об умении обходиться с людьми.

— Я хочу просить вас, капитан, расследовать... недостойное столкновение вашего помощника вон с тем матросом...

— Конечно, мэнэр, я сейчас же займусь... Этот матрос... с ним вечно что-нибудь... он...

— Надеюсь, у вас есть меры воздействия, исключющие кулачную расправу?

— О мэнэр!.. Но этот матрос...

— Зачем держать в команде таких людей?

— Совершенно верно.

Скипер шагнул к Филиппу с мягкой вкрадчивостью, словно прося о совершенном доверии.

— У меня есть сведения, что этот матрос общался в Бергене с бродягой, которого мы выудили в шлюпке. Не сомневаюсь, это он помог ему пробраться на пароход: у него была ночная вахта.

— Вы обязаны заранее проверять ваших людей.

— Когда я набирал команду, этот матрос, по фамилии Брайвер, оказался зачисленным на «Елену» вашей конторы.

— Ха! Вы хотите сказать, что моя контора умаляет власть капитана?

— Но, мэнэр, этот самый Брайвер... это тот Брайвер...

— Что такое Брайвер? Что значит Брайвер?

— Мне было заявлено, будто вы пожелали, чтобы Брайвер...

— Простите, скипер, я не могу понять. Что это значит? Что это значит? — протянул Филипп и с недоумением уставился на дверь.

Она раскрывалась медленно, маленькими, неуверенными толчками, точно кто-то хотел заглянуть в каюту и не решался. Наконец щель стала довольно широкой, и в нее просунулось круглое безусое лицо с кантиком бороды, пробритой на подбородке, подвижное и лукавое.

— Что вам надо? — крикнул ван Россум.

Скипер обернулся и, пораженный, тоже вскрикнул:

— Как вы посмели?

Но оба эти восклицания не только не отпугнули, а словно даже приободрили человека, заглядывавшего в дверь: он пропихнул в каюту сначала голову, потом плечо и затем предстал в полном своем объеме — коротконогий, добротнo сколоченный человек, с фуражечкой в руке — тот самый матрос, о котором шел разговор.

— Вы с жалобой? — подсказал сам себе объяснение ван Россум.

— Нет, нет, нисколько! — бойко откликнулся матрос. — Напротив. Добрый день.

Он сунул свободную руку в брючный карман.

Это был жестокий момент.

Что произошло с Филиппом — он никогда не мог бы передать своего состояния. Внешне ничего. Он только положил раздвинутую пятерню на грудь, и пальцы прижались к пиджаку белой звездой. Но перепутанной и пьяной толчеей пронеслись сквозь его

сознание какие-то обрывышки мыслей, и в его памяти задержалось из них что-то очень странное. Он подумал, что вот в России, куда он ехал, там, наверно, не осталось божьих храмов, так что ему нигде будет помолиться, когда он придет. И что он сделал ошибку, не помолившись в храме перед отъездом из Амстердама. И что если он сейчас должен умереть... Однако дальше опять начиналась толчея бессмыслицы.

Филипп видел, как бросился к нему и загородил его своим широким телом скипер. И как тут же матрос поспешно вытащил из кармана пустую руку.

Щекочущий ток пробежал вокруг головы Филиппа, точно на него надели металлическую наэлектризованную шляпу. Затем на лбу его выступил росой пот (не видя, он ощущал его холодные жемчужины), и он с ликованием убедился, что рука матроса была действительно пустой. Или нет, — в ней было что-то такое смешное, такое потешное по неожиданности, такое... право, глупое! В ней была монета... серебряная монета!

— Я — Брайвер, — произнес матрос, осторожно приближаясь и не то кидая, не то с какой-то ужимкой кладя на краешек стола райксдаальдер. — Я возвращаю вам свой долг, мэнэр. Вы помните, в Роттердаме?..

— О, конечно, отлично помню! — легко и громко вздохнул Филипп, решительно ничего не помня и только ощущая, как все в нем переливается от торжествующего желания засмеяться.

Он шагнул к Брайверу и с широким радушием, смеясь, пророкотал:

— Страшно, страшно мило с вашей стороны, дружище! Ну, а когда же я получу с вас проценты, гм?!

Тогда матрос, сморщив брови, в упор взглянул на Филиппа и новым голосом, без шутовства, прямо и коротко ответил:

— Проценты потом!

Повернулся и, не прощаясь, ушел.

Филипп и капитан не двигались. Рычание винтов слышалось глубоко под ногами, волна начинала понемногу валить пароход на правый борт, свист ветра становился тоньше.

Филипп глядел за окно. Бесконечный, непонятно серый раскачивался и гулял океан. Что бы ни происходило с человеком, мир оставался нерушимым.

— Прикажете списать его на берег? — глухо спросил капитан. — Мы можем зайти в Олесунн, можем — в Тронхейм...

Филипп хлопнул его по плечу. Вдруг пожелтевший и старый, чуть-чуть ухмыляясь, он проговорил, злобно расправляя слова:

— Мы спишем его, скипер... большевикам!

КНИГА ВТОРАЯ

У меня есть только одно средство помешать своему воображению разыгрывать со мной шутки: это идти прямо на предмет.

Стендаль

І. ОЖИДАНИЕ МОРЯНЫ

В начале июня повалил снег. Тяжелый, густой, он рушился галопом, словно торопясь засыпать оттаявшую грязную землю, и сквозь его белую толчею, шагов на десять, не видно было ничего.

На берегу Выга около мокрой избы жались под выступом крыши старухи перевозчицы. Хлопья снега осаждали их, налипая на головные платки, на плечи, и тут же превращаясь в черные блестящие ручейки, скатывавшиеся по спинам и рукавам.

К берегу подошел высокий человек в охотничьих сапогах, заячьей шапке с ушами. Выбрав лодку, он ступил в нее, легко перекинув ногу через борт, и ловко прошел на корму. Женщина, потряхивая мокрыми рукавами, подбежала к лодке, спихнула ее с берегового камня и, по-мужски впрыгнув на нос, спросила:

— Поправишь, что ль?

— Поправим, как умеем, — ответил человек и взял кормовую лопату.

Лодка развернулась под защитой крошечной каменной косы, вышла на течение и сразу, под его напором, не слушаясь весел, понеслась вниз.

— Много ль брать против воды? — спросил кормовой.

— А вот держи, Сергеич, на запань.

— Есть.

Река мчалась, звеня и распевая морским прибоем на всех сорока порогах и островках. Лодку наглухо окутывала кишащая масса снежных хлопьев, и берег, от которого только что оттолкнулись, бесследно исчез. Руки, державшие кормовую лопату, были сильны, от каждого ее глубокого удара по воде суденышко рывком бросалось вперед. Но все мощнее и стремительнее становилось мчание реки, и упрямая работа весел и лопаты долго казалась бесплодной.

Неожиданно с одной стороны засветлело, снежные хлопья помельчали и стали быстро редеть. Хмуро выплыл из просвета черный заводский берег, да впереди наметилась поперек реки запань, выгнутая, как головной гребень. Тучи неслись прочь, и если бы взлетел в эту минуту самолет — с него уже можно было бы рассмотреть окрестность.

По левую сторону реки гнездится село Сорока — кучки мутных, черно-синих деревянных домиков на островах, разделенных резвыми, порожистыми рукавами Выга. Новые тесовые строения в селе — как золотые пломбы в старых зубах. Дальние острова ярко-зелены, видно — весна вошла в силу, и снег бушевал впустую. На другой стороне — заводский поселок, с ровными крышами бараков и домов, с наливнованными проспектами, с заводами и ленточками путей, убегающими от них на лесную биржу. Выг обнимает заводский участок, катится мимо биржи, переходя в бесцветный простор морской губы. Биржа обрывается в море — янтарный застывший город лесных штабелей, каналов, улиц, виадуков. Пространства щедры. Далеко за селом положена тесьма железной дороги, и на версты от биржи тянется морской рейд с пришедшими за товаром пароходами. Насколько хватает глаза, вокруг — темный бор и вода.

Достигнув заводского берега, лодка повернула вниз по течению. Тогда рулевой недобро сощурился на поворот убегающей реки. Там, на пороге, в кипении пляшущей воды, взгромоздившись на камни, торчали два огромных новых плашкоута. Их неподвижность была беспомощной. Нос одного висел в воздухе, дру-

гой уткнулся в порог и полулег на борт, жалко показывая черное, бархатное, свежесмоленное днище.

Тормозя веслами привольный полет лодки, женщина участливо сказала:

— Морянка нагонит воды, приборь сымет с камня твои плашкоуты.

Рулевой не ответил, бросил в лодку лопату, поднялся, кивнул женщине, вылез на берег.

Взбираясь по скользкой грязи, он натолкнулся на пьяного в резиновом макинтоше, приступом бравшего крутой бугор. Ноги пьяного расползались, он валился на руки, подбирая под себя коленки, тяжело заносил и ставил облепленные грязью ступни, но поскальзывался, снова падал на руки и, стоя раскорякой на четвереньках, качался, перепачканный, мокрый, мычащий что-то блаженное себе под нос. Сергеич взял его за холодный резиновый загривок, приподнял, вывел с бугра на дорогу и, поставив на деревянные мостки, заглянутому под козырек дедко-малиновой кепки.

— Ты кто такой? Откуда?

Пьяный долго налаживал измусляканный рот, наконец вылепетал:

— А кты т-то такой?

— Память отшибло! — сказал Сергеич и пошел по мосткам, вытирая ладонь об куртку. Доски булькали под его сапогами, выжимая сквозь щели высокие, густые, точно растаявший шоколад, струйки воды. Он шагал широко, и в шаг ему подпрыгивали над его плечами мягкие русые уши заячьей шапки. Он был складен и прост, как охотник.

Ему встретился хромой — на деревянной ноге — дедка. Он подал Сергеичу кривопалую руку для пожатия.

— Скоро лес ожидаем, отворю запань.

— Как у тебя с людьми?

— Только-только. Ты добавь заротчиков, а то опять не справитесь на бассейне.

— Учи больше, — улыбнулся Сергеич, — на бассейн добавь, да на откатку добавь, да на погрузку дай. Лучше нашел бы людей, чем советовать. Сейчас вон на бару еще одним пароходом больше стало.

— Шестой, говорят.

— А под погрузкой всего четыре. Ты придумал бы, как с порога плашкоуты снять.

— Вода сымет. Силком будешь сымать — пере-
ломишь.

— Слышал. Сейчас на них смотреть — тоже не радость: все равно что сломанные.

Вдруг воздух разорвало, как бумагу, и следом за взрывом град ударов пробарабанил по доскам. Дедка присел на свою деревянную ногу и огляделся. Окна домов были глухо зашиты тесом, и бревенчатые стены процарапаны и побиты осколками камней.

— Молодец, Володя, — одобрил Сергеич, глядя, как скатывалась с крыш каменная крошка.

— Рвут, рвут, а ни с места. Вот какая крепость, — удивился хромой.

— Возьмем. Канал у нас будет. Прямой путь из твоей запани в прогоны, в бассейн. Ни морю леса не будем отдавать, ни заломов не станет больше под самым носом, — срам... Ты пойдешь — скажи Володе, чтобы он пришел ко мне в контору вечером.

Они расстались, не прощаясь. Огибая строения, пересекая дворы с распахнутыми калитками или полуразобранными дощатыми заборами, Сергеич быстро дошел до конторы. Люди на крыльце и в сенях, толпившиеся тут по разным своим житейским и рабочим делам, умолкнув, посмотрели, как он поднимался вверх по деревянной лестнице, прогибая своим весом скрипучие, стертые давностью ступени.

Он вошел к себе в кабинет, пошаркав сапогами об рогожку. Усаживаясь за стол, он скинул шапку, обнажив лысину, блестящую на приподнятом бугорке затылка.

Против него, через стол, на месте для посетителей дремал пухлый, громоздкий мужчина. Уперев подбородок в грудь, он туго зажал глаза и сморщил нос, будто страшно хотел, да никак не мог чихнуть.

Сергеич, улыбаясь, ткнул его линейкой в плечо. Он безболезненно раскрыл веки и, словно продолжая разговор, тихонько сказал, с упором на «о», по-волжски:

— Так вот. Встречаем сегодня или нет?
— Ты готов?
— Готов.
— Что у тебя готово?
— Оркестр.
— А еще что?
— Другой оркестр.
— А еще?
— Самодеятельность.
— Ну, ежели самодеятельность готова, — сказал Сергеич, тоже окая, и обернулся к окну (тучи были изодраны в клочья и солнечно ярко по краям), — тогда встречаем, — договорил он. — Угощение? Посуда? Скатерти?

— Не по моей части, я — завклубом.
— Знаю, кто ты, да спрашиваю — все ли в порядке?

— Все как есть. Горит и рдеет.

— Тогда — сбор в четыре часа.

Завклубом распрямился мощно и шумно. Подсохший брезентовый дождевик на нем топорщился упруго, как лубок, и был похож на колокол, из-под которого вместо языка торчали ноги. С шуршанием, задевая косяки, колокол пролез через дверь.

Сергеич взял со стола бумаги. Сверху лежала телеграмма. К привычному адресу было добавлено: «...просьба передать Филиппу Федоровичу ван Росуму».

Он помешкал секунду, встал, шагнул к боковой, наполовину заставленной шкафом двери и постучал. Явился худощавый человек, с усиками щеточкой, в пенсне, в синем костюме, который сверкал на всех своих изгибах почти никелевым блеском.

— Алексей Алексеевич, что за пароход стал сейчас на бару?

— «Елена», под голландским флагом, — тенорком доложил синий костюм.

Сергеич порывлся двумя пальцами в нагрудном кармане пиджака и старательно, поглубже спрятал туда телеграмму.

II. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Оркестр стоял на понтоне. Понтон покачивала маленькая серебряная волна. Трубачи в последний раз продували инструменты — басы, баритоны и кларнеты, не чищенные со времен падения монархии, серо-зеленые, как придорожные лопухи. Неисчислимые перевозки и переезды из дома в дом, из клуба в клуб, с завода на завод, поодиночке и гуртом, печально отражались на их перемятых медных боках. Но чудодейственная вера музыкантов в полную пригодность труб для извлечения разнообразных звуков поддерживала долголетие инструментов. Они были похожи на цыганских лошадей: их надо было все время подбадривать, подхлестывать и слегка терроризовать. Оркестр находился в неустанной деятельности, даже когда не играл: кто кулаком выколачивал скопизшиеся в кларнете слюни, кто ножичком ковырял какой-нибудь клапан в валторне, кто из всей силы легких, с шумом дул в тромбон, а кому просто приходилось трясти тяжелый бас, чтобы он не застывался. Если бы не эта деятельность, трубы немедленно перестали бы звучать, как кляча перестает бодриться, едва от нее отвернется цыган.

Издалека по взморью подбегал пароходик, испещренный флажками. По понтону ходил распорядитель с красной перевязью на рукаве. Он отодвигал толпу с передней, освобожденной для гостей, площадки понтона. Как парус, туго был надут стяг, обращенный буквами к пароходу: «Добро пожаловать».

Когда пароход подошел шагов на сто, медь оркестра с жизнерадостной решимостью зазвенела. Момент был хороший: на берегу шевельнулась толпа встречающих, кое-кто снял шапки, на понтоне поднялись руки, и пограничник взял под козырек своей зеленой фуражки. Тогда и на палубе парохода кучка людей подняла руки и замахала приближающемуся берегу.

На понтон скинули деревянные сходни, распорядитель суетливо потолкал их каблуком, чтобы

убедиться в полной безопасности для гостей, и гости начали сходить.

Это были прочные, рослые мужики в ярких, больших, теплых шарфах, в светлых шляпах и кепках, почти все без пальто, руки — в карманы, лица не очень холены, но начисто бриты, двое-трое — с трубками в зубах. Впереди стал подросток — юнга в форменной морской фуражке, потом вынырнул из толпы и примостился к нему низенький человек с рыжеватой бородой кантиком, на голландский манер. Позади сходил, на голову выше всех, в бледно-сиреневой шляпе, с блестящей лентой вокруг тульи, занял место статный человек, чем-то резко отличный от судовых людей, но, пожалуй, и похожий на них отдельными добротными складками лица и все вокруг поглощающим, но внешне сдержанным любопытством.

Сергеич покосился на оркестр и, ухватив длинный козырек своей кепки, надвинул ее на лоб. Это движение оборвало музыку.

Сергеич шагнул вперед и сказал:

— Дорогие товарищи, иностранные моряки. Вы сейчас ступили на землю, на которой хозяева — рабочие и крестьяне. Вот эти люди (он показал рукой на берег и на толпу, плотно жавшуюся на понтоне) рабочие здешних лесозаводов. Им принадлежит шестая доля земной поверхности, первое в мире рабочее государство, родная страна всех трудящихся. Товарищи!..

Сергеич откинул кепку со лба, раскрыв лицо гостям. Он стоял прямой, с оттопыренными от корпуса локтями, точно собирался что-то поднять, готовый к жесту, но не расточительный на него.

Моряки смотрели на оратора, сжав брови. Они не могли понять из его речи ни слова, но вслушивались торжественно, недвижно, точно вот-вот в этих невероятных для них, шипящих и хоркующих звуках должно было мелькнуть что-то очень серьезное и решающее. Берег и другая часть понтона, понимая все отлично, заранее зная, к чему оратор клонит, слушали рассеянно. Для этой доброй тысячи людей главное было — гости. Все тянулись рассмотреть, какие

на матросах шарфы, какие шляпы, что за трубочки в зубах, и что — к чертям собачьим! — вон на том коротеньком толстяке, что за курточка этакая, со вздержкой вроде цепочки, а из кармашка на груди — кожаная книжечка. Молодежь заняла передовые позиции, понтон колыхался и подпрыгивал под ее рядами, как поплавок.

— Мы сейчас строим большую жизнь, — продолжал Сергеич, — каждый человек, если он хочет, может применить у нас свои силы. Мы подняли, мы разбудили ото сна деревню, она дает нам неиссякаемый приток живой силы. Если вы увидите у нас чего неслаженного или отсталого — не обессудьте. Отсталось мы скоро одолеем, в этом наша цель, а придет культура — исчезнут наши неполадки. Большая стройка человека чужого всегда испугает, потому что он видит больше сору да бестолочи. Вы нам не чужие, вас, пролетариев, стройка не испугает, вы не робкого десятка, мы вас приглашаем, кто может, поехать на наши большие строительства, чтобы посмотреть, как мы внедряем высшую технику и как мы строим в своей стране социализм... Здесь у нас, на севере, жизнь суровая, похвастать мы особенно ничем не можем. Но мы знаем, что и тут вам кое-что придется по вашей пролетарской душе. Поэтому... товарищи, мы...

Сергеич подходил к последним словам. Обтерев вспотевшие брови, он глянул по сторонам. Что-то ему показалось неладно, он словно потерял плавность речи, и самые привычные, простые восклицания — да здравствует международная братская солидарность пролетариата, да здравствует... — он произнес, не подняв голоса, скороговоркой. Но слова готовно приняла оркестр, и дребезжание труб и тарелок фейерверчным взлетом вверх, в пустоту и внезапным, как ракета, исчезновением в пустоте раскрыло необъятность окружавшей людей шири.

Собрав все свои воды, Выг вступал здесь в море единым руслом. В заливе, по левому берегу, виднелись тоненькие мачты заброшенных поморами парусных шхун, на которых ходили когда-то в Норвегию

за рыбьим жиром и лабарданом. Как нитяные крестники чернели рей на проясневшем чистом небе, и дальше, в море, едва заметными краснотами всплывали дымы ожидавших на рейде судов. Раскачавшаяся волна неохотно укладывалась, хотя ветер почти совсем сдал. Черный буксир тащил с биржи на рейд тяжело груженный лесом плашкоут. Перевозчик со своей лодкой покорно бился на стремнине. Толпа на понтоне и берегу казалась крошечным пятном. В нем быстро росло движение и беспокойство: музыка должна была умолкнуть, и наступала очередь за переводом речи на английский, а переводчик провалился сквозь землю. Головы поворачивались во все стороны, гонец ринулся в контору, расталкивая людей, сто раз был назван Алексей Алексенч, — никто не видел его, он исчез.

Последний удар барабана улетучивается в пустоте, над водою. Тишина. Гости выжидательно смотрят на Сергеича. Он покашливает. Надо что-нибудь сказать. Он опять выступает вперед.

В этот момент из толпы иностранцев раздается: — Если угодно, я могу перевести вашу речь.

Все оглядываются на статного человека, голова которого видна отовсюду. У него безукоризненно любезное выражение глаз, и в то же время его облик излучает самоуважение, так что всем становится ясно, сколько драгоценной снисходительности вложено в его слова.

Какая-то морская фуражка протискивается к Сергеичу и, повиснув у него на локте, что-то шепчет. Сергеич покусывает верхнюю губу. Вдруг слышится обрадованное:

— Идет, идет!

Сергеич кивает иностранцу:

— Благодарю вас.

Иностранец в ответ притрогивается к шляпе.

Алексей Алексенч влетает на понтон отдуваясь, руки вперед, как пловец, собравшийся нырнуть. Он будто и правда ныряет и плавает: бросив взгляд на Сергеича, он понимает, что опоздал, выхватывает из кармана две записки, отдает одну Сергеичу, другую

разворачивает, поправляя на носу пенсне, потом тут же сует развернутую записку Сергеичу, выхватывает у него ту, которую только что отдал ему, и, насилию переводя дух, читает:

— Дорогие товарищи, иностранные моряки. Вы сейчас ступили на землю...

Его речь увлекает всех. Свои слушают ее с гордостью, убеждаясь, что Алексей Алексеич не даром ест хлеб по своей корреспондентской должности и для него нет никаких трудностей, будь то английский язык, будь еще что. Гости поражены совершающимся на их глазах чудом: каждое произнесенное переводчиком слово, будучи совершенно английским по происхождению, нуждается в особом разгадывании, как ребус. Им приходится еще круче сжимать брови, чем во время русской речи. Они слушают не дыша. И только статный человек, пожелавший быть переводчиком-волонтером, улыбаясь, нагибается к соседу и замечает:

— Он говорит — как пишет...

Но когда Алексей Алексеевич высвистывает последний звук и с ужасом отрывает от записки глаза, больше всего боясь, что его никто не понял, гости сосредоточенно и веско быют в ладоши. Низкорослый матрос с бородой кантиком хватает Алексея Алексеевича за руку и трясет ее, что есть мочи крича: «Товаритш, товаритш!» Этот крик вдохновляет русских, они взмахивают шапками и тоже кричат:

— Товарищи заграничные рабочие!

Сергеич оборачивается к музыкантам. Медь тогдашас перекрывает все голоса, задорно и складно, как будто трубы навсегда исцелились от старческой болезни. Едва шум стихает, Сергеич берется за записку.

— Нашим приемником получено радио с парохода «Елена», который стоит на рейде. Часть команды хотела бы сойти на берег, но несет вахту и быть нашими гостями не может. Голландские матросы посылают своим советским братьям привет и с гордостью следят за укреплением отечества пролетариата...

Статный человек слушает внимательно. Кажется, что он отмечает про себя слова, на которые падает ударение: «Елена»... советские братья... Он доволен — это видно по его быстрым взглядам, по излучаемой его лицом любезности, наконец по веселой улыбке, снова появляющейся, как только Алексей Алексеевич начинает переводить радиоприветствие.

И вот приходит момент ответному слову гостей. Светловолосый моряк снимает шляпу, теребит на шее желтый пушистый шарф, откашливается. Переводчик вливается в оратора. Берег примолкнул. Несколько голов подымается над толпою: это встают на цыпочки, чтобы лучше расслышать и рассмотреть моряка.

Сначала он говорит неподвижно. Потом его правая рука чуть вырывается вперед. Будто забыв ее убрать, он медленно сжимает кулак. Слова его речи чудятся сплошной слитной лентой звуков, сплошным бесконечным словом. Если расчленишь эту ленту на составные части, то различишь свист и поплевывание флейтиста, плеск воды, скрипение напильника, какие-то шумы, какое-то придыхание, бульканье, рокот, и вдруг — человеческий крик, с болью и злобой, человеческий вопль, как вопль зверя, который хочет разбить клетку, вопль, который понятен и одинаков во всем мире. Оратор поднял обе руки, и обе руки стиснуты в кулак, и кулаки дрожат над светлыми волосами, перепутанными и взбитыми ветром.

Тогда откуда-то с берега прилетает одинокое рукоплесканье, словно там тяжело поднялась большая птица. И потом поспешно снимается с земли целая стая таких птиц, все сильнее и гулче хлопая крыльями, кружась над толпою и набирая высоту. Это грузное дуновение как будто смущает оратора. Он озирается. Все кругом него бьют в ладоши — на берегу и на понтоне, тысячная толпа, из которой почти никто не мог бы разъединить на отдельные слова бесконечную ленту чуждых звуков, выбегавшую из его рта. Он распрямляет навывтяжку правую руку и показывает кулак. Крики раздаются ему в ответ. Он тоже кричит. Его лицо делается кирпичным.

— Я не хочу больше говорить, — выталкивает он яростно. — Я вижу, что меня здесь отлично поняли, потому что я говорю от имени трудового народа, такого же, как вы, от рабочих, которые живут в другой стране, там, за морем, но своей мыслью, своей мечтой всегда с вами. Я передаю их привет советской стране, советскому государству, советскому настоящему и будущему. Я счастлив, что ступил ногою на вашу землю.

И, двинувшись навстречу Сергеичу, он пристукнул ногами, словно собираясь пойти в танец, и протянул руку. Матрос с бородой кантиком лихо топнул и тоже бросился жать Сергеичу руки.

Берег снова взволновался, и уже никто не хотел как следует слушать перевод речи, и Алексей Алексеевич, тряся записочкой и часто подсаживая пенсне, напрасно старался ничего не пропустить из нацаранных наспех слов.

Оркестр первый сошел с понтона на берег. За ним построились гости. Сергеич стал в голове хозяев, ровно примкнувших к последнему ряду иностранцев.

Толпа начала обступать гостей.

К юнге в морской фуражке приблизился паренек ростом вровень с ним и по виду — однолетка, — безусый, с косичками прямых белых волос, щетинившихся из-под кепки.

— Здорово, — сказал паренек, не то улыбаясь, не то жмурясь, точно на солнышко, и бойко пробежал серыми узенькими глазами по пиджаку и по фуражке юнги.

— Англичанин? — спросил он и, не получив ответа, одобрительно выпятил подбородок. — Понимаю. А я — русский. Рус. Вот. Понял?

Юнга разглядывал его выпяченным карим глазом, стоя вполборота, бочком, будто не собираясь особенно долго останавливать на нем внимание.

— Да ты не стесняйся, — сказал паренек. — У нас просто, без затей.

Он немного распахнул стеганный ватник, похожий на кофту. Под ватником надета была белая рубашка с косым воротом, вышитым ярко-голубым, веселым крестиком. Он постукал пальцем по груди.

— Комсомол. Понял? Вот. Сеня Ершов. Слыхал? Ну, скажи-ка: Ер—шов. Трудно небось? У нас, брат, так. Ер—шов.

Юнга улыбнулся. Сеня проговорил быстрее, круто наступая:

— Ну, скажи: комсомолец Ер—шов!

Юнга засмеялся и стал к Сене прямо лицом.

— Ага, проняло! — довольно отметил Сеня и спросил: — А ты как зовешься?

Он показал на себя:

— Я — Ершов, понял?

Потом ткнул в юнга:

— А ты как? Тебя как зовут, а?

Юнга опять засмеялся. Его поддерживали матросы. Белобрысый прыткий русский привлек их, они с любопытством смотрели ему в рот.

— Ну, — горячился он, — ну, там, Карл, Фридрих — или как это... Ганс... Ты кто, Ганс или Карл?

Вдруг юнга взмахнул рукой и вскрикнул:

— О, Джон! Джон Уолес!

— Ну, вот видишь! Черт! — громче его крикнул Сеня. — Догадался — Джон!

— Джон Уолес, — повторил юнга.

— Ну, ясно, понимаю, — ответил Сеня и ловко подцепил его под руку.

В эту минуту заиграли марш, все тронулись следом за гордым оркестром, и Сеня Ершов так и зашагал впереди всех со смеющимся Джоном Уолесом под руку.

III. БАНКЕТ

Около конторы деревянная резная арка была перевита еловыми ветками, над аптекой развевались флаги, ребята без шапок, в разношерстных одевашках топали по мосткам, стараясь поспеть за музыкантами, из окон тесовых флигелей выглядывали домохозяйки: будни были давно нарушены.

Перед дверями клуба — широкого бревенчатого дома — гостей ожидали рабочие со знаменами. Тут

были выборные профессиональных союзов, люди разных цехов и званий — навальщики, пилоставы, стивидоры, важные смотряки и по-деревенски простоватые подборщики и заротчики. Завклубом, принаряженный и чувствительно стесненный новеньким костюмом, поеживаясь и разминаясь, как человек, только что прикурнувший, кивнул гостям и произнес неожиданно просто своим волжским, все омолаживающим говорком:

— Ну, вот, товарищи, пожалуйста к нам в клуб! Так сказать, в нашу гостиную пролетариата. Хотя надо сказать, что наши клубы — не столько гостиная, сколько школа, потому что мы тут учимся, мы тут растем, а не только отдыхаем и проводим досуг. Вы по истории знаете, скажем, чем были клубы во Франции в Великую французскую революцию, политические клубы якобинцев и прочее. У нас, конечно, клуб в первую очередь тоже занимается политикой, политическим воспитанием масс. Но, помимо политики, мы вносим в клуб всевозможные знания, которые подымают культуру и могут пригодиться нашим рабочим. Так что клуб у нас стал университетом, где студентами состоит весь пролетариат и где сам пролетариат принимает зачеты. Наука же преподносится у нас разными способами, вполне доступными, даже музыкальными и другими. Наука о старом мире, уходе, с нашей помощью, в историю, и наука о новом, который мы неустанно призываем к жизни и который живет всюю, как видите. У вас может сложиться впечатление из моих слов, что наши клубы вроде как сделали всю революцию. Этого я не хочу сказать. Но если бы мы не создали с самого начала клубов, то доброй половины советской революции как не бывало бы. Потому что тут живут наши чувства, тут мы радуемся, тут мы горюем и приучаемся наше горе избывать в общении, коллективом сознательных членов пролетарской семьи. Мы вас зовем в эту семью. Не для того, чтобы учить вас, хотя вы невольно чему-нибудь научитесь, а для того, чтобы разделить с нами радость нашей встречи и чтобы вместе повеселиться.

Завклубом указал в распахнутые двери и отступил назад, к знамени. Алексей Алексеевич снова всплыл на поверхность и, вытирая пот, принялся переводить, на совесть крепко, как флейтист, прижимая губы к матовым, желтым зубам.

Высокий, статный человек протиснулся к Сергеичу и, приподняв шляпу, внятно выговорил над его ухом:

— Разрешите: Филипп Федорович ван Россум.

— Сергеев, директор завода, — услышал он в ответ и должен был в первый раз взглянуться в сощуренные пристальные глаза Сергеича.

— Вы не охотник? — спросил он.

— Почему вы решили?

— По взгляду. Моряк или охотник.

— Балуюсь.

— Здесь, наверно, тока еще продолжают?

— Вряд ли.

— Я, признаться, надеялся, что еще случится пострелять.

— Охота-то кончилась.

— Жаль. У вас, что же, теперь соблюдаются сроки? Я, когда прошлый раз здесь был, так до конца июня из рук ружья не выпускал. Страна непуганых птиц, как выразился ваш поэт севера.

Сергеич промолчал. Пошарив в нагрудном кармане, он подал ван Россуму телеграмму. Тот покрутил ее в пальцах, словно дивясь неприглядной серости бумажного клочка, и осмотрительно распечатал.

Толпа вошла наконец в деревянный вестибюль, встреченная звоном и треньканьем балалаек, мандолин и гитар. Это была слава клубных кружков — питомец и баловень заводских любителей музыки — многоголовое, многорукое существо с капризами, суевериями и неистребимой склонностью к одному странному, почти шаманскому культу. По виду причесанное и добропорядочное, подчиненное воле решительного, как воин, дирижера, — в действительности это существо жило прорывами своеволия и торжествующего непослушания. Если его сравнить с другими — это был отменный оркестр, и сорочане имели все основания им гордиться. Это был прекрасный

оркестр, но это был балалаечный оркестр. И дело тут не в ущербности крайне примечательных инструментов, а в том, что всякий балалаечник и мандолинист, каждая гитара и каждый струнный бас почитают себя столпом мироздания. Собравшись в оркестр, они норовят улучшить момент, чтобы показать свое превосходство друг над другом. Дирижер не успевает навести порядок среди звонких мандолин, как балалайки уже вырвались вперед и, ускоряя темп, оббивая пальцы и царапая деревянные деки, торопятся захватить первенство и утвердить свой трехструнный произвол. Дирижер бросается к балалайкам. Он применяет все меры воздействия, от мольбы до страшных угроз, чтобы умерить пыл и старание балалаечников. Но только этого и нужно лукавым гитаристам: они начинают так дергать баски, что струны взвизгивают и шелкают по грифам, как по барабану. Дирижер кидается к гитарам. И так он рвется на части между восторженными и хитрыми музыкантами, размахивая руками, тряся головой, вздрагивая, трепеща, покачиваясь, изгибаясь, и ему уже не остается ни времени, ни сил на борьбу с самым древним и косным культом балалаечного оркестра — с отбиванием музыкального такта ногами. Тридцать, сорок ног, правых и левых, в сапогах и туфлях, косолапых и прямых, одновременно гриподымаются и стучают подошвами по полу таким старанием, что если играется марш, то кажется, будто в комнату ввели полуроту солдат и они маршируют на месте по всем правилам строевого учения. Наступи в такую минуту на ногу балалаечнику — и он перестанет играть. Он отлично знает, что для игры нужны только руки, но сёдовласое суеверие подсказывает ему, что так же, как нельзя есть, не открывая рта, так нельзя играть на балалайке, не пристукивая ногой по полу. И, точно сонмище шаманов, балалаечники, мандолинисты, гитаристы, зажав грифы и с натугой ползая пальцами по ладам, прикусив кончики языков, зачарованно наяривают подметками по полу, уносясь мечтою в мир идеальных мелодий.

Конечно, ни английские, ни голландские матросы не были так придирчиво строги к оркестру. Они

слушали с удовольствием, обступив его вплотную и с любопытством изучая заморское чудо — треугольную доску с палкой, колочками и со струнами, над которыми дрыгает, словно выдернутый из сустава, указательный палец. Что говорить, ни к такому инструменту, ни к таким музыкантам нельзя было быть особенно взыскательным. Но музыка, извлекаемая пальцем из треугольных досок, была самая бодрая, самая жизненная и немедленно призывавшая к действию. Во всяком случае, подошвы у моряков тоже начинали подскакивать над половицами, прибавляя шуму к топоту оркестра.

Здесь, в этом мажорно-маршевом такте, отбиваемом с единодушным порывом, произошло первое знакомство заводской молодежи с иностранцами. Окончательно выяснилось, что богаче всего на гостях были шарфы. Их носили с шиком и небрежностью, обернув раз вокруг шеи и один конец бросив за плечо, а другой пустив по животу. Раскраска была звенящая, без полутонов, и фактура пышная, с глубоким ворсом, мохнатая, и рисунок прост — из широких поперечных полос и короткой бахромы. Сразу было видно, что на море велась такая мода и что вот так должен сходить матрос на берег — в небесно-синем шарфе с желтою каймою —

Ах, милая, не плачь напрасно,
Погоди меня на бульваре,
Погоди меня на бульваре.
Не пройдет и года,
Как я вернусь,
Как вернусь
В Роттердам!
Ах, милая, ты все еще плачешь!
Ты все меня ждешь на бульваре,
Ты ждешь на бульваре.
Прошел уже год.
А я все не вернулся,
Я не вернулся
В Роттердам!..

— Шура, Шура! Ты что заглядываешься на шарфы?
Нельзя было не заглядеться на шарфы. Небесно-синие и желтые, красные и лиловые, они словно рас-

певали перед глазами какие-то песни, зовущие и чуждые, немного тоскливые и задумчивые, немного насмешливые и обидные.

И когда шарфы двинулись в зал, им вослед, как за песней, потянулась толпа приглашенных девушек, комсомольцев, стариков рабочих.

По обычаю, столы были расставлены «покоем», во весь зал, и усаживать гостей велено было через два стула, чтобы у каждого сорочанина было не больше одного соседа иностранца.

Меню повергло гостей в замешательство. Обилие кушаний было очевидно: консервные жестяночки толпились повсюду на бесконечном столе — только протяни руку — и хлеб возвышался горками, и заливная треска была разложена по тарелкам. Но перед каждым местом были приготовлены пустые блюдца с чайными ложечками, и вдруг в зал вошли женщины с подносами, от которых взвизывался пар. Они опустили подносы на стол и, приветчивая гостей поморским добрым словом, начали быстро расставлять по блюдцам стаканы дымящегося какао.

Шпроты, треска и какао не сразу поддались соединению, но в конце концов все наладилось, потому что это были лучшие блюда севера и потому что дымящимся этим напитком согревают и продрогшего моряка и дальнего путника. К тому же какао было сварено на свежем молоке, и подавали его без перерыва — пей сколько хочет душа. Точно спирт, оно разогрело, развеселило гостей, и они жевали с прилежанием, и шум уже не давал слушать застольные речи.

А речи неиссякаемо струились, унося ораторов, как поток — щепки. Каждый старался что-нибудь прибавить к тому, что было прежде сказано, и не замечал, как повторяет своего предшественника и то всплывет на поверхность потока, то нырнет в самый водоворот слов, которые служат единственно для сцепления себе подобных и не выражают никакой мысли.

Голландский матрос с бородой кантиком все пыривался сказать речь, вскакивал, садился, ерзал на

стуле, по очередь, как назло, обходила его, так что он даже взгрустнул и притих. Русский сосед жалел его и из деликатности кричал председателю:

— Дайте слово моему! Вот мой желает говорить!..

А потом вертел пальцами, объясняя, что слова никак нельзя получить.

Заводской печник Яков от времени до времени потчевал своего компаньона, английского моряка, показывая на шпроты или заменяя пустой стакан изпод какао полным. Когда их руки в первый раз встретились на столе, потянувшись за хлебом, они секунду поглядели друг на друга. Печник признал в англичанине смазчика, и тот тоже словно что-то понял, остановив взгляд на исковерканных подагрой шишкастых руках печника. После этого Яков норовил как-нибудь заговорить с товарищем, попробовал опять показать на свои руки и объяснить, почему суставы разрослись в такие шишки. Но англичанин только мотнул головой. Он был пухленький, розовый, с чистыми, будто подрезанными ресницами. Белки его темных глаз были прозрачны. Яков был волосат и похож на мужиков, которые обжигают в лесу древесный уголь. Он был беззубый. Беря очередной стакан какао, он подносил его англичанину, улыбался, мягко вопрошал:

— Не угодно еще стакашек?

Англичанин мотал головой. Яков ставил себе и говорил русскому соседу:

— Тридцать восемь лет печник, пятый год здесь живу, — ни разу не пил!

И он с шипением всасывал через усы горячее какао, собирая в ленточки лоб.

Всерьез намерившись заговорить с моряком, он тронул его рукав. Ощериваясь, приподымая ус, он показал пальцем сначала на беззубые десна, потом на окно. Моряк не понял. Мигнув своими подрезанными ресницами, он будто скатался в комочек и сделался еще больше пухленьким, розовым и чистым.

— В один год девять зубов потерял, — заявил Яков и показал на еду.

Пухленький не мог взять в толк, о чем речь.

— Климат, — значительно сказал печник.

Англичанин крепко потер ладони и подышал на них, как в стужу.

— Консерф, — ломая язык и снова показывая на еду, докучал Яков.

Моряк опять кивнул. Стало видно, что он угадал связь между беззубым ртом соседа, климатом и жестянками консервов, но не хотел выражать никакого сочувствия. Тогда Яков отвернулся от него, словно решив, что в пухленьком англичанине маловато классовой солидарности, и еще раз налег на какао.

В это время заговорил бородатый матрос, дождавшись очереди и с первых слов привлеки к себе слушателей.

Филипп сидел рядом с Сергеичем. Когда они входили в клуб, толпа разлучила их, но в зале директор отыскал ван Россума и посадил возле себя. Переводы Алексея Алексеевича долго развлекали Филиппа, потом его посетило участие к бедному труженику, лицо которого блестело не меньше потертого костюма.

— Почему вы не хотите, чтобы я помог переводить? — спросил ван Россум.

— Нашего переводчика хорошо знают рабочие. Но если вам охота облегчить его миссию, пожалуйста. Алексей Алексеевич, вот... (Сергеич чуть-чуть не сказал: «они», но сразу вспомнил, как зовут важного гостя) вот Филипп Федорович хочет помочь вам переводить. Подвигайтесь ближе.

И он дал слово бородатому матросу.

Наклонившись к блокноту переводчика, Филипп ван Россум стал диктовать вполголоса:

— Я тоже, как другие товарищи, скажу, что мы счастливы и рады приветствовать русских рабочих. Мы жмем вам всем руку. Перед вашим знакомем мы стоим задумавшись: может быть, и у нас оно скоро поднимется высоко над нами и все мы будем держать его так же гордо, как вы. Но я хочу еще сказать другое. Вы нас так гостеприимно пригласили к себе и думаете, что с вами находятся только ваши классовые братья. Но это не так. Среди нас есть капиталист, человек нам враждебный как эксплуататор. Он не

простой капиталист, он из тех, которые управляют нашим несчастным миром, которые держат в своих руках...

Сергеич с любопытством глядел на Филиппа. Сжав мохнатые брови, не подымая глаз, не дрогнув, ван Россум веско выговаривал русские слова:

— Вот он сидит здесь с вами. Вы его принимаете как гостя. Я не знаю, может быть, вы считаете его своим доброжелателем. Вы с ним торгуете. Он вывозит ваш лес, ваше богатство. Вы трудитесь. А он наживает деньги. Целые горы денег на вашем и нашем труде. Почему вы это делаете? Зачем вы даете ему наживу? Кому от этого польза? Вы совершили революцию, чтобы освободиться от эксплуататоров. А этот хищник все еще сосет ваши рабочие соки.

— Не беспокойтесь, — участливо прошептал Алексей Алексеевич, — я запишу сам... я не устал... я понимаю... Благодарю вас...

— Вот он сидит, — с упрямством и даже подтянув голос, продолжал диктовать Филипп, — спросите его, верно ли я говорю? Верно ли то, что говорит палубный матрос Брайвер, которого этот господин списал на берег со своего парохода? За что он меня списал с «Елены»? Спросите у него! Он швыряется тысячами таких, как я, по прихоти, по привычке наступать на людей, как на плиты гладкой мостовой...

Филипп не шевелился. Желваки и одутловатости его лица затвердели, кровь омывала их все быстрее и обильнее, голос его захолодал. Он переводил без пауз.

Брайвер — коротенький, поворотливый, ловко сколоченный — остро перебрасывал взгляд с неподвижной головы ван Россума на рабочих и моряков, смачно выпевая отобранные слова. Его лицо из бурого стало пунцовым, и борода желтым живым веером то распушталась, то пряталась за воротник. Речь доставляла ему телесное наслаждение, пузыри соскакивали и летели с его губ вдогонку за словами. Он как будто показывал свои внутренности, держа их на ладонях, и это доставляло ему не боль, а торжество. Он так и

кончил говорить, изо всей силы протянув раскрытые руки через стол, вызываяще вскрикнув:

— Среди нас наш враг! — и жестко махнул на Филиппа ван Россума.

— Среди нас наш враг, — перевел Филипп и элегантно показал на себя, впервые за всю речь отрываясь от блокнота.

— Я хочу ответить этому петуху, — сказал он Сергеичу.

Нельзя было разобрать, рассмешила ли его речь Брайвера, или, может быть, гнев коверкал его переполненное кровью лицо.

— Нет, нет, — спокойно ответил Сергеич, — это надо сделать по-другому.

Он встал.

— Этот товарищ хотел нам помочь. Ему кажется, что мы кое-чего не додумали. Он предупредил нас, что у нас здесь в гостях не только работники моря, пролетарии, но вроде как вдобавок к ним еще и неприятный чуждый элемент. Этот товарищ, похоже, оскорблен тем, что за один стол с ним посажен самый настоящий, да еще известный капиталист. Положение, верно, довольно... как бы сказать... неловкое, что ли. Но неловко больше за чувствительность, которая тут обнаружилась. Ведь к делу надо приложить понимание, а не чувствительность. И еще одну, одну вещь — трезвость.

— Трезвость, — повторил Сергеич наставительно и обернулся к Брайверу. — Наши рабочие знают, для кого они пилят доски. Мало этого, они стараются пилить так, чтобы наша доска была самой хорошей во всей Европе. Чтобы тамошнему покупателю нельзя было обойтись без нашего товара. А кто является там покупателем — советские рабочие знают с молодых ногтей. Так что тут заблуждения с нашей стороны нет никакого. Может — с чьей-нибудь еще... Но тогда пусть нас извинят: вводить в заблуждение мы тоже не хотим никого. Мы не скрываем того, что делаем. Мы создали рабочее государство и теперь закладываем фундамент социалистического общества. Для

этого фундамента требуется металл, машины, высокая техника. Поэтому мы все силы...

Филипп поднялся и пошел вдоль стены, обходя длинный стол. Несколько голов повернулись за ним.

— Лекции, лекции, — проворчал он под нос, — двадцать пятая речь, как ступил на берег... Элемент... Элемент, видите ли!..

IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ БАЛЛЕТА

Он огляделся. Вместительный зал обнимал его некрашеными бревенчатыми стенами. Балалаечники рассаживались в стороне, девушки с парнями входили через широкие двери, пошучивая и хохоча.

Филипп стал у окна. Поселок опускался в белые сумерки. Синие тесовые крыши одинаковых домиков смирно равнялись по проспектам, крест-накрест линовавшим пространство. На углах пузатыми постовыми стояли кадушки с водою. Прохожий с размаху бросил в кадушку окурок и спрыгнул с деревянных мостков тротуара в грязь. Две девочки, укутанные в долгополые кофты, нагнувшись, почти припадая к скользким мосткам, тянули кадку с водою, поставленную в салазки. На деревянной игрушечной вышке пожарной каланчи гулял необъятный тулуп с крошечной головой поверх овчинного воротника.

Что связывало Филиппа с этой бревенчатой, тесовой страной? Привычка? Обычай отцов? Потребность отдыха? Барыши? Дружба? Какой-нибудь иной смысл бытия, например — труд? Просто — судьба, обреченность, рок?

«Голландцы были учителями русских, так и останутся», — сердито подумал Филипп.

И вдруг он увидел себя на обсаженной тополями каменной набережной канала, очень знакомой. Он шагал, торопясь куда-то, не в силах вспомнить, — где была такая набережная? В Амстердаме? В Петербурге? В нынешнем Ленинграде? Он спешил, как во сне, убежденный, что неподалеку встретит, увидит

Клавдию, которая, конечно, ждет его с тоскою. Ему делалось теплее. Он всматривался в сумерки, в туман, успокаиваясь и отдыхая.

Оркестр, как дернувший трамвай, вырвал его из созерцанья.

Зал наполнялся людьми. Посередине возникал свободный круг, кто-то выравнивал и расширял его. Толкотня оживляла толпу.

Филипп прикинул на глаз: народ был мелкий, как видно — наезжий, разнокровный, пестрый. Но сразу примечалось — так же, как на берегу, при встрече, — подавляющее во всем господство молодежи. Она держалась не только свободно, но с какой-то уверенностью хозяев, складно и задорно. Девушки были ровнями парней по этой странной уверенности. Простоватая женственность деревенских подростков смягчала их грубую, почти молодецкую внешность. Ни в чем не было и следа старого севера — медлительного, чинного, как на подбор — один кряж к другому. Едва ли не все гости были статнее хозяев. Пожалуй, много значила одежда моряков, слишком добротная рядом с сороцкими самоделками. Но этим сильным ребятам мешал избыток сдержанности. Заложив руки за спину, они застенчиво, словно девицы, мялись на одном месте. «Впрочем, черт их разберет, — ругнулся про себя Филипп, — наверно все они — наглецы, как этот кретин Брайвер...»

Филипп увидел директора: вразвалочку он пробирался к нему — на голову выше сновавшей кругом молодежи, спокойный, пристальный.

«Этот из кряжей. Доволен, собака, что меня оскорбил мой же матрос. Поди сам нагрубил бы мне с удовольствием. Да коротки руки. А тут такой случай...»

Но в то же время Сергеич располагал к себе простотой и уютностью облика. Он стал рядом с ван Росумом и, видно, не торопился заговорить. Сверх уверенности Филиппу почудилось в нем довольство, как будто он был не только хозяином, но чем-то вроде отца города — этаким сороцким ван дер Верфом, которому за подвиги вот-вот поставят монумент.

— Я получил известие — на концессии меня ожидают через два дня, — сказал Филипп. — Я хотел бы за эти дни познакомиться с заводами.

— Извольте. Но вы ведь думали насчет дичи?

— Вы говорите — поздно?

— Для охоты. Да сейчас я узнал, как раз едет одна экспедиция заготавливать тут поблизости птичьих шкурки на чучела. У меня лучший наш стрелок отпрашивается. Если хотите...

— О, о, я буду очень благодарен. Когда?

— Разузнаю.

— Не поселите ли вы меня на берегу? Если я останусь на пароходе — как бы не пропустить этого случая?..

— Устроим. Хоть «Метрополя» у нас нет, не обессудьте.

— Главное — чтобы чисто, — заторопился Филипп.

Но Сергеич только успокоительно кивнул в ответ.

Середина зала была свободна. Просторным кольцом ее окружал хоровод. В центре сидел на табурете баянист. Паренек в коротеньком пиджаке, низенький, ловкий, артистически расчетливый в движениях, показывал, в чем состоит танец.

— Очень просто, — приговаривал он негромким, умеющим командовать тенорком. — Сначала вы сходитесь тесно в малый круг, к баяну: раз, два, три, четыре. Потом хлопаете в ладоньки: раз, два, три, четыре. Потом, совершенно в такт, дамочки и кавалеры, на такой же образец, двигаемся назад, расходясь в большой круг: раз, два, три, четыре. Потом притопываете каждый на своем месте левой ножкой опять же четыре раза. Очень просто. Попробовали совместно!.. Взялись за ручки!.. Баян!

Он сводил огромный хоровод в колечко — без усилий и суетливости, уверенный, словно командир, что взвод не может не последовать за ним. Он экономил свои силы, как опытный актер на репетиции, который не играет, а маркирует, — чуть подергивая плечом, встряхивая головою, — и цепь людей легко поддавалась его воле.

Хоровод составляла молодежь. У девиц разгорались глаза на затейника-руководы, они подчинялись игре с увлечением. Парни дорожили своей прытью, двигались скептически, снисходительно. Иностранцы стеснялись нелепой новизны положения и пятились от хоровода назад, словно дети.

Филипп слышал, как огромный англичанин, державший на берегу боевую речь, говорил товарищу, тербя свой желтый шарф:

— Понимаешь, я не думал, что у них будут танцы, я так и попер, без галстука, черт побрал...

— Я тоже хотел бы произвести впечатление. Да не захватил из Лондона свой смокинг...

Хоровод ширился, в него вступали люди пожилые и почтенные, с хитрыми вывертами работая ногами и раскачивая молодежь.

Поддаваясь ритму, овладевшему залом, в цепь вошли наконец иностранцы. Они оттопывали такт старательно, на совесть, и глаза их наивно блеснули, не отрываясь от ловкого заправила игры. Общее одобрение, которое они вызвали своим компанейством, восхитило их, они что-то дружно кричали по-своему, таща раскрасневшихся девушек то вперед, то назад.

Вдруг на середину вышла комсомолка.

— Шура, Шура! — встретил ее зал.

Она была круглолица, легко подымались и опускались длинные брови на ее лбу, и резво был вздернут носик. По всем статьям было видно, что у нее хороший вес, но двигалась она с живой свободой, проще, привлекательнее своего предшественника. Она сказала звонко:

— Внимание, внимание! Сейчас мы переменим номер. Мы будем танцевать. Смотрите на мои ноги. Счет на два, как в польке. Баян!..

Она прошла по кругу вприпрыжку, закинув голову, широко распахнув руки.

— Попробовали все. Стали друг за другом. Приготовились. Начали...

В самом темпе было что-то заманчивое, танцоры прыгали с одушевлением.

— Внимание! Теперь вы соединяетесь попарно, кто с кем окажется. Пожалуйста, пожалуйста сюда...

Шура вытащила на середину круга длинного англичанина. Он затянул потуже желтый шарф, приосаниваясь.

— Ну, начинайте: раз, два, сначала налево, потом направо. Ну, давайте же, — прикрикнула она на смущенного партнера, — как у вас там, по-вашему, живо!..

Филипп покосился на Сергеича. Вытянув шею, тот смотрел на комсомолку. Чуть оттопыренная верхняя губа, откуда-то взявшаяся припухлость щек неожиданно раскрыли в нем детский восторг.

— Так, — решил Филипп.

Молодежь шумно облепила Сергеича, подталкивая его к танцорам, горячо выкрикивая его прозвище.

— Наш старший, — гордо сказал комсомолец Сеня Ершов юнге, от которого не отходил ни на шаг. Какао сблизило их. Да и в самом деле — это был напиток!

Ершов высоко поднял руку.

— Самый главный, понимаешь, Джон, — старался он объяснить, показывая на лысую голову Сергеича.

Быстрыми глазами юнга начал обшаривать стены. Внезапно он вскинул пальцем на большой портрет Ленина.

— This one? ¹

— Ты спятил? Ты что же, Ленина не знаешь? Эх, Джон! А говорят — культу-ра! Айда, Джон. Айда, срамота...

Филипп стал пробираться следом за ними. Сергеич все еще отмахивался от наседавших на него, как овода, ребят. Зал вздрагивал под равномерным трамбованием сотни ног, полька захватывала все больше плясунов, красное, блестящее от пота лицо Шуры, с беспокойными,двигающимися бровями, мелькало то там, то здесь. Англичанин распустил свой шарф на голой шее: все было ладно.

Ван Россум поднялся на второй этаж. Музыку и содрогание зала было тут едва слышно. За полуот-

¹ Это он? (англ.)

крытой дверью виднелись спины людей, толпившихся перед пультом библиотекарши. Книжные полки темнели в сумраке, строгие, внушающие благоговение, одушевленные, несмотря на неподвижность. В другой комнате шелестели газеты. Лица, каких Филипп никогда не представлял себе за книгой, сосредоточенно наклонялись над строганым, некрашеным столом. Внимание друг к другу, с каким передвигались, входили, искали нужную газету, показалось Филиппу трогательным. Он тоже вышел на цыпочках, словно торжественно признавая, что в этом доме повсюду жила мысль.

В конце коридора он заглянул в узенькую дверь. Тусклое зеркальце было зажато гвоздиками на стене. Под ним торчал ночной столик с головной щеткой, флаконом мутной, как в парикмахерской, воды и с тремя расческами, положенными рядком, жизнерадостных красок — желтой, малиновой, пронзительно-зеленой. Человек с пустым рукавом, скатанным в трубку и приколотым булавкой под самое плечо, поклонился ван Россуму, и когда пришло время, готовно схватил флакон, чтобы попрыскать гостя парикмахерской водой.

Но Филипп пугливо выскочил в коридор.

— Матушка Россия! — пробурчал он, продолжая свою прогулку.

Он вошел в обширную светлую комнату. Молчаливыми кучками люди роились вокруг шахматных досок, занимавших такой же длинный строганый стол, как в читальне. Тишина священнодействия парила над неподвижными затылками. Только изредка какая-нибудь ладья, угрожающе переплыв из конца в конец доски, резко стукала по избранному полю.

— И речи, и танцы, и книги, и шашки, — ухмыльнулся Филипп, — воистину, у дьявола больше двенадцати апостолов!..

Среди игроков он увидел белобрысую голову с веероподобным зализом волос над большим лбом. По лбу бежала жилка, от бровей к зализу: Сене Ершову приходилось плотно думать. Но шашками он двигал быстро, подковыривая их большим пальцем,

для верности муслякая его перед каждым ходом. Джон Уолес играл с оглядкой.

— Видал? — спросил вдруг Сеня, указывая на его крайнюю шашку в углу доски. — Видал это?

Юнга пожал плечами.

— Не видишь? Это, брат... Чуешь?..

Но англичанин не понимал.

Тогда Сеня трепнул его покровительственно по плечу, туго зажал себе нос и прогнусавил:

— Это, брат Джон, сортир, вот что это...

И он с удовольствием засмеялся:

— Семен Ершов во всей Сороке первый шашист, н-да! Силач!..

Ван Россум отправился обратно в зал, вполне довольный своими наблюдениями.

Если бы он продлил их — вероятно, ему довелось бы увидеть еще немало неожиданного. Может быть, он не раз должен был бы из уважения пройтись на цыпочках, может быть не раз — вспомнить о матушке России. Но вряд ли он добрался бы до маленькой комнаты позади кабинета завклуба.

Там в желтом, вздрагивающем свете толстобоклой керосиновой лампы сидели трое: палубный матрос Брайвер, заводский корреспондент Алексей Алексеевич и человек в военной зеленой фуражке. Переводчик был бледен, усталость томила его, он то и дело протирал глаза, засовывая под пенсне обернутый платком мизинец. Брайвер сидел окаменело, с видом человека, который изо всех сил тужится понять самое главное. Военному принадлежало центральное место. С крайней медлительностью, будто собравшись на этом месте заночевать, он разминал папиросу, вылавливал в коробке спичку, пускал клубочки дыма. Говорил он тихо, словно для самого себя, и на одной, вероятно, излюбленной ноте, так что и Брайвер и Алексей Алексеевич невольно тянулись к нему, нагибаясь через стол и боясь громко дышать, чтобы не пропустить ни слова. В этой речи было и что-то снизходительно-задушевное и самоуверенное.

— Переведите: вы должны нам подробно рассказать, почему вас списали с «Елены». В чем вы прови-

нились? На каких пароходах служили раньше, до «Елены»? Долго ли были без работы?

Алексей Алексеевич переводил, протирал глаза, вытирался. Брайвер фыркал, нарезал обрывистые ответы, окаменевал.

— Переведите, — ни на йоту не меняя тона, продолжал военный. — Вы должны отвечать подробно. В каких отношениях вы состоите с Филиппом ван Россумом? Не было ли у вас столкновений прежде? Кого вы знаете из служащих фирмы ван Россумов? Какие поручения вам были даны?

— Где наконец мы находимся, черт меня разбери! — вскричал Брайвер, подсакивая, жестко хлопая ладонями по столу. — Какие, дева святая, поручения, когда меня выкинули вон? Да меня три дня на палубу не выпускали, чтобы я не попался на глаза хозяину! Он хотел от меня отвязаться, а вы, что же, опять навязываете меня этому идолу?

— Но вы сказали, что сойти к нам на берег отвечало вашему желанию. Так?

— Так.

— Вы вызвали ссору нарочно, вас списали, и, значит, вы должны быть довольны. Почему же вы так резко заявили о своем недовольстве ван Россумом, когда вас никто не спрашивал?

— Да потому, что я хотел раз за всю свою жизнь поговорить по душам! Я — горячая голова. Я думал, что это здесь можно. Я думал, что здесь я дома. Что здесь меня не будут таскать по портовым властям, если в моих бумажонках какой-нибудь чертов крючок торчит не так, как полагается. Я думал, что здесь наше, рабочее государство, а не всемирные крючкотворы.

— Переведите, — как будто еще тише и еще снисходительнее произнес военный. — Да, здесь рабочее государство. Мы находимся на его крепостной стене, на валу. По ту сторону — неприятель. Вы это знаете, так как пришли оттуда. Поэтому каждый наш шаг поставлен не на доверии, а на проверке. Вы должны сказать о себе все.

— Вы должны сказать все, — перевел Алексей Алексеевич и вдруг с мольбою добавил от себя: — Не упирайтесь вы, ради бога! Ведь вы должны с нами жить. Как же можно, чтобы мы не знали, кто с нами живет?!

Он сорвал с себя пенсне. Он был убежден, что привел сильнейший довод, как раз тот, которого не хватало Брайверу, чтобы понять самое главное.

V. ПРОЖЕКТЕРЫ

В кабинете директора шло совещание. Говорил представитель треста о том, что немедленное увеличение погрузки пиломатериалов на пароходы решительно и государственно необходимо, потому что трест платит огромный демураж за простой иностранных судов. Говорил представитель портовой погрузочной организации о том, что, мол, доски надо погрузить на бирже в плашкоут да потом выгрузить плашкоут на борт парохода, на рейде, и что пароходы прибывают, а рабочей силы не видать, и что святым духом не погрузишь, и что шкивидоры со штивкой плашкоутов не справляются, и бракеры, которые берут товар на крючок, тоже недостает, и что, главное, не хватает носков — таскать доски к плашкоутам, а к тому же и плашкоутов явно мало, не успевают оборачиваться. Говорил работник лесной биржи о том, что там становится все меньше людей, потому что кого можно и кого нельзя снимают с биржи на погрузку, а новые пиломатериалы, поступающие с заводов на склад, некому укладывать в штабеля, и что это — непорядок, товар валяется под дождем, а биржа отвечает. Говорил начальник пожарной охраны о том, что биржа не исполняет его первого требования — чтобы доступ к воде был везде свободен, а проезды между штабелей — всегда чисты от досок или чего еще, потому что — случись грех (тьфу, тьфу, — поплевал пожарный и обтер ладонью старые усы), так тут — ни пройти, ни проехать, разве можно! Говорил старший

смотрак шестирамного завода «Пролетарий» о том, что биржа того гляди задушит завод, потому что непорядок мешает откатчикам, которые возят доски с завода на биржу, а там их задерживают с отгрузкой, и они занимают без толку откаты. Из-за них нет правильного выхода рейкам к морю, где насыпают территорию, так что скоро невозможно будет работать на циркулях: все кругом станков завалено отходами, рабочему негде повернуться.

Если бы во все, что говорилось, вник какой-нибудь сторонний человек, то ему стало бы страшно за большое дело, которое разваливалось во всякой своей части и, очевидно, должно было неминуемо умереть. Но сидевшие в кабинете люди, выслушивая требования, претензии и жалобы, видели в них как будто только подтверждение известных и довольно естественных вещей. Каждый человек в этом кабинете хорошо знал, что за простой пароходов платят демураж (по-книжному — демеридж). Что нипочем нигде не достать рабочей силы и что со своим делом не успевают справляться даже шкивидоры (по-книжному — стивидоры). Что на заводах стон стоит от завали реек и горбыля и что действительно уже нельзя как следует стоять за циркулями (по-книжному — обрезные станки).

Обо всем этом говорилось словно затем, чтобы как можно больше затруднить и без того трудную задачу срочной погрузки пароходов. И когда наконец должно было бы стать ясно, что эта задача вообще неразрешима, за нее люто принялись снова. Тогда вдруг весь разговор свелся к плашкоутам, к тем новым плашкоутам, которые сели на порог посреди Выга. Отчетливо и ярко увидели все сразу эти два огромных осмоленных корыта, привалившиеся друг к другу и в мертвой неподвижности, как скалы, торчащие у самого выхода в открытую воду, рукой подать от места погрузки. И хотя даже тех плашкоутов, которые ходили с биржи на рейд, не успевали нагружать из-за нехватки рук, всем начало казаться, что успех погрузки зависит именно от сидящих на мели, как рожон надоевших двух деревянных судов.

Однако очень скоро стало торжествовать убеждение, что снять плашкоуты с порога возможно лишь ценою потери их как судов. Надо было ожидать высокой воды.

— По поговорке: у моря — погоды, — буркнул Сергеич.

— Что ж делать, — отозвались ему, — морю не прикажешь.

Вдумчивый человек с карандашиком, подсчитав примерный размер риска, сопоставив всевозможные добытые цифры и как будто подержав их, для наглядности, в своих медлительных пальцах перед собранием, сказал, что вообще не следует строить плашкоуты выше порогов, чтобы впредь не попадать впросак.

Этот вывод имел неожиданное следствие. Взял слово бригадир подрывников на постройке канала — комсомолец Володя Глушков.

— Смешно, — сказал он, — смешно подумать, как мы работаем. Все равно, если бы кто ел двумя ложками — одной ложкой зачерпнул, перелил в другую, а потом в рот понес. Ведь если бы пароход подходил к самой бирже, становился бы у стенки, на место плашкоута, мы бы прямо пароход и грузили. А так мы вдвойне работаем, да что там, — тройне: нагрузи плашкоут, буксируй его девять верст, потом разгрузай опять. Нам надо порт сооружать, вот что. Углублять бухту, механизировать погрузку. Это будет правильно.

— Еще чего? — угрюмо перебил Сергеич. — Люди говорят о том, как быть завтра поутру, а ты им пятилетний план предлагаешь.

Голос его был невзрачен, он нацелился немигающими глазами в желтые пальцы с карандашиком, холодно лежавшие на краю стола.

— Конечно, попадать впросак не следует... Но уж коли попали, надо уметь выбираться. Ну, а вы никак не помогаете выбраться. Все, что тут пока говорилось, — это, товарищи, бездействие. Нам же нужно действовать. Я нарочно молодежь пригласил, думал — она понаходчивее... Может, все-таки старики что-нибудь путное придумают, а?

— А надо иностранцев мобилизовать, матросов с пароходов, пусть погрузят, — громко предложил Сеня Ершов.

Все, как по сговору, засмеялись.

— Вот тебе молодежь! — крикнул кто-то.

Сеня Ершов от смущения настаивал строгим басом:

— А что? Ну, мобилизовать нельзя, понимаю. А добровольно? Ого, там сколько охотников найдется! Они у себя все на буржуев работают. Им небось тоже хочется по-нашему. А то нет?

Смех не унимался, провал неожиданного выступления был всем очевиден. Сергеич, улыбаясь, сказал:

— Не слишком дипломатично, зато по крайней мере путь указывается, метод выдвигается... Кто следующий?

Тогда тряхнул головой, требуя слова, комлевой навалышкой Ермолай — черноглазый, как цыган, высокий, тонкий и гибкий парень, который, поднявшись, качнулся из стороны в сторону, будто упрочиваясь на длинных ногах.

— Если бы мы сейчас могли снять с порога плашкоуты и достали бы рабсилу, то насколько бы мы увеличили грузооборот — известно? Известно. Вот это и есть наш вопрос. Как же можно увеличить, на сколько требуется, грузооборот и чтобы при имеющихся наличных плашкоутах? Известно? Также известно. Надо, чтобы посуда оборачивалась скорее, насколько требуется. Надо живей грузить, только всего и есть. Надо тех людей, которые опытнее, послать на бар, чтобы они разгружали, а на погрузку поставить новых, да поболее. Откуда взять? Я предлагаю комсомолу объявить добровольный субботник. Чтобы каждый рабочий со всех заводов и с биржи отработали свое на погрузке. На первых порах это будет достаточно. Еще только надо контроль усилить за буксирами, как они работают. И еще быть готовыми в каждую минуту, что вода подыметесь и надо будет снимать с камней плоскодонки. Все.

Ермолай опустился на стул странным многочленным движением — сгибая по очереди колени,

поясницу, спину. Выпрямившись, он жадно взглянул на Сергеича. Тот одобрительно моргнул ему и, впервые за все совещание, встал, сразу этим показывая, что разговор подошел к концу.

— Товарищи, не напрасно я надеялся на молодежь, не зря пришли сюда лучшие бригадиры комсомольских бригад. Комлевой Ермолай проявил правильный почин, и этот его почин должен быть сейчас же подхвачен на заводах, на биржах, на всем поселке.

— Мы с Ермолаем в паре, — быстро заявил Сеня Ершов, — мы с одной рамы, он — комлевой, я — вершинный.

— Ты тоже молодчина, — по-деловому властно отжаловал Сергеич. — Коллективная помощь там, где обнаружилась слабость, где появилась прореха, это составляет нашу силу, наше неизмеримое преимущество перед буржуазным строем, в котором всякий — сам себе голова и всякий думает об одном себе. Поэтому предлагаю считать инициативу о субботнике правильной и принятой. Давайте коротенько обсудим, как лучше организовать работу, и разойдемся, чтобы, как говорится, попусту огня не палить...

Так дельной речью, точно шлюзом, поворачивается беседа в глубокое русло и потом идет прямо, усюкоенная найденным ложем. Право власти делится между умелыми, искушенными в водительстве руками. Долька этого права перепадает и Сене Ершову, и он немного хохлится. В затененном углу блестят цыганские глаза Ермолая. Он приподнят и торжествен. Молодежь вместе с ним чувствует себя солью земли.

Потом, выходя, делясь помятыми в карманах полупустыми раскрошенными папиросками, комсомольцы обступают Сергеича в тесном коридоре с широкими, как на дачных террасах, окнами. За прихотливым мелким переплетом рам, в склеенных замазкой стеклах бледнеет туманом белая ночь, вяло поглотившая небо и землю, безразличная ко всему. На минуту становится тихо, всех притягивает к себе скорбная белизна ночи, ее ненасытное молчание.

Точно с усилием вырвавшись из безмолвия, Ермолай говорит, бережно подбирая слова,

— Ты, Сергеич, напрасно одернул Глушкова.

— И не собирался одергивать. Он не вовремя начал со своим прожектерством.

— Его прожектерство полезное. Об нем хорошо бы поговорить. Ты вот не думал, а у нас, может, у каждого в голове разные проекты да планы.

— Не одни вы думаете, — смеется Сергеич. — Только всякой думке свое время.

— А что? Скажешь — сейчас не время большим проектам? Вся страна переделяется по большим проектам. А мы что — так и сиди у кормушки, какая от купца Беляева осталась? Нет, ты зря! О сороцком порту надо поразмыслить, Володя говорил верно.

— Поразмыслить надо обо многом, — все еще улыбается Сергеич.

— А что? Мы считаем, если план выполнили, так и ладно, с нас больше не спрашивают. А производство у нас отсталое, беляевское. И все предприятие — редька с квасом. Неверно разве? Верно. Если мы прожектерства бояться станем, мы никогда не вылезем из барakov, да летом на санях будем ездить.

— К чему ты это начал?

— К тому, что не все под ноги смотреть, чтобы не споткнуться. Ты гляди подальше, куда ведет дорога.

— Куда ж она ведет?

— Пора производство ставить по-заграничному, лучше заграничного. Подсчитай, сколько добра пропадает у нас на заводах? Мы с ребятами говорили — миллионы гниют под ногами. Их можно прибрать. Как наша паросиловая идет? На опилках? Вот это правильно. У нас отходов хватит на такие предприятия — ахнешь! Построим деревообрабатывающий завод, будем деревянные детали изготовлять. А рядом — химию закатым. Ни одна щепка не пропадет, либо будет взглануть. Над таким хозяйством потрудиться стоит. Небось тогда не сказали бы, что, мол, — прожектерство...

Опять приходит тишина, вязкий свет ночи оmyвает лица бескрасочно и сонно, они теряют различие и подвижность, и только лаковые глаза Ермолая кругло поворачиваются в черных кольцах век,

Володя Глушков смотрит за окно. Он стоит спиной к товарищам и, выпуская дым, коротко закидывает назад голову. Жест этот крепок, но сдержан, и, вероятно, означает, что человек знает себе цену, но научился собой владеть.

— Ребята, вот что, — внушительно начинает Сергееч. — Отмахиваться от того, что вы говорите, было бы ошибкой. А насчет того, что я вас одергиваю, — это пустая обида. Я вас хорошо понимаю. Но и вы меня должны понять, что я вам скажу. — Вы передовики, вы мыслите по-государственному, ничего не возражу. Только извольте доводить мысль до конца. А в чем все дело? Советский Союз строит хозяйство по плану. План необъятен. Для своего осуществления он требует таких же необъятных средств. Подумайте на минутку: на какие средства мы могли бы проводить свой план, если бы вздумали реконструировать все предприятия страны одновременно, с одного маху? Ведь мы должны жить, должны питать свою работу. Отдельные отрасли промышленности вынуждены напрячь все силы, вынуждены, не переставая, давать, давать, давать продукцию, чтобы другие отрасли имели время перестраиваться и создаваться. Лесная промышленность — это один из колодцев из которых черпает силы весь наш план. Наше сырье — золото. Наши доски, отправленные за границу, приплывают к нам назад в виде станков и машин, без которых мы не можем создать ни металлургии, ни машиностроения. А это сейчас — как хлеб и вода: будет хлеб и вода — придет все остальное. Представьте себе, вдруг мы распылим свои усилия, погонимся за совершенствованием своего производства раньше срока. Мы подорвем главную работу и не сделаем своей. Вы поняли, что в рационализации предприятия — самый корень дела и что надо подобрать все щепки. Но надо понять, что наша лесопилка вместе с гаванью — одна такая щепка в общем советском плане, и щепка эта хорошо подобрана, и на ней построен особый расчет. Мы расчета ломать не смеем и не будем, ребята, нет! Ты, Ермолай, пра-

вильно говоришь, что дорога ведет к промышленному комбинату, к этому мы прийти должны наверняка. И ты хорошо знаешь, что у нас комбинаты строятся пошире и получше, чем за границей, и как раз в нашей лесной промышленности. Но мы с вами в план вошли не этой стороной, а другой. Смотри, выходить из него нельзя! На нас особый расчет. А мы, хоть нам будет тяжело, хоть нам будет не знаю как, мы должны делать свое — и только. Вот так же и с Володиным портом. Порт нам нужен. Все видят. А скажи, что важнее сегодня: твое предложение субботника или проект порта Володи? Ну?

Ермолай вытягивает левую руку, загибает на ней пальцы:

— Выходит, к комбинату мы все равно придем (загнул мизинец с безымянным). И без порта обойтись нам туговато (средний с указательным). Стало быть, надо к будущему готовиться и проекты легонько прикидывать и соображать (прижал натуго большой и хлопнул по кулаку ладонью).

— Только не забывай, — опять с улыбкой говорит Сергеич, — мы с нашими заводами — колодец. Беда, если в колодце вода потеряется...

— Не потеряется!

— Смотри. Пойдем. Сегодня богато поговорили, довольно.

Они спускаются тесной кучкой по деревянным, мягко податливым ступенькам. Лестница узенькая, обшитая по сторонам тесовыми стенками, глухо, как погреб, вбирает людей, и стенки давят их с боков, и они могут идти только попарно.

Тогда, в темноте, Сергеич обнимает за плечи бригадира Володю Глушкова и жмет ему руку, долго ощущая молодое, стойкое ответное пожатие.

На улице они останавливаются.

Матрос с объемистым чемоданом на плечах шествует следом за проводником. Чемодан обтянут нежно-палевой кожей, пряжки и замки, пригнанные с точностью крышек на золотых часах, блестя вспыхивают при каждом шаге носильщика. Мостки под его ногами

мерно чвакают грязью. Проводник впереди него прытко семенит, чтобы не мешать.

Сергеич и комсомольцы молча смотрят на уплывающий в белую ночь чемодан.

VI. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Филиппа поселили у карелки Анфисы Петровны, родной бабушки Шуры. Трехкомнатный дом глядел на площадь, которая скатывалась к реке, у перевоза. Гость получил комнату в два окна и вдобавок — угол за цветистой занавеской с просторной кроватью.

В защиту этой кровати и этого угла Анфисе Петровне пришлось с сердцем поговорить, когда явились посланцы от самого Сергеича — просить Анфису Петровну принять на постой заграничного жильца. Кровать была прислонена к задней стенке русской печи, и это показалось квартирьерам подозрительно, и они выразили сомнение насчет чистоты. На это Анфиса Петровна объявила, что они могут убираться на все стороны и что ей никаких постояльцев не требуется, будь то хоть «раззаграничные». Она их к себе не звала, и чесги от них ей никакой нет. Коли у нее грязно — пусть найдут, где чище. Может, сам Сергеич и пригласит к себе гостя, в свою директорскую квартиру. У него поди больно чисто, с кучей ребят. Ей, Анфисе Петровне, нет никакого дела до разных там приезжих, провались они вместе с вами!.. Так как Анфиса Петровна не отличалась ни ворчливостью, ни своенравием, а просто уважала справедливость, то после ее доводов было признано, что угол за занавеской как раз и есть то, что требуется для редкостного жильца.

Филипп выкладывал из чемодана вещи. Не совсем понятно было назначение некоторых из них, но все они одинаково поблескивали металлическими частями, кусками, уголочками, пластинками, запорами, вкладочками, задвижками, целлулоидными, хрустальными, кожаными и шелковыми бочками. Каждую из

них, вероятно, было приятно держать в пальцах и — заманчиво видеть.

Когда Филипп вышел в кухню, умыться, Анфиса Петровна спросила:

— Дать тебе, батюшко, утиральник, или ты с собой возишь?

Оказалось, Филипп ван Россум возил утиральник с собой. Он засучил рукава выше локтей. Волосатыми, полнотелыми руками он затеребил медный гвоздь рукомойки, пока тот не подался вверх, и намылил ладони. Ему нравилось, что он — обыкновенный человек, без причуд и спеси. Он хорошо знал простые, необходимые в жизни вещи и умел с ними обращаться. Его умиляла убогость низеньких горенок, глиняное дыхание жаркой печи, деревянный пол. Все это чем-то напоминало охотничий домик, заранее убранный егерем для гостей. Филипп долго плескал в лицо студеной водой.

— Какой пошел дух от мыла, — сказала хозяйка. — Оно у тебя заграничное, что ль?

— Заграничное.

Дожидаась чемодана, Филипп успел свести знакомство с Анфисой Петровной, и разговор шел теперь легко.

— Мне вот сын тоже привозил душистого мыла из-за границы, я его в рундучке держала, так рундучок сквозь пропахнул, пройдешь мимо — слышно.

— Сын-то моряк?

— Нет, раньше сколько годов обрезчиком был, здесь, на заводе. В революцию браковщиком сделался, а потом стали его в Англию посылать.

— Зачем?

— А когда у англичанина какое несогласие против товара, то он с нашей стороны спорщиком.

— Он коммунист?

— Кумунист.

— Давно?

— Он еще обрезчиком работал, как пошел учиться. Хочу, говорит, учиться. Ну, что ты будешь делать! Я его все спрашивала: да ты не кумунист ли? Нет, говорит, мама, нет, не беспокойся, не расстраивайся.

А потом я узнаю, что он уже пять лет как коммунист.

Анфиса Петровна подвинулась ближе к раскрытому несессеру.

— А фляга тоже загранична?

— Тоже заграничная.

Филипп пошел в комнату. Анфиса Петровна принесла самовар. Творог, вареные яйца, молоко составляли ужин. Хозяйка села на венский стул, поодаль от Филиппа. Она была несуетлива. Тяжеловесно возвышались над грудью сдвинутые мощные локти, колени выступали покатыми валунами, совсем не старое лицо было помечено морщинами умного внимания.

— У тебя, Анфиса Петровна, один сын?

— Трое. Они все работали раньше здесь, на заводе. Да уж сколько годов, как разъехались кто куда. Старший директором в Ленинграде, другой тут недалеко, на Поповом острове, военный. А младшенькой и не знаю где: то в Швеции жил, то в Лондоне, куда пошлют его спорить, туда и ладно.

— Старший, наверно, тоже коммунист?

— Кумунист. Они все кумунисты, батюшко, что один, что другой, что третий.

— А больше детей не было?

— Была еще доча, да умерла, оставила мне внучку. Сперва она у отча жила, да он другой раз женился, она не захотела с матехой жить, ушла ко мне. Так со мной и живет, работает на бирже, пучки вяжет.

— Что же, Анфиса Петровна, хорошо ли живется?

— Бывало и плохое, да позади осталось.

— Разве прежде тяжелее было?

— Терпи стужу, терпи нужу, терпи холод, терпи голод — во как мы, старые люди, жили. У моего отча была ёла, я ему на промысле смолоду помогала. Бывало, в холод возьмет меня на удёвну, удить треску, — вся до костей промерзнешь, а назад нельзя. Наживку наживишь, спустишь яруса, да так на ёле и живешь, наживку наживляешь да яруса спускаешь. Руки-то, бывало, в кровь истрескаются. Плачешь — слезы к щекам примерзают. А уж как погодушка разыграется...

— А при большевиках треска легче ловится?

— Нынче малолеток в море не пошлют.

— Значит, прошлое хорошим не помянешь?

— В прошлом-то я молода была, — улыбнулась Анфиса Петровна. — Как подумаешь, что старость идет, да оглянешься назад, там все будто зазолотится. Кабы тогда деньги были, для чего бы не радоваться? Бывало, в Кемь приедешь, на ярманку, приказчики: поморочка, поморочка, пожалуйста, все чего желаешь.

— В вашем краю легко богатыми делались?

— Иной на одном карбасе шестьсот пудов сельди выловит, а иной сколько раз невод вытащит — все пуста матица.

Филипп вытянул ноги, отвалился на податливую спинку стула. Выпив стакан чаю, он нацедил другой и долил чайник. Весь обиход он знал, ему нравилось, что он умеет соблюдать его по-русски твердо, улыбочка приятности не сходила у него с лица.

— Хорош ли теперь пушной промысел? — спросил он чинно.

— Чего не знай, того не знай.

— Слышно, наверно, какова охота?

— Не знай, батюшка. За белкой, сказывают, нынче далеко охотятся, близко всю перебили.

— А про медведя что говорят?

— Чего про него говорить? Сала запасает да лапу сосет.

— Перед войной в ваших местах не было человека, который бы не видал медведя.

— А что за невидаль?

— Что же, Анфиса Петровна, и вы с ним встречались?

— Встречалась, батюшко.

— Не обидел?

— Не обидел.

— Значит, верно, что он женщин не трогает?

— Как ему вздумается. Вздумается — так и не понюхает. А то... Вот первый годок как меня замуж выдали, пошли женки на Шуйостров, по морошку. Собирают морошку, слышат — позади кто-то хру-

пает. Обернулись — медведь стоит. Они все и побежали. А одна была шустра така женка, в деревне у нас ее все прокудой звали, взяла палку, давай на него махать. Медведь на нее кинулся, стал ее терзать. Терзал, терзал, да потом закидал ее красным мохом и пошел. Ей бы не шевельнуться, лежать, а она пошевелилась. Медведь вернулся, давай ее опять терзать. Во как терзал, во как терзал! — опять завалил мохом и пошел. Она потом отошла, ее други женки повели в деревню. Лицо она все берегла, пока он ее терзал, так ничего. А вот тут — за плечам, да вот тут — горб, да спина — все изодрано было, одна така рана была...

Филипп притих, точно мальчишка. Анфиса Петровна обтерла кулаком губы.

— А друга женка шла лесом, дорогой. Тоже вот так — кто-то хрукает. Оглянулась — а он стоит за деревом. Она упала ницком, притворилась мертвой. Медведь подошел, обнюхал ее с головы до ног, пошел прочь. Она думала, он совсем ушел, поднялась и пошла. Слышит, в лесу опять затрещало. Глядь — медведь рядом идет, напролом, сучки подминает. Она и не остановилась, подумала — теперь все одно, не обманешь. Идет скорей да скорей, слышит — сучки хруп, хруп, да он сопит, не отстаёт. Глянет — и он на нее смотрит, на дыбы подымается, а на дорогу не выходит. Да так ее и проводил из лесу. Женка была красива, здоровянна така была. Прибежала в деревню — белей плата белого...

В кухне хлопнула дверь, чьи-то шаги сильно и звонко затопали об пол, вытирая подошвы. Анфиса Петровна поднялась.

— Внучка пришла.

Откинув ситцевую цветистую занавеску, в дверь заглянула Шура. Яркое, как занавеска, лицо ее на секунду слилось с цветами, потом исчезло.

— Ну, что же ты, заходи, — позвала Анфиса Петровна.

Она вошла, отряхивая ладони, словно после работы. Что-то свежее влилось с нею в печную пряность горниц, будто она явилась с мороза.

— Отплясала, плясунья?

Шура одним взглядом пролетела по чужим вещам на столе, по чемодану, по гостю.

— Отплясала.

— Ну, идем, поешь.

И они ушли.

Филипп улыбался. Деловито и неторопливо он приготовил постель. Лежать было удобно, разве только чуть коротковато. Но давным-давно в гарлемском доме, около печки из синих изразцов с шершавыми цветочками, кровать Филиппа была ему тоже коротка. Приезжая на вакации и весело укладываясь спать, он высовывал голые ноги сквозь решетку изножья, мерил, достают ли пятки до стены. Стена была теплой от печки, приятно было шаркать по ней ступнею. Затем переворачивался на бочок, высоко, под самую грудь, заводил колени и прятал под одеяло ухо. Неужели это все тянулась одна и та же жизнь, и все тот же Филипп лежит в уголке у печки, далеко-далеко от Гарлема, и никто на свете не знает, где этот уголок? Никто не знает, где спрятался, где затерялся в медвежьих дебрях севера большой, громадный Филипп ван Россум. Вот он поджимает под себя голые ноги в хрустящих сухих волосах, натягивает на ухо одеяло. Веки его дрогнули, опустились, поднялись, опять упали и соединились сладко и клейко.

ВИ. ВОПРОСЫ

Рано утром Филипп и Шура, перескакивая с доски на доску, пробирались по настилам и мосткам просторной территории заводов. Шура показала, где лежат лесопилки. Он решил осмотреть самый большой шестирамный завод. Она шла на погрузочный субботник.

— Ваш субботник принудительный? — спросил ван Россум.

— Нет, — ответила Шура.

— Значит, вы можете не ходить?

— Не ходить? А что скажут ребята?

— Я и говорю, что вы не своей волей, а по чужой идете.

— По чужой? Это по чьей же?

— Я не знаю — по чьей. Если бы у вас сейчас появилось желание пойти гулять, вы не могли бы из-за субботника.

Шура маршировала размашисто, подняв свой вздернутый нос. Брови ее то по-мужски напозлали на глаза, то легко взбирались вверх.

— По какой же чужой? — повторила она, усмехаясь. — Ведь это сами ребята придумали — субботник.

— А до них кто придумал?

Она сказала неожиданно грубо:

— Один умный человек.

— Если вы верите, что это ваша собственная воля, — снисходительно заметил ван Россум, — тогда отлично...

Она помолчала несколько шагов.

— Тут и верить нечего. Я всех ребят до одного знаю. Что же, они меня обманывать станут?

— Отлично, отлично, — баском ворковал Филипп.

— Все это потому, что у нас нигде рук не хватает. А у вас за границей много людей без работы, правда?

— Это совсем другое!

— Что же там рабочие — господа какие, что их нельзя с нами сравнить?

Эта девушка в самом деле могла быть грубой, несмотря на некоторую, правда не изысканную, привлекательность...

— М-да, да, — промямлил Филипп, — неверно сказать — господа. Но я не заметил, чтобы они рвались сюда. Они предпочитают бездельничать у себя дома.

Шура вдруг засмеялась.

— Ну, вам — прямо, а мне — налево... Вы их, чай, не больно сюда пустите, — прибавила она соскользнувшим вниз полным голосом. — Кто же у вас все будет делать, если они к нам переедут?

Уходя под скрип свежих дощатых заплат панели, она оглянулась и крикнула:

— Приходите на погрузку смотреть!..

Он остановился, чтобы поглядеть ей в спину. Конечно, не очень изысканна, но, однако... пляска м-могла ее слегка обстрогать и, как бы выразиться, м-мда!..

Солнце становилось летним — сияюще бледным, примирившимся с тихим кружением на виду у горизонта день и ночь, день и ночь. Воздух в своих легчайших передвижениях был пропитан, пронизан, пресыщен смолой. Ее остроколючий, скипидарный аромат завладевал обонянием. Филипп сожмурился: могуществен, благороден и красив лесной товар, благодетельна и возвышенна его природа, возбуждающая и сладок зов его запаха. Каким же другим товаром достойно было бы торговать ван Россуму? Углем? Уголь — это бывший лес. Нефтью? Нефть — это, вероятно, та же смола и, значит, тот же лес. Только положив руку на дерево, прикасаешься к первозданному миру. Все остальное — грубая разновидность дерева. Металл? Ах, да, металл. Он вложил в человеческую руку орудие, это верно. Но человек обратил его в оружие, в смерть. Исток культуры — дерево. Кров, огонь, улада отдыха — лес. Насилие, цепи, решетки тюрем, душащие человека машины — железная руда. Все, что нужно для человеческого счастья, можно сделать из дерева. Металл — это оковы жизни. Чем больше его добывается, тем мрачнее становится наша планета. Несчастные, — сожалеет Филипп о человечестве, которое, как слепая тварь, как ничтожный крот, углубляется в недра, ища руду, тогда как недра богато и безболезненно дарят его сгущенным соком земной мощи — деревом, лесом — пышным, кудрявым пристанищем и покровителем всего живого.

— Бедный Лодевийк, — вздыхает Филипп, — бедный и умный брат!

Он уже подходит к заводу, и его отвлеченные размышления приземляются. Он слышит певучие перезвоны обрезных пил и далекое колочение рвущихся наперегонки рамных станков.

«Металл, конечно, кое на что годен, если он выступает слугою дерева», — думает Филипп, пожевывая мясистыми губами, точно отведывая воздух, и прислушиваясь к пению пил.

— Соломоны! Со-ло-мо-ны! — кричит на откате мужик, засыпанный опилками, стекающими у него с плеч, с бороды и шапки, как вата с елочного деда. Он машет большой, желтой, протравленной на работе рукою: — Со-ло-мо-ны, чер-ти! Кати, кати там, чего затор устраиваете?!

— Сам ка-ти, — мчитсЯ ему в ответ острый, как игла, девкин голос, — тут не пропихну-уть!

На кругу, высоко над головой Филиппа, разворачиваются вагонетки с лесопильными отбросами — длинными, ломкими рейками, концы которых свисают спереди и сзади вагонеток качающимися коромыслами. Упершись руками в рейки, наваливаясь на груз всем весом, вагонетки толкают женки, девки — в белых платках, туго накрученных на головы, — от опилок, — в кацавейках, кофточках, тужурках, в юбках до колен, в коротких толстых шерстяных чулках, перевязанных повыше икр тесемками, шпагатиком, чем бог послал, со сверкающими белыми полосами голых ляжек. Это и есть «соломоны» — имя, гуще всего поминаемое на заводе, — откатчицы, живая сила, освобождающая лесопилку от отходов — пагубной углекислоты, которая должна быть выброшена вон, чтобы организм мог жить дальше.

— Со-ло-мо-ны! — сердито кричит елочный дед, и встер любовно сдувает с его плеч белые, легкие и исчезающие, как дым, струи опилок.

Филипп поднимается высоко вверх, к заводскому выходу. Наперебой веселые, залихватские, всполошенные, исступленные взвизги, стоны, вскрики и вопли обрезных пил сияются переглушить друг друга. На сортировочный стол светло бегут по транспортерам короткие доски-дилены. За их подвижность и легкость они крещены ласковым словом: «дровишками», — и, как дровишки, бойко скидывают их с пассив сортировщицы.

Перекрытия цеха, каждый выступ длинных стен украшены горбами и складками опилок, будто снеговой нависью, отглаженной, отгофрированной ветрами.

Обрезчики, в парусиновых голицах на руках, броским взглядом оценивают плывущий ручей досок, и вот — движение, доска скинута с пасса на станок, вжата в пилу, веер опилок с отчаянным звенящим рыданием взвивается в воздух, и укороченная доска плывет дальше на другом пасса.

Костюм Филиппа — тонкое пальто в коричневую почти незаметную клетку, сиреневая шляпа — кажется черным и недвижимым среди спин и голов рабочих, в однотонно-белом шевелящемся окружении. Медленно оседает на плечи и рукава снежно-белая пыль, прохладно прикасаются к щеке колющие звездочки опилок. Филипп оценивает работу, понятную, как картежнику — колода карт: по старшинству мастей, по важности фигур. Он замечает транспортеры, ползущие навстречу потоку производства. Он тотчас угадывает их назначение: они отвозят опилки в кочегарку силовой централи, они питают огнем сердце предприятия. Он только не знает, что транспортеры насмех прозваны «тараканами» и что они состоят под неусыпным надзором «тараканщиков» — жрецов огня, которые в колоде Филиппа соответствуют не более чем двум или трем очкам червей, сердечной масти. Но не в словах дело! «Тараканщики» или «соломоны», однако глаз Филиппа сразу видит, что кто-то не справляется с уборкой реек. Они громоздятся горными вершинами вдоль стен, их наскоро забрасывают вверх, они сползают, скатываются назад, вниз, к подошве гор, наваливаются на пятки обрезчикам, теснят, прижимают их к станкам, и битва, возникающая между неуклюжими людьми и еще более неуклюжими отбросами дерева, угрожает бедственной капитуляцией человека. Филипп застывает. Не соблюдено первое правило организации производства. Ведь это все равно, если бы на химическом заводе хлористые отходы не выводились бы через трубу в пространство, а невозбранно отравляли бы воздух цехов. Как

можно допустить такое? Филипп пожимает плечами: всемирно прославленное российское «ничего!» в действии!

Он осмотрительно подымает ноги и, балансируя, шествует дальше, для верности опираясь двумя пальцами о рейки. К его перчаткам тотчас приклеиваются влажные опилки. Он отряхивает щепоть таким движением, каким солят еду.

Он добирается наконец до головы завода и останавливается на площадке, около полуоткрытой двери смотракской. Это удобный наблюдательный пункт. Но появляется смотрак. Его борода подперчена опилками, на носу сидят отремонтированные жирной веревочкой старомодные узенькие очки, он осторожно пересаживает их на лоб и озирает Филиппа в упор.

— Здравствуйте, — произносит ван Россум, хотя за воплем и грохочущим клокотанием рамных пил не расслышать ни слова...

Смотрак не перестает разглядывать гостя. Филипп вынимает из перчатки пропуск. Очки пересаживаются на нос. Все идеально. Пропуск снова в перчатке. Смотрак наполовину заползает в свою будку и оттуда глядит Филиппу в спину, очки — на лбу.

Спина — сразу видно — не так-то проста. Спина со значением. С какой-то фундаментальной самонадеянностью. И безукоризненна в смысле построения. Без одной морщинки. Плечи как влитые, без фальшивых подкладок или подбивок: прямые и ровные, как весы. Кости, полагающихся объемов мышцы, потом — в меру — жирок, и затем вразумительное искусство портного, обнажающее природное достоинство плеч, лопаток, спины, которая не проста, не так-то проста — это смотрак видит насквозь, это смотрак понимает.

Ясно: пришел не любитель, не любопытный. Явился знаток. И еще: не начальство, и не «общественность», и не контроль, а — чужак. Если бы он простоял тут неделю, не шелохнувшись и не моргнув веком, если бы занесло его опилками, как снегом, то и тогда было бы очевидно: иноземец стоит под сугробом опилок, иновидец. И смотрак все смотрел в фундаментально значительную спину.

А Филипп ван Россум наблюдал. Грузно отвисала его мясистая нижняя губа. Он заглядывал в шелку занавеса, раздвигающегося слишком медленно и как будто нехотя. Крохотные черты, нанизываясь, составляли такое знакомое и вдруг в чем-то необъяснимое зрелище.

Грохоча и содрогая здание, рамы разваливали бревна на доски.

На крайней раме работали вершинный навальщик Сеня Ершов и комлевой Ермолай. Сеня стоял у рамы, с кондаком в руке, в кепочке, перевернутой козырьком назад, спереди очень похожий на баска, правда — только по очертанию головного убора, по окраске же — светлей опилок. Бревно ползло в раму, въедаясь в прыгающие сверху вниз пилы. Когда оно вбиралось рамой почти до конца и его громадный комель, доживая последние минуты, дрожал, отдаваясь размахам пил, из-под него откатывались назад рамные тележки. На одну из них вскакивал долговязый, словно складной, Ермолай и дергал веревку толкача, как трамвайный кондуктор — звонок. Толчак играючи сбрасывал подоспевшее новое бревно с бревноволока на рамные тележки. Тогда, на мгновенья, работа комлевого превращалась в искусство. Ермолай окидывал черным глазом бревно от комля к вершине с неуловимой быстротой, как стрелок — ствол ружья, и чуть-чуть подергивал вытянутыми пальцами вправо, либо влево. С готовностью Сеня ловил эту тонкую команду. Если бревно надо было повернуть на себя, он захватывал его вершину кондаком — цепким стальным рычагом, похожим на огромный гвоздодер. Если требовалось движение от себя, Сеня брался за лом. Эти секунды он не спускал взора с Ермолая, следуя его ничтожным жестам. Так, поправляя положение бревна, добываясь его наивыгодной по отношению к пилам позиции, заранее видя каждую доску, которая должна выйти из него, навальщики подводят его на тележках к раме, и пилы врезаются в его вершину сейчас же, как только устало прорвутся сквозь комель предшествующего бревна. В этом — ценнейшее умение работы: чтобы вершина упиралась в комель,

чтобы между бревен не было пустоты, чтобы пилы не пилили воздух, чтобы бревно было бесконечным... И что же? Этим умением обладали навалыщики и раньше, с давних пор. И было ли удивительно, что Ермолай и Сеня работали хорошо? Вот разве — *почему* они работали хорошо? — это занимало Филиппа, и он выискивал в их одежде, в лицах, в значительном перемигивании и кивках хоть приблизительное новое объяснение довольно старых и порядочно известных фактов.

И вдруг знакомые Филиппу масти и фигуры начали смешиваться и терять свое обличье.

Случилось то, чего надо было ожидать каждую минуту: на дальних станках завалы остановили работу. Обрезчики отмахивали руками — стой, стой! Отчаянный жест дошел до Сени Ершова, он тоже махнул Ермолаю: шабаш, поработали!

Филипп ждал: сейчас работнички почешут в затылках, сплюнут, присядут на бревно побалакать.

И Сеня Ершов действительно посмотрел вокруг себя на пол, будто выбирая подходящее местечко, чтобы плюнуть, и взялся за кепку, точно намереваясь поскрести затылок. Но эти движения стали, наверно, простым пережитком и теперь облекались в новую форму. Кепка лихо перевернулась вокруг головы козырьком наперед, и Сеня воинственно глянул на соседнюю раму. Она делала свою работу непрерывно, бревно въезжало в нее с дрожью и мычаньем.

Перед рамами на свободной площадке помещалась особа, которая сразу привлекла внимание Филиппа. Это была пожилая женщина, восседавшая на удобном стульце, в странном отдалении от общей работы и в какой-то позе судьи или, пожалуй, классной дамы. Ноги ее были прикрыты половичком. Вставая, она подымала над головой тонкую руку и, как учительница, старательно выводила что-то мелом на черной доске, возвышавшейся тут же, позади стульца. Садясь, она заботливо укутывала половичком колени и брала газетку.

К этой классной даме, заломив кепку, бросился Сеня Ершов. Он вчитался в палки и черточки, акку-

ратно нарисованные на доске, и отшатнулся назад — гибко, расчетливо, словно готовясь к жестокому прыжку.

Шум без остатка рассосал последовавший затем диалог, но по мимике, оборонительным жестам классной дамы и по нападению Сени Ершова Филипп, как в пантомиме, разобрал весь дуэт.

— Газетку читаете? — прокричал, вероятно, Сеня, прищуриваясь на классную даму. — Отлично! А нашей раме опять засчитали одним бревном меньше, а?

— Извините, — заорала классная дама, сохраняя, впрочем, совершенное спокойствие и крича только по необходимости, из-за шума. — Сколько распилили, столько и записано!

— А как же это мы идем всего на три бревна впереди них, когда шли на четыре? — грозно показал Сеня на соседнюю раму.

— А ведь вот ваша рама стоит! — невинно возражала счетчица, наклоня вбок голову и растопыривая ладоньки.

— Я знаю, что стоит! Да ведь, пока она стоит, ихняя рама небось ни одного бревна не пропустила!

— Не пропустила, а пропускает! Я и отмечаю.

Тут оживают в Сене Ершове уснувшие инстинкты, и он отводит сердце в плевке, который бурно подымает с полу опилки. Сеня бежит в смотракскую и присоединяется к Ермолаю, проводящему сложную дипломатическую миссию.

— Видишь, — говорит Ермолай смотраку, — у нас опять простой не по нашей вине.

— Соломоны проклятые! — рубит сплеча Сеня. — Они нам показатели срываю! Мы...

— Постой, — обжигает цыганским глазом Ермолай. — Нам скоро заказ менять, так?

— Еще с десятков бревен, — осторожно прикидывает смотрак, поводя очками по таблице.

— Пока мы зря стоим — вели переменить дюймы, чтобы заодно...

— Надо допилить.

— Допилим потом, найдем момент, пустяки. А то подумай: время жалко. Сейчас стой, полчаса поработаешь — дюймы меняй, опять стой...

Ермолай деликатно притрагивается в рукаву смотрака:

— Скажи пилоставу, а?..

В этот момент вбегает рабочий с криком: «Вали, пускай! Справились!»

Ермолай с Сеней кидаются к раме.

Мохнатые брови Филиппа, приподнявшись, затвердевают в неподвижности.

Но работа длится недолго. Бревноволок, подающий бревна к раме, ползет пустой. Ермолай выскакивает вон из цеха. Видно, что Сеня бросился бы за ним, но рама не пускает его, и он только вертит на голове кепку — козырьком на шею, на ухо, на лоб: опять неминуем простой.

Филипп входит в будку смотрака. Она висит высоко в воздухе, на верхушке пологого ската, подножием которого служит бассейн. Как в горах, люди внизу кажутся маленькими и согнутыми. Они забавно балансируют по плавающим в бассейне бревнам, с баграми в руках, похожие на канатоходцев. Раздвигая и поворачивая бревна, заротчики подводят их по прогонам к бесконечно ползущим вверх бревноволоксам. Сверкнув от воды на солнце, кроваво-желтые сосновые кряжи неожиданно приподымают свои вершины и, встав, послушной, странной чередой взбираются в гору, на завод.

Но работают только два бревноволока. Третий ползет пустой. Через широкое окно смотрацкой виден Ермолай. Он прижал ко рту ладони трубою и кричит вниз. Сеня подоспевает к нему и тоже что-то кричит, угрожая кулаком. Заротчики на бассейне машут баграми и копошатся в прогоне, расталкивая бревна, образующие затор.

Филипп отворачивается от Ермолая и Сени. Он изучил эту пару. Ему только любопытно узнать ксекакие пустячные вещи, может быть — как оплачивается их труд, может быть — ради чего лезут эти ребята из кожи вон, потя около своих рам?.. Не ме-

шало бы Советам бросить допотопные рамы и перейти на ленточные пилы. Впрочем, что за смысл Советам сберегать жалкие девять процентов потерь на опилках, если пилится вообще чужой лес?! Чужой лес... возможно — нащ лес, лес ван Россумов... лес Филиппа... о, о!..

Смотрак с оглядкой отвечает на расспросы. Таблица заказов на всякий случай снята с гвоздика и лежит вверх тыльной стороной, по углам дочерна засиженной мухами.

Напрасная предосторожности! От Филиппа нет секретов. Он видит, что выполняется английский заказ, да и ребенку известно, что здесь главный заказчик — англичанин. Не это интересует ван Россума. Ах, его вообще ничего не интересует!

Он быстро уходит с завода.

Какую чепуху ему рассказал смотрак: тут каждый-де знает, что работает не на хозяина, а на самого себя. Что значит — на себя? Ведь если долговязый навалыш распилит сотней бревен больше, на нем все равно останутся дырявые штаны! Проблема производства... Гм... Проблема штанов и брюха...

Филипп прибавляет шаг. За ним летит, разливаясь и дребезжа, протяжный зык:

— Со-ло-мо-ны! Со-ло-мо-о...

VIII. БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ В СОРОКЕ

Успокоение приходит на бирже.

Припудренное прозрачными облаками небо висит простенько, как сарпинковый полог. Несчетны крыши лесных штабелей, расставленных улицами, переулками, площадями. С отката, по которому тянется узенькая колея рельсов, — план застывшего города как на ладони. Каналы с зеленеющей водою, над ними висячие будки, мосты, виадуки.

Чем ближе к морю, тем ласковее тишина, уединеннее дороги, и, наконец, немота обнимает эту деревянную Венецию.

Филипп вспоминает свою последнюю итальянскую поездку. Он жил в Венеции с Еленой, довольный восторгами дочери, только что приучившейся сознавать себя баловнем судьбы. Они купались на Лидо, ездили к муранским стеклодувам, где Елена заказала себе люстру из дымчато-аквамаринового стекла, как вода Адриатического моря, бродили по Бурано — городку, похожему на старые театральные декорации, и Елена накупила себе паутинных плетений кружевниц. Люстра пришла потом в Амстердам, когда уже была не нужна, после смерти Елены, и где-то стоит, кажется — в гараже, нераспакованной, в ящике со стружками. Кружева взяла себе Мария Криг — охотница до рукоделий. Все, что приводило на память Елену, постепенно было убрано из амстердамского дома, осталась неприкосновенной лишь ее спальня, по своим особым правам ставшая вроде музея, или, пожалуй, экстерриториальным представительством иного света, известного только своей неумолимостью. Гораздо меньше, но так же материально, напоминал о Елене пароход ее имени, ожидавший сейчас на сороцком рейде погрузки, — в самом деле, слишком траурный для такого воздушного и когда-то счастливого имени — Елена! Если бы она была жива, Филипп привез бы ее сюда, на русский север, и показал бы, как богат этот бедный народ, как может он быть искусен, когда хочет, и как он заблуждается, пренебрегая нами, Западной Европой. Это был бы наглядный урок по истории — знакомство Елены с революционной Россией. С кем еще, кроме Елены, мог бы поделиться Филипп своими знаниями этого мира причуд, своими мыслями о нем, и кто, кроме Елены, мог бы вызвать в Филиппе нежное и гордое чувство своей уместности, которое возбуждает в отце молодая, красивая дочь?

Филипп повел бы ее вдоль канала, к морю, по основному тротуару, мимо ровных штабелей досок, стоящих, как домики в сказке, — без окон и дверей. Он вышел бы с ней к морю, так непохожему на те, которые ей пришлось видеть. Он показал бы ей, как здесь создают территорию на воде, состязаясь с гол-

ландцами, осушающими свои моря. Он поставил бы ее вот здесь, и они смотрели бы, как с высоты отката, обрывающегося над водою, сваливают вниз лесные отходы — кору, горбыль и рейки, как — щепками, ломающимися по пути, — древесина сползает в море, как медленно проглатывает ее вода, как, нагромождаясь неизмеримыми массами и оседая на дно, лес наращивает сушу. Деревянные берега, поднявшись из воды, уплотняемые все прибывающим весом новых масс древесины, годны к тому, чтобы их подравняли, обрезали, укрепили, и тогда они противостоят морю, как скалы, легко откидывая самый тяжкий прибой. На этом рожденном из дерева материке растет, все дальше уходя в море, мертвый лесной город мостов, штабелей, виадуков, Венеция, которой, увы, не успела посмотреть Елена.

Если бы она была жива, Филипп зашел бы с нею в будку, висящую над каналом, и они выкурили бы по папироске, стряхивая пепел в кадучку с водою или на пол, обитый листовым железом, и поглядывая через оконце на неподвижную янтарную перспективу биржи. Будка упрочена на двух бревенчатых стрелах, вилкою воткнутой в набережную. Случись огонь — мигом будут обрублены бревна, и сооружение обвалится в канал. Море, вползающее по этим каналам глубоко в лесной город, несет пожарную службу.

Филипп вдруг швырнул окурочек в воду. Безлюдие встревожило его. Он осмотрелся. Водя свою воображаемую спутницу по мертвому городу, он называл ее Еленой, но — странно — с тем же удивленным любопытством, какое он помнил в дочери, его слушала Клавдия Андреевна. Это была ненужная и немного смешная мечтательность, и Филипп заставил себя взглянуть на окружающее ясными глазами.

Он стал внимательно разглядывать штабеля. Товар хорошо содержался, был здоров и доброкачествен, почти не встречалась нигде синева, доски были нежно-розовые, и словно мед на пасеке — сладко одурманивал запах смолы.

Вдалеке Филипп увидел толпу, черной цепочкой переползавшую через мост. Звуки марша долетели

чуть слышно, тотчас разрослись и опять упали до шепота. Филипп сделал несколько зигзагов, обходя штабеля. Ему стали видны люди за работой. Он снова вышел к морю.

У причальной стенки грузились плашкоуты. Над сходящими плыли доски, выгибаясь вровень с шагами грузчиков. Подойдя ближе, Филипп с одного взгляда выделил профессиональных носаков. Они брали сразу по две доски-дильса на правое плечо, подложив кожаную подушку, слегка наваливая тяжесть на горб, шли не торопясь, без усилий применяясь к плавному раскачиванию концов. Перед тем как скинуть груз, опускали передний конец досок вниз, выворачивались из-под них быстрым, легким приседанием, и доски падали, куда нужно, будто накрепко сшитые друг с другом. С плашкоута носаки возвращались медленно, отдыхая, бережно рассчитывая каждое движение.

Таких грузчиков было мало, они терялись в оживленной, казавшейся беспорядочной толпе добровольцев. Повсюду — далеко на полуразобранных штабелях, на набережной в плашкоутах суетились и кучились люди. Это был в большинстве юный народ, подростки, молодцы и девушки. Они работали в паре, по человеку на концах дильсов, и, когда шли, вгибание середины досок сбивало их с ноги, они раскачивались, теряли скорость. Скидывать доски с плеч им помогали, это тоже занимало время, но зато назад добровольцы бежали весело, с криком, хохотом. Шуму было много, он захватывал и подгонял людей, он создавался по меньшей мере с таким же старанием, с каким делалась сама работа. Вокруг штабелей, по которым шагали с крючками в руках браковщики, молодежь, подходя в очереди за грузом, распевала песни, девичьи альти прокалывали их остро и звонко, и вдруг оркестр трубачей вскричал своим многоголосным медным горлом.

«Вечный праздник!» — подумал Филипп, взглянув на знамена, расставленные перед музыкантами. Он остановился у стивидорки. Прямо перед ним кончалась погрузка плашкоута — по правилам штивки —

первым сортом досок. С краю две девушки работали на укладке. В одной из них Филипп тотчас узнал Шуру.

Она обходилась с досками ловко, было видно, что ей не впервые иметь с ними дело. Волосы выбивались у ней из-под косынки, она кое-как засовывала их назад, но, едва нагibasь за доскою, они снова вылезали наружу. Ей как будто даже нравилась эта игра с волосами, она словно угадывала, что ей к лицу ее косицы, и все никак не могла покрепче засунуть их под косынку. Усталость не брала ее, в ней не было ни суетливости, ни рисовки, она держалась бывалым человеком, и девушка, работавшая с ней в паре, не отставала от нее, как старательные ученики не отстают от старших.

К Филиппу подошел и стал рядом стивидор. Наминая пальцем в трубку махорки, он тоже глядел на Шуру.

— Отлично работают, — сказал Филипп.

— Это биржевые, — с охотой ответил стивидор. — Мы их расставили на укладку, бригадами.

— А носить не умеют, — продолжал Филипп.

Стивидор заткнул рот трубкой и предпринял поиски спичек по всем карманам.

— Разве нельзя нанять настоящих грузчиков?

— Работы везде сколько хочешь. Народ ищет где лучше.

— От хорошего хозяина работник не уйдет, — наставительно сказал Филипп.

— Верно. Да что из того? Нынче полтора раза столько пароходов ожидают, сколько было прошлый год. Грузи как знаешь...

Стивидор внезапно смолк и рванулся вперед. Испуганный женский крик взлетел и оборвался. Стивидор побежал к сходням. Филипп увидел, как на плашкоуте, перескакивая через доски, люди торопились к Шуре.

Она лежала навзничь. Одна нога ее была подогнута, другая прижата концами досок. Ее лицо было покрыто большой прядью волос, руки — раскинуты.

Он тоже почти бегом бросился на плашкоут. Но у схода уже толпилась молодежь, и его оттерли назад, на берег. Из криков, расспросов и какого-то подавленного смятения Филипп ничего не мог понять. У всех на языке была Шура — с Шурой что-то произошло, может быть — непоправимое, ужасное, но что именно — никто не знал.

Тогда закачался над головами певучий вальс, с проникновением выдуваемый баритонами и, кажется, действительно созданный для того, чтобы под его волны лучше носили дильсы. Минуту спустя к оркестру кинулась целая ватага, отмахивая руками и крича. Вальс долго выдыхался, мучительно растянувшись в бестолковые охи басов. Это послужило неожиданным сигналом бедствия: на пристани, у штабелей стали бросать работу, и люди отовсюду бежали к толпе. Сразу стало известно о несчастье, и уже поднялись споры — убило Шуру или ранило, хотя еще никто не знал — что с ней? Начали прыгать прямо со стенки на борт плашкоута и по доскам перебираться к месту бедствия. Поднялись предупреждающие крики, кто-то настойчиво требовал порядка, брал в руки вожжи.

Наконец стали расступаться и утихать. По сходням подняли Шуру. Ее несли на руках двое мужчин, девушка позади держала ее голову. Волосы, склеенные кровью, закрепили половину ее лица. Ее внесли в стивидорку и уложили на скамью. Подружки, всхлипывая и вытирая слезы, с решимостью загородили собою дверь.

Филипп хотел помочь советом и войти в будку. Но ему наотрез заявили: кроме доктора — никого! Оказалось, уже послали в аптеку, и комсомольская санитарка промоет рану и наложит перевязку.

— Жива ли она по крайней мере? — обидевшись, спросил Филипп.

— Сейчас жива, — отозвался стивидор. Он заново изо всей силы уминал табак в трубку. Его обступили и теребили комсомольцы — как же, однако, это произошло, ведь он видел?

— А вот так. Не надо фасонить! — сказал он тихо. — Не знаешь дела — слушайся. А вашему брату — что говори, что нет... Вот такие, как вы, форсуны, сбросили доски с плеч, мы, мол, не хуже носачков, на что нам помощь! А Шура тут как раз нагнись — ей концом аккурат в голову...

Филипп выбрался из толпы. Пока он шел биржей, все, что ему попадалось, было наполнено тревогой о Шуре. В поселке, навстречу ему, посередине улицы бежала женщина, грузно встряхивая локтями, стараясь облегчить непривычный трудный бег. Платок с танцующей бахромою болтался у нее на одном плече, старого покроя широкая, многосборчатая юбка тряслась и вздрагивала на огромных бедрах. Филипп узнал Анфису Петровну. Она не заметила его. Он глядел ей вслед, пока она не скрылась за углом.

Он добрал до дома — до своего нового дома на берегу Выга. Дверь была захлопнута на щеколду, можно было войти. Он уже нагнулся, чтобы не разбиться о низенькую притолоку, но к нему подлетел откуда-то мальчуган с красным галстуком и красными пузырями щек и, изо всех сил набирая воздух, выпалил:

— Вы будете голландский иностранец, который стоит у тетки Анфисы? Вам велели передать из конторы вот!

И он протянул маленький конверт из розовой афишной бумаги. Филипп пошарил в кармане, обстоятельно разглядел щеки и галстук малыша и сказал:

— Момент.

— Я подожду, — независимо ответил мальчик.

Ван Россум разорвал конверт и обнаружил две телеграммы уже знакомого невзрачного вида.

— Благодарю, ступай, — сказал он, опять поглядев на галстук.

— Сейчас. Скажите, вы настоящий голландец или только так?

— Только так.

— А-а...

— А если бы настоящий, тогда что?

-- Я голландца видел только одного. Больше всего я видел англичан. Потом норвежцев. Потом немцев. Трех американских иностранцев белых. Одного мулата. Это — пополам, от белого и черной, или наоборот, понимаете? Негров я не видал...

-- Значит, я для твоей коллекции не подхожу?

--- Это не игра, — строго сказал мальчик. — Я хочу изучить всякие заграничные народы.

-- Я не могу тебе служить. Я даже не «наоборот»...

-- Я вижу, — еще строже пробурчал мальчик, — вы буржуй.

Филипп отвернулся от него. Распоров ногтем слипшуюся в лепешку бумагу, он начал с усилием угадывать выдавленные карандашом, как будто незнакомые слова родного языка:

«Сегодня в два утра ваш верный брат и мой незабвенный супруг в полном сознании тихо скончался, напутствуемый святою церковью. Вы можете понять, как я одинока и убита горем в этот час.

Элизабет».

Филипп закрыл глаза. Вторая фраза полностью повторилась в нем несколько раз. Она была трогательнее первой. Слово «одинока» ущемило сердце. Молитва проскользнула в памяти.

Он обернулся. Отойдя шагов на пять, мальчик изучал заграничные народы, нацелившись на его ботинки. Кончики красного галстука шевелились от ветра на выпяченной груди.

Филипп зашагал прочь от дома. Ему не хотелось очутиться в эту минуту под низкими потолками. Он дошел до театра. На деревянном фасаде парусом вздрагивала белая коленкоровая диаграмма с атакующей надписью: «Прочти и запомни». Цветные колонки восходящими ступенями взбирались в верхний угол плаката. Самая большая из них — радостно алая — возвещала, каких чудес достиг лучший из трех заводов, выполнив свою рабочую программу. Цифры в разных красках и размерах объясняли, чего

недостает другим заводам, сколько бревен они не допилили в прошлую декаду, каким процентом брака отличились.

Филипп распечатал вторую телеграмму. Она начиналась словами: «Мой брат». Он долго сличал каллиграфические знаки в заголовках депеш, пока не установил, что Лодевийк телеграфировал за четыре часа до смерти.

«Мой брат. Я остаюсь с близкими недолго. Я готов к вечной жизни. Призываю тебя к осторожности в стране, которая отвергла все божеское. Поручаю твоему сердцу Элизабет. Прости.

Лодевийк».

Плакат все сильнее трепыхал под резавшим его в ребро ветром. Цифры ныряли в белых волнах коленкора. Погода менялась капризно, на глазах. Солнце начало игру в прятки с облаками, крутым табуном катившимися с моря. По Выгу вспыхивали и тут же гасли яркие завитушки беляков. Несло смешанные запахи морской воды и пиленого леса. Все вокруг насыщалось глубоким, неясным шумом.

Филипп спрятал телеграммы в бумажник. Серые клочки с продавлиниями жесткого карандаша должны были сохраняться благоговейно как память о большой неповторимой жизни. Немного. Еще несколько таких клочков, полдюжина фотографических портретов, завещание и десяток купчих, подписанных когда-то тяжелой и властной рукою, — и это все. На бланках и конвертах фирмы будут изменены штампы. Рядом с дверью на доме 68, Принсен-грахт, будет прибита новая вывесочка, ничем не отличная от прежней: черный лак, золото букв, зеркальное стекло, бронзовые винты на углах. И лишь немного измененный текст: «Филипп ван Россум. Импорт леса. Океанский и морской транспорт». И это все.

Десяток объявлений, письма в черных рамках, траур... Совсем недавно Филипп снял самый мучительный траур, который когда-нибудь пришлось носить. Теперь надо было снова надевать черное.

Он повернул на бесконечный проспект из низкорослых строений. Мостки прогибались под его быстрыми шагами. Надо было отправиться на «Елену», объявить о трауре капитану, приспустить флаг, послать радиотелеграммы.

Он остановился перед магазином с вывескою кооперации. Две девицы с березовыми вениками под мышками и жестяными тазами в руках, развевая банный дух, нараспев воркуя о чем-то смешном, прогрохотали штиблетами по ступенькам. В магазине, в дальнем углу, выдавали мыло, отрезая шпагатом тонкие ломти от дымно-рыжих клейких брусков. Женки стояли в очереди.

Филипп заглянул в наличник на прилавке. Там были уважительно разложены картузы трубочного табака, гребенки и голубые резинки для подвязок.

— Не скажете ли вы, где можно достать креп? — спросил Филипп.

— То есть, в каком смысле? — тоже спросил продавец, серьезно нахмурившись.

— Креп для траура.

— Для траура? Понимаю, — сказал продавец и отвернулся к кассирше. — Знаете, Марь Васильна, черный газ, в таком роде, на случай смерти.

— Знаю, — отозвалась кассирша. — Мануфактура.

— Кто-нибудь в Москве помер? — озабоченно спросил продавец.

— В Москве — может быть, — сказал Филипп. — Но до Москвы мне нет дела. Я спрашиваю для себя.

— Понимаю. Немного?

— Да.

— Я все понимаю. Между прочем, видите ли, в смысле мануфактуры...

— Я вижу. Но куда я мог бы обратиться?

— Сомневаюсь.

— Неужели нельзя найти остатка черной марли, хотя бы? Что же, у вас никто не умирает, что ли?

— Что вы, — усмехнулся продавец, — как можно... Но, извиняюсь, этот сорт материи не имеет употребления у нас... то есть, в смысле поминок. Правду я говорю, Марь Васильна? То есть, если, например,

какой-нибудь гражданин помер, или от стихийного бешствия что-нибудь, то в этом смысле не отмечается. Нельзя сказать, чтобы отменено, но вышло из частного употребления. Так я говорю, Марь Васильна?

— Значит, бесполезно искать?

— Полагаю. Исключая нашего кооператива, здесь, извиняюсь, искать негде.

Филипп раскланялся. Прямая улица вела его к пристани, откуда он мог поехать на рейд и ступить на борт своего парохода — маленькой площадки Запада, качавшейся на суровой, холодной волне.

IX. КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ

Рогов сидел с намыленными щеками. В длинном зеркале кивали и кланялись парикмахеры, шупая подбородки клиентов. Хлопала бритва об ремень, шипел пульверизатор, кассирша контрольно звывала:

— Граждане, нет ли у кого мелочи?

Рогов отдыхал, зажмурившись. Четверть часа полного спокойствия, ни с кем не надо говорить, никого не надо слушать.

Вдруг он вздрогнул.

— Спокойно, прошу вас! — сказал парикмахер.

Сомнений не было: за перегородкой раздавался знакомый смех. В мыле, с салфеткой на груди, Рогов выглянул за дверь.

По коридору шла Клавдия Андреевна.

— Прелесть! — воскликнула она, узнав его и протягивая ему руки. — К вам идут бакенбарды! Скорей седейте и отпускайте бороду. Как хорошо! Как я рада этой неожиданности. Я зашла договориться с маникюршей...

Она вытянула Рогова в коридор и досказала быстро шепотом:

— А договорюсь с тобой. Я свободна. Где тебя ждать?

— Здесь, на улице, ты можешь? Я сейчас.

— Только, пожалуйста, без этих одеколонов! — еще скорее прошептала она и, улыбаясь, кончила громко: — Ну, до свиданья. Приходите!..

Через пять минут их уже нес неудержимый и бесконечный поток улицы. Если бы они хотели остановиться, их затолкали бы неисчислимые люди с мешками, корзинами, чемоданами. Они не могли пробраться сквозь эту толпу, когда она запрудой легла на углу, сдержанная случайностью.

Трамваи были обклеены людьми, висевшими на вагонах противоестественным образом, вероятно — при помощи каких-нибудь патентов, которыми не обладаю остальное человечество, жаждавшее тоже приклеиться к вагонам, но обреченное на хождение. Грузовые автомобили с кладью, стогами наметанной на их горбах, дрожа, собирались в нетерпеливые караваны. Рабочие высывались из-за ящиков и тюков. Сталь машин, чудовищные просмоленные катушки электрокабелей, рулоны бумаги, анонимные грузы в ступенчатых деревянных футлярах, пустые платформы с приплясывающими на них грузчиками — все это на мгновение остановилось, чтобы тотчас распутаться и нестись дальше, уступив место новым нагромождениям.

— Смотри, — кивнул Рогов, — все больше народа и этого вихря тяжестей. Точно водопад.

Клавдию грубо прижали к нему, она нащупала его руку, сжав пальцы.

— Здорово, а? — громко добавил он, сильно отвечая на ее пожатие.

Их вытолкнули из пробки тел, и они обогнули угол. С лязгом поползли трамваи, и ринулись, словно броневики — в огонь, автомашины.

— Земля стонет, — сказал Рогов.

— А ты рад?

— Очень.

— Чудак!

— А ты?

— Что? Доставляет ли мне удовольствие это столпотворение?

— Да.

Клавдия засмеялась.

— Давай о другом... Сколько мы с тобой не видались?

Их плечи опять, как в толпе, столкнулись. Он оглядел ее платье, сказал:

— Ты была еще в теплом пальто.

— Да. Но тогда — мельком. А по-настоящему?

Они долго смотрели друг другу в лицо.

— Давно.

— Ты скучал?

Он не ответил. Они перешли мост, миновали обставленный плакатами цирк, запущенный павильон кордегардии и повернули в аллею каштанов.

— Я вижу, — уверенно сказала Клавдия.

Он молчал. Она ласково заставила его взять себя под руку.

— Милый, ведь я же не виновата! Он как будто все чувствует, Франс...

Рогов молчал. Было необъяснимо странно, что рядом с кипящим варевом уличного движения аллея поглощалась таким спокойствием, что слышно было шелестение молодых пальчатых листьев. Уже начинали распускаться и белеть султаны. Несмелая пряность их аромата была полна весны.

— Он не показывает виду, но... так неприятно проверяет меня. Даже в разгар работы вдруг бросит порт и прилетит под каким-нибудь глупым предлогом. А сейчас он уехал. Мы одни.

— Ну что ты словно оправдываешься! — воскликнул Рогов. — Я ведь ничего не сказал!

Они опять поглядели друг на друга, и все в их взгляде представилось им настолько замечательным, что они остановились. Улыбаясь, они молчали. Это длилось страшно долго и казалось — никогда не может кончиться. Они как будто спускались на лифте в тишину, и не переставая продолжалась та первая секунда падения, когда замирает дыхание и становится зябко в ногах. Он держал ее запястье в горячей руке. Счастливое воспоминание скользило в его памяти: настоящее то вытесняло его, то вызывало вновь. Он рассмотрел все мельчайшие черты лица

Клавдии и в каждой из них нашел только то, что хотел. Мучительно нежен был ее рот.

— Ко мне? — спросил он.

— Нет. Отец уехал отдыхать и оставил меня ключарем. Пойдем в его келью!

Они двинулись медленно, лениво.

— Надо ввести у нас западный обычай поцелуев на улице, — с улыбкой сказал Рогов.

Клавдия взглянула по сторонам, быстро приподнялась, и он услышал на своих губах пахучую теплоту ее вдоха.

— Там не озираются, — сказал он.

— И не спешат, — засмеялась она. — Ах, мало ли что надо бы нам ввести из тамошних обычаев!

— Не так много. Может быть, даже ничего...

— Ну, знаешь... Во всяком случае, не с поцелуев начинать!

— Сейчас мне больше ничего не требуется, — возразил Рогов.

Они опять умолкли, точно испугавшись даже шуточным спором помешать чистоте этой встречи. Тени листы играючи передвигались по тротуару. Прозрачен был воздух.

И тогда поплыл мимо них раскрашенной панорамной лентой давно изученный и вечно новый город. Римским консулом сидел на коне Петр. Ворота павловского замка охранял непринужденный курсант-инженер. Садовые решетки шпалерами вели на взлетающий мост, откуда изумрудно-легко раскрывалась площадь Жертв революции. Летний сад с фонтанной стороны был усадебно-прост и любовно подводил к петровскому дворцу, который все еще казался наивно молодым. Морские чудища резвились и неистовствовали на покрашенных барельефах между окон дворца, и весь он — с высокой крышей и непривычными особенностями пропорций стоял обломком Амстердама, ожившего в прогулке Рогова с Клавдией чередой волнующих повторений и намеков.

Но воспоминания, возникнув, тотчас опровергались продолжавшей двигаться панорамой, невольным

сравнением ветхого прообраза этого города с его новым умным и звучным воплощением.

Когда они вышли на Неву, Рогов сказал:

— Послушай, какая недавно была история. К нам в порт пришел на своей яхте английский министр, инкогнито. Его капитан попросил у него разрешения, пока он будет у нас гостить, сходить на яхте к своему приятелю, в Ревель. Хозяин отпустил его и в первый же день пошел в Эрмитаж. Там он пробыл, пока было можно — до темноты. На другой день — та же история: с утра до сумерек смотрит картины. На третий — тоже. К нему был прикомандирован переводчик. Инкогнито с ним за все время ни слова, только — здравствуйте и прощайте. Потом он отправляется в Москву, — ему надо было встретиться с нашими наркомками для частных совещаний, — живет там, на третий день снова приезжает в Ленинград и прямо с вокзала — в Эрмитаж. Переводчик все время с ним, но министр ни слова. И вот наконец в день отплытия в Англию этот сэр просит переводчика показать ему город. Они едут в автомобиле в рабочие районы, осматривают новые дома и неоконченные постройки, потом — центр, парки островов, и вот министр кладет ладонь на руку переводчику и впервые за все время раскрывает рот: «Зачем вам такой город?» — задумчиво спрашивает он.

— Великолепный сэр! — сказала Клавдия. — И что же переводчик?

— Люди, которые много молчат, придают слишком большое значение своим словам и почти никакого тому, что высказывают другие. Поэтому сэр стал говорить, а не слушать. Он подводил итоги. Его первое впечатление, когда он сошел на наш берег, было такое. Он увидел сломавшийся автомобиль, ободраный и грязный, вместо заднего колеса — кусок деревянного бруса. Другой автомобиль тянул его на тросе, буксиром. Трос несколько раз прикреплялся кое-как и буквально выдрал из сломанного авто все, что можно. Представляешь себе? Зацепит за буфер, дернет — буфер долой, авто ни с места. Так это и

тянулось без толка и без конца, но зато — понимаешь! — с какими проклятиями и руганью! После этого наблюдательный инкогнито поехал смотреть картины. Живопись он любил и убедился, что слава Эрмитажа много отстает от его художественного значения. Музей его покорила. И вот он никак не мог связать в целое все эти Рембрандты с автомобилем. Про автомобиль он решил сразу, что он не акклиматизируется, не может акклиматизоваться у нас, как обезьяна — на севере. Раз машину так истязают, то... ясно! Но как могут или как хотят эти же люди, эти же истязатели машин, акклиматизоваться... Эрмитаж? Сэр съездил в Москву и говорит: ваши министры произвели на меня отличное впечатление. Крепкие люди, их не столкнешь с того места, которое они хотят занимать. Но у них нет способа реализовать свои фантазии. Строят автомобили, а в стране нигде на них ездить и некому ими управлять. Неужели, говорит сэр, Эрмитаж нужен толпам, которым в лучшем случае доступно веселенькое кино? Поэтому сэр спрашивает: зачем нам такой город?..

Рогов придержал Клавдию за руку. Они повернулись лицом к воде. Синяя неохватная ее масса молча мчалась на Ростральные колонны.

— Как, по-твоему, зачем нам такой город?

— Правда, скажи, как ответил бы англичанину ты?

— Я? Дир сэр, сказал бы я. Да будет вам известно, что сей город — это как раз тот минимум, который мы согласны принять от прошлого, более или менее без перемен. Остальную рухлядь мы терпим временно и заменим ее вещами более продуманными, чем все, что можно видеть здесь.

Клавдия сказала, помедлив:

— Ответ хорош. Но неужели ты действительно веришь в это? То есть совсем, совсем в глубине души... вот здесь (она приложила руку к его груди), и когда остаешься совсем, совсем один...

Он втиснул ее пальцы в грудь:

— По-твоему, душа здесь?

— У тебя — не знаю, — засмеялась она.

— Так вот здесь: бывает так хорошо от этой веры... или нет, от уверенности в нашем будущем!.. Знаешь, я ведь и раньше представлял себе хорошо, что происходит там, где строят, в этих пустынях, в которых встает из ничего новая страна. Но вот, недавно, я опять поездил и... знаешь, это чудесно! Чудесно! Этого, конечно, не передает газета, да и рассказчик тоже не передаст... Вот я говорю о минимуме, на который согласна эпоха. Да, конечно — минимум! Когда я вечером подъезжал к Дворцу культуры в Днепропетровске, и зажигались кругом огни заводов, и дворец горел сотнями окон — по его размаху, по силе и несчетности огней я сразу и как-то всем телом понял, что вот такой мы хотим и будем делать нашу жизнь — просторной, светлой, наполненной высоким достоинством... Нет, слово не так, как нужно, это вмещает. И потом — это не совсем то...

— Я наблюдаю, — сосредоточенно продолжал Рогов, — одно лицо, повторяющееся везде и всюду в нашей стране — то здесь, то там, иногда страшно неожиданно. Черты его на первый взгляд простоваты — выступают скулы, или очень сильны челюсти, особенно подбородок. Глаза почти всегда необыкновенно яркие, такие, про которые говорится, что они горят. Но они часто, может быть, слишком глубоко вдавлены под бровные дуги. Ты знаешь, обаяние человека решается его улыбкой. Лицо, о котором я говорю, когда оно освещено улыбкой, — неотразимо. В Днепропетровске я опять увидел его. Туда приехали какие-то литераторы из Москвы, между нами — так себе литераторы, только слава. Их встречала рабочая публика во Дворце. Когда они вошли в зал — заиграла музыка, и все поднялись. Мне было и стыдно и смешно: заезжие эти люди приняли встречу как должное. А в ней было так много тепла и надежды и какой-то обольщенности, что если бы вошли в зал Львы Толстые, то даже они растрогались бы до слез этим многообразием чувств. Так вот, тогда встал председатель собрания и произнес несколько слов, самых обыкновенных. Я только смотрел на его лицо, на это лицо. Он улыбнулся в конце речи. Внешне это

могло означать извинение, что вот, мол, нескладно сказалось. Но в действительности это была улыбка гордой силы и счастливого спокойствия. Все здесь было создано этим человеком и все принадлежало ему, от Дворца до последней электрической груши, и до московских литераторов, которые даже и не почувствовали этого... Все чаще я вижу, встречаю это лицо. Оно выражает мысль времени лучше наших дворцов. И оно у меня живое перед глазами... Эти люди будут делать только прекрасное и разумное... Ты говоришь — вера... для меня вопроса веры или безверия, не знаю — с каких пор? — не существует.

— Ты читала мой фельетон? — перебивая себя, спросил Рогов.

— Который... недавно?

— Да.

— Читала.

— И что скажешь?

— Очень умно.

— Это... все?

Он почувствовал ее приближение к себе. Не замедляя шага, она касалась его с вкрадчивой настойчивостью. Они шли по безлюдной улице.

— Прости! Я вовсе не хочу огорчить тебя. Но впечатление от этого фельетона... Раньше у тебя получалось по-другому. Да ты ведь сам говорил, что, когда осмысливаешь мир, утрачивается нечто, что прежде делало его простым, живым, горячим... Тут нет ничего особенного. Ведь, наверно, когда ты наступал на Пулково, ты был совсем не такой, как теперь...

— Хорошо, хорошо, все ясно. Умствования иссушили бедного Рогова, он стал сухарем.

— Ну, и не умно!

— Умно должно быть во всяком случае: это качество во мне не отрицается.

— Сейчас отрицается.

Они прошли несколько шагов, не разговаривая, потом покосились друг на друга, и почти в одно время дрогнули их губы. Но Клавдия Андреевна сказала серьезно:

— Во всем, что сейчас происходит, и особенно во всем, что пишется, есть одна просто невозможная черта. Это — высокомерие. И Рогов не уберется от него. Тем хуже для Рогова.

— Пусть будет хуже для Рогова! Но что ты вздумала читать мораль? Почему вдруг плохо — высокомерие?

— Потому что без достаточных оснований.

— Пусть даже так, без достаточных оснований! Но кто, собственно, укоряет нас грехом высокомерия? Уж не смиренный ли Запад, который веками твердил, что мы — страна самая захудалая, самая неумелая, самая жалкая? Сплошная курная изба! А когда теперь оказывается, что мы не позади, а впереди других, что мы...

— Да не оказывается, а только утверждается!

— Мы стоим в самом начале переворота, и здесь утверждение есть воля к действию, к достижению...

— Да пожалуйста! Что ты горячишься? Я решительно ничего не имею против такой гордости и очень рада, что наконец мы станем похожи на людей! Но я говорю — как все это проявляется? Иногда прямо в каких-то детских формах. К примеру — помешательство на больших числах. Вырастили где-то там японскую редьку в полпуда весом, и рады. А чему, собственно? Что с ней делать, с вашей редькой? Только и слышишь — самое большое, самое длинное...

— Самое сильное, — подсказал Рогов.

— Пристрастие ко всему большому — это болезнь. Довольно известная болезнь американизма. К чему она привела американцев — ты же знаешь. Весь смысл жизни они подменили счетом. Считают, считают, и так до самой смерти — в мозгу сложные проценты, в руках стило и чековая книжка. Почему же ты думаешь, что поклонение перед «самым большим» может привести вас куда-то еще, а не к той же чековой книжке?

— Мне нравится, что ты выступаешь в защиту жизни от чековой книжки. Трогательно! Чековая книжка — злая бяка. Правда? Чековая книжка, скажем, Филиппа ван Россума — фуй! Верно? Верно?

Рогов остановил Клавдию. Мгновение они глядели друг на друга, как люди, которым больше нечего делить. Клавдия чуть-чуть отклонилась назад, точно уже решив повернуться и уйти. Упрямство или, может быть, что-то независимое от рассудка — ощущение безымянное, как некоторые запахи, покоряющее, как болезнь, удержало ее. В этом секундном колебании Рогов увидел странное — по своей неумолимой противоположности — повторение того, как они стояли только что в аллее, в шорохе листвы, глядя друг на друга. Уже иной огонь — огонь связи — вновь загорался на их лицах.

Они пошли вместе, продолжая путь. Они были у цели — дом на набережной Ждановки безличным занавесом опустил перед ними фасад, распространяя затхлость. Ворота, как подвал, придавили их сверху. Дверь с оторванной створкой ввела их на лестницу из черных влажных каменных плит. На стенах пузырилась готовая обвалиться штукатурка. Кирпичи выглядывали из дыр огромными слизисто-красными глазами. Проржавленные бра без ламп висели над площадками лестниц, как будто держась за многолетнюю паутину.

Клавдия сказала:

— Почему бы Интуристу не включить эту лестницу в осмостр достопримечательностей? Скажем, под названием — лестница Достоевского?

— Неплохо. Я бы для такой цели запретил на вечные времена ремонтировать ее.

— О, этого не нужно запрещать! За свой век я не помню, чтобы тут хоть один раз побелили.

— Я говорю серьезно.

— Я говорю тоже серьезно. Лестница Достоевского или «у истоков русского духа». Куда там Эрмитаж! Немцы будут в восторге. Rasskolnikoffs-Treppe — fabelhaft! ¹ Внизу можно продавать открытки.

Рогов засмеялся.

— Я хотел сказать о другом. Нам пора подумать о музее прошлого. Как в Воссе, у норвежцев, — я был однажды в этом городке.

¹ Лестница Раскольникова — баснословно! (нем.)

Он замолчал и сбавил шаг.

— Да, так там, знаешь ли, старые тесовые избы сохраняются как музей прошлого... Нам нужно будет показывать новым поколениям, какое наследство досталось революции.

Они остановились в одно время.

— Тебе тяжело подниматься? — внезапно измененным голосом спросила Клавдия.

Она ушла вперед на несколько ступеней и стояла в конце марша, на площадке у раскрытого окна. Рогов поднял голову.

Солнце круто падало сверху, и в его блеске он увидел Клавдию, какой она была в воображении — или нет, какой в воображении была Елена — юной и быстрой. Он не мог произнести слова Восс, не вспомнив легкого образа, мелькнувшего однажды вспышкой обещания. Физически больно кровь разносила по телу горячую утомляющую тяжесть.

— Ты должен беречь свою ногу! — с укором сказала Клавдия и спустилась к нему.

— Больно?

— Да нет же, я просто смотрю на тебя! — громко сказал он, и под руку они добрались до верхней площадки.

Это была учительская квартира. Две тесных комнаты, коридор с полкою книжек над вешалкой, на стенах пожелтевшие портреты, немного мебели, обитой кирпично-рыжим репсом, пучок перезимовавших осенних веток — ярко-хромовый клен, багровый дуб, свернувшиеся в дудочки листья рябинника и — так как хозяин преподавал рисование — несколько рисунков углем за стеклами книжного шкафа и в паспарту — мускулатура лица и шеи, голова Юноны, лесной царь с листьями вместо бороды — увядшие подношения успевающих учениц.

Осмотревшись и не найдя ничего незнакомого, Клавдия вздохнула:

— Мой старичок дряхлеет.

Рогов раскрыл окно. Широко вперед уходил город, перерезанный лентами рек. Ждановка ревниво обнимала стадион, похожий на огромное, разрезанное

вдоль яйцо. Посредине стадиона забавно строились в пятиконечную звезду марширующие спортсмены в пестрых майках. На площадке, покрытой песком и горевшей, как яичный желток, кучка рослых голышей училась толкать чугунное ядро. Бегуны размеренно, будто секундные стрелки, переставляли ноги по треку. К пристани сонно катились, суша весла, притомленные гребцы.

Рассматривая эту разноцветную жизнь с волнующим удовольствием, Рогов принадлежал тому, что происходило у него за спиной. Он слышал, как Клавдия стягивала перчатку, как бросила ее на диван, как поднялись руки, чтобы снять шляпу, и как шляпа упала на стол. Клавдия подошла к зеркалу и спустя секунду уронила на пол тоненькую шпильку-невидимку. Шурша платьем, она долго искала шпильку. Потом поправляла платье, попеременно вздыхая и мурлыча обрывки пустынькой знакомой мелодии.

Все эти шорохи, незаметно осмысливаясь в сознании, были сцеплены в одно странное ощущение, возрастающее по своей силе, и вдруг, когда шорохи прекратились, — полетевшее в пустоту, сладко и стремительно, как в сновидении.

Рогов быстро повернулся. Его взгляд встретился с неподвижными глазами Клавдии. Оттолкнувшись от подоконника, он бросился к ней и обнял ее. Они стояли тихо. Потом, словно проверяя безмолвие, Рогов огляделся. На высоте этажей в окно смотрело только веселое небо. Но, повинувшись чему-то невнятного, Рогов подошел к окну и занавесил его низенькой, стираной, мадаполамовой, учительской занавеской на медных колечках.

Х. МОРЯНА

Нагнувшись против ветра, засунув руки в карманы, Сергееч двигался к мосту. Всю ночь резал ветер, к рассвету ясно показав поворот со востока на полунощик и держа свой напор неослабно. За эту

ночь Сергеич уже вымерил шагами больничный Собачий остров и теперь, поутру, маршировал из больницы во второй раз. Надежда крылась в ветре, который должен был поднять Выг, надежда крылась в том, что Шура пришла в сознание. Хирург установил наличие двух трещин в черепных костях, но повреждений мозга не обнаружил. Правда, это еще не означало, что их нет. Но это тоже означало надежду. Ноги сильно уминали подсохшие кочки грязи в колеях и молодую яркую траву. Одолевать упрямое сопротивление ветра было приятно. Грудью можно было влечь в него, как в подушку.

Оставив позади мост, под которым завивался буклями пены рукав Выга, Сергеич встретил Филиппа ван Россума, вышедшего прогуляться. Они стали под прикрытие сарая, недалеко от перевоза.

— На море хорошая волна, — сказал Филипп, — пока мы добрались до пристани, нас покидало.

— Пришлось остановить погрузку, — отозвался Сергеич.

Они поняли друг друга, и Филипп усмехнулся: за простоту по вине непогоды пароходы не получали ни цента.

— Мне передавали, на вашей «Елене» приспущен флаг?

— Да. По поводу кончины моего брата.

Надо было что-то ответить, но едва в памяти Сергеича возникли общепринятые слова учтивости, он понял, что произнести их не может. Он ничего не говорил, дольше, чем допускала вежливость.

— Внезапно?

— Нет, после долгой болезни.

Снова наступило молчание, и тогда с галантным участием Филипп спросил:

— А как сейчас положение Шуры?

— Есть надежда, — отвернувшись, сказал Сергеич.

— Очень славная девушка. Я, знаете, был случайным свидетелем этого несчастного события. Я был крайне взволнован. Я видел ее бабушку. Бедная женщина! Она совсем убита. Она твердит, что Шура —

ее самая дорогая внучка. И ее так любит ваша молодежь...

Плавными и многозначительными получались у Филиппа сочувственные слова. Сергеич насилу поймал паузу и скорее вставил:

— Завтра охотничья экспедиция отправляется. За вами явится стрелок.

— О, о! — тряс ему руку Филипп.

И он, откланиваясь, улыбался:

— Пожалуйста, пожалуйста...

Филипп пошел в село. Остров был отлит из каменного массива. Телеграфные столбы здесь не врывали в землю, а просто ставили, как подсвечники: бревно вправлялось в крест, к концам которого пришивались подпорки. Без подрывных работ в почву нельзя было воткнуть палки. Там, где лежал слой земли, стояли домики, вокруг них — крошечные палисадники с березой или елкой и почти везде — с двумя, тремя могилами: из поколения в поколение жилье хоронило хозяев в своей сени. Поморские кресты, прикрытые дощечками на два ската, узкие, с поперечниками, выросшими в волнообразные выступы, с иконкою, врезанною в лицевую верхнюю часть доски, из которой выпиливается целиком весь крест, — вкривь и вкось торчали подле редких надгробий в виде тесовых приземистых домиков, с крышами, упирающимися в дерн.

Филипп сразу заметил медные иконки в крестах и все хотел получше разглядеть их, но не решался заходить во дворы. Он немало понимал в русском художественном ремесле, легко отличая поддельное от настоящего. Он посмеивался над иностранцами, принимавшими раскрашенные и лакированные стулья с дугами на месте спинок или другой лавочный хлам за русский стиль. Ему везло в покупках, он угадывал, где скрыто искусство. Однажды он заразился модой на иконы, но вовремя удержался, оставив у себя всего пять-шесть досок, может быть не вполне равноценных византийскому и русскому письму, собранному Ватиканом, но так же разительных красок и подлинной старины. С Анфисой Петровной Филипп

успел поговорить об иконах поморского письма, но выяснил, что видать святых и «спасов» ей приходилось всю жизнь, однако она в них не очень понимает, а держать давно перестала. Другого и нельзя было ждать от старухи, народившей детей-коммунистов.

Большой добротный мост, за ним узкий остров, снова мост, и вот — сжавшиеся ряды рыбацких домишек, иссиня-черных, с чудесными крыльцами, похожими на расправленное птичье крыло. Кровля над крыльцовым навесом иногда сделана покатым шатром, иногда овальна, и часто в строении видна любовь к округлой линии — в глухих арчатых воротах, в оконной раме. Эту черту самобытности Филипп отмечает, подолгу стоя перед домами. Кое-где сушатся сети, трепеща на ветру; женка, прижав к груди хлеб, возвращается из кооператива и потихоньку косится на иностранца. Если бы не стон ветра, село, наверно, утопало бы в беззвучии. Жизнь почти не видна.

Переходя из улицы в улицу, Филипп неожиданно попал на довольно обширный погост. Разрушение поразило его взор. Свалившиеся кресты гнили на земле, надгробники, полурастасканные на топку, проваливались, насыпи оползали в почвенные щели. Как будто землетрясение исковеркало этот убогий клин. Сколько славянского безразличия к памяти людей, которые дали жизнь всему, что здесь жило, какое циничное забвение прошлого, какое презрение к прекраснейшему из даров, обладаемых человеком, — к воспоминанию! — выкрикивал про себя оторопелый Филипп. Роскошно полированные мраморные плиты, бронзовые изваяния скорби, бюсты великих людей, возносящиеся к небу ангелы, барельефы миллионеров, капеллы с неугасимыми лампадами, золото эпитафий, стекло и металл венков — эти кладбища-города, кладбища-парки, кладбища-цветники и сады старого Запада простерлись перед мыслью Филиппа, когда он, боясь провалиться в могилу, осторожно вступал в истинное царство тлена. Он подумал — какой памятник закажет Лодевийку, вернувшись в Гарлем, и вспомнил все надгробия ван Россумов, от розово-мраморной стены, с целомудренно-белым овалом,

в котором геммой вдавлен милый профиль Елены, до почерневшей бронзовой доски на плите деда — Мельхиора ван Россума, с эпитафией, сочиненной для себя самим покойником:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ МЕЛЬХИОРА ВАН РОССУМА.
ГОСПОДИ БОЖЕ, СДЕЛАЙ ДЛЯ НЕГО ВСЕ,
ЧТО СДЕЛАЛ БЫ ОН ДЛЯ ТЕБЯ,
ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ МЕЛЬХИОРОМ ВАН РОССУМОМ,
А ОН — ГОСПОДОМ БОГОМ.

Старик был обыкновенным скипером, и ему можно было простить шутки над серьезными вещами...

Филипп почтительно перевернул валявшийся в стороне от могилы крест. Кусок дерева обломился, труха желтой пылью посыпалась из перелома и тотчас развеялась ветром в ничто. На многих могилах крестов не доставало, они ужегодились для кипяточка, и этот крест ожидала та же участь. Филипп нагнулся. В дерево была врезана и сверху накреплена гвоздиками медная почерневшая иконка, покороче пасьянсной карты. Изображение Николы Мирликийского — мореходного покровителя — простое, формовое литье, но хорошей старой работы и по верхним уголкам, между рамкой и нимбом, залитое ярко-синей эмалью, как будто сделанной вчера.

Филипп приподнял голову. Четыре домика слепо хмурились вдалеке. Ни души. Филипп потрогал иконку. Она свободно двигалась в выветренном ложе. Два гвоздя, съеденных ржавчиной, отвалились от первого прикосновения. Третий был толстым и не отгибался. Филипп, заторопившись, достал из кармана ножик, подsunул лезвие под гвоздь, нажал на черенок. Рука сорвалась, указательный палец суставом напоролся на гвоздь. Филипп повторил все сначала. Гвоздь туго поднялся. Легко, как из футляра, иконка вынулась из своего ложа и веско скользнула в карман Филиппа.

Высасывая кровь из пальца и думая, что ржавчина опаснее всего для заражения, Филипп подошел к стоячему кресту. Тут была вправлена круглая икон-

ка, в алтын величиною, с маленьким ушком. Вероятно, это был нательный образок. На нем выдавлена «троица» — три острокрылых ангела за трапезой. Выделка не слишком тонка, но композиция превосходна — наклоненные крошечные головы и крылья, вписанные в круг.

Все еще высасывая кровь, Филипп одёй рукой быстро расправился с гвоздями и выковырял образок. Он упал на землю, и Филипп нагнулся за ним. В этот момент ветер кинул в него резким бабьим криком:

— Ты что там, бессовестник, делаешь?

Он обернулся. Перед воротами одного из домишек высилась забравшаяся на камень старуха. Она грозила невероятно толстым кривым пальцем:

— Вот я тебя, я тебя!

Филипп не поднял «троицы», пошел к старухе, крича против ветра, что ведь кладбище заброшено, что из крестов образки сами вываливаются. Но старуха вопила все страшнее и угрожала уже обеими руками:

— Ходят, у мертвых покой отымают!.. — Это что же, а? От вора-безбожника ныне и умрешь — не уйдешь, а?..

Девчонка выбежала из других ворот и онемело устоялась на Филиппа.

Он сразу круто повернулся и скрылся в первом попавшемся переулке. Ему стало жарко. Крик настигал его, звеня на все село. Он в ужасе нащупал в кармане холодного, тяжелого Николу. Он сгорбился. Ему казалось — он так высок, что его видно над домами. Встречные смотрели на него подозрительно. Он завернул за угол раз, другой, третий. Никогда в жизни он так не колесил.

Он опорочил святыню, он совершил святотатство. Как могла подняться его рука на это постыдное дело? Филипп остановился. Он был потный. Ветер пронизывал одежду. Ему стало холодно. Он заторопился еще больше.

Какая неразбериха! Почему — святотатство? Святыня была оскорблена самими русскими. Кресты

валялись хуже чем дрова. Если горластая баба оскорбилась его поступком, то почему она, живя на погосте, не убрала крестов, не вкопала их в землю? Никому в голову не придет прикасаться к памятнику, если видно, что он окружен заботой и любовью. Но это же не кладбище, а бог знает что! Свалка, до которой ни одной живой душе нет дела. Чего же взъелась старуха? Пойми этих русских! Наверно, у нее похоронены там родные. Наверно, она сама скоро ляжет в эту землю. Но почему же, почему она не возьмет раз в год лопаты и не приведет могилы в достойный вид? Неужели думать об устройстве мертвых можно лишь тогда, когда устроены живые? О, о!

День был испорчен. Добравшись домой, Филипп все не мог отделаться от тревоги и ждал появления трясушей руками старухи. Николу он завернул в обрывок английского «Таймса» и спрятал в чемодан. Эта иконка, во всяком случае, была подобрана с земли. Обыкновенная находка, больше ничего. Что же до пальца, то Филипп хорошо промыл ранку и заклеил пластырем.

Ветер мешал возвратиться на рейд. Оставалось сидеть за книгой, поглядывая в окно.

Перед входом в рабочком толпились гонщики с баграми в руках. Цепная собака огрызалась на козу, которая озорно насакивала на нее. Мужики, хохоча, науськивали козу. Она лезла на пса, крутя мордой, страшно размахивая большими, кренделем загнутыми рогами. Пес лютовал, но все больше пятился и наконец забился в угол, под порог, прижатый расщипавшей победительницей. Тогда мужики вдруг взяли сторону собаки. Отколотив козу баграми, прогнав ее далеко прочь, они принялись трепать и гладить пса. Он выюном вертелся от благодарности.

Людьми распоряжался дедка на деревянной ноге. Он водил их по складам, выстраивал и обозревал, точно полководец. Обутые в болотные сапоги, облаченные в брезентовые макинтоши, с топорами в руках, гонщики осанивались, обретали новую походку, крупнели. Дедка наставлял их, разбивая на партии,

давал им бородатых десятников, и они спускались к реке, подняв багры, словно копыя.

Филипп знал, что гонщики отправляются вверх по Выгу, разбирать заломы сплавного леса. Бревна густо покрывали реку выше запани, в пути находилась вся масса весеннего сплава, судьба кампании решалась со дня на день. Филипп видел, что работа обеспечивалась и снастью, и орудиями, и одеждой. Канат, развешенный для просушки на высоких козлах, будто пожарные шланги, багры, бурава, цепи, топоры и особенно болотные сапоги начали раздражать Филиппа, и он неприязненно повернулся к окну спиной, чтобы не отрываться от книги.

Он слышал, как раскрылась входная дверь, и по откашливанию понял, что вошли чужие. Он выглянул за занавеску. Внушительно разглядывая его, в кухне стояли милиционер с каким-то штатским.

Отвратительный миг молчания проник в Филиппа ознобом: старуха нажаловалась властям, унижительный допрос неминуем. Надо немедленно достать завернутую в «Таймс» позорную улику. Скрывать ничего нельзя.

— Анфиса Петровна дома? — скромненько спросил милиционер.

— Нет,

— Скажите ей, что заходили из Охраны труда, насчёт случая... Шуру знаете?

— Знаю.

— Так вот следствие по ее ранению.

И снова Филиппа встряхивает мерзкое чувство, какая-то помесь удовольствия с испугом, и вся нелепость окружения становится ему ясной. Зачем он сидит в конуре с ситцевыми занавесками? Почему боится сумасбродной старухи? Ради чего тратит время?

Он помаршировал бы из угла в угол, чтобы улеглось раздражение против Франса, виноватого в оттяжке необходимой встречи, но это же действительно — конура! Четыре шага вперед, четыре назад! Филипп хватает книгу, но тут же немеет от теплой усталости, глаза слипаются, он идет

к постели, медленно залезает под плед и отдается расплывчатой путанице дремотных видений...

Милиционер укоризненно разглядывает иконку с ярко-синей эмалью, щиплет усы и потирает те места щек, где растут бакенбарды. Бакенбарды действительно начинают расти, превращаясь в круглый ватный валик седой бороды, обвивающей лицо. Сердитый взор Николы Мирликийского меркнет, голова в раздумье покачивается, седина голубеет, подсиненная растаявшей эмалью. Лодевийк ван Россум смыкает веки. Его руки, тонкие как палки, лежат крест-накрест. В середине креста — иконка с ярко-синей эмалью, кто-то открывает на иконке глаза, Филипп опять узнает милиционера, который, хохоча, застилается краснобородой рожей Брайвера. «Я гстов к вечной жизни», — говорит Брайвер, и Филипп не в силах вспомнить — у кого украдены эти слова? — быстро ищет их в объявлениях «Таймса», перелистывая комплект газеты, перелистывая книгу, перелистывая телеграфный код Рудольфа Моссе и наконец находя мучительно нужный термин: «thyse» — «телеграфьте, оплачен ли вексель?» Из бороды Брайвера выписываются жирные красные буквы с росчерком — «Via Northern». Телеграммы отправлены, спокойствие, забвение, тишина...

Когда Филипп проснулся, было жарко. Анфиса Петровна громохала ухватами в печке. Для начала разговора он хотел справиться о здоровье Шуры, но Анфиса Петровна не дала ему раскрыть рта. Неукротимо и неожиданно полились жалобы на кур, на это истинное наказание, тут, на севере, где они и нестишься, как нужно, не умеют, а уж если раз в неделю снесутся, то кудахчут целый день, так что даже петуха собою с панталыку, и он совсем лишится рассудка — забудет, как кукарекать, и тоже кудахчет по-бабьему. А уж как зайдут куда, так будто сквозь землю провалятся, — вот Анфиса Петровна нынче искала своих кур с полудня, весь поселок излазила, с ног сбилась, а куры, окаянные, вечером сами дсмой пришли!

— Как — вечером?! — вскрикнул Филипп.

— А ты, милый, проспал? Давно, я чай, вечер. Глянь, что на воле: морянка бушует, заводские пошли плашкоуты сымать.

Свет за окном был вялый, солнце еще угадывалось на горизонте, но непроницаемой толщей летел по небу свинцовый потолок туч. Филипп заметил на другом берегу согнутые деревья — эго пахло восемью баллами. Река белела от пены, словно ее кипятили на добром огне. Держа кепки, прячась в поднятые воротники, нагибаясь и выискивая защиту под стенами сараев и складов, рабочие бежали к берегу. Вслушавшись, Филипп уловил мерное пение ветра в щелях дома. Как телеграфные провода, басили оконные рамы.

Филипп вышел на улицу. Ветер сразу взялся валить его, так что он должен был сильно нагнуться и потом уже не мог отделаться от неловкого чувства — будто ложился в низко привязанный гамак. Он обошел несколько домов, перебрался мостком, брошенным через прорытый, но еще не обделанный канал, и увидел человеческую массу, охваченную движением и действием.

В расщелины берега наспех врубались причалы, на лодках укладывались тросы, гребцы сидели наготове. Только здесь видна была сила волн, которые пробками вскидывали лодки и, беспорядочно нагоняя друг друга, превращались в ливень брызг от столкновения с береговыми камнями.

Центр действия находился почти посередине Выга. Днища плашкоутов уже покрывала волна, но крен был еще заметен, суда сидели крепко на пороге. Три буксирных парохода занимали позиции. Дым их работавших топок буря слизывала у самых верхушек чумазных труб, однако он успевал отчетливо показывать направление ветра — прямо на берег. Предстояло бороться с тремя силами: с течением реки, многоводно и буйно стремившимся из устья в губу, с прибоем, наступавшим с моря, против воды, и с ветром, ураганно бившим в бок. Соотношение этих трех сил колебалось каждую минуту. О нем можно было лишь приблизительно судить по буксирам.

Уравновешивая напор ветра, волн и течения неустанной работой винтов и рулей, пароходы трепыхались на месте. Но они не могли заранее учесть свободного положения снятых с мели судов: глубина их посадки отличалась от посадки пустых плашкоутов. Волна прибой должна была оказывать сильнейшее действие на плоскодонное, огромное по объему судно, и на этом строился расчет буксировки плашкоутов вниз по течению, против прибоя. Два парохода, соединенные буксирными тросами с плашкоутами, ожидали, когда вода снимет суда с порога, чтобы в тот же момент вывести их из волнения. Третий пароход держался в резерве, на полных парах, готовый оказать помощь, где будет нужнее.

Смельчаки, заготовившие главную работу — там, в центре действия, где сейчас предreshался безаварийный исход операции, казались крошечными, странно подвижными и цепкими: трое карабкались на носу ближнего плашкоута, около креплений буксирного троса, двое сидели в лодке, причаленной к борту посудыны и обреченно прыгавшей с гребня на гребень.

На берегу, у самой воды стоял бормочущий трактор, рядом с ним — воинами-копьемносцами — взвод гонщиков с баграми, поодаль — рабочие бригады, — все возможное в бою было предусмотрено, и лишь ожидался сигнал.

Река начала отражать скрытый тучами закат. Ветер сдирал и рассеивал гребни с волн, точно пепел с потухающих багровых углей. Все поры мира были налиты звоном бури.

Тогда плашкоуты выправили крен и снялись с порога. Это случилось с жестокой быстротой, в течение нескольких секунд, так что пароходы, с мига на миг ожидавшие толчка, упустили время. Стремительно вырвавшись из воды, взбросив вверх блестящую завесу брызг, натянулись тросы.

Неожиданно было то, что оба судна снялись одновременно, как спаянное целое. Но еще более внезапно проявилась их нераздельная подвластность вступу. Прибой и течение взаимно уничтожались, из

трех сил действовала одна: моряна. Она гнала плашкоуты прямо на берег, ни на мгновение не ослабляя нажима, и они слепо тащили за собой пароходы, которые, пытаясь, захлебываясь волной, из последних усилий старались повернуть носом против ветра.

Резервный пароход приблизился к дальнему от берега плашкоуту. Видно было, как, изогнувшись, маленький человек кинул с плашкоута легость. Берег сосредоточенно ждал — долетела ли она до парохода.

Еще никто не разгадал намерений парохода, но едва маленький человек на плашкоуте, корчась от напряжения, скинул в воду конец троса, берег понял, что борьба началась с удачи. На пароходe дружно выбрали легость и за нею — трос. Взяв прямо против ветра, буксир резко накренился под ударами прибоя, зарываясь в волну. Но он принял на себя тяжкую долю работы другого парохода, который воспользовался моментом, чтобы развернуться. И вдруг, уступая, плашкоуты оторвались друг от друга. Маневр был рассчитан хорошо: пароходы, объединившись, могли успешно отбуксировать один плашкоут, в то время как другой, освобожденный от напора соседа, уменьшал скорость своего смертельного бега на камни.

Но этот бег продолжался. Обсыпанный пенистыми вихрями волн, разбиваемых бортом, вздымая то тупой, сверкающий от смолы нос, то корму с белыми щепами обломанного руля, плашкоут волочил за собой буксир. Уже отчетливо видны стали рабочие на носовой части, понятны их движения, различимы лица. словно чудом, лодка все еще держалась под самым носом судна, гребцы висели на баграх, зацепленных высоко за борт. В набат бури мольбою вплелся прерывистый плач пароходного свистка.

И вот берег вступает в борьбу командным сигналом:

— На лодке! Подать конец с плашкоута!

С лодки отмахиваются рукой:

— Есть.

Люди на плашкоуте, сомкнувшись, сбрасывают за борт выложенный в кольца трос. Следом за ним в лодку комьями летят два человека. Наваливаясь на багры, все четверо отталкивают лодку от плашкоута. Это длится бесконечно долго. Люди кажутся наколотыми на жерди багров. Лодку бросает с волны вниз, — люди, выпрямившись, растягиваются; ее кинуло на гребень, — они сжались в комок. Один раз, другой, третий. Наконец глубоко снизу лодку рывком откатывает в сторону. Двое гребцов взмахнули веслами, рулевой прыгнул на корму, четвертый лодочник быстро травит канат, привязанный к плашкоуту. Но как будто ничего не изменяется в движении лодки. Все то же — вверх-вниз, вверх-вниз.

Навстречу ей от берега отчаливает другая лодка. Ее пихают с камней полдюжиной багров, и сначала она резко идет против прибоя. Потом прыгает на месте — вверх-вниз, вверх-вниз. На ней тоже двое гребцов, рулевой и очень верткий человек, травящий в воду канат, другой конец которого разматывают рабочие на берегу.

Вопит бессильный пароход. Шквал гонит плашкоут на камни. Все выше растет его черный сверкающий борт. Судно должно разбиться.

Вдоль берега выстраиваются плечом к плечу сплавщики. Их командир второпях скачет на деревянной ноге. Вода заливает их, окатывая волнами. Они стоят в два ряда, частоколом выставив перед собою багры.

Дикий ободряющий крик проглатывается ветром: лодки подскакивают вверх, весла протягиваются между ними, и вот они прочно сомкнулись.

Верткий человек обхватывает упругие толстые концы тросов, с морским умением оборачивает их на руках, вскидывает на плечо и, когда узел готов, без раздумья валит канат в воду.

С криком на берегу выбирают трос из реки, бегом оттаскивая его к трактору и вместе с машиной впрягаясь в подспорьестенающему буксиру. Трос медленно натягивается.

Плашкоут стремится к камням. Лодки изо всех сил выгребают против прибоя. Но, освободившись от груза

канатов, они стали слишком легки, волна подбивает их под борт плашкоута, и они мчатся под его нажимом на камни.

Багры сплавщиков вытянуты навстречу плашкоуту. Одну лодку успевают вырвать из-под его громоздкого носа. Другая налетает на остробокий камень. Из нее выхватывают за руки людей в тот миг, когда плашкоут, надавив своим необъятным весом, со скрежетом сплюсчивает ее в лепешку.

Багры впиваются в высокий просмоленный борт. Их дружный отпор и сопротивление спружинившей, как кранцы, лодки уберегают судно от гибели. Оно скрипит и стонет, навалившись на берег. Но уже передохнул буксир, входит в силу береговой трос, и плашкоут медленно уводится от камней..

Сергеич был в ряду первых, которые подали руки потерпевшим лодочникам. Мокрый, он вытирал ладонью сияющее лицо и подымался по берегу, окруженный рабочими.

Филипп, узнав его, пошел навстречу.

— Поздравляю, — сказал он взволнованно, — вы спасли посуду. Какая организация! Все как один.

Он протянул для пожатия руку.

Сергеич, словно не заметив этого жеста, крепко взял за локоть Володю Глушкова и подтолкнул его вперед.

— С этим товарищем вы завтра отправитесь на охоту. Будьте знакомы! Это он подал на лодке конец с плашкоута.

Володя раскуривал папироску, дым рогаткой вылетал у него из раздутых ноздрей, он прямо и почти вызывающе оглядел Филиппа напряженными, покрасневшими глазами.

— А вот, — сказал Сергеич, выдвигая низенького мокрого человека, — ваш землячок, вызвался добровольцем. Заметили, как он концы связал? Герой!

Не было никакого сомнения: Филипп только что видал этого рыжего коротышку. Скривив свою рожу, он бормотал украденные откуда-то слова: «Я готов к вечной жизни».

Брайвер, списанный матрос Брайвер стоял лицом к лицу с Филиппом ван Россумом! Кургузый, с небритой красной шерстью, промокший до нитки, он поощрительно тряхнул головой и спросил по-голландски:

— Как вам здешний климат, господин финансист, а? Чертовски поддувает, мэнэр, не правда ли?

И он, содрогаясь, захохотал, подпрыгивая и выжимая из рукавов воду.

— Ну, скорее, ребята, греться! — позвал Сергеич, и — гурьбою — рабочие двинулись к двухэтажному дому с заколоченными наглухо окнами.

Оглушающий взрыв вырвался из-под земли и как будто остановил на мгновение вопль бури. Камни зашелкали по деревянным перекрытиям канала и посыпались на соседние дома. Бригада подрывников салютовала своему отличившемуся бригадиру убедительной порцией аммонала. Кучка комсомольцев-рабочих бежала к Володе, и он махал товарищам мокрой кепкой.

Филипп пошел прочь. Беспокойство, наполнявшее весь этот день, приступом возросло после взрыва. Было негде, как говорилось, приклонить главу: всюду клокотала борьба, точно на фронте войны. Разрытая земля и пальба аммонала, изгородь острых багров, командиры, бригады, герои и, вероятно, жертвы: много жертв — какое необыкновенное и грустное сходство с войной! Что за пружины привели в движение солдат и офицеров этой войны? Почему плашкоуты спасают заводские рабочие, когда эти глупые лоханки нужны экспортному тресту? Куда спешит это непонятное племя со своим героизмом, со своими взрывами и с вечным копаньем земли, с этой ненасытной страстью повелевать, без оглядки на свои рубища, без внимания к потерям, к усталости, к слишком туго затянутому ремню на животе? Куда?

Филипп обернулся, издалека окидывая глазом подвижную картину работы, поднял воротник и беспринужно спрятал в нем лицо...

Промокшие рабочие входили в директорский дом. В сенях была устроена теплушка: на столярном вер-

стакане красовались сборные чашки и стаканы, водка играла в зеленом стекле бутылок. Анфиса Петровна неожиданно объявилась в толчее и на расспросы — какими судьбами? — отмеривая и поднося спиртного, приговаривала:

— Мимоходом. Приглядеть за ребятами. Шура-то нет-нет побежит к Сергеичу, взглянет. А как попала в больницу — кто сюда заглянул? А ведь их четверо, ребятки-то, мал мала меньше.

Сергеич потянулся со своим стаканом к Володе. Мельком подняв глаза, Глушков ответил негромко:

— За Шуру!

И выпил залпом.

Чокнулись все вместе — за дружную работу, за хорошую жизнь, за славную верность рабочему делу.

— За Сергеича! — крикнул кто-то. — За братство народов! — возгласили напоследок, и Брайвер, вываливая скрипучие вороха голландских слов, хватал всех за руки и силился втолковать, что с такими ребятами он готов не то что в воду, а прямо на смерть.

Тут, под шумок, сторонкою отвел Сергеича в угол Сеня Ершов, говоря, что есть неотложное дело. Он был из молодцов, возивших Брайвера в лодке, и теперь, хлебнув порцию согревающего, был растроган порывом вдруг открывшейся ласковости и взаимного поощрения.

— Я хотел сказать, Сергеич, — задыхался он, сдавливая грудь, — хотел сказать насчет Шуры.

Он пригладил белобрысый зализ и неловко отмахнулся: ладно, мол, все равно пропадать!

— Шуре, понимаешь, здорово неважно, ребята справлялись, понимаешь, да... Ну, ребята говорят — конечно, доктор и никакой паники, все научно, понимаешь, да...

— Ты короче.

— Я сейчас закруглюсь. Ребята говорят — никакой паники, доктор — во! — Не первый раз, научно. Я сам понимаю. Только все-таки Шуре здорово неважно.

— У тебя что за сведения? Ты был в больнице?

— Ребята говорят. Я думаю...

Сеня перешел в шепот:

— Не ругайся, Сергеич. Послушай. В Соробе есть одна старушенция, я ее знаю. Ничего особенного, бабушка. Но в одном деле перекроет всех на свете: раны заговаривает. Одним разом — какдохнуть!! Вот смотри!

Сеня засучил рукав.

— Видишь рубец? Мне когда десять лет было, косырь с полки упал, перерубил жилу. Меня пока к бабушке несли, думали — я изйду кровью. Бабушка заговорила — не успели моргнуть. Кровь стала — и рана зажила. Смотри!

Сергеич молчал и хмурился.

— Бабка, она пошла бы к Шуре. Да ее близко к больнице не подпускают. Послушай, если бы старушенцию провести в больницу, а? Только бы на этот раз, а?

Сергеич молчал.

— Я почему говорю, — заторопился Сеня, — я знаю, что доктор — правильный. Да разве доктор всегда помогает? А вдруг Шуре не поможет? Мы с ребятами говорили: если Шура помрет, тогда с кого спрашивать, а?

В сжатых, неподвижных губах Сергеича лежала усталость иль, может быть, горечь. Он слушал, не сводя глаз с Сени, ни разу не шевельнувшись. И в пугливой растущей опаске все больше торопился набормотать Сеня:

— Если Шура помрет, мы, может, тогда пожалеем. Другой Шуры уж не будет. Ребята ее здорово любят. А мы, может, подумаем: зря не повели к ней бабушку! Может, бабушка помогла бы. А доктор... что же доктор? Ей-богу, надо попробовать, чтобы в случае, если Шура... Не ругайся, Сергеич! Никому не рассказывай. Я к бабушке заходил. Она согласилась. Если бы ее только протащить в больницу... Попробовать...

Сергеич, все еще молча, взял Сению за обнаженную руку, повыше локтя. Проталкивая парня вперед между рабочих, он подвел и поставил его к верстаку.

— Товарищи, — громко произнес он, — кто здесь комсомольцы — подымите руки! Ладно. Как и следовало ожидать — порядочное число. Так вот, товарищи комсомольцы, Семен Ершов, член вашей организации, ударник, вершинный навальщик, не раз отмеченный за хорошую работу, проявил себя в корне отсталым человеком. Конечно, и на солнце, как известно, есть пятна. Но если бы на солнце были пятна размером пропорционально пятну Семена Ершова, то темновато нам с вами было бы на земле, товарищи. Семен Ершов, оказывается, верит в черную силу. Да, да, товарищи. Не охайте! Верит самым допотопным образом. Верит, что называется, и в чох, и в глаз, и в неразменный рублик. Верит в наговор, верит в заговор, да во всю старушечью стряпню верит. Может, он и к попу на исповедь ходит, почему мы знаем? Спросите его, о чем у нас был сейчас разговор. Пусть он расскажет. Я так не сумею, я в этих вещах не разбираюсь... Как же случилось, что боевого комсомольца сбили с панталыку знахарские бредни? Я вам предлагаю решить этот вопрос в вашей организации — кто виноват в отсталости такого товарища? Кто отвечает за путаницу в мозгах образцового ударника? А пока пусть он вам скажет, что он мне предложил. Ну-ка, Сеня!

Семен Ершов, красный, в растеребленных торчках прямых белых волос, с порозовевшими, как у кролика, глазами, затянутыми слезой, в перепуге оглядывал своих друзей. Подняв на Сергеича голову, почти всхлипнув, он с усилием выжал из себя:

— Ладно, Сергеич! Я расскажу. Но запомни, Сергеич... я ведь... я ведь для Шуры старался, а ты... ты... ладно!

Сергеич участливо засмеялся.

— Я тебе решил за твою отвагу в приказе благодарность объявить, а ты в Параскеву-Пятницу веришь. Эх, Сеня!

Володя приблизился к верстаку и, вытащив из кармана сплюснутый, твердый носовой платок, протянул его Сене:

— На, утрись! И вали начистоту!

XI. ФИЛИПП ВАМ РОССУМ ЛЮБИТ СССР

Сотни ящиков с инструментом, сотни пил, обмотанных тряпками, и топоров, сотни караваев черного хлеба, мешки с пожитками, подушки в розовых наволочках, овчинные полушубки, жестяные чайники и толпы, миры, вселенная людей, прокопченных махоркою, речистых или безмолвных, молодых и старых, — все это—звенькая, стуча, посапывая, кашляя, громяхая сапогами; жалуясь, смеясь и с надеждою вздыхая—тряслось, раскачивалось в вагонах медлительного поезда.

Володя Глушков отзывался на расспросы не щедро:

— Север строится.

Но Филипп хотел знать много и точно: что строится, где строится, кем строится? Спутник отвечал словно крестьянин, подходя к делу не прямо, а в обход, дорожа словом, как куском пирога.

— Мурманск мировым портом стал...

И немного погодя на другой вопрос:

— В пустыне город вырастает...

И еще:

— За полярным кругом добыча минеральных удобрений — кто раньше думал?..

— Что привлекает сюда этих людей? — спрашивал Филипп, отважно заглядывая с площадки внутрь мутного от дыма вагона.

— На стройках и заработок, и хлеба довольно.

— А там, откуда народ едет, хлеба нет?

— Как нет? — вскинулся Володя.

Он с удивлением разглядывал Филиппа.

— Где кулаки хлеб прятали да гноили, там его нет, — сказал он. — Вы про кулаков слышали?

— Не слышал.

— А в ваших газетах писали, что у нас на севере принудительный труд применяют, — про это слышали?

— Слышал.

Они смотрели друг другу в глаза, улыбаясь.

— На одно ухо туговаты, а другим слышите всё, что вам требуется, — засмеялся Володя.

Потом сказал строго:

— Сюда переселено порядочно кулаков. Им, ко-

нечно, сложа руки сидеть не приходится. Но, если они с пользой работают, их выдвигают.

Побарабанив пальцами по блестящему футляру желтой кожи, он спросил:

— Это ваше ружьецо? Какой марки?

Тогда разговор пошел об охоте...

Сквозь редкие темные макушки елок крутого берега белым стеклом вспыхивало море. По его наклонной равнине взбирались вверх острова, в странной лестничной перспективе, как на японском рисунке.

На станции народ высыпал из вагонов, точно в штыковой атаке устремляясь к низенькой станционной постройке. Чайники звякали, как вооружение. Петлею извивалась очередь перед кипятильником. Буфетная стойка жалко хрустнула под напором толпы.

Филиппа вытолкали с площадки, он насилу подхватил свои футляры, сумки, и, пока шел по платформе, бежавшие к буфету наступали ему на ноги, не замечая его. Он попробовал фыркнуть. Никто даже не обернулся на него. Тогда, чтобы избавиться от толканья, он тоже побежал, тяжело потряхивая своим фундаментальным охотничьим снаряжением, стараясь влиться в бег людей. Он стал в уголке вокзала, нахолившись и сердито одергиваясь.

Эта вынужденная побегка оказалась прологом к досадной неудаче. Когда пассажиры схлынули, опустошив буфет, и станция притихла, Володя пошел разузнать об экспедиции. Битый час вел он расспросы служащих — от начальника станции до стрелочника. Никто ни о какой экспедиции не слышал.

Надо было устраиваться на ночлег. Путевой сторож повел к себе нежданных гостей через обширное заболоченное пространство, с кочки на кочку. Подле недавно выстроенного дома разгуливала на веревке вокруг пенька костлявая корова. Подсунув ей под нос схапку сена, хозяйка поздоровалась и сказала:

— На троицыну тучку паси сена кучку — вот такая наша весна. Травка выглянет — а ее морозцем, она оттаяет — а ее снежком... Милости прошу, пожалуйста!

Дом был пятистенный, узенькая дверь с лазоревой занавеской отделяла кухню от передней горницы. Там

красовалась этажерка с посудой, бумажными розами и с гипсовой собакой в крапчатых яблоках, как конь. Полы, стены, потолок — свежестроенные — светлели в мертвизне скучно напоздавшей белой ночи. Не зажигая огня, хозяйка постелила чистое катаное белье на объемистую кровать, но Филипп, отблагодарив, сказал, что полюбуется встречей северных зорь, и присел у окошка. Володя лег на полу, стащив с себя сапоги.

Было слышно, как за окном хозяйка, приговаривая и понукая, отводила корову в хлев, и копыта с привистом чавкали в грязи. Вернувшись в дом и пошаркав ухватом в печке, хозяйка уgomонилась. Все стихло.

Постепенно к Филиппу пришло созерцательное расположение духа. Поморское селение большим насупленным гнездом виднелось вдали, собранное из сивых тесовых домов, сараев, жердяных частоколов. Три церкви возвышались над ним. Ближняя была мягких тонов и совершенных пропорций северо-русского вкуса. Филипп никогда не рисовал, но тут взяв карандаш и со школьным прилежанием вывел в записной книжке контур купола, восьмигранного шатра, поставленного на усеченную перевернутую пирамиду, ровных, слегка вздернутых, как плечи, крыш и стройной крестовидной избы. Облокотившись на подоконник, он залюбовался нежными красками стен, крыш и шатра. Он уснул сидя, чувствуя жалость к древней церковке и к себе.

Утром Володя разыскал экспедицию. Это были два человека — Машин, консерватор музея, орнитолог, низенький белокурый человек, и Анастасий Иванович — инспектор охоты, существо худощавое, рослое, в седых щетках бороды, усов и буйного хохла на голове. С Володей они встретились по-приятельски.

— Эка ты, красота-парень, — приветствовал его Анастасий Иванович,огрев ладонью по плечу, — стой!

Машин сказал Филиппу обходительно:

— Очень приятно. Мы уже знали, что вы к нам присоединяетесь. Для живущих на севере ваше имя знакомо. Извините, вышло неудобно с ночлегом: мы рассчитывали прибыть раньше вас, а получилось наоборот. Но я надеюсь, неудобство вознаградится впечатлениями от охоты.

— Охота сейчас запрещена, — сказал инспектор охоты.

— То есть, совершенно верно: не охота, а разрешенный правительством отстрел птицы в научных целях. Наша задача, видите ли, пополнить музейные коллекции. Мы будем отстреливать по одной паре каждого вида.

Машину, видимо, понравилось внимательное любопытство Филиппа, и он готовно продолжал:

— Не наблюдали никогда перелета казарки? Роушки, по-нашему гуся? Да, гуся. Он сейчас отдыхает в салме. Пока тянет с юга, он, знаете ли, похудеет. Подкормится — полетит дальше, на север. Одно из семи чудес нашего света, как же!

Стояла экспедиция в двухэтажном доме помор-рыбака, старого капитана двухмачтовой шхуны, полинявший снимок с которой висел на стене в золоченой рамке. Комнаты были высоки, многосветны. Добротность давнишней постройки проглядывала из каждой притолоки, из каждого угла. Как будто особый знак налагало на этот дом бледное изображение шхуны: как на старом судне, здесь все к себе влекло обжитостью и удобством.

Когда кончили набивать патроны и совсем снарядились, с моря пришел на карбасе хозяин — Никодим Никодимович. Его вышли встретить на берег, спустились по крутой лестнице к воде, и тут Филипп познакомился с ним.

Никодим Никодимович приглянулся ему сложением, почтенностью, тем складом прирожденного северного человека, об исчезновении которого он думал, разглядывая заводской народ в Сороке. С лица помор был похож на скопца. Редкая, просвечивающая борода лопаткой свисала с широкого подбородка, точно провощенная кожа была иссечена тонкой вязью морщинок, но молоды и остры были узкие ярко-желтые глаза, да и осанка согнутого большими годами старика все еще была крепкой. Он убрал весла, скатал парусок и выставил на мостки небольшую плетенку с тонким слоем рыбешки на дне.

— Весь улов? — спросил Машин.

— Зверь зашел в сети, все изодрал, — ответил рыбак, метко рассматривая гостей и вдруг с лукавинкой останавливаясь на Володе.

— Зверь, — значит нерпа, тюлень, — объяснил Машин, — огромное зло приносит рыбацким снастям.

— Когда надо — приносит, а когда не требуется — ничего, — сказал Володя.

— Какой ты прыткий, зверю заказывать! Он, чай, в сеть за рыбой идет, — ухмыльнулся помор.

— А что же ты, дяденька, сети в море оставил, если их зверь разорвал? — спросил Володя.

Никодим Никодимович отвернулся:

— Учитель какой!

— Небось себе на уху-то привез? — не унимался Володя.

Филипп не понял стычки, и Володя, уловив это, тут же с удовольствием растолковал:

— В кооперации за рыбу дешево платят, вот рыба-то и не ловится.

Никодим Никодимович медленно повернулся к нему.

— Будет яриться, — сказал он, помолчав. — Я тебя не касаюсь. Ты вот с ними приехал, поэтому здесь находишься. А то я с тобою и говорить бы не начал.

Прибирая в карбасе, он ворчал так, чтобы всем было слышно:

— Ему бы так: чтобы я ловил да рыбу возил, он бы ел, а я бы губы облизывал.

Никодим Никодимович взял плетенку и побрел по лестнице домой. Но к уходу экспедиции в море он опять явился с другою парой весел, проверил, хорошо ли размещен на карбасе груз, прочны ли уключины, принес большой черпак и, когда отошла лодка, внимательно глядел ей вслед с мостков.

С этой минуты началось плавание Филиппа ван Россума по Сороцкой салме. Переместившись в действительность, силы которой его воображение не могло предугадать, он, что ни час, ослеплялся чуждыми и пышными картинами. Много позже, когда исчезла не только усталость от возбуждающих восприятий, но улетучилась их свежесть, Филипп, закрыв

глаза, вспоминал об этом плавании как об утрате счастливого мира.

Он вспоминал деревянный трисоставной крест, стоявший на островке в устье Шуи, при выходе в море. По обычаю, крест был подпоясан полотенцем с нашитым на нем изображением другого креста из черной тесьмы. Предупреждающий символ власти, которой отдается человек, идущий в море, извечная жертва неизвестности, ужас перед непонятною силой, надежда дикаря — что двигало женскою рукою, водившей иголкой по полотенцу, трепещущему на ветру? На этом месте, где тысячи рыбаков, бросив весла, снимали шапку, Филипп прочитал самую длинную молитву, выученную в школе. Он поручал себя не штурманам и вышколенным матросам, а незнакомым людям, наделенным больше легкомыслием, чем дерзостью, — музейному хранителю, добродушно дергавшему руль за веревочки, небритому охотнику в потешной стеганой шляпке, горшком напяленной на голову, да заносчивому выростку, — ни одна молитва не могла быть в таком положении слишком длинной.

Но бури не угрожали путешественникам. Вынесенные отливом далеко в море, сквозь тихий серенький дождик, они подошли к низкому острову. Круглыми и гладкими, как волны, уступами, сросшимися в скалу, он лежал красно-рыжий, обкатанный водою, без единого острого ребра, в вековых трещинах, по которым, играючи, забегало в камень море. Нарастающим вихрем лодку встретили птичьи крики. Чайки в страшном отчаянии крутились и стонали над камнями. Голубые, серебристо-серые, солнечно-белые перья мешались в воздухе с пестрыми, рябыми, черными, как будто птицы всего света слетались к этой скале, чтобы отстоять ее, в крике и свистах, от пришельцев.

Но пришельцы высадились на берег, захватив ружья.

— Какую? — спросил Володя, подняв голову.

— Вот эту, краснолапую, видишь? — показал Машин.

Володя вскинул двустволку. Птица отвесно грохнулась на камень.

— Видишь, над ней кружит самец, — сказал Машин.

Володя разрядил второй ствол.

Весь остров всколыхнуло воплями и свистом. Птицы яростно расчерчивали пространство, припадая к камням, отрываясь от них, качаясь сплошным, трепещущим пологом или распарывая его в клочья и куски.

Филипп, волнуясь, заявил, что он тоже хотел бы выстрелить.

— Пожалуйста, — ответили ему, — хоть бы вот эту, седую!

Все смотрели, как он целил из своего английского голланд-голланда. Он дал маза и смутился: в амстердамском клубе он брал призы в стрельбе по тарелочкам и садовым голубям.

— Не ваша вина: здорово, черти, летают, — сказал Анастасий Иванович и снял двух птиц по заказу Машина.

Добычу понесли в карбас. Убитые Володей чайки были громадны, добрый метр в размахе, с тяжелыми мясного цвета лапами, светло-серые, играющие серебром. Две маленькие — слепяще-снежные с пепельными крыльями и спиной. Машин осмотрел птиц и похвалил стрелков: шкурки были целы.

Обошли весь остров. Машин прочитывал его жизнь по птичьим следам: прошлые сутки здесь ночевали гуси; совсем бросили гнездиться гаги; порядочно расплодилось куликовых. И вот — бац! — Филипп выбил из-под камня и с торжеством подносит орнитологу маленькую разноперую птичку.

— Камнешерстка, — определяет Машин.

— Эк вы ее! — дует на птицу инспектор, и пух летит хлопьями по сторонам.

Птицы отлетели от острова, выдав его на произвол людям. Охотники медленно отплывают в море.

— Какое имя у этого острова? — спрашивает Филипп.

— У него нет имени.

— Как это возможно?

— Безыменный. Островов с названиями здесь раз-два. Остальные не крещены.

— Я понимаю — на карте. Но у местного населения... скажем, у рыбаков, он ведь должен как-нибудь называться?

— Вам, конечно, странно, — говорит Анастасий Иванович. — У вас, за границей, каждая тропка имеет свое название. Я все удивлялся: чем только не забита голова цивилизованного европейца? Он знает чудовищное число названий разных дорог, горных высот, ущелий, перевалов, еще больше — отелей, ресторанов, пароходов. Все это, виноват, — вокруг своего носа. Если речь пойдет об иных именах, которые выходят за пределы его познаний, он оказывается консерватором. Чужое, не похожее на свое, обычно его раздражает. Верно я говорю? А то свое, что он вызубрил, кажется ему вечно нерушимым по важности.

— У нас просто гораздо меньше места, — добродушно возражает Филипп, — и немного больше порядка.

— Нет. У вас много больше вещей, и вы придаете им слишком большое значение. О человеке же вы рассуждаете, к примеру, так: он не знает, что самая большая канатная дорога находится в Меране — значит, он дикарь. А, собственно, зачем нужно знать самый тяжелый паровоз или самую сильную радиостанцию? Зачем нужно давать всему имя? Попробуйте-ка порадоваться, что вас окружают безыменные острова.

— И то вам это не удастся, — примиряет Машин, — потому что мы подходим к Шуйострову.

Шуйостров! — Филипп слышит рассказы Анфисы Петровны и вливается в темную полосу леса, вырастающую из пологого острова. Отлив оголил береговой край, вровень с морем крадущийся к лодке. Ее бег стараются разогнать, чтобы сразу поглубже влететь в сушу. Но карбас идет все туже, и вот, засасываемый тиной, останавливается.

Филипп заносит ногу через бортик, прихватывая легкую цепь.

— Подождите! — успевает крикнуть с кормы Машин.

Но уж всем весом Филипп вывалился за лодку и старается отыскать устойчивость, еще не понимая, что

этому препятствует, и все крепче натягивая цепь. Сначала одна его нога уходит в тину по колено. Он хочет шагнуть и упереться другою. Она вязнет тоже. Он ощущает, как холод ползет по его ноге, забравшись за высокое голенище сапога. Нос карбаса странно растет, подымаясь к его груди, к его шее. Филипп клонится набок, холод обвивает парализованные ноги, он насилу поворачивает свой объемистый корпус.

— Руки, руки! — спокойно командует Володя. — Бросьте цепь, дайте эту руку мне!

Другую ухватывает Анастасий Иванович. Филиппа подцепляют под мышки и медленно, с натугой вытягивают из тинистой няши.

Ввалившись в лодку, Филипп минуту озирает ноги. Сапоги и брюки сплошь облеплены зелеными тонкими водорослями. Филипп кривит губы:

— Грязевая ванна как будто не входила в нашу программу.

Ему отвечает молчание. Никто не смеется. Впрочем, Володя отвернулся, как будто для того, чтобы не показывать улыбки. Удивительно! Филипп уже несколько раз замечал, что его шутки не вызывают смеха. В обычной обстановке, хотя бы у себя в конторе, стоит ему слегка состричь, как сразу вокруг скалят зубы. А здесь, у этих людей, словно нет ни малейшего чувства юмора!

— Сейчас мы у огня просушим вас, — заботливо успокаивает Машин.

Пока нащупывают место, где можно высадиться, и потом тянут карбас по черно-зеленому киселю гниющих водорослей, обнаженных морским отливом, Филипп дрожит от холода. Близится ночь. Солнце шествует по горизонту. Под защитой великолепно-красных гладких валунов разгорается костер. Быстрые языки огня кажутся чуть розоватыми в вечернем свете. Все выше нагромождается над ними куча подтаскиваемого хвороста.

С Филиппа стягивают разбухшие сапоги. Брюки прилипли к белью, их нужно выворачивать, как чулки. Машин — радетель и маг экспедиции — извлекает из какой-то сумки теплые носки, кальсоны, штаны.

И персоблаченный Филипп ван Россум рядом с насаженными на жерди выполосканными вещами, которые вдруг потеряли свой заморский вид, подпрыгивает е ножки на ножку, в армейских штанах до колен и в толстых, как ковер, рыжих шерстяных носках. Как ни неловко ему, он чувствует себя благодетельствованным, поодаль от гудящего огня, простеганного нитями искр.

Забрав ружья и поручив костер Филиппу, охотники уходят обследовать остров.

Гуще темнеет полоса леса, краше и огненнее становится костер. Филипп, согрешись, тоже обследует окрестность: мягко перескакивает он в носках с камня на камень и, устроившись на валуне, вынимает из футляра бинокль. Видны болотные заросли, сокрывшие в себе таинственную жизнь; скачком подбегает к глазам черный лес, смутная полоса которого разрывается в бинокле на отдельные шатры деревьев. Все неподвижно, мертво. Где-то чуть слышно, наверно — спрсона, прокурлыкали журавли.

Вдруг Филипп чувствует одиночество. Лес таит в себе холодящую угрозу. Что, если оттуда выйдет медведь? Филипп отрывает бинокль от глаз. Лес, правда, очень далеко. Да и не пойдет медведь на огонь, не может этого случиться. Но если костер погаснет? Тогда...

Филипп быстро возвращается на бивуак. Огонь сильно упал. Он поправляет горящие стволы и сучья, подбрасывает валежника.

Что, если именно огонь разбудит любопытство в медведе? От этого странного зверя можно ожидать всего. Конечно, он не бросится на костер. Но Филипп — не женщина, и в конце концов, например, с голода медведь может напасть... Словом, не мешает зарядить левый ствол голланд-голланда жакановской разрывной пулей. Об этом никто не узнает. А сидеть спиной к темноте все-таки будет спокойнее.

Не сразу приспособишься лежать у костра: то слишком далеко, то слишком близко, лицо горит и словно набухает от жара, а сзади холодок прокрадывается за воротник. Но вот тело отыскало удобное положение. Глаза останавливаются на горящем дереве,

которое крошится на прозрачно красные цилиндрические куски угля. Какое-то чудесное копошение живых красок и оттенков, вытесняющих друг друга, привораживает взгляд. Потом налетает дремота. Далекий выстрел вплетается в треск костра. Опять ползет по спине холодок. Но уже не хочется повернуться.

Когда Филипп открыл глаза, перед ним стояли охотники. Володя держал на плече убитого журавля. У Анастасия Ивановича торчали за спиной ружья. Машин обнимал ворох корявых сучьев. Все трое почудились Филиппу предостерегающими видениями незнакомаго мира. Их намерений нельзя было понять. Он привскочил.

— С добрым утром! — сказал Машин.

— Утро?

— Ну, если угодно, не утро, а ночь, второй час ночи. Подымайтесь смотреть — летит казарка.

Филипп увидел прежде всего солнце, оранжево рождавшееся из воды. По морю зажигались островки, незаметные с вечера, а теперь повсюду отвечавшие восходу ярко-желтыми, кадмийными отражениями.

— Смотрите на горизонт!

Он смотрел, прикрываясь от света, но ничего не видел.

— Вон серое облако, растянутое поездом, видите?

Он взял бинокль. Он думал увидеть птиц, отдельные точки, собранные в сизки или пятна, он думал, что освещение — блеск моря или неба — мешают отыскать нужный маленький участок на горизонте, он думал, что предмет его поисков быстро передвигается по небу, как должны передвигаться птицы. И вдруг он громко ахнул: рябая, дымчатая туча, протянутая вдоль всего горизонта и раздвоенная солнцем, едва заметно колыхалась, то набирая высоту, то опускаясь.

Филипп шагнул вперед. Нельзя было охватить взором этой кучной массы, беспредельно нараставшей снизу, из-за небосвода. Нельзя было представить себе, что эта пелена, затянувшая неизмеримое пространство, состояла из живых существ.

Он опустил бинокль и огляделся. Его спутники неподвижно смотрели на горизонт. Тогда внезапно он об-

наружил исчезновение ночной тишины, подавленной криками, пением, свистом проснувшихся птиц. Это было восторженное беснование звуков, летевших неизвестно откуда в простор и свет рождавшегося дня.

Ни один день в жизни Филиппа не начинался таким торжеством, и ни один день не бывал так наполнен чудесным и захватывающим дух.

Острова сменяли друг друга, одни — из монолитных скал, другие — из обточенных валунов, голые или отороченные лесом. Сахарные лебеди плавали с вахтенным вожаком по тихим затонам и, гулко хлопая саженными крыльями по водяной глади, медленно отрывались от нее, улетаая. Нерпы показывали круглые, блестящие черные бока, выныривая, чтобы наскоро с чмоканьем дохнуть свежего воздуха. Косач одиноко безумствовал, токуя на пустынном островке, загнанный весною на эти камни, в это море. Бешеная стая чаек гонялась за стремительным поморником, разорившим гнездо и с яростью спасавшим свою смелую жизнь. Гаги, под охраной гагунов, проплывали заливом — дородные, толстозобые, несуетливые, как пожилые хозяйки. Тундровая куропатка, падая под выстрелом и налетая на дерево, устилала невесомым пухом свой последний путь через заросли.

И вот в открытом море показалась малоприметная низкая отмель. Издали было похоже — верхушки камыша чуть покачиваются под ветром.

— Слушайте! — сказал Анастасий Иванович.

Весла подняли над водой.

Ропот доплывал по морю, точно далекий гул большого города. Иногда он падал, затем усиливался, охватывая все видимое пространство. Вдруг из гула стали вырываться отдельные вскрики. Резкие, гортанные, они учащались, постепенно вырастая над слитным ропотом и поглощая его. Филипп приложил к биноклю. Отмель мчалась навстречу лодке. Камыш превращался в птичьи головы, неустанно раскачивавшиеся на морской поверхности.

— Гуси! — крикнул Филипп и вскочил с сиденья.

В то же время передовые ряды птиц отделились от воды, и за ними начали взлетать неисчислимые стаи,

сливаясь и быстро заслоняя собою небо. Дальние летели низко над водой, а те, которым надо было миновать лодку, подымались, и скоро над охотниками образовался движущийся свод, настолько высокий, что стрелять не было смысла. Оглушителен был вопль этой неудержимой гогочущей лавины. Он могуче разливался над морем устрашающим и восторженным всеобщим призывом.

Лет казарки продолжался долго. Филипп смотрел на него в упоении. Если бы опять понадобилось прыгнуть из лодки в няшу, Филипп прыгнул бы. Он хотел действия, движения. Он потянулся и хрустнул суставами костей. Точно с сожалением он кинул взором по морской шири.

В этот момент он увидел Володю. Комсомолец стоял так же прямо, как Филипп, широко расставив ноги и потягиваясь.

На один миг они остановили друг на друге глаза. Потом Филипп опустил на скамейку.

— Хороша наша советская сторона! — громко выдохнул Володя и, поплевав в ладони, взял весла...

На носу карбаса высилась гора дичи, когда экспедиция вернулась в село. Филипп удивлялся выносливости охотников: двое суток почти без сна, непрерывное хождение по скалам, работа в веслах, — а как только выгрузились, Машин сразу принялся за препарирование убитых птиц. На столе, вымазанном картофельной мукой, ровненько разлеглись пустые, легкие, как перчатки, шкурки пернатых, и Анастасий Иванович подвязывал к лапкам ярлыки, прилежно выписывая на них дату и место добычи, имя добытчика-стрелка. Так и Филипп ван Россум внес лепту в науку орнитологии, с полным удовлетворением наблюдая, как обдирались убитые им гаги.

Из этих гаг с прибавкою уток-нырков жена хозяина сварила объемистый горшок ухи, и сам Никодим Никодимович явился наверх посмотреть, как трапезничают гости. Его попотчевали стряпней, он отблагодарил: еда варилась в поганом горшке, из которого хлебали нехристи и никонианцы. Ему поднесли водочки, и хотя серебряный стакан, отвинченный от фляги, принадле-

жал голландцу, Никодим Никодимович выпил: спирт, как огонь, очищал всякую мерзость.

После обеда завязался разговор о старине, и Никодима Никодимовича упросили показать иностранцу молельню. Хозяин открыл незапертую дверь в угловую комнату. Окна в ней были со ставнями. Свет робко вбегал в молельню, пока скрипящие ставни отпирались.

Филипп увидел стены, обвешанные старыми иконами, почерневшими, кое-где проточенными жучком, в трещинах и скважинах. На некоторых сохранились превосходные краски, видно было, что они легко поддались бы оживлению.

— Откуда у вас такие богатства? — спросил Филипп.

— Есть, которые почитались в роду и перешли мне от отца с матерью, другие — убережены из наших погранных скитов.

— Значит, все они местного письма?

— Поморянской, выгской святой кисти.

Филипп остановился перед большим «спасом». Он был писан по холсту, клеенному на доске. Венец окружала, словно золотая, охра. Ее глубокая, прозрачная чистота просвечивала сквозь мутный налет вековой пыли. Лик был каноничен: длинная тончайшая полоса носа в бровях раздваивалась на круглые дуги. Темные глаза сидели близко друг к другу, как кольца ножниц. Пальцы крошечных рук были резко очерчены по контуру. Евангелие с кожаной крышкою в камнях было обратной перспективой: передняя крышка маленькая, задняя — большая.

Филипп повернулся к хозяину:

— Я хочу вас просить о любезности.

— Пожалуйста! — со смирением сказал Никодим Никодимович.

— Мне было бы приятно иметь что-нибудь на память о моей поездке сюда и о вас лично. Продайте мне эту икону!

— Бог с вами! Разве допустимо святыню продавать? — отшатнулся Никодим Никодимович.

Помолчав, он добавил спокойно:

— Сменять — возможно.

— На что же вы хотели бы сменять? — спросил Филипп.

— Как на что?.. На деньги...

Никодим Никодимович блеснул своими желтыми узкими глазами, довольно оглядывая всех гостей.

Навстречу этому взгляду разнесся сильный и веселый смех: держась за косяки, раскачивался в двери Володя. На него обернулись. В нем было столько уверенного превосходства, здоровья и молодости, что вдруг и Машин и Анастасий Иванович, не зная чему, тоже засмеялись.

— Тыфу тебе, бессовестник! — с сердцем воскликнул Никодим Никодимович, перекрестился на «спаса», снял его со стены, поцеловал, обтер лик рукавом и преподнес икону Филиппу ван Россуму.

Этот не совсем приятный смех Володи Глушкова и этот лобзающий икону старовер — последнее, что запоминается Филиппу из путешествия. Затем приходит мертвый отдых...

Ночью Никодим Никодимович отпирает тесный, как у чулана, лаз и спускается в нижнюю молельню. Восковая свечка долго разгорается, ее огонек испуганно припрыгивает. Выступают из темноты черные доски икон на стенах и в киоте. Здесь хранятся драгоценные святыни, не в пример образам в верхней молельне, куда заходят из непотребного любопытства сторонние люди, все оскверняющие охальными своими зенками да блудными руками. Справа от киота — едва видный лик без венца почитаемого со святыми Даниила Викулина, о котором известный царевне Софии Алексеевне Андрей Денисов писал как об основателе скита, названного по его имени Даниловым поморским Выгорецким монастырем, откуда и пошло монастырское согласие поморян. Некто Алексей Родионов, прозываемый Попов, бывший иногда житель и послушник Выгорецкого монастыря, а ныне поклонившийся кумиру, то есть четвероконечному кресту, оставил по себе описание об оном ските, где со злобою отступника наговаривал: «Из того монастыря всегда выходили и донныне выходят лжепророки и лже-

апостолы, преобразующиеся во апостолов Христовых, учаще яже не подобает, скверного ради прибытка. Первый из таковых учителей — строитель монастыря того Даниил Викулин, бывший Шумского погоста церковный дьячок. Он, ходя по погостам и волостям, как волк тяжкой, все дома развратил учением бесовским...» Не менее брани принял на себя и сам Андрей Денисов, прозванный богопротивными попами «выгорецким ересиархом».

Никодим Никодимович досконально знает, кто был истинным ересиархом, и откуда выходили лжепророки, и где был сам антихрист, и дом его, и печать его, и мерзость запустения. Не только Даниилов лик почтительно хранится у Никодима Никодимовича, но и древние книги, писанные добрым письмом, среди них — сочинение Семена Денисова, брата Андрея, о страдальческой кончине собратий, от Аввакума происшедших, кои все за неповиновение богоотступным царям, подобно святым мученикам Христовым, казнены и перерублены.

Поминая, как учили эти книги, чудесное избавление свято чтимого Андрея Денисова из когтей митрополита новгородского Иова, когда «от плачевного лавиринфа на радостную свободу юзилищник, не всем како, заступлением Пречистыя проистече», или о взятии царем Алексеем Михайловичем Соловецкого монастыря и об избиении бывших тамо мучеников, Никодим Никодимович испытал одну превелико-сладчайшую утеху: ныне возмещалась лжеправославию каждая капелька крови христианских мучеников. Суетным и богомерзким попам, церквам антихристовым, притворно святым архиереям да всему поганому монашескому семени отомщалась теперь обида древней веры, и веселие души было слышать и видеть, как повсюду от руки самого зверя-антихриста бежали его слуги — попы да дьячки продажные.

Никодим Никодимович с умилением размышляет о господнем справедливом суде: направляет же всемогущий свою карающую длань раньше всего по попам по ихним, по попам!

Никодим Никодимович прислушивается к безмолвию: живодеры над головою утихомирились, легли. Голландский гость, видно, радуется на вымененного спаса, того не зная, что икона-то низкого феодосеевского письма! Бог с ним, с голландцем!

Никодим Никодимович надевает полукафтанье. Из-под киота вынуты подручник и лестовка. Три земных поклона положены по древнему чину. Развернута перед свечою книга. Очки протираются осторожно.

Начинается шепотом чтение полуношной службы.

ХИ. ДУЭТ

— В Москву? — спросил Филипп, открывая дверь и заглядывая в купе.

— Нет, поближе, — ответил Сергеич.

Он собрал с дивана усеянные цифрами бумаги, сунул их в портфель.

— Заходите.

Он пил пиво и хотел угостить попутчика. Но Филипп мало употреблял спиртное, изредка — в море и на охоте, притом — только крепкое.

— Так как же ваша охота?

— Прекрасно! Когда я попадаю в условия природы, мне моя обычная жизнь представляется химией: как будто с детских лет меня кормят какими-то облатками. А тут неожиданно дали хлеба.

— Это не благодарно — облатки! Не у всех найдутся такие облатки.

— Но ведь у тех, у кого нет облаток, должен быть хлеб! — с некоторой вкрадчивостью рассудил Филипп. — Например, я имею в виду ваши неизмеримые богатства.

— Вы имеете в виду именно хлеб, — поправил Сергеич. — Но почему-то думаете, что говорить об этом — неэтикетно.

— Ну, если вам угодно...

— Пожалуйста, пожалуйста. У нас нет тем, которые мы обходим.

— Это очнь мужественно... Я не скрою: мне хочется воспользоваться весьма приятным знакомством с вами, чтобы уяснить себе вещи, которые я не вполне понимаю. Я давно не жил в России, а за эти годы тут много перемен. Я успел заметить, что происходит нечто широкое, народное... я еще не могу точно назвать. Но я думаю — не ошибаюсь.

— Я тоже думаю, — сказал Сергеич.

— Я вижу движение. Новые люди. Эти толпы, которые схвачены... как сказать? И это волнение в труде, во всех действиях. На заводах благодаря вашей любезности я видел очень много. И я понимаю... понимаю... И в то же время...

— И в то же время не понимаете, — улыбнулся Сергеич.

— Я еще не понимаю целого. Я знаком с идеей, с общим планом. Это, конечно, переворот. Нечто, может быть, в духе вашего Петра... Но, например, вопрос: потребительский голод... И потом — у вас пустые буфеты! Почему?

— А по той причине, о которой вы сами сказали: переворот.

— Значит, ваш план неправильно рассчитан.

— Откуда сие следует?

— Вы ведь не могли строить план индустриализации страны на голоде населения.

— Он построен не на голоде. Он построен на крайней экономии во всем.

— Экономия и отсутствие питания — разные вещи! — убежденно сказал Филипп. — Вы привели народ в движение. Но можете ли вы ответить, что же в конце концов руководит этими толпами: поиски труда или поиски хлеба?

— Попробуем.

— Что попробуете?

— Попробуем ответить.

— Ах, да! Пожалуйста.

— Ну, прежде всего поиски труда и поиски хлеба — одно и то же. Вы не согласны? Скажем, у вас, на Западе, ищут труд и, не найдя, остаются без хлеба. Труд и хлеб — вроде тождества.

Безработные — это, говоря по-другому, голодные. У нас нет недостатка в труде, нет безработных...

— Простите. Мы, разумеется, не станем...

Филипп немного наклонился к Сергеичу и тронул его руку, показывая полную доверительность разговора:

— ...не станем агитировать друг друга?

— Почему же, — снова улыбнулся Сергеич, — ведь это не повредит ни вам, ни мне... Я хочу объяснить факты. Больше ничего. У нас сейчас много трудностей. Снабжение — одна из основных. Это предвидели. Правда, не все допускали такие размеры затруднений. Но ведь и классовая борьба превзошла всякий допуск. Враги сопротивляются из последних сил. Почитайте наши газеты. Мы шлем в деревню машины, а кулаки ломают их. Мы требуем поставок продовольствия, а деревенский единоличник уничтожает скот. Мы заставляем увеличить посевы, а нам в ответ засевают поля так, чтобы ничего нельзя было собрать. После этого спрашивают — что это у вас опустели буфеты? Руки в боки, глаза в потолки: чего же, дескать, вы ожидали? Лишили, мол, народ радостей индивидуального труда, отняли инициативу, вот и получайте. — Мы получаем, верно, — с насмешкою буркнул Сергеич. — Но это только одна сторона дела. Другая в том, что сопротивление наших врагов обречено. У нас довольно хлеба, чтобы люди работали. И у нас довольно работы, чтобы люди были сыты. Вот вы не видали наших строек. Там мы снабжение держим на высоте. Это — нервы наших дней. Туда народ течет, как реки весной. С таким половодьем рабочих рук мы одолеем какие хотите препятствия. И получается, что, несмотря на страшные трудности, просчета у нас в плане не имеется. В основном все правильно.

— Но поверхностно, — сказал Филипп, — без углубленного рассмотрения следствия и причины. Если я приму ваше утверждение о борьбе классов, то разрешите спросить: в ваших условиях, кем вызывается борьба? Вы говорите — враждебный класс сопротивляется. Но ведь вы победители, не так ли? Мне инте-

ресно, кто же нападающая сторона? Победенный или победитель?

— Мы.

— То есть вы признаете себя причиной затруднений? Признаете, что дезорганизация, нужда и... как сказать? — внесено вашим нападением? И, значит, признаете свою вину? Логично?

Филипп отвалился к стенке сиденья и сплел пальцы возложенных на живот рук.

— По вашей логике — логично, — невозмутимо ответил Сергеич. — Вы заблаговременно поставили знак равенства между виной за все несчастья мира и революцией. По-вашему выходит: революция нападает, и потому она виновата. Контрреволюция обороняется, и потому она права. Это ваша логика. Так я понимаю? Вы хотите сказать: не задирайте нос, а то будет плохо! Так? Вы мстите нам за то, что мы задираем. Вы мобилизуете против нас нужду, голод, разруху в отместку за то, что мы развиваемся, растем, множим, ширим свою силу. А если наступает обнищание, вы тычете пальцем в скелет голода и говорите: это ваше дело, это вы его накликали, потому что вы начали!..

Сергеич наливает сильной струей пива в стакан, оно вспенивается, он рассматривает его на свет, поднеся к окну, потом залпом выпивает и сидит молча. Филипп следит за всеми его движениями.

— Каждый сражается тем оружием, каким располагает, — говорит Сергеич. — И давайте признаем, что у контрреволюции единственное оружие — разрушение. Ведь она ничего не строит, ничего не создает, а только мешает строительству.

Он поворачивается к Филиппу, и в его глазах опять видна пристальная точность, безошибочность охотничьего взгляда.

— Да, да, — вслух решает Филипп, — все, что вам не удастся, вы приписываете своему противнику. Впрочем, об охотнике судят по добыче, которую он приносит. Если ваш опыт удастся...

— В том-то и дело, — с сочувствием посмеивается Сергеич, — в том-то и дело, что вы все еще считаете

революцию опытом. А это давно — новая жизнь, которая не может прекратиться.

От толчка приоткрытая рама окна сползает вниз. Поезд останавливается. Дыхание ожившего весеннего бора проглатывает железнодорожные запахи. Вплотную к станции подступили сосны. Свет, просеиваемый шевелящимися кронами, дрожит на угольно-оранжевых стволах.

Филипп и Сергеич становятся у окна. Толпы пассажиров, впережку с сундуками и корзинами, ожидают приступки вагонов. Молодой гедеу в галифе и длинной рубашке, ввинчивая каблучки в песок платформы, с привычкою озирает станционную спешку. Все переполнено порывом и поисками, трепет и напряжение насыщают жизнь, кинутую вдоль бесконечного поезда, сотни желаний бьются у раскрытых вагонных дверей. Не отрывая глаз от этой суеты, Сергеич и Филипп продолжают:

— Я читал, в Швейцарии на железных дорогах делают большую скидку, чтобы только ездили. А ездят все меньше.

— В Швейцарии? — переспросил Филипп. — В Швейцарии легкие электрические поезда мчатся как по воздуху, бесшумно, гладко. Да, вы правы! Чтобы их поддержать, берут налог с автомобилей. За въезд в Швейцарию на автомобиле собираются ввести пошлину. Там тоже происходят непрерывные процессы. Я не делал бы из них ни оптимистичных, ни мрачных выводов. В свое время дилижансы должны были уступить место паровозу и погибнуть. Теперь железная дорога гибнет из-за нашествия автомобилей. Что же? Одна промышленность заменяется другой. Это болезненно для акционеров железных дорог.

— Только всего? — в тон ему вставляет Сергеич.

— Ну, нет, не так просто. Я, например, объясняю происходящее концентрацией производства вокруг громоздкого парового двигателя. Сейчас происходит переворот в технике: мы переходим к децентрализованному типу двигателя. С перестройкой будущего хозяйства возникнут новые экономические учения, новая социология...

— Может быть, новое господство религии над социологией? — опять вклиняет Сергеич.

— Это дело попов.

— О зависимости капитала от техники нам приходилось слышать изрядно. С появлением маленького двигателя нет, дескать, надобности в концентрации капитала, рабочих. Долой крупное производство. Да здравствуют ремесла...

Сергеич, как будто походя, добавляет сам себе:

— На этом сходятся все фашисты.

Филипп отшатывается и некоторое время пожевывает губами, выбирая нужное слово. Но слово не находится. Обиженно и пренебрежительно он кривит рот в усмешку.

— Дело не в принадлежности к какой-нибудь партии, — начинает объяснять Сергеич, но в эту минуту пронзительный крик раздается позади купе, в коридоре. Сергеич замолкает. Крик взвинчивается вверх не переставая. Сергеич быстро поворачивается к двери и отодвигает ее изо всей силы. За ним высовывается в коридор Филипп.

Кондуктор тянет к выходу мальчугана-беспризорника, вцепившись в его лохмотья. Мальчуган извивается, рвется из рук кондуктора, точно дикая птица. Как перья, летят по сторонам клочья тряпок. Грязно-серая вата выворачивается потрохами из бывлой стеганой одежонки.

— Бью-ют! — визжит мальчишка, цепляясь за раму окна, набрасываясь на кондуктора, падая, хватая и теребя его ноги.

— Бью-у-у! Пусти! Пусти! Бью-у...

Из вороха лохмотьев выскальзывает вихрастая голова оборвыша. Два бесстрашных черных глаза мгновенно оценивают столпившихся пассажиров, ища сторонника. Ручонка смаху размазывает по закопченному лицу полосу крови.

— Люди миленькие, бьют!

— Вы ударили его? — спросил Сергеич.

Кондуктор по старинке степенен, борода раскинута у него по плечам, заслуженные пуговицы ветхо мерцают на пиджаке.

— Кто его, гражданин, станет бить? Он, как в вагон метил, увидел меня — об дверь носом! Шастают — не усмотришь! А в купе воровство — кто в ответе?

Он потянул мальчишку за шиворот. Снова коридор наполнился сверлящим криком, и опять забурили лохмотья.

— Дайте-ка. Дайте, я его выведу, — сказал Сергеич.

Кондуктор с недоверием разжал пальцы. Чумазая, искровавленная морденка вздернулась вверх, сухой взгляд ее горячо встретился и секунду потягался с прищуренными глазами Сергеича.

— Ну-ка, пошли, — приказал он, пряча руки в карманы.

Мальчик запахнул тряпье, поерзал в нем и пропитым голосом взрослого сказал кондуктору:

— Что, сшамал, курва бородатая?!

Он вышмыгнул в тамбур. Перед вагоном, рассыпавшись по перрону, носились с визгом приятели этого крошечного героя, такие же рваные, быстроглазые, прокопченные.

— Бьют, бьют! — что было мочи кричали они.

Гепеу неподвижно дожидался у ступеней площадки.

— Ну, иди, я тебя приму, — сказал он, чуть улыбаясь.

Тогда мальчишка, медленно опустив ногу на первую ступень, как будто решив отдаться власти, вдруг комком бросился в сторону, на рельсы, и молниеносно исчез под вагоном.

Сергеич глянул в противоположную дверь. Беспризорник уже стоял на соседней колее дороги, и его товарищи, высыпая из-под поезда, дружно бежали к нему. Он осмотрел пассажиров, наблюдавших его ухарство, и старательно высунул длинный язык.

Немного смущенный, Сергеич вернулся в купе.

— Удрал, — воскликнул он со смехом.

— Да, — отозвался Филипп, — я вижу, на вашем пути действительно слишком много трудностей.

В обрюзглости его лица, в великолепных круглых массивах плеч и груди Сергеич заново увидел довольное, насыщенное самообладанием превосходство.

Он хотел напомнить ван Россуму прерванный разговор:

— Кто придерживается ваших взглядов...

— Моих взглядов? — довольно резко прервал его Филипп. — Откуда вам известны мои взгляды? Мои взгляды не могут сравниться с вашими по своей определенности. У меня нет системы, за которую я хотел бы идти на плаху, я — практик. Я не хочу затрагивать ваших учений. Я возражаю для того, чтобы лучше понять.

— Это и правда весьма практично.

— Я не принимаю иронии. Для меня это сложно. Я спорю до тех пор, пока мне доставляет удовольствие и пока спор обогащает. Полемика — дело политиков и миссионеров.

Он улыбнулся одним ртом и сказал мягче:

— Поэтому прошу вас не ссылаться на мои взгляды, а лишь на то, что я высказываю в этой крайне приятной для меня беседе.

— Обоюдно, как говорится, — ухмыльнулся Сергеич и даже приложил руку к груди. — Так вот, не в связи с вашими взглядами, а насчет склонности большевиков приписывать свои неудачи противникам. В царское время к нам тоже приезжали с Запада европейцы. И в царское время, скажем, мужики носили лапти. Как говорили об этом иностранцы? Какая безыскусственность, какая простота! Неиспорченный, великий и счастливый народ! Яд цивилизации не коснулся его. Это — сама природа... Вот чем был лапоть при царе. А чем он сделался при большевиках? Что говорят теперь о лаптях те же иностранцы? — До чего довели великую страну варвары-большевики: сапог не стало, обуться не во что, босой пустили по миру великую нацию, сбросили ее в первобытность!.. Вот чем стал лапоть сейчас. Что здесь от умысла, что от темного невежества — разобратся хитро. Нам вменяют в вину все самое отсталое. Неграмотность, бездорожье, грязь, мрак. Стоит нам заикнуться, что, мол, все это нами получено в готовеньком виде и что мы восстали ради уничтожения всего этого на вечное время, как нам в ответ: большевики приписывают свои поражения

противникам! Что ж, хорошо, что мы не меланхолики: переживем как-нибудь такое кошмарное обвинение...

Филипп слушал, все так же улыбаясь одним ртом. Когда Сергеич остановился, он медленно потянулся к газетке, валявшейся на сиденье. Но он не стал читать ее — что было бы неприлично, он только потрепал листок, в рассеянности, — и это могло означать, что он не собирается осложнять разговора возражениями. Но он неожиданно заговорил в примиряющем тоне:

— Мне кажется, вы правы: многое нам непонятно, потому что мы не знаем друг друга. Вы пожелали политически истолковать, что я сказал о перевороте в экономике, который произведен изобретением децентрализованного двигателя. Я не политик — говорю еще раз. То, что мы намерены отказаться от типа крупных фабрик, вы рассматриваете как признак нашей деградации, как упадок и возвращение к дикому состоянию. Вы не знаете, каким количеством машин мы располагаем. Машина душит нас. Мы вынуждены отказаться от нее, чтобы жить. Мы должны демашинизироваться. Мы с вами в разных эпохах: добрых сто лет разделяют уровни наших культур. Вам еще надо строить машины, а нам уже пора их ломать.

— Конечно, мы с вами в разных эпохах! — воскликнул Сергеич. — Мы ушли вперед, а вы отстаєте! Но расстояние между нами не так велико. Я думаю, вы с помощью ваших рабочих догоните нас... в самом ближайшем будущем!

Он долго смеялся, сощурившись на своего соседа и со вкусом похлопывая ладошами по ляжкам.

— Дело обстоит иначе, — сказал он, передохнув. — В ваших условиях машины ухудшают положение не потому, что их много, а потому, что они работают только тогда, когда выгодно их владельцу. У нас не может быть и не будет вашей машинной опасности. Машина у нас — друг, а не враг человека. Избыток продукции будет радовать нас, а не пугать. Чем больше мы будем производить, тем больше будет у нас времени, чтобы совершенствовать ту же машину, чтобы

учиться, отдыхать. Рабочие поедут в отпуск... к вам, в Баден-Баден, или еще куда.

Сергеич опять с усмешкой прищурился на собеседника.

— Нет, — возразил Филипп, — вы не понимаете наших условий. Нам, на западе Европы, просто неизвестны явления, с которыми сталкиваетесь вы. Как сказать?.. Например, вы боретесь с пространствами, преодолеваете их. Мы, наоборот, боремся за пространства. Уже это одно по-разному слагает наши культуры...

Снова весело рассмеявшись, Сергеич ответил:

— Мы понимаем, понимаем: в поисках пространства вы волей-неволей попадаете к нам...

Тут Филипп, пожав плечами, взялся за газетку, уже нимало не считаясь с приличиями.

Газетка называлась «Пила». Со всех ее страничек рушилось и несло единственное слово: сплав, сплав, сплав! Бревнами, плотами, кошелями леса, казалось, пропахли узенькие строчки колонок. Мир действительно стоял на лесе, — лес плыл по всему свету, плыл либо хорошо, либо из рук вон, либо быстро, либо медленно, — ничего не существовало в жизни, кроме леса, — ни семьи, ни наук, ни развлечений. Это была реальность, та самая практика, которую боготворил Филипп. Пресса большевиков, коммунистическая печать, к которой вольно было относиться, как вздувается, эта пресса, в образе крошечного заводского листочка, занималась настоящим делом, кричала на все лады — сплав! сплав! сплав! — а Филипп ван Рос сум точил ляды, словно забыв, ради чего он сюда пожаловал.

Он покосился на Сергеича. Облик этого человека стал олицетворять для него очевидного, но еще не разгаданного советского партнера. С ним предстояло договориться о существенно важных отношениях. Эта голова могла думать именно так, как подобало бы думать голове идеального партнера. Филипп осмотрел ее еще раз — высокую с бугорком лысину, глаз, сожмурившийся на усеянную цифрами бумагу, подстриженные усы, замоченные в пиве.

— Я хотел вас спросить, — сказал Филипп, отложив газету в сторону, — не возникала ли мысль сделать из Сороки более оборудованную гавань?

Сергеич оторвался от цифр и неопределенно помычал.

— Мне кажется, такая мысль была бы естественной. И географически и хозяйственно Сорока создана, чтобы стать образцовым лесным портом.

Сергеич тряхнул головою:

— Мы это сделаем.

— Что?

— Порт.

— Есть такой проект?

— Нет. Но будет.

— Вы предполагаете?

— Почему — предполагаю? Это напрашивается, стало быть, будет.

— Ах, так, — улыбнулся Филипп. — Я имел в виду нечто иное. Что вы сказали бы, если бы я предложил вашему правительству соорудить в Сороке морской канал и порт?

Сергеич оборотился к Филиппу и положил на сиденье коленку.

— Какие у вас возможности для этого?

— Прежде всего — техника.

— Какая техника?

— Голландцы умеют обходиться с водою. Мы в недалеком будущем получим у себя новую провинцию — превратим море в сушу.

— Зюидерзее?

— Вы слышали?

— Читал. Сейчас там как будто остановили работы из-за недостачи средств?

— Большого значения это не имеет. Работы расчитаны на сорок лет.

— Порядочно. Не скоро, значит, будет у вас новая провинция.

— Мы не хотим равняться с вами. Один наш старый соотечественник сказал о голландцах, что хотя мы не делали великих дел, но не делали никогда бесполезных.

Сергеич усмехнулся.

— Ввиду того, что от Сороки вы не можете ждать новой нидерландской провинции, то что за пользу предполагали бы вы получить с нас?

— Я торгую лесом.

— Сырье?

— Да.

Сергеич скинул ногу с дивана, поднялся, расправил плечи, шумно и медленно вздыхая.

— Ваш план вряд ли будет подходящ, — сказал он.

— Если вы не хотите развивать свой север...

— Хотим. Но с таким делом мы должны справиться сами.

— А механизмы? Машины?

— Что ж, машины — не препятствие. Построим. А вы требуете вон какую цену — сырье! Сколько же лет вы будете его вывозить? Мы стремимся перерабатывать древесину внутри страны. В круглом виде вывозить лес — отстало!

— Что говорить об отсталости, — раздраженно воскликнул Филипп. — Вывоз древесины вообще удел экономически отсталых стран.

— Ну, это вы бросьте! А Швеция?

У него на все находилось возражение — у этого дипломата, иль, может быть — дельца! Его равновесие и прямота чудились Филиппу деланными. Человек играл роль. Но кто научил его этой роли? Откуда он почерпнул свои знания? Чей опыт высится за его спиной? Кто внушил ему право выступать и дипломатом и дельцом?

— Я уверен, Москва поймет выгоду моего предложения, — внушительно сказал Филипп, собираясь уйти к себе в купе.

Сергеич покачал головой: Москва, мол, особое дело, Москве много дано.

— Я чрезвычайно рад беседе с вами, — любезно прощался ван Россум. — Разрешите спросить, мне хотелось бы знать — кем вы были до революции?

— Я был лекальщиком на механическом заводе, — ответил Сергеич.

XIII. КОНЦЕССИИ

Еще в открытое окно, когда останавливался поезд, Филипп увидел Франса.

Франс нисколько не переменялся. В светлом, отлично проутюженном костюме, в желтых крагах, он широко расставил на перроне ноги и, явно с удовольствием, дергал головою, всматриваясь в бегущие окна. Платочек в нагрудном кармане, пестрое высокое кепи, слегка отодвинутые от корпуса, как у атлета, локти.

Филипп, взглянув на него, точно почувствовал желание подтянуться и прыгнул с подножки вагона, зарывая в песок башмаки.

Приветственно улыбаясь, они коротко пожали друг другу руки и сразу двинулись по пустынной платформе.

— Здоровье?

— Хорошо.

— Клавдии Андреевны?

— Хорошо.

Филипп тронул креповую повязку на рукаве Франса:

— Этого в Сороке я не мог получить. Бедный Лодевийк.

— Да, он был не стар, — согласился Франс.

После чего Филипп спросил:

— Погрузка?

— Прошлую неделю отправил пять пароходов. Грузу три. Один стоит.

— Какой?

— «Вилли».

— Почему?

— Нет рук.

— А прославленная механическая гавань?

— Заняты все приколы. Два — нашими пароходами. Да что механическая! — на механической тоже нужны руки. Сейчас повсюду: руки, руки! Увидишь.

— Сплав?

— Плохо.

— Причина?

— Руки.

— Ведь ты же платишь?!

— Еще как! Но у меня лишь деньги, а у них все!

— Что — все?

— У них организации, союзы. Извини меня, у них свое государство. Мы не в Китае.

— Очень жаль, что мы не в Китае, — строго сказал Филипп.

Их дожидался упитанный вороной мерин, заложенный в плетеную бричку, подновленную дешевым черным лаком. С Филиппом был один небольшой чемодан, другие, числом семь, уехали в Ленинград. Бричка покатила вдоль станционного разъезда, мимо штабелей белых гладких балансов, ожидавших вагонный порожняк, и повернула в лес. Мелкая, разреженная вырубкой ель чередовалась с осиной, местами давшей бойкие корневые отпрыски. Свет без удержу поливал молодые заросли, которые создавали впечатление неистребимости земного плодородия. Шагов двести спустя дорога снова поворачивала, и тут над нею высокой дугой взлетала арка из тонких еловых жердинок, обшитых в косую клетку дранкою. Посредине спускалась с арки звезда, обтянутая успевшим полинять кумачом.

— Въезд в концессию, — сказал Франс.

— Вижу, — ответил Филипп. — Зачем звезда?

— Повесили лесорубы.

— Концессия принадлежит не лесорубам, а мне!..

— Мы не можем по всякому поводу спорить с рабочими. У нас много более существенных дел.

— Успехи под красной звездой ценнее неудач под голландским флагом, — как будто раскрывая ответ Франса, сказал Филипп.

— Но где же успехи, — воскликнул он, когда бричка въехала в густой, прохладный от тени участок, — где успехи, мой дорогой друг? Символика — бог с ней. Но договор! Почему они не исполняют договора?

— Они требуют исполнения от нас. Этот договор погубит нас.

— Не может быть: подписал его я.

— Сколько лет назад?

— Хотя бы вечность. Мы должны уметь применять его.

— Большевики тоже умеют применять.

Филипп в упор посмотрел на Франса. Налитые жизнью крепкие щеки, ничуть не дрожавшие от тряски фаэтона, белый шрам вниз от левого угла рта, вывезенный из турнгалле Гейдельбергского университета и придающий лицу выражение снисходительности, мясистый, прямой нос волевого очертанья, знакомого по Губерту, по всем ван Россумам. Никакого беспокойства, ни следа модной неврастении новейшего поколения. Положительно деловой малый.

— Повод для столкновений можно всегда найти, даже без особого желания. Понятно, — сказал Филипп, ощупывая кончиками пальцев подбородок и щеки. — Но как ты полагаешь, что в действительности скрывается за поисками столкновений?

— Хочешь, в двух словах?

— Да.

— Мы им не нужны.

— Неверно! — почти вскрикнул Филипп. — Твоя наивная ошибка! У них все разваливается. Должно разваливаться!

— Это твои наблюдения?

Филипп не ответил.

— Я никогда не делал выводов из настроений. Но мы не имеем права обманывать себя: мы им не нужны. С добавлением: не нужны как концессионеры. Пока они еще не могут вполне обойтись без нас. Им нужны рынки, стало быть им нужны брокеры. Я приготовил данные о деятельности брокеров. Мы должны немедленно поставить крест на концессии.

— Ни за что!

— Мы будем принуждены.

— Никогда!

Они прекратили разговор.

Мягкая дорога привела в болото. Со свистом и вздохами колеса месили коричневое тесто колеи. Началась гать. С жерди на жердь, вминая в лужу изломанные коряки, с треском перемалывая попадавшие в спицы сучья и ветки, бричка подпрыгивала и

ныряла, минутами накрепко застревая в промоинах и колыхаясь, точно лодка. Ехать стало невозможно. Следом за бричкой Филипп и Франс запрыгали по гати, срываясь с обманчивых кочек, наспех испытывая прочность жердей выломанными осиновыми дубинками.

Болото тянулось с версту. Потом лес снова поредел, путь пошел подъемом, в сырую прохладу ворвался ток гари. По сторонам раскрылись лесосеки, с островками одиноких елок, скучными долговязыми осинами и с лениво разгоравшимися кучами ветвей: шла огневая очистка лесосек от хлама, оставшегося после вырубки ели.

— Вот еще, — сказал Франс, — они потребовали закончить очистку весной. На всех лесосеках. Предлог? Летом сжигание опасно. Они боятся пожаров. Сгорит наш лес, только всего! Но им важно занять рабочих пустяками. Они потребовали, чтобы мы весной же подрубили ветви у всех брошенных еловых вершин. Предлог? Неподрубленные вершины — источник пожарной опасности. Они смерть как боятся огня! Будто бы в России никогда не горели леса...

Филипп словно не слышал его. Он маршировал по сухой, укатанной дороге, обгоняя мерина, без передышки бившего хвостом и копытами по мухам, которые нудели над крупом и под животом. Походка Филиппа помолодела. Франс должен был идти за ним в полный шаг. Каждой частицею своего тела, каждой долькой движений Филипп выражал собранную в одну точку устремленность. Вакации кончились. Вакации остались позади, в диком, чужом севере. Сама природа не радовала его. Он не замечал природы. Да природы и не было вокруг. Был различно воплощенный товар. Пространства, где товар был снят, пространства, где он продолжал стоять. Товар обрамлялся менее или более приятным ландшафтом. Но ландшафт не делал погоды. Погоду делал товар. Филипп восстанавливал в себе чувство времени, немного расшатанное лирикой севера. Филипп занимался делом. Он спешил вжиться в него. Он шагал хозяином, а не прогуливался гостем. Он кончил гостить.

— Близко контора? — не обернувшись, спросил он.

— За поворотом.

— Договоримся с тобой. До конторы. Вон там.

Франс своротил лошадь и привязал ее в тени к ку-сту. Они вышли на полянку, расшитую светло-малиновыми полосами обильного иван-чая. Она рдела, как сарафан — празднично и смешливо. Высохшая елка с обрубленными ветвями была свалена в глубине.

Здесь мог бы собирать букет мечтательный, склонный к уединению подросток. Отодвигая от себя рассыпающийся пучок цветов, он восхищался бы переливами чистых красок и представлял бы себе взор, который ляжет на этот целомудренный сувенир невинно и благородно. Здесь мог бы отдохновенно втянуть в себя струистое благоухание трав лысеющий натуралист, встречая свою пятидесятую весну. Как старых приятелей, узнав в лицо всякий стебелек и ничтожную былинку, он присел бы отдохнуть на елку и, ясно вспоминая свои студенческие сборы гербария, свои надежды и — может быть — свою беспощадную первую страсть, по пути, почти нечаянно он мог бы отколотнуть непрочную еловую кору и без нужды для себя отметить, что древесина загнила под влиянием гриба *lenzites seriaria*. Здесь мог бы почерпнуть для своих трудов бесхитростный прообраз декорации какой-нибудь режиссер, ценящий в театральной постановке точную передачу действительности и, в интересах реализма, в лесном пейзаже кладущий на сцене живописную колоду. Поляна была сколком с идиллического представления о лесной природе, и даже самое суровое сердце смягчилось бы при виде буйного цветенья и этих солнечных пятен вперемежку с тенями, и этих взлетов и падений насекомых над колышущимися цветами.

Здесь, в тишине, углубленной неумолкающим жужжанием шмелей, были произнесены монологи из терминов и номенклатур, не понятных ни натуралистам, ни служителям искусства, ни — тем меньше — молодым мечтателям. Жесткие, неподатливые слова контрактов, упоминания дат и цифр здесь выросли в историю отношений, которые время настойчиво хо-

тело пересмотреть и которые упрямо, с цепкостью умирающего, доживали свой век.

Однако смысл монологов был не так сложен.

Ван Россумы, получив по концессионному договору лесные массивы для эксплуатации, обязались построить магистральную железную дорогу. Сроки постройки были довольно короткие, и первые годы вложенный капитал не приносил концессионеру сколько-нибудь значительных выгод, поглощаемый работами на дороге. Но первые годы ван Россумы располагали обширными возможностями, общая финансовая конъюнктура благоприятствовала широко идущим операциям, будущее казалось заманчивым.

Другим обязательством концессионера был экспорт леса за границу, при этом в известной доле в полуфабрикате, то есть в облагороженной заводами форме.

Когда рынок на Западе стал сужаться, появились финансовые затруднения и вместе с ними соблазн экспортировать за пределы Советского Союза не лес, а деньги. Нужда в лесе непрерывно уменьшалась, склады переполнялись им, целлулозные и бумажные фабрики были на года вперед обеспечены сырьем, сбыт падал, а нужда в деньгах росла. Тогда возник, правда непродолжительный, период, покрывший деятельность концессионера мрачной тенью. Впрочем, только одна, а именно — советская сторона, считала тень тенью. Концессионер заглядывал себе за спину, поворачивался, вертелся и решительно не усматривал никакой тени. Дело же заключалось в том, что ван Россумы, не имея права неограниченного размещения своего леса на внутреннем рынке, энергично занялись этой несложной операцией, накапливая деньги за проданный товар в советских банках и перекачивая их за границу вместо громоздких, отнимающих слишком много тоннажа лесных грузов. Период этих операций был сжат до наименьшего размаха советской стороной. Борьба была коротка, и обе стороны провели ее в завидном стиле, но Филипп ван Россум считал, что ему удалось сохранить сильную карту, и он носил эту карту за пазухой до поры до времени,

надеясь взять реванш. Что же до советского концесскома — учреждения, наблюдавшего за осуществлением договора, то там были уверены, что, не укороти они хирургически черной тени этой спекуляции, она погребла бы под собою ван Россумову славу дельца без упрека.

С момента этих спекуляций советская сторона при всяком случае напоминала о них, как о нарушении договора, дающем основание для его ликвидации. Требования, предъявляемые концессионеру, становились все более педантичны. Ван Россумы усматривали в них мелочной формализм. Он раздражал их. Они хотели, чтобы советская сторона больше заботилась о существовании договора. Существо же его, по их мнению, состояло в извлечении из концессии прибылей.

В таком положении роман встретил худшие времена.

Едва ван Россумы начинали приспособляться к деловой обстановке на Западе, как обнаруживалось нарушение условий концессии на Востоке. Они организовали на Западе сбыт сырья. Тогда приходил Восток и напоминал, что они слишком много вывезли кругляка и что они обязаны экспортировать полуфабрикат. Под давлением Запада они сокращали туда ввоз до минимума. Тогда приходил Восток с подсчетами, доказывавшими, что не выполнили минимума вывоза. Банки Запада сжимали кредиты, деньги играли черные шутки: падая в цене, они в то же время становились самым драгоценным товаром. А Восток со всей возможной корректностью спрашивал: а как строительство железной дороги? а как вывоз? дорога, вывоз, дорога, вывоз.

Наконец начали назойливо выныривать, право же, мелочные и формальные требования, вытекающие из третьего обязательства концессионера: вести научно правильно лесное хозяйство и оплачивать и страховать труд по советским законам. Туговатое понимание этих вопросов концессионером изредка рассеивалось вмешательством ученых экспертиз лесоводов и стачками рабочих. Это стало неиссякаемым источником раздражения ван Россумов — чересчур частый,

по их мнению, контроль и слишком большая активность профессиональных организаций.

Затем наступила полоса экспериментальных шквалов — так поначалу определил Филипп советский план индустриализации. Полоса ширилась, захватывая, вбирая в себя и увлекая все хозяйство страны. Дела концессии в разраставшемся, как тайфун, экономическом перевороте показались концессионеру ничтожными, и тогда возник новый расчет: переждать, пока погода прояснится, исчезнуть с поверхности, стараясь не напоминать о своем существовании. Но противная сторона не потеряла памяти. Умышленное затишье принесло концессии новый урок, нарастив долги по обязательствам.

К приезду Филиппа конфликт достиг наивысшей точки. Франс думал — безнадежного для концессии состояния: только что закончили работу очередные комиссии — на железнодорожном строительстве, на лесосеках; не так давно, с трудом, удалось прекратить забастовку сплавщиков, и все еще наезжали с бытовыми обследованиями «тройки» и «пятерки» профессиональных союзов. Франс считал, что момент для безболезненного аннулирования концессии давно упущен и что необходимо тотчас ликвидировать договор любую ценою, не дожидаясь решающего шага с советской стороны.

Филипп находил, что Франс не сумел правильно истолковать дух договора, обязывающего советскую сторону создать приемлемые условия для работы концессии и в первую голову обеспечить постоянное соотношение между суммами, затрачиваемыми концессией на оплату труда, и размерами товарной массы, которую концессионер имеет право разместить на внутреннем рынке. Туманности своих рассуждений Филипп не замечал, потому что они вытекали из совершенно ясных лазеек, оставленных им при заключении договора. В глазах же Франса эти крючки, петли и заячьи скидки заслонялись все подавляющей обстановкой развития лесного дела, из которой вытекало одно: Советскому Союзу концессия была не нужна.

— К сожалению, — сказал он в конце своего заключительного монолога, — в нашем распоряжении в последнее время был единственный способ борьбы: уступки. Если бы мы проявляли твердость...

— Да, ты должен был показать больше твердости, — сказал Филипп.

— Я руководствовался твоим настоянием сохранить концессию во что бы то ни было.

— Мы теперь попробуем этого добиться.

Франс промолчал.

Поднимаясь и общипывая с осинового ветки листья, Филипп решил:

— Мы должны перейти в наступление. Нельзя бояться опасностей. Надо помнить: кто боится ада, тот попадет в него.

Направляясь к бричке, он сшиб с травы верхушки обчищенным гибким хлыстом.

— Все эти доводы против нас мне представляются не слишком прочными. И вообще большевики... они покупают подковы в посудной лавке.

Он подошел к лошади и ожег ее хлыстом по крупу. Она шарахнулась, наваливаясь на оглоблю.

— Как зовут кобылу?

— Я хотел назвать ее «Розой», — засмеялся Франс, — но нельзя: она — мерин.

Залезая в бричку и ощупывая старую кожаную подушку сиденья, Филипп припомнил «Розу», ее слышный бег, ее баюкающее скольжение по мостовым. Впрочем, ехать было приятно и в бричке: дорога шла гладкая, вороной наддавал рыси, мухи подстегивали его.

— Ты позабыл, о чем я писал тебе с капитаном Баарсом? — спросил Филипп. — Я никогда не протестовал против того, что революция лишила нас собственности. Леса ван Россумов на севере — это почти все наше состояние перед войной. Почему я, голландец, должен оплачивать издержки социального устройства в России? Лодевйк всегда доказывал, что мы должны получить компенсацию за отнятые леса, если уж их нельзя денационализировать будто бы из-за каких-то принципов. Я — реалист. Я — выше

предрассудков. Я не хочу штудировать принципов революции. Но я готов уважать их, если встречу понимание. Дайте нормально функционировать моему предприятию — и все.

— Значит, ты все же требуешь компенсации... только в форме...

— Да, да, в совершенно разумной форме! Довольно. Я не намерен платить за то, что мне ничего не дают...

Остаток пути Филипп не возобновлял разговора. Появились избы и старые тесовые бараки, лесорубы замелькали между деревьев, лес вокруг был сильно просветлен. Большое расчищенное пространство, похожее на площадь, загромождалось неоконченными постройками, на высоких козлах распиливали вручную бревна.

Перед входом в контору жалась толпа. Постепенно, голова за головой, все обернулись на бричку и стали молча смотреть, как высаживались приехавшие. Никто не снял шапок. На лицах помоложе, точно откуда-то упав, отразилось недоумение, как будто люди увидели то, о чем говорится только в сказках.

— Возьмите лошадь, — ни к кому не обратившись, сказал Франс. — Почему собрались, что такое?

— Как раз насчет лошади, — отозвался крестьянин, с виду — десятник, с саженкой в руках.

— Какой лошади?

— Да контора рассказывает, нет никакой лошади, а лошадь нужна без замедления, на станцию.

— Так чего же народ стоит?

— Несогласие выходит с конторой: они одно знают — дескать, лошади на работе.

— А зачем лошадь нужна?

— Раненого отвезти, — сказали сразу несколько человек, — в район, в госпиталь.

— Какого раненого? — вмешался Филипп.

Высокий парень вышел вперед, пытливо всматриваясь в Филиппа.

— Сплавщика Петьку Захарова на заломе покалечило. Он залом теребил. Не успел до берегу добежать, ему бревнами ноги зажал.

Парень протянул Филиппу сапог, прорезанный насквозь с середины голенища, через подъем, до носка.

— Одну ногу ему расщемило. Сапог спортили, сымая.

— Где же он сейчас?

— В пункте.

— Как его доставили со сплава? На лошади?

— Как раз! Волоком на жердях доволокли.

— Пустите, — сказал Филипп, расталкивая людей, — где пункт?

Вместе с Франсом он пошел к соседнему с конторой дому.

Над входом был наколот красный крест. В сенях на полу сидели ожидавшие приема лесорубы. В комнате с широким окном старый фельдшер, бросив разговор с полуголым больным, встретил вошедших, привычно, по-докторски, изобразив на лице вдумчивую важность.

— Где раненый?

Фельдшер нажал локтем на скрипучую дверь. Она косо откатилась вбок.

На клеенчатой кушетке лежал человек с забинтованной и привязанной к шее рукою. Голая правая нога его была поднята и положена на спинку стула, придвинутого к кушетке. Ступня криво сжалась, точно сведенная судорогой, багровая кожа на ней омертвела. На неподвижной кровавой лепешке, висевшей на месте большого пальца, сидели довольные мухи. Лицо раненого было замшево-желтым, на подбородке и за скулами чернел пушок молодой бороды, из уха выползала запекшаяся темная струйка крови.

Фельдшер доложил: у больного перелом двух ребер, не вызывающий опасения; на обеих руках и на груди отдельные повреждения внешнего покрова; раны промыты и перевязаны; повреждений внутренних органов не обнаружено; ступня правой ноги пострадала сильнее всего — многократные переломы мелких костей; необходимость ампутации очевидна; температура нормальная.

— Нормальная? — спросил Филипп.

— Нормальная, — повторил фельдшер.

— Почему же вы не ампутируете это, — Филипп мотнул головой и со вниманием остановил взгляд на мухах.

— Не имею компетенции.

— Не обладаете правом?

— Право я имею вполне. Не имею компетенции, до каких пор пилить.

Фельдшер подошел к ноге больного и дотронулся пальцем до щиколотки, затем — пониже и повыше колена:

— До сих, до сих, либо до сих?

Раненый открыл глаза. Влажные, большие зрачки чернели бархатно, перекатываясь и как будто еще больше разрастаясь от света. Губы в трещинах и обрывках сухой белой кожи дрожали.

Филипп спрятал руки в карманы и подергал неодобрительно локтями.

— Больно? — спросил он.

Раненый как будто не заметил вопроса, продолжая поводить взором из стороны в сторону. Потом он закатил глазные яблоки вверх, показав мутные белки. Веки его закрылись.

Вдруг он прохрипел:

— Режьте... режьте меня... ско-рей!

Филипп и за ним Франс, по-военному резко повернувшись, ушли. Толпа дожидалась их. Филипп приказал громко:

— Можно взять лошадь для раненого.

Маршируя, он не замечал людей.

— Пусть запрягут в телегу, — скомандовал он в воздух. — Эту... в которой мы ехали, — не давать!

— Телега — лучше, — закончил он, когда перед ним распахнулись двери конторы, — в телеге везти раненого лежа!..

Перед кабинетом его остановила рабочая делегация.

— Момент, — сказал он.

Он был уверен, что сразу все уладит, стоит только взяться. Он входил во вкус. Он думал показать Франсу, как надо управлять. Он переглянулся с ним. Взгляд означал, что будет проявлена твердость.

Делегация вошла. Очень низенькая смуглая женщина, в шапке тонких выющихся волос, дружно взлетавших куда-то ввысь, села первой, обеими руками подняв на стол шаровидный черный портфель. За нею придвинули стулья и разместились двое рабочих — один полнолицый, в больших оспинах на румяных щеках, другой — бледный, с золотыми усами, с тонкими, непрестанно двигавшимися белыми пальцами. Так же, как они сели без приглашения, они заговорили, не дождавшись вопроса. И еще: они не сняли кепок. И еще: они начали говорить без всякого обращения. Филипп отложил эти заметы в памяти.

— Сначала насчет доктора, — медлительно приступил полнолицый. — В конце зимы одного лесоруба ранило. Тут на пункте фельдшер тяп-ляп перевязал. Доставили в район. Спустя день лесоруб кончился. Рабочие потребовали, чтобы был на пункте доктор. Франс Губерыч обещал. А где же оно, обещание?

— Вы и по колдоговору обязаны организовать врачебную помощь на разработках, — сказала женщина, отпирая портфель. — Именно врачебную, а не фельдшерскую.

— Врач будет прислан, — заявил Филипп.

— Вам придется дать письменное обязательство, — сдавленным голосом потребовал бледный, барабанив пальцами по коленям. — И назначить крайний срок.

— Я сказал — этого довольно.

— Франс Губерыч тоже говорил, — возразил первый делегат.

— Необходимо немедленно оформить, — сказала женщина, копошась в бумагах портфеля.

— Я больше не стану повторять: ваше требование о враче будет удовлетворено, — проговорил Филипп и передвинул кресло так, чтобы видеть только мужчин. — Дальше.

— Тогда вот требования, с которыми нас послал профсоюз и которые мы предъявляем концессионерам в последний раз. Прошлый раз, когда профсоюз прекратил стачку на сплаве и разрешил приступить к ра-

боте, Франс Губерыч согласился на все и все принял. А сейчас профсоюз устанавливает, что ничего не выполняется, или выполняется для виду, а по существу — издевательство. Начнем хоть со ставки первого разряда и как она должна быть установлена. Она должна быть установлена так, чтобы в нее вошли все премиальные, за какое время? — а вот за период времени... дай-ка мне бумажку, товарищ...

Оратор потянулся к портфелю. Речь была невозмутимо ровной, со справо ой из документа, с цифрой, с небольшой дельной паузой. Чуть покруче разлился румянец на щеках делегата, да приметнее сделались оспины. Спокойствие его речи было настолько естественно, что никому не пришло на ум чем-нибудь преградить ее течение. Даже нервные пальцы другого делегата почти уgomонились. Делегатка же вся отдавалась бумагам неисчерпаемого портфеля и была сосредоточеннее, строже, серьезнее всех.

Разговор о ставках заработной платы окончился согласием концессионера дать ответ через три дня. Делегаты предупредили, что политика оттягивания решения приведет к немедленному обрыву переговоров. Филипп сказал:

— Я не считаю для себя этот вопрос центральным: имеет ли значение, сколько я должен платить, если платить некому? Ведь вы не можете обеспечить меня рабочей силой, если я приму любые ставки по вашему желанию?

— Профсоюз — не посредническая контора, — немедленно реагировала делегатка.

— Дальше, — сказал Филипп.

— Дальше профсоюз требует закончить к октябрю постройку красного уголка с залой на триста человек и с десятью комнатами для кружковых занятий.

— Как вы это назвали? Уголок? — не утерпел Франс. — Это городской театр!

— Это в нашем договоре называется клубом.

— Так клуб же строится!

— Он этак еще пять лет будет строиться. Мы требуем закончить его к октябрю месяцу.

— Немыслимо! — вскрикнул Франс.

— Значит, вы отклоняете это требование? — спросила делегатка.

— Немыслимо! Понимаете? — громче закричал Франс. — Требование лишено всякого смысла. Понимаете? У нас не хватает рук на постройке дороги, на производстве, а вы требуете, чтобы мы занимались пустяками!

— Пустяки? — изумилась делегатка. — Культурное обслуживание рабочего класса — пустяки?

— Ну, я не буду спорить о словах, — раздраженно отмахнулся Франс.

— О словах? Для вас наши требования — слова?

Франс молчал. Он не говорил все время до этой вспышки из-за слова «уголок», которое будто оскорбило его. Он сидел неподвижно. Его безучастность должна была означать, что он передал бразды Филиппу. Он на минуту опять схватил их, но тотчас выпустил. С виду в нем не произошло никакой перемены. Только воротничок как будто стал ему узок.

— Здесь совершенно излишни споры, — тоном арбитра произнес Филипп. — Насколько я понимаю, рабочие ставят нас перед ультиматумом?

— Да, — ответил полнолицый.

— Продолжайте ваши требования.

— Дальнейший пункт требует постройки до конца года дома на двадцать пять жилых семейных квартир для постоянных рабочих и служащих. При доме — красный уголок на пятьдесят человек и столовую с общественной кухней. Далее следует требование постройки в тот же срок очага и яслей для детей рабочих на сто ребят.

— Не трудитесь, — перебил Филипп, встряхнув пальцами обеих рук. Он облокотился на стол, громоздко приподнялся и словно с трудом разогнул спину.

— Не трудитесь продолжать. Требования неприемлемы для меня. В том, как они составлены, я усматриваю умысел наверняка добиться их отклонения.

— Неправда! — жарко отозвалась маленькая женщина, одним мигом вскакивая со стула. — Профсоюзом руководят жизненные интересы рабочих!

— Прекрасно.

— Можно считать, что требования отклонены? — прерывисто спросила женщина.

— Да.

— Тогда мы заявляем, что сейчас же созовем рабочие собрания и предложим объявить общую стачку, — сказал бледный делегат.

— Прекрасно, — повторил Филипп. — Я прерываю переговоры. В ваших требованиях я не нахожу основания для возможного соглашения на разумной почве. Делайте выводы. Последствия стачки лягут прежде всего на рабочих.

Он сел.

В ответ поднялись оба делегата. Бледный, пожимая себе пальцы, выговорил тихо:

— У нас достаточно крепкая организация, к вашему сведению. Мы выдержим какую хотите борьбу. Мы не в капиталистическом государстве.

— Прекрасно, — еще раз одобрил Филипп. — Я только прошу ответить мне на один вопрос: на советских предприятиях вы так же предъявляете требования и так же бастуете, как у меня?

Спокойный, полнолицый делегат, шагнув к столу, вразумительно отчитал:

— Мы предъявляем требования вроде этих и на советских предприятиях. Но требования там оборачиваются к нам самим, потому что мы сами хозяева. Требования эти становятся нашим планом, нашей борьбой за выполнение плана хозяйства и всякого культурного строительства. А бастовать на наших предприятиях — это выходило бы жрать самих себя с головы. Ведь мы наши потребности сами покрываем, а не то что выдачи с барского стола имеем.

И он показал на стол.

— Я бы вам не объяснял, да вижу, вы слабо разбираетесь, — добавил он с совершенным убеждением.

Уходя во главе своих товарищей, он оборотился к Франсу:

— Прощай, Франс Губерыч.

Филипп поднял глаза.

— Вот, — проговорил он с таким выражением, будто все произошло, как он желал. — Так мы скорее добьемся результатов!

— Да. Скорее покончим с этим несчастным делом, — ответил Франс.

Жила набухала на высоком лбу Филиппа, поднимаясь к волосам. Тяжко кладя на стол обе ладони, он сказал:

— Вели подать что-нибудь пить.

И кивнул на окно, чтобы его открыли.

XIV. ЛЕНИНГРАД-ПОРТ

Желтый цвет был слабостью капитана Баарса. Самая вьедливость этого цвета, его яд, химическая тайна, его порождающая, завораживали капитана. Не говоря о коктейле с яичным желтком, о коньяках и виски, он тянулся ко всему желтому с неутолимой жаждой. В золоте его нашивок на рукавах гораздо больше заключалось разящей желтизны, чем блеска металла. Он любил бронзовые вещи. С ним плавал рыжий кот. На прогулки он всегда надевал желтые перчатки и брал желтый стек.

Капитан Баарс, выйдя из порта, сел в трамвай. Вагон заполнился портовыми рабочими, к которым глаз капитана привык и которых он не замечал. Трамвай несся по малолюдным улицам, останавливаясь редко. На остановках входили рабочие. Потом движение замедлилось, улицы зарябили дробными лентами прохожих. На остановках все прибывало рабочих. В вагоне уплотнялась духота, люди стояли, туго прижавшись друг к другу, капитан спасал желтые ботинки, поджимая ноги под сиденье. Трамвай полз бесконечно, словно задыхаясь от человеческой давки в своем чреве. Капитан решил выбраться на волю.

Он очутился на Литейном проспекте — воспетой улице книжных лавок. Для капитана это был неизвестный мир. Капитан стоял как в неизвестном мире — дивясь всему и всему ища объяснений. Он видел ра-

бочих. Видел их жен. Видел их детей. Несчетные людские армии проходили мимо него вправо и влево, заливая широкие тротуары.

Капитану было очевидно, что он попал в городской центр. Но он не мог понять, куда исчезли, где притаились обычные городские прохожие, господа пассанты, которые идут по улице, чтобы идти, чтобы оглядывать себе подобных, чтобы показывать самих себя. Капитан видел только рабочих. Как будто он из одного порта приехал на трамвае в другой. Как будто это был порт, в который он никогда не заходил. Как будто весь город был не чем иным, как портом. Капитану даже причудилось, что он снимает перчатки и выходит на мостки посмотреть, как идет погрузка.

Но нет, конечно, это не порт. Капитан попал в неизвестный мир. Капитан стоит пораженный. Он не узнает действительности. Он должен встряхнуть себя, чтобы сдвинуться с места. Он идет в раздумье, как Гамлет. Он никогда в жизни не задумывался, как Гамлет.

И вот он идет. Он заглядывает в окна магазинов. Окна засыпаны книгами. Он заглядывает в двери лавок. Лавки загромождены книгами. Он заходит под ворота дома. Ворота залеплены книгами, и книги навалены по столам, и книгами пучит корзины, книгами распирает ящики, книгами давятся шкафы. Книги преследуют капитана. В уме ли он? Не начались ли с капитаном галлюцинации? Куда он ни взглянет, книги подманивают его на все лады, и он снова останавливается, чтобы привести свои мысли в порядок и дать отдохнуть персуютомленной фантазии.

Неужели в этой стране не едят, не пьют, не обуваются, не курят, не носят галстуков, а только читают, читают, читают? Что за людей неустанно пожирают и извергают двери лавок и магазинов? Все тех же рабочих. Их детей. Их жен. Они расхватывают печатную бумагу, заменяющую собою все.

Капитан Баарс озирается. Мальчишки, вроде тех, что виснут на буферах и подножках трамваев, окружают его, разглядывают золото его нашивок, его кокарду в ладонь величиной, его перчатки, его стек.

Желтый цвет таит в себе необоримую силу: нет человека, — если он не слеп, — который прошел бы мимо ярко-хромового плаката, не взглянув на него. И рекламным плакатом неизвестного мира был капитан в этом ему непонятном и тоже неизвестном мире. Мальчишки смотрели на капитана, думая: откуда он? И капитан смотрел на них, не понимая: где он?

Он снова зашагал, даже отчасти обидевшись, что ничего не мог понять.

В эту минуту он почти с содроганием увидел молодую женщину, поразившую его всем видом, всеми чертами внешности. Несомненно, она была именно из тех пассанток, какие наполняли хорошие улицы в других, обычных городах других, обычных стран. Но он тотчас с каким-то разочарованием узнал в ней жену своего шефа Франса ван Россума, то есть, правда, русскую женщину, но уже не вполне туземку, а словно часть хорошо известного ему мира.

Капитан раскланялся со всем блеском и, как человек не очень воспитанный, пройдя дюжину шагов, обернулся. Ван Россум шла в сопровождении немного хромавшего человека, одетого как будто промежуточно между тем, как подобало бы одеться для такой дамы, и тем, как были одеты все пешеходы. Капитан хотел рассмотреть необыкновенную пару лучше, но толпа помешала ему. Он вздохнул горько и устоялся в окно с книгами...

— Этот дурак в желтых перчатках, наверно, сболтнет Франсу, что видел нас, — сказала Клавдия.

— Значит, он не такой дурак, — ответил Рогов.

Она передернула плечами.

— В конце концов мы встретились случайно. Я возьму и скажу сама.

— Вот хорошо. Жалко только, что скажешь неправду.

— Как — неправду?

— Надо сказать, что мы встречаемся по уговору, по желанию.

— Не понимаю. С какой стати делать себе неприятности?

— Ты пуще всего боишься неприятностей. В этом что-то барское. Мне вообще кажется, что ты, собственно, настоящая барыня.

— Благодарю.

— Но в тебе чего-то для этого не хватает. Какой-то малости. Если бы... если бы ты была ближе мне, я раздул бы эту малость в хороший огонь.

— Почти то же, что с тобою: ты, в сущности, обыкновенный пролет, но тебе мешает крошечный излишек чего-то противоположного. Я тоже берусь его раздуть, — сказала Клавдия, — и тогда из искры возгорится пламя!

Она смеялась с задором.

— Возгорится чадная коптилка, — буркал Рогов. — Кроме того, благодарю покорно, чтобы на меня дули из такого уютного гнездышка. Тебя нужно вырвать оттуда!

— Может быть, ты умеришь свои страсти?

Несколько минут они двигались, не глядя друг на друга, точно безрадостные супруги.

— Я все забывал спросить: что стало с той обезьянкой, которую тебе подарил Филипп Федорович?

— Ах, с Йогели?!

Было похоже, что он переменял разговор, пожалуй — что он сдался.

— Бедная Йогели умерла! — грустно протянула Клавдия. — Я взяла ее с собой на пароход. Я сшила ей кротовую шубку. У ней были чулочки, жилеточка, одеяльце. Она страшно кашляла. На пароходе ей стало лучше. Я думаю — она вспомнила, как ее везли из Гвианы, у нее появились надежды на родину. Но потом поднялся страшный жар, и она умерла. Ужасно! Матросы ее зашили в брезент, она стала маленькая, как котенок. И мы похоронили ее по всем правилам. Привязали к ней груз и спустили по доске в море. Это было уже на виду у Кронштадта. Шел дождь, и все было точно в копоты. Ужасно!

Рогов произнес торжествуя:

— Ну, что я говорил? Как же не барыня?

Клавдия отшатнулась от него: какая низость! Он притворялся!

— За углом меня ждет машина. До свиданья.

Она почти побежала от него.

— Подожди! — крикнул Рогов, догоняя и крепко беря ее выше локтя.

— Пусти!

Он остановил ее.

— Мне больно. Пусти.

— Когда мы увидимся?

— Не знаю. Скоро. Пусти! На нас смотрят. Ты же понимаешь — сейчас нельзя: Франс и потом... Филипп Федорович...

— Когда мы увидимся?!

— Я говорю — не знаю. Когда они уедут... Пусти... Они уедут в Москву.

Он вдруг стал к ней прямо лицом, загораживая путь и хватая обе ее руки

— Я больше не могу. И не хочу. Поняла? — сказал он, нарубая слог за слогом. — Если ты не скажешь, я приду и скажу сам!

— Ты сходишь с ума!

— Я даю тебе слово... Я оскандалю тебя... Если ты не хочешь сказать — просто уйди.

— Куда?

— Ко мне.

— Зачем?!

Он отпустил ее. Он смотрел ей в глаза остолбенело. Он не ожидал этого слова.

— Пусти, — шепнула она и, вывернувшись, шагнув в сторону, отделила себя от Рогова — одним, двумя, тремя, пятью прохожими, быстро уходя.

Он все стоял. Его толкнули. Он подвинулся к многоконному фасаду и стал смотреть в стекло.

Вся несовместимость стремлений — его, Ивана Рогова, и ее, Клавдии, — внезапно предстала перед ним в такой прозрачности, что у него остановились мысли. Он глядел в одну невидимую точку, и в ней было собрано все его знание Клавдии.

Зачем? — так искренне изумилась она. И он твердил про себя — зачем, зачем? Он думал, что его связь с нею была чем-то переходным, кратковременным, чтобы вырасти и утвердиться в совершенно новой, все

покоряющей жизни. Клавдия считала, что в ее связи с ним не было ничего переходного, что ее не нужно было как-то переосмысливать, что все обстояло очень хорошо, хотя бы потому, что никто этой связи не подзревал. Рогов искал — каким путем можно было бы решительнее и скорее добиться перемены? Клавдия была уверена, что счастлива только потому, что ни в чем не предстоит никаких изменений.

Можно ли надеяться объединить желания, которые отталкивались друг от друга? И почему лишь сегодня сделалась понятной печальная бессмысленность таких надежд?

Бессмысленность? Единственное слово, всплывшее в воображении Рогова вместе с изумленным «зачем?», было слово — любовь. Оно отвергало навязчивый и оскорбительный вопрос Клавдии. Но оно тотчас вносило сумбур в едва возникшую ясность.

Это шло, вероятно, от книг, прочитанных в ранней юности и, может быть, даже в детстве. Все книги — малые и великие — воспевали любовь, или если не воспевали, то говорили о ней каждая на свой лад. Она была главной жизненной необходимостью — так получалось по книгам. Ни один герой, изображенный в книгах, казалось, не мог бы жить без любви. Даже больше: любовь была функцией героев. Если в книгах описывалась любовь, то носитель ее должен был быть и неминуемо становился героем. Если книжные люди не любили, они не могли сделаться героями, потому что герои любили.

Потребность подражать именно героическому, необыкновенному, вызвала желание стать похожим на книжных героев. С самых молодых лет, еще до революционного переворота, Рогов носил в себе неумирную мечту участвовать в жизни деятельно, то есть героично. Поэтому волей-неволей он населил себя тоскою по любви. Он был убежден, что непременно должен любить.

Когда он стал взрослым, это чувство вспыхнуло в нем жгуче. События гражданской войны захватили его. Его потребность в героическом была удовлетворена. Но всегда и всюду какая-то долька сердца на-

поминала Рогову, что он еще не испытал полной меры участия в жизни и что ему еще предстоит быть счастливым, как бывали счастливы настоящие, то есть книжные герои.

Он любил эту свою любовь. Женщины, с которыми он встречался, бывали только поводом, толчком к росту его единственной, скрытой любви.

Иногда Рогов начинал жить в восхищенной уверенности, что со дня на день произойдет наконец неизбежная встреча. Но поиски оканчивались неудачей, припадок надежды сменялся болезнью одиночества.

Встреча в Стальхейме была необычайной. Она вся состояла из внешнего, поверхностного, зрительного. Но внешнее было настолько влекущим, что показалось Рогову обиталищем всех чудесных возможностей, которые он искал. Правда, Елена была чужой, была *оттуда*. Он это сразу увидел, понял и в мыслях тотчас отвергнул ее. Но мысли были непримиримы, а горы, океан, корабли звали и вели к ней.

Ее смерть он ощутил так, как будто его столкнули с высокой крыши на мостовую. Клавдия никогда не исцелила бы его, если бы до странности не повторяла собою Елены. Ему было легко увериться в этом, потому что он сравнивал существующее с воображаемым, а воображение покорно шло у него на поводу. К тому же Клавдия не была чужой, как Елена. То, что она находилась *там*, по ту сторону, затрудняло задачу. Но героичность непременно связывалась в фантазии Рогова с препятствиями, требующими преодоления. Так же, как он нашел Клавдию, он думал ее вернуть в тот мир, которому она изменила.

Неужели вместо успеха его ожидала катастрофа? Неужели Клавдия бесстыдно капризничала, становясь его любовницей и в то же время ничем не думая поступиться из своей жизни *там*? Ему было отвратительно это признать. И он видел, он видел, что это так...

Он пошел вдоль магазинных витрин, заглядывая в стекла, пробегая взглядом по многоцветной пестроте книжных обложек и переплетов, додумывая единственную мысль, подавлявшую все восприятия. Он все

еще был слеп и передвигался машинально только потому, что вырос в городе. Постепенно он понял, что идет знакомым путем. Он свернул в тихую улицу.

Дорога в редакцию газеты, бывшей когда-то школой Рогова, могла бы успокоить его, как успокаивает привычная работа. Здесь проходил он тысячи раз, и сотни чувств связывались в его памяти с шагами по этим камням, мимо этих домов. Оглядываясь на прошлое или смотря вперед, Рогов всегда видел в ряду подымающихся вершин одну — в суровых склонах и обрывах — вершину замечательных лет гражданской войны.

Редакционные комнатки шестого этажа, узенькие коридоры, лестницы, переходы, ведущие в типографию, в наборные и к стереотипам, в корректорские закутки и к прокуренным, точно в бильярдной, исчезающим в дыму лампам метранпажа и выпускающего. Ночи работы пронизывала борьба. Смерть хватала людей из-за угла. Люди падали у наборной кассы, рассыпая строки военных сводок. Людей увозили в санитарной карете. Тиф и голод хозяйничали, как два брата, деля славу. Дома утопали во тьме. По улицам молча, нога в ногу маршировали отряды рабочих. Женщины, едва обучившись держать винтовку, в строю отправлялись к заставам. Город бился с контрреволюцией.

Поход на Пулково, ранение, госпиталь для Рогова заново сменились штабной горячкой газет. И теперь, через много лет, он различает в давно исчезнувшем сумраке слабо накалированных красноватых лампочек головы, опущенные над гранками, людей военного склада, голосом командира диктующих машинисткам, курьеров, примчавших на велосипеде последние телеграммы РОСТА. Среди этих полутеней мемуарист революции нашел бы много достойного. Он вспомнил бы художника, носившего самодельные варежки, похожие на муфты, чтобы уберечь руки от морозов и снова оконфузить врага своими рисунками, которые остались еще неоцененным документом гражданской войны. Вспомнил бы неистового стихо-

творца, владевшего своим оружием с таким же умением, с каким фронтовой пулеметчик — максимум, и с запалом называвшего себя Красным барабанщиком. Вспомнил бы бойцов, ходоками являвшихся перед редакторским столом с наказами и письмами красноармейцев, одною волей и голыми руками обращающих поражения в победу.

С тех пор редакционные комнаты были для Рогова живою мерой страсти и сознания, подчиненных единой цели. Когда он приближался к редакции, он чувствовал необходимость подтянуться, взглянуть на себя со стороны, точно перед выступлением на фронт.

И вот он шел туда в безошибочном стремлении найти равновесие и взять себя в руки.

В знакомом коридоре он встретил человека, которого не мог бы назвать ни другом, ни даже приятелем, но с которым нечаянно доводилось говорить и о важных и о пустячных делах, словно из кубиков складывавших быт. Беловолосый, глазастый человек, начинавший рыхлеть от сидения за столом, жизнедовольный и смешливый, обнял Рогова, похлопал его по спине и, оскаливая рот с безупречными лопатками желтых зубов, завосклицал на весь дом:

— А, Иван! Какой ты, право! Хвораешь? Нога? Нет? А почему бледный? Устал? А когда в отпуск? Послушай, послушай...

Не выпуская, он повлек его по узенькому коридору, изредка прижимая к стенке и то низводя свое бормотанье до шепота, то опять крича:

— Почему ты нам ничего не пишешь? Пиши, Иван, надо писать! Ты знаешь, ты не умничай, пиши просто, ей-богу — правда! Кому нужно умничанье? Послушай. Напши нам про что-нибудь, а? Напиши про Институт мозга.

— Не умничай?

— Ах, какой ты! Ну, напиши про зоологический сад, а? Не хочешь? Ну, про что хочешь? Вот, послушай, напиши про порт, а? Про лесную гавань. Это будет здорово. Мы — морской город. Напишешь?

Он обнял Рогова крепко и проговорил очень тихо:

— Пойдем, у меня есть секрет. Вон туда пойдем. Послушай, Ваня. Я тебе хотел сказать: брось ты путаться с этими господами...

— С какими господами?

— Ну, ты знаешь. Брось.

— О чем ты?

— Брось. Мой совет.

— Да говори же, о чем речь?

— Не шуми, Ваня, зачем шуметь? Брось путаться с иностранцами.

— С какими иностранцами? Что за чушь!

— Не чушь, Ваня. Тебя опять видели с иностранной мадамой. Брось, Ваня. Ты меня знаешь. — Он сжимал Рогову руку. — Ты меня знаешь, Ваня, ты меня знаешь, — повторял он таинственно.

— Пошел ты к черту! — крикнул Рогов, вырываясь.

Но приятель уже хохотал, и голос его несся по коридорам, влетая во все раскрытые комнаты.

— Смотри, Иван! Буду ждать! Насчет порта. Как раз — что нам требуется. Не подведи!..

Рогов сбежал с нескончаемой лестницы, не ощущая нараставшей боли в ноге. Мысли его двигались в новом направлении, спотыкаясь и застревая. Он выходил из двери немного иным, чем вошел в нее. Ему нужны были еще какие-нибудь впечатления, чем более неожиданные — тем лучше. Порт?

Рогов вскочил в трамвай.

В конце концов, живя у моря, часто ли слышал он пароходные сирены? Нигде в городе не находилось такого простора, уводившего в бесконечность, как в порту. Нигде не возникало с такою щемящей силой чувство принадлежности к миру, как возле кораблей. Черт с ним, с приятелем и его загадочной болтовнею! Но он отлично надоумил Рогова вырваться из каменного лабиринта к морю...

Здесь государство оборачивалось лицом к миру. Отсюда ветра разносили молву о стране, и волны, толкая друг друга, бежали к неведомым берегам. Металл, земля, дерево, вода здесь соединились на сотни ладов, сотрудничая и враждуя. Ни этот союз,

ни эта война нигде не выступали в такой пестроте красок, как здесь. И если можно было бы измерять государственные дела, как лихорадку — термометром, то вот место, куда его следовало бы ставить, — порт.

Франс показывал Филиппу порт. Вишневой окраски автомобиль с оглядкой объезжал углы зданий, горы щебня, выбоины дорог. Франс знал все законы портовых владений и сам сидел за рулем.

Филипп отчетливо помнил старый петербургский порт: тесовые лачуги Волынкиной деревни громоздятся во тьме. По непроезжему болоту хлюпают пьяные, пробираясь ко двору. Толпы грузчиков, в ожидании найма, играют в орлянку. Артельные батыри насмерть торгуются и спорят с приказчиками стивидорных контор.

Новые каменные поселения, еще неоконченные, городами выростали, ширились, изрытые, окруженные котлованами, загорающиеся свежей краской, наполовину населенные и кокетливо украшенные газоном первых робких цветов. Рядом с дикими дорогами измолотого в порошок грунта или вязкой грязи болот тянулись прямолинейные пласты земли, поднятой под мостовые.

Филипп изредка узнавал хорошо известную черту прошлого. Но то, что было новым, свысока высмеивало видимую неизменность старого.

Железным скрежетом оглашали пространство землесосы, углубляя фарватеры. Территории всплывали и наращивались над водой. Беззвучные краны снимали палубные грузы с пароходов. Машины, механизмы — стальные звери — выпутывались из тросов подъемников, выстраивались вдоль железобетонных причалов. Лязгая, подползали к ним железнодорожные вагоны. Повсюду взбирались к небу пароходные дымы, то поспешные, густо-черные, то раздумчивые, почти прозрачные.

Автомобиль въезжает на Гладкий остров.

— Это она? — спрашивает Филипп, в тот же миг отвечая себе утвердительным кивком.

— Это она, — говорит Франс.

Они выходят из авто в Лесной гавани.

Бетонированный причал исчезает вдали ровной дорогой. Справа тянутся один за другим прищвартованные пароходы. Все они грузятся пиленным лесом. На палубах, у лебедок, вокруг открытых люков толпятся матросы.

Но на берегу почти не видно людей. Берег вправлен в один многочисленный механизм, работающий бесшумно, несуетливо, с вымеренной расчетливой точностью.

К пароходной лебедке лес подается автолесовозом. Фантастическая повозка с длинными неподвижными ногами на колесах, с шофером, сидящим высоко наверху, точно кучер на старомодном почтовом фургоне. Доски лежат ровным штабельком на земле. Лесовоз наезжает на них аркою, вбирая в себя весь штабелек, и, приподняв его, перевозит.

Вдоль причала сооружена эстакада — воздушный мост, по которому ходят краны. Лес подвозится к кранам электротраверзами — приземистыми платформами, управляемыми, как трамвай. По рельсовому поперечному пути траверзы всплывают глубоко в лесной склад. Там они нагружаются штабелерами, подающими лес по продольным дорогам.

Цепь машин, предупредительно обслуживающих друг друга, приводит на память марсианские рассказы. Все математично здесь. Разграфлены пути. В ровные клетки между ними вложены штабеля леса. Вот доски отделились стопкой от штабеля и двинулись на траверз. Вот они легли на его платформу. Вот поплыли по безлюдной улице. Примериваясь к ним с высоты эстакады, кран вежливо снимает их с траверза. Автолесовоз, подобрав их, увозит в своем животе к пароходному борту.

Марсиане управляют машинами, но марсиан не видно. Три с половиною тысячи грузчиков освобождены электрическими и газовыми двигателями, семь тысяч человеческих рук заменяются металлическими рычагами.

Филипп молчит. Он шагает вдоль причала, как будто принимая парад иностранных флагов: англичане, немцы, точно салютуют ему, рокочут цепями ле-

бедок. Советские пароходы заканчивают погрузку своих палуб. За ними опять виден немец. Потом датчанин.

— Наши есть? — спрашивает Филипп.

— В конце, — отвечает Франс.

Филипп узнает борт своего парохода, останавливается. Подкрадывается груженный траверз, налегке бежит по бетону долговязый лесовоз. Все своим чередом.

Филипп поворачивается назад. Дежурный инженер, поздоровавшись с Франсом, засунув руки в карманы, идет поодаль от Филиппа, словно приготовившись на обычный вопрос гостя: «Кто сооружал эту гавань?» — гордо отозваться: «Мы! Советские инженеры! Из своих, советских материалов! Единственная в мире гавань с исчерпывающей комплексной механизацией!..»

Но Филипп не говорит ни слова. Он садится в автомобиль.

На Раздельной дамбе он прохаживается, морщась от солнца, присматриваясь к круглому товару, белыми проспектами обрамляющему морские панорамы.

Иностранный приемщик работает с советским сдатчиком. Два грузчика выкладывают в станок баланс. Приемщик дымит трубкою. Сдатчик разминает в пальцах тоненькую папироску. Они не двигаются. Станок наполняется. Приемщик делает шаг вперед. Он нажимает ногою на одно полено. Другие ложатся в станке плотнее. Курится трубка. Дымок выписывает причудливые вещи. Сдатчик делает шаг к станку. Он приподымает крайнее полено. Баланс ложится свободнее, воздух появляется между поленьями. Загорается папироска. Трубка дымит сильнее. Станок почти полон.

В этой точке, физически малой, в этом орудии меры — примитивном и грошовом, в этом соприкосновении двух человек — обыденном и бескрасочном — заключено реальное выражение великих абстракций. Зарождаясь в философиях, переходя в законы, обретая силу в армиях и будущее — в школе, сознание государственности поселяется в людях, которые, ка-

ждый час работая вместе, каждую секунду противопоставляют себя друг другу. Мера, в которой продавец отпускает товар и покупатель его принимает, — контакт обнаженных нервов. Приемщик и сдатчик — стык двух систем, касание миров. Эти люди должны быть пропитаны ответственностью, как судьи. Искушение жжет их неотступным лукавым глазом. Они облачаются в защитную одежду бесстрастия.

Курится трубка. Шаг вперед. Кругляк ложится плотнее. Рыжеет дымок папироски. Шаг вперед. Кругляк лег свободнее.

Тогда к двум человекам, холодно и бессловесно ведущим свое состязание, приближается третий. Величие его подобно высеченному в мраморе. Сдатчик и приемщик товара становятся в основаниях треугольника. Он занимает вершину. Это — капитан парохода, начинающего грузить баланс.

Филипп, наблюдавший из отдаления выкладку станка, тотчас узнает в капитане Баарса.

Капитан Баарс без стека и без перчаток. Он в легком пиджаке. Кокарда желтеет на фуражке. Он молча показывает пальцем на верхние ряды поленьев. Грузчики быстро вынимают и перекладывают их. Освобождается одно гнездо. В него всовывают дополнительное полено. Значит, пароход берет одним поленом в станке больше. В капитане нет колебаний или раздумья. Он блюдет интересы транспорта. Он решает — взять ли на столько-то тысяч поленьев больше или меньше. Число кубофутов, которое он повезет, останется постоянным. Оно пройдет по актам, не изменяясь. Но содержание числа зависит от капитана. Он говорит последнее слово. Он в вершине треугольника. Для него все ясно. Он потрянул головой:

— Так грузить!

Филипп возвращается к автомобилю с чувством облегчения. Он пошучивает с Франсом насчет капитана Баарса — туповатого парня, но преданного служаки:

— Он не заметил, что мы за ним смотрим! — смеется Филипп.

Франс весело вторит ему.

— Узнаешь, кто идет?

— Рогов? — спрашивает Филипп.

Ему не очень приятна эта встреча, и он говорит, здороваясь с Роговым:

— Очень приятно, очень приятно!

Франс жизнерадостно восклицает:

— А-а! Как поживаете? Что о вас не слышно?

— В Лесной гавани были? Каково? — обращается Рогов к Филиппу.

Филипп пожевывает губами и одобрительно качает головой.

Рогову мало этого. Он повторяет восхищенно:

— Каково? А? Здорово? Здорово?

— Здорово! — в тон ему отвечает Франс. — Что о вас не слышно? Заходите когда-нибудь, пока здесь Филипп Федорович.

Филипп поддерживает приглашение улыбкой.

— Да, я собираюсь, — легко говорит Рогов.

Останавливается на секунду и добавляет тише, глядя в лицо Франсу:

— Я сегодня видел Клавдию Андреевну. Она звала меня прийти.

ХV. ЗАВТРАК

Маленькие латинские буквы соскакивают с красной ленты на бумагу и бусинками нжут строчки. Портативный ундервуд стоит на сукне, треск его смягчен. Но удар все же довольно громок: работает мужская рука. Портьеры на дверях закрыты.

Франс сидит без пиджака, мягкий шелк рубахи гладко облегает его крепкий живот, пряжка пояса прочно стягивает талью. У него такой вид, как будто он только что выкупался, вылез из воды. Прямые волосы зализаны назад и заглажены до блеска. Кровь глянцевет крапком в каждой частичке лица, розово просвечивая в ушах.

Он пишет о работе пароходов ван Россума в беломорских портах: такой-то пароход прибыл — находился под погрузкой — ушел с таким-то грузом — получил демеридж — заплатил диспач. Фунты и шиллинги выстраиваются в почтенные ряды. Номенклатуры распевают свои благозвучные баллады: баттенсы — бордсы — балансы — пропсы.

Сквозь портьеру долетает призывный клич:

— Алло, алло! Завтрак подан.

Следует подсчет: стандарты — цифры — цифры — цифры.

— Франс! Завтрак на столе!

Подсчет продолжается: ркс — цифры — цифры.

Клич становится протяжнее:

— Франс! Ре-днс-ка! Ре-дис-ка!

Последняя проверка: итоги баланса — итого пропса. Гонка изо всех сил. У него скапливается слюна, он, кажется, начинает путать цифры.

— Фра-анс! Молодая картошка... с укропом!

Это уже отчаянный вопль.

Франс вскакивает и кидается головою в портьеру, как в воду.

Он останавливается в дверях, раздвинув ноги и взметнув руки. Вдруг он запускает пятерни в волосы и безжалостно теребит свою аккуратную прическу. Лицо его наливается густо-багровой краской, взгляд мутнеет. Он бормочет хриплым басом:

— Бордсы — пропсы — укропсы — бр-р-р!

Волосы стоят на его голове дыбом. Растопырив руки, как борец, выступающий в парад-алле, он надвигается к столу.

— Почему на картошку не погружены укропсы?

— Франс! Мне страшно, — шепчет Клавдия, приседая и прячась за стол.

— Где укропсы? — люто рычит он.

— Франс! Ты — гепард!

— Обман?! — выкрикивает он. — Низкая ложь в достойной буржуазной семье?! Не до-пу-щу! Ты сказала — с укропом. Где укроп?

Он бросается кругом стола. Клавдия стремительно мчится впереди него, развевая длинными полосами

платья. Он слышит запах духов, чуть горьковатый. Прохладный воздух, рассеченный ее движеньем, шипит у него в ушах, он набавляет бега, припадая на одну ногу и широко занося другую. Клавдия на ходу выдвигает из-под стола тяжелые стулья, круг расширяется, Франс откидывает стулья в стороны, прыгает через них, ревет:

— Ук-роп-сы?!

— Франс, скатерть!— кричит Клавдия, задыхаясь.

— Посуда! Франс! Посуда!

Он так согнулся, что его не видно за столом, он бежит почти на четвереньках.

Наконец он поймал ее. Он схватил ее за руку, повернул к себе лицом. Он дышал на нее со свистом, как насос, туго прижав ее к себе и медленно покачивая. Она обняла его взъерошенную голову. Потом внезапно просунула пальцы между его и своими губами, откинулась и сказала, насилу сдерживая частое дыхание:

— Франс ван Россум. Это гадко. Вы смяли платье, которое я надела для вас. Убирайтесь.

— Новое платье! — воскликнул он. — Которое вамшили три портнихи. Которое вам испортили шесть раз!

— Ступайте мыть руки и садитесь.

— Хвосты! Хвосты! — балагурил он. — Длиннее, чем в Париже! Клавдия, повернись! Клавдия!

— Убирайтесь! Я иду звать Филиппа Федоровича.

Франс вприпрыжку побежал в ванную.

За стол он сел причесанный, в пиджаке, с крошечным платочком в нагрудном кармане. От него отлетал запах шипра.

Филипп встал. За ним поднялись Франс и Клавдия. Наклонили головы и помолчали. Это была уступка времени: молитва читалась мысленно, и на слове «аминь» прикрывались глаза. Разглаживая на коленях салфетку, Франс устрашающе выпятил нижнюю губу:

— Будьте любезны, пожалуйста, хорошую рюмку окаянной русской водки.

— Франс, — тихим голосом пьянчуги просипела Клавдия, — я тоже выпью окаянной русской водки.

Филипп присоединился к ним, смеясь.

— Ур-ра! — закричал Франс.

Появилась горничная. Пряное дыхание горячих закусок овевало стол.

— Кто-то пришел? — спросила Клавдия.

— Если по делу — пусть через час. Через два! — приказал Франс. — Никаких балансов!

— Клавдия, — улыбнулся он, протягивая ей налитую рюмку, — ты сегодня...

— Ур-ра! — громко пропела она, высоко подняв рюмку и глядя мимо Франса.

Он обернулся. В дверях стоял Рогов.

— Чудесно! Как раз к завтраку! — возбужденно лепетала Клавдия.

Рогов подошел к ней. Она встретила его чистым взором:

— Как хорошо, что я уговорила вас прийти, а то вы никогда не собрались бы к нам! Садитесь. У нас молодая картошка.

— Но укроп мы уже съели, — хохотал Франс.

— Да, представьте, во всем городе нельзя найти укропа!

Франс укоризненно качал головою:

— Что вы сделали с вашей страной! Что вы сделали с вашей великой страной?! Нельзя найти даже укропа.

Все занялись тарелками, перемешивая звяканье ножей и вилок с разговором, из которого шутливость медленно улетучивалась.

— Мне кажется, нельзя найти не только укропа, — усмехнулся Филипп.

— Я не вижу особых недостатков, — сказал Рогов.

— На этом столе? — спросил Франс.

— О, этот стол! — расшаркивался Филипп. — Но к этому столу не выстраиваются очереди.

— Слава богу! — восклицал Франс.

— Приехать к нам в гости и говорить неприятности! — улыбалась Клавдия.

— Правда не может быть неприятной, — разъяснил мне недавно один местный философ.

— Нам, в нашей стране не может, — сказал Рогов. — Но не всем и не всегда. Иначе ложь не имела бы такого успеха.

Клавдия была захвачена гостеприимством. Каждую минуту она находила какое-нибудь маленькое дело, тормозя им слишком быстрое углубление разговора. Но все было непрочным и сомнительным в этой ворожке угощения. Куда могла завести, например, лишняя рюмка водки? К легкомыслию? К пикировке? Филипп Федорович определенно клонил к полемике, вопреки священному гигиеническому правилу не говорить за столом о слишком серьезных вещах. Он даже прямо заявил:

— То, что я вижу, расходится с утверждениями об успехах.

— Где видите? — спросил Рогов.

— На улицах, в магазинах.

— Я вам советую не доверять видимости.

— То есть как?

— Так, как я не доверял видимости, когда был в Европе.

— Не доверяли?

— Да. Не доверял витринам, изысканным сырам, вежливости полицейских.

— Как можно не доверять изысканному сыру?

— Если видишь, как здоровые люди дожидаются перед окнами больничных кухонь, когда дадут похлебку, слитую из тарелок больных...

— У-гм-у... Чему же я не должен доверять? Вашим витринам?

— Не преувеличивайте значения недостатков.

— Но тогда чему же я должен верить? Рублю?

Филипп насмешливо перемигнулся с Франсом.

— Валюта плохо утешает безработных, — тоже со смешком сказал Рогов. — Посмотрите — что создает рубль!

— Приезжайте... Через сколько лет? — спросил Филипп.

— Очень скоро!

Франс вдруг заговорил на иной лад. По его мнению, Запад судит о Советах по сводкам консульской службы. В пяти-шести точках необъятной страны сидят консулы с ножницами в руках и вырезают новости из советских газет. При этом никто на Западе не знает, что такое советская газета. Прорывы в промышленности, суд над кооператорами, порча машин — все это крошится вместе, и пожалуйста — вот вам советский салат. Почитать газеты — не справляются с лесным сплавом, не справляются с пилением, с транспортом, с погрузкой. А вот он, Франс, сколько работает с большевиками...

— О! Неужели с большевиками? — ужаснулся Филипп.

...и видит в конце концов одно: с каждым годом растет экспорт, растут программы. Да и вообще Франс понимает, что здесь происходит. Конечно, в Голландии есть все, что сейчас делается Советами. Но тут за пятнадцать лет сделано то, на что в Голландии ушло двести.

— О, о!

Блюда начинали казаться Филиппу не очень вкусными. Было даже забавно слушать возражения Рогова. Но Франс — может быть, он льстит этому хромому газетчику? Зачем? Каким образом советская печать могла бы служить в деле ван Россума? Может быть, эти туманности — простая маскировка? Может быть, Франс действительно хорошо знал советские газеты, и Рогов недаром был приглашен к завтраку? Почему так притихла Клавдия? Бог с ним, с аппетитом, надо продолжать разговор и нащупать кое-какие объяснения.

Клавдия могла собраться с мыслями: на ее счастье, за границей происходил съезд одной научной ассоциации, споры которой вдруг увлекли собеседников и заслонили мучивший ее страх. Она дважды многозначительно качнула головой, соглашаясь с противоречивыми воззрениями.

Первое из этих воззрений заключалось в том, что дары механики могут быть предметом крайних злоупотреблений. Управление природой попало в руки

человека раньше, чем он научился управлять собою. Человек этически не подготовлен для такой грандиозной деятельности. Прогресс техники становится опасным, потому что неизвестно, кто первый возьмется за рычаг Архимеда.

Эта тема делалась излюбленной у Филиппа. Выводы его колебались. Но он все чаще говорил о целительной близости природы, о любви к ручному труду.

Франс поддержал другого оратора благонамеренной ассоциации. Все несчастья будто бы происходили из-за неумения прилагать изобретения на пользу общества. Государства обладают и богатствами и совершенными орудиями для их эксплуатации. Но орудия применяются неверно. Химическая промышленность грозит отчаяниями войны и смерти, вместо того чтобы облегчать и украшать жизнь. Это происходит потому, что правители многих стран не имеют ни специальных знаний, ни практического здравого смысла. Они политиканствуют и болтают. Между тем для разрешения трудового экономического вопроса нужна не меньшая подготовка, чем для разрешения инженерных задач. Много ли членов какого-нибудь парламента в состоянии решить систему уравнений с тремя неизвестными? А этим господам платят жалование за то, что они решают задачи с гораздо большим числом неизвестных. Много ли среди парламентариев найдется людей, имеющих хотя бы самое отдаленное представление о законах, которые они издают? Они могут болтать, но не могут успешно делать свое дело. Они не знают своего дела. У них нет ума, годного для продумывания сложных проблем. И они не верят, что ум может довести до добра.

Оратор, потрясавший съезд научной ассоциации такими антипарламентскими словами, предложил создать экспериментальное государство в виде добровольной самостоятельной колонии под руководством ученых, инженеров и экономистов.

Франс находил, что ассоциация ошибается и что никакого особого государства создавать не следует. Надо взять инженеров и ученых, присоединить к ним

коммерсантов промышленности и торговли, и пусть они управляют существующими государствами. Как управляют? С помощью своего опыта, вынесенного из приложения науки к промышленности и из своей организаторской практики. Адвокаты, говоруны должны быть выкинуты из правительства. Наконец необходимо ввести плановость в хозяйство, изучив для этого эксперимент Советского Союза.

— Вот это великолепно! — засмеялся Рогов. — Но кто у вас будет выполнять план, если вы его создадите? И что вам мешает создать его сейчас? Неужели то, что в правительствах вместо ваших инженеров сидят ваши же адвокаты?

Он обернулся к Филиппу:

— К чему приводят ваши поиски выхода, если не считать инженерно-коммерческой мечты? Вы вздыхаете о спасительной матери-природе. Но о какой природе речь? Власть человека над природой как раз в той технике, которую вы хотите его лишить. Вы намерены выдать человека на милость природе, обезоружив его. Природа, насилующая человека, — что может быть благоприятнее, удобнее для новых насильний человека над человеком? Природа, управляемая им, — вот что освобождает его. А вы боитесь, что к архимедову рычагу подберется рука, привыкшая подчинять себе силы космоса. Непоколебимая рабочая рука. Это страшит вас. И есть люди, готовые толкнуть к рычагу Архимеда сумасшедшего, эпилептика, злодея, лишь бы отстранить подальше тень немолчаливой руки.

— В конце концов, — сильно вздохнул Рогов, — немудрено составить какой-нибудь план, Франс Губертович. Но никакой план не поможет, пока не пришел человек с жаждой творить, с порывом, со счастливой верой в свое будущее. А это есть уже революция!..

Это уже был митинг! Рогов даже тряхнул волосами и провел ладонью по лбу, точно вытирая пот.

В конце концов завтрак был лишен настоящего удовольствия. Франс предложил пойти в соседнюю комнату — за табачный стол. Но Рогов отказался.

Филипп, усаживаясь с Франсом в кресла, пробормотал облегченно:

— Two is a sampany, three is a crowd¹.

Они долго молчали, дымя папирсой и сигарой. Полагающиеся после еды минуты покоя были нужны вдвойне после разговора, проведенного чересчур по-русски.

— Прошу тебя поехать в Москву днем раньше, — сказал Филипп.

— Я думал — мы едем вместе?

— Я хочу отдохнуть. А ты подготовишь необходимые встречи.

Франс согласился, не понимая намерения Филиппа: разве он приехал, чтобы перепоручить дела Франсу? Что-то в нем обнаружилось двойственное, чуть напоминающее стариков ван Россумов — Лодевййка или Губерта, и временами — неуловимо молодое, едва проскальзывающее, нечаянное. Не проявлялось ли так его беспокойство о деле?

— Что ты скажешь насчет газетчика? — спросил Филипп, отложив сигару и показывая бровями на столовую.

— Хороший парень.

— Что он там пишет?

— Что сейчас говорил.

— Ничего практического?

— У них многое из рассуждений переходит в практику.

— Например — о лесе?

— О лесе — не знаю.

— Заслуживает внимания.

— Что?

— Интересуется ли он лесом... этот твой газетчик.

Филипп медленно поднялся и вышел в дальнюю дверь. Франс курил...

Тишина охватывала комнаты. Клавдия вслушивалась в нее. Опасность таилась где-то поблизости. Рогов был разгорячен спором. Соппротивление могло бы еще больше раздражить его. Лучше было согла-

¹ Двое — это компания, трое — толпа (англ.).

шаться с ним, поддакивать и потакать. Решился же он на дерзкий и коварный приход! Надо было маневрировать.

Она показалась Рогову покоряюще простой. Он давно не видал ее такою. Рядом с массивом рассудительного самодовольства, каким представлялся ему Филипп, рядом с фламандским каменным гимном здоровью, каким был Франс, Клавдия состояла из идеального равновесия желаний, мыслей и движений, — Рогов был убежден в этом.

Она пригласила его из столовой в кабинет мужа. Портьера бесшумно пропустила их, закрывшись театральным занавесом.

Рогов быстро сказал:

— Ты не можешь здесь оставаться.

— Я думала о твоём плане.

— Ты должна уйти!

— А Франс?!

— Я скажу ему все.

Она зажала его губы пальцами. Потом улыбнулась с непринужденной покорностью.

— Мне иногда страшно весело: ты думаешь затащить меня в царство небесное насильно.

Он хотел ответить.

— погоди. Ты помнишь, как сказал один герой Марк Твена? — Если мне придется быть в раю вместе с вами, то я предпочитаю попасть в ад!

Еще милее, женственнее стал ее смех, и Рогов смеялся с нею, чувствуя, как веселость обезоруживает протест ее слов. Он привлек ее к себе, точно слепой — не замечая ее трепета. Она боялась оттолкнуть его слишком резко.

— У меня кружится голова. Постой.

Он еще сильнее обнял ее, бережно усаживая на диван.

Она уже чувствовала беду, и ей почудилось — видела шевеление портьеры.

Она заговорила нарочно громко.

Но портьера была неподвижной, ни одна складка на ней не дрогнула: Филипп осторожно прикрыл ее, отступая по мягкому ковру.

Возвратившись в курительную, он разжег сигару и, легши в кресло, плотно закутал себя в синие облака дыма. Сквозь их пелену он сказал:

— Н-да... Если бы он интересовался лесом...

Франс кинул папиросный окурочок в камин.

Позевывая, он одернул пиджак, поправил в кармане кончик платка. Все ловко и легко сидело на нем.

Он медленно прошел теми же комнатами, какими возвращался Филипп, и раздвинул портьеру кабинета.

Первое, что он услышал, был вскрик Клавдии:

— Оставь!.. Оставьте!

Потом Франс увидел ее глаза и не узнал их. Нелепо было, что Клавдия, неподвижно глядя на него, все свои мышечные силы направляла в другую сторону — против Рогова, упираясь локтями в его плечи, отрывая от себя его пальцы.

— Оставь-те!.. Франс!

Только тогда Рогов обернулся.

Клавдия молча упала на диван. Рогов жестко смотрел на Франса. Переведя дыхание, он шагнул к нему.

— Я давно вам хотел сообщить... это...

— Уйдите, — ответил Франс.

Рогов обернулся к Клавдии.

— Я жду, — сказал он и вышел, тяжело хромая.

Клавдия лежала притаившись. Ее платье, пышно накрывшее диван, не шевельнулось. Спустя минуту она подняла голову, взглянула на мужа и бросилась ему к ногам.

— Франс! — закричала она. — Это не я!

Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Заложив назад руки, он смотрел, как извивались и дергались шелковые хвосты ее платья, разлетевшиеся по полу.

— Франс!

Ее лицо было мокро, волосы стали вырываться из-под шпилек.

— Франс!

Ее ладони ползали и бились по его груди.

— Франс!

Он молча вытащил из-за спины руку и оттолкнул Клавдию. Это движение словно открыло ему кровь. Он побледнел.

— В моем доме, — шепнул он жесткими губами, — как в шантане?

Он поднял ногу и ударил Клавдию в плечо ступнею.

И вдруг, завопив, он обрушился на нее с кулаками.

XVI. ФЕЛЬЕТОН РОГОВА

«Незадолго до мировой войны в России произошел случай, нельзя сказать — совершенно экстраординарный, однако все же незаурядный, так что даже бывалые люди почесали в затылках. Без всякой видимой причины и без малейшего следа пропал железнодорожный поезд, в составе такого-то числа товарных вагонов. Поезд начали искать. Сначала на той дороге, по которой он, согласно всяким графикам, должен был проследовать. Потом — на смежных. Потом — на отдаленных. Потом — на весьма отдаленных. Затем — во всех управлениях железных дорог. Затем — в министерстве путей сообщения. Затем просто — в сыскных отделениях. Поезд исчез на удивление всем ведомствам, понимавшим кое-что в пропажах, исчез, несмотря на все мыслимые меры розысков, в коих участвовала решительно вся смущенная империя. Так прошло что-то около гола. Как вдруг, однажды, на заброшенном полустанке Восточной Сибири, где-то там неизвестно в каких дебрях, был обнаружен железнодорожный состав, обретавшийся в тупике что-то около двух лет. Когда принялись сличать номера вагонов пропавшего поезда с номерами обнаруженного, оказалось — они были одинаковы. «Так что же ты моргал?» — спросили у начальника полустанка. «Никак нет-с, я не моргал. Моргали вы-с. Потому ваше вскорodie изволили разыскивать поезд, который пропал назад тому год.

А у меня поезд стоит в тупике вот уже два года. Значит, ваше вскород спохватились о поезде спустя год после пропажи».

На протяжении всей царской истории Россия представляла Европе анекдоты, печатавшиеся среди курьезов и развлекательной смеси журналов. В совокупности с неизмеримыми пространствами, с нетронутыми природными богатствами и внушительными воинскими резервами анекдоты прославили старую Россию «страною великих возможностей». «В России все возможно», — припевали и приговаривали на разные лады и у нас и в Европе.

«Возможности» прошлого и после революции иногда дают себя знать в нашей стране, развлекают любителей необычайного, а иных наверно обнадеживают на тот счет, что, мол, в сущности, мало чего переменялось, и прочее.

Всего за год до начала пятилетки в Саратове — в университетском городе — была открыта улица, о существовании которой никто не знал. Дома заселены, жизнь бьет ключом, и никакие власти об улице не имеют понятия, у нее нет имени, ее владения не нумерованы, ее жители наслаждаются благами анархии и даже не подозревают, что на новорусском языке есть такие слова, как *наркомфин* или, например, *жакт*.

В лесной глуши Карелии недавно была найдена церковь. О ней никто не слышал. Она не была известна никому из поморского населения «старой веры». О ней не уцелело ни одного рассказа. О ней не поминает ни одна легенда. Когда в церковь вошли, в подсвечниках оказались целые огарки восковых свечей. Мыши не тронули их, потому что не могли взобраться по скользким медным подсвечникам. Лет сто не ступала сюда человеческая нога.

В тех же карельских сказочных лесах около финской границы нашли медеплавильный завод. Его оборудование было почти цело, растащено только кровельное железо да немного кирпича. Завод начали сооружать, по-видимому, в годы войны, а потом просто забыли о нем: не до того!..

В Москве в утробе Китайской стены, стало быть, — в самом центре столицы, — были обнаружены жилые помещения. Дело происходило во времена *нэпа*. Когда заинтересовались, что за люди ютятся в каменных дуплах, было сделано новое сенсационное открытие: в Китайской стене проживали студенты богословской академии. Целый выводок будущих пастырей Христова стада.

В России все возможно!

Возможности вроде приведенных нисколько не беспокоили мир, но лишь забавляли, увеселяли его. Все они были отрицательной природы: «чудо» состояло не в том, что нашлась церковь, отыскалась улица, или завод, или общежития богословов. Истинным чудом было то, что завод пропадал, словно иголка, что о нем никто не спохватился, что исчезновения его никто не заметил и он совсем зарос бы лопухами, если бы не спасительная случайность.

Представьте себе на секунду — что было бы с саратовцами, если бы неизвестную улицу, до того как ее обнаружили, уничтожил бы пожар? Пожар был? Был. Погорельцы есть? Есть. А что же, собственно, сгорело? То, чего не было.

То, чего не было, — предмет особых поисков, особых гаданий, иногда — особого культа. В стране «великих возможностей» всегда может что-нибудь отыскаться, в ней вечно обретается сокровенное.

История найденной церкви превращается в историю церкви пропавшей, в историю исчезнувшего города, исчезнувшего царства. Легенда вырастает в культ. Плеяды профессоров разводят по всему миру учения о «богоносности» страны «великих возможностей». Умники уже не смеются над русскими курьезами и не развлекаются, а — надев очки — читают пророчества о том, что всему свету уготовано обновление через страну «великих возможностей».

В полосу увлечения Федором Достоевским редкий европейский университет не вел семинариев и коллоквиумов по сочинениям этого писателя, а кое-где даже учреждены были курсы и кафедры под кратким названием — «Достоевский».

В смутных либо расчетливых умах «богоносность» вскоре перепуталась с «желтой опасностью». Этим конгломератом подменили раскрепощенную революцией мечту о социальной справедливости, чтобы дискредитировать, зачернить эту мечту в глазах европейца, испокон века напуганного Азией.

Профессора по кафедре «Достоевский», предоставляя Востоку монополию «глубины духа», отрицали за ним способность технического прогресса. Нам предоставлялась честь слыть Иванушками-дурачками из страны «великих возможностей». У нас пропадали и обретались «грады и царства», а в цивилизованной Европе росла материальная культура, закреплённая за нею дальновидными профессорами на вечные времена. Кому — «великие возможности», а кому — власть над природой.

Так многие на Западе осмысливали революцию. Иванушка-дурачок, «взыскав града и царства», ищет пропавшую улицу справедливости, то, чего не было, — а тем временем культура Запада углубляет пропасть веков, отделяющую Европу от Азии.

Вся эта игра сейчас не только спутана, но одним махом сброшена действительностью со стола истории.

До революции в иных областях России крестьяне на Николин день не тушили пожаров. Николай-«чудотворец» считался «сердитым угодником», и противиться ему, когда он попустил пожар в свой праздник, считалось опасным. Мужики глазели на пожар, бабы выли, пламя пожирало избу за избою — никто не смел плеснуть в огонь ведра воды. Никогда поэтому не бывало в деревне таких бедствий от пожаров, как на летнего Николу. Это считалось «нормальным».

Сейчас это кажется диким. Сейчас за непротивление огню потянули бы к ответу и самих погорельцев и сельские власти: не бездействуй! Да сейчас и немислимо подобное шаманское разделение огня на «попущенный угодником» и «не попущенный».

Церковные праздники, мастерски вплетенные поповством в народный быт, взорваны навсегда. Лошадные «Флоры и Лавры», медовые и яблочные

«спасы», дававшие случай церквам — к поборам, знахарям — к ворожбе, вещуньям — к толкованию небесных знамений, — сотни надуманных праздников отходят в безвозвратное прошлое, уводя за собою черную ночь суеверий, невежества и обмана.

Революция посадила страну за букварь. Так велика сила революционного убеждения, что люди, до старых лег не знавшие азбуки, научились читать и писать. В Советском государстве нет неграмотных.

Этот факт. могуществен.

Этим фактом показано, что подлинно великими, беспредельными возможностями обладает не экзотическая Русь царя Гороха, а победившая революция рабочего класса, что эти возможности находятся в мире материальном и способностях освобожденных народов.

Допотопные версты, вершки и ведра вынуты из рук. В руки вложены меры, облегчающие переход к общечеловеческой культуре. В руки вложены орудия, которые удесятят силы в борьбе за господство над природою. Наряду с любым европейским народом мы полноценны в нашей воле, в нашем уменье, в нашем таланте повелевать внешним материальным миром и ставить его на службу человеку.

Что произошло с нами за последние кратчайшие годы?

Однажды в Ленинграде, по нескончаемым его проспектам медленно проследовала цепочка автомобилей и мотоциклов с плакатами, призывавшими к моторизации Красной Армии. Автомобили были неказисты. Многие из них хорошо помнили фронты гражданской войны. Многие не попали в музей истории транспорта лишь потому, что их места там занимали более сохранившиеся экземпляры. Без прикрас: этот агитационный караван имел печальный вид.

С тех пор прошло действительно слишком мало лет. Красная Армия одета с ног до головы в сталь. С каждым часом ее техническое вооружение пополняется и совершенствуется. Если бы собрались воедино ее моторизированные части, проспекты Ленинграда не могли бы их вместить.

Эти кратчайшие годы прошли и проходят под лозунгом, необыкновенно простым с виду и чрезвычайно сложным по существу его содержания: «Не было — есть». Недавно у нас не было металлургии, не было химической промышленности, не было машиностроения. Сейчас это все есть. Почти во всем мире техники, в каждой ее области может быть провозглашен этот гордый лозунг: «Не было — есть».

Но тот же лозунг живет и действует не только в мире техники. Откуда взялись сотни тысяч рабочих, управляющих сложными машинами? Откуда взялись армии педагогов, которые обучают необходимым научным дисциплинам? Как утоляется жажда знания, охватившая миллионы крестьян? Недавно уровень культуры этих миллионов мог быть назван первобытным. Сейчас он растет неудержимо ввысь.

Все это — лишь начало движения. Но какое бесстрашное начало!

И в какой фантастической прогрессии обещают расти силы, так властно раскрытые революцией.

Так обстоит с великими возможностями в настоящем. В прошлом это были курьезы, бредни или — в лучшем случае — тщетные надежды богоискателей. Сейчас это обыденная, но чудесная жизнь множества народов, собранных под знаменем, которое каждую секунду напоминает о себе Европе.

Уже нет ничего забавного, развлекательного в великих возможностях нашей страны. Рушится экзотическое восприятие ее по отрицательным признакам.

В России не было дорог. Европейец ездил в Россию смотреть, как в ней нет дорог. Он ездил смотреть — чего в ней нет. Он создал приключенческую литературу на том, чего в России нет. Литературу походов по бездорожью и беспутце.

Теперь европейец подсчитывает, что у нас есть. Он приезжает к нам смотреть — что у нас есть. И у нас обнаруживаются странные вещи. Мы вывозим сложные машины. Мы собираемся вывозить чугун. Наши возможности беспокоят, а не забавляют мир. Улыбка на его лице, когда-то вызванная Иванушкой-дурачком, исчезла.

Мир понял, что больше мы не пополняем «смеси» анекдотами о пропавших поездах или найденных богословах. Мир знает, что мы открыли и начали писать новый том человеческой истории».

XVII. КУРОРТ

Утром, после звонка, опоздавшие со смехом бежали по узкому, как кегельбан, коридору в столовый павильон. За окнами светился морской залив, пляж пустынно призывал к отдохновению. Места за столами были заняты, подавальщицы в белых халатах разносили яйца, кашу, закуски, доктор солидно надзирал за своим животрепещущим хозяйством.

Молодежь начинала хохотать с утра. Старики всматривались в вещи уважительно, точно каждую минуту сравнивая их с прошлым и отдаваясь воспоминаниям.

Женщина в ситцевой кофте с кружевами на вороте и рукавах, кончив пить чай, стряхнув соскратерти крошки в ладонь и высыпав в блюдце, осматривает павильон. В поворотах ее головы, во взглядах — медлительная важность. Высокий, круглый лоб, умный и женственный, в веснушках около пробора сильных прямых волос разглаживается, покрываясь белыми следами морщин.

— Я всякий день хожу на море, — степенно говорит она соседу, не глядя на него. — Мне море нравится.

Так происходит знакомство, и они идут вместе в парк — дородная женщина с платком через руку, бахрома которого слегка волочится позади полных икр и задевает за французские каблуки, и мужчина — пониже ее, узкоплечий, в белой морского кроя фуражке.

Сосны по-утреннему свежи, колкий, бодрый воздух немного кружит головы, розово-желтые теплые лапы солнца вздрагивают на стволах, дорогах и тропинках. У поворота аллеи пристроился весовщик. Он улыбается, приглашая больных взвеситься за доступную

плату. На его подбородке шевелится хитро подстриженная эспаньолка, похожая на анютин глазок.

Женщина взбирается на платформу весов и стоит, скрестив руки. Раз а три весовщик добавляет гирьки, пока рычаг не балансирует на восьмидесяти восьми килограммах. Больная разочарована: доктор прописал ей сбавлять вес, а она прибавляет.

— Это не так уж много, гражданка, для вашего сложения, — успокаивает весовщик. — Вы после завтрака? Позвольте, я отмечу на билетике — после завтрака.

На весы становится мужчина. Его вес, наоборот, убывает.

— Это не так уж мало, гражданин, для вашего роста, — участливо говорит весовщик. — Вы после завтрака? А прошлый раз были после обеда?

Анютин глазок под его губою шевелится, он любезно рекомендует:

— Сохраните ваши билетики, граждане.

Больные направляются к главному зданию. По лестнице, уставленной пальмами, они входят в коридор с нумерованными высокими дверями. Кругом все бело и воздушно. Из-за дверей пахнет озоном, электроразряды дробными щелчками доносят музыку физиотерапии.

Новые знакомые попадают в кабинет одновременно. Их разделяет белая ширма. Мужчина укладывается на кушетку. Женщина восходит на стул Франклина: она страдает головными болями. Она вытаскивает шпильки из прически, распустив по груди могучие рыжевато-каштановые волосы, лежащие тяжелыми концами на колени. Она перебирает волосы с привычным удовольствием. Медицинская сестра дает ток. Женщина говорит:

— Я тут у вас все пройду...

— То есть как — все? — спрашивает сестра.

— А так: диатермию я прошла, ванны беру всякий день, душ получаю, на франклине сижу... Не знаю, чего еще у вас есть...

Мужчина произносит за ширмой:

— Уж это некультурно — ставить задачу обязательно взять все, чего здесь ни имеется. Так можно себе нанести вред.

— Разве я самочинно? — откликается с франклина женщина. — Мне попался такой доктор добрый: не беспокойся, говорит, товарищ Конная, мы добьемся, что тебяотремонтируем!

— Не мытьем, так катаньем, — хохочет мужчина, и сестра улыбается его хохоту, и сама больная на франклине подхватывает смех. Ее волосы поднялись снопами и огненно трепещут, охваченные струей электрических искр, и она восседает, подобная странной смеющейся Медузе-Горгоне.

Потом знакомые идут на пляж. По неаполитанской желтизне песка раскиданы человеческие тела, выделяясь на нем коричневыми пятнами, подпестренные многокрасочными лоскутами купальной одежды, неподвижно отдающиеся солнцу.

Мускулистый парень, облокотившись на песок, сдирает с груди шелуху сожженной солнцем кожи. Из-под прозрачно-вощаных ошметок появляются ярко-розовые полосы тела.

— Ишь в какую тигру обратился, — сочувствует товарищ Конная. — Небось больно?

Парень, сощурившись, оценивает подошедших, раскрывает мелкие, ровные, как сахар, зубы и весело отвечает:

— Ничего! Мы — молодые. Обрастем новой!

И он опять сосредоточенно принимается сдирать шелуху.

Ни товарищу Конной, ни ее деликатному знакомому не разрешено сидеть на солнце, и они поднимаются с пляжа на аллею из низкорослых деревьев и кустарника и отыскивают скамью под вербой.

— Такие злоупотребления от необдуманности могут нанести вместо пользы вред, — поучает мужчина.

— Просто — некультурно.

— Некультурно, разумеется. Но также от молодости. Я прошлый год был отправлен на лечение в Железноводск. Там, знаете, три разных источника. Медицина применяет их от разных болезней. Со мной

в комнате проживал один молодой металлист, с квалификацией. Так он, знаете, всякую воду пил, из всех источников. Я ему говорю: что ты делаешь? А он мне: жалко, скоро уезжать, может, больше не придется попить. И, знаете, прямо четвертями глущил, с утра до ночи...

— Некультурно.

Они смеются добродушно, довольные, что понимают толк в лечении и отдыхе, что лечение и отдых — их достояние, что они здесь, как повсюду, — дома.

Крепостные форты защитно поднимаются над водою, глядя на запад, в залив. За кунолом кронштадтского собора дымят заводские трубы. По-северному кучно наступают с горизонта маленькие облака мягких серых полутонов. Берег оторочен нагнутыми морским ветром голостволыми соснами. Под их оградой жмутся дачные селения, пересекаемые прямым шоссе, кое-где завитым кудрями пыли, поднятой автомобилями.

Далеко на шоссе, по направлению к курорту, обгоняя грузовики, мчится вишнево-окрашенный авто: Филипп ван Россум и Клавдия Андреевна совершают утреннюю прогулку.

Это была идея Филиппа. Два дня Клавдия не выходила из своей комнаты под предлогом нездоровья. Франс был мрачен, что объяснялось заботой о дорогой супруге. Филипп выжидал. С вечера он был принят больной хозяйкой, сострадательно выспрашивал ее о самочувствии, как ничего не понимающий доброжелатель, и предложил с утра поехать за город: все снимет как рукой.

Они раскрыли окна, сквозняк трепал их волосы. Попытка Филиппа поболтать кончилась неудачей. Больше полпути проехали в молчании. Затем пришлось выйти из автомобиля, потому что ремонтировалось шоссе и дорога обок с ним лежала в крутых ямах.

Рабочие сидели на кучах щебенки и, обняв ступнями, замотанными в тряпье, камни, дробили их размашистыми ударами молотков. Автомобилисты обо-

гнули кучи щебня, осторожно ступая. Пока они шли, работа, постепенно замедляясь, остановилась. В неожиданной тишине Клавдия расслышала голос рабочего:

— Не нашенские...

Усевшись в авто, она вдруг заговорила:

— Ужасно подумать: я умру, а кругом будут ходить такие же рваные, такие же грязные.

— Нет. Будут ходить еще грязнее, еще рва... как по-русски? — сказал Филипп.

— Почему?

— С каждым десятилетием будет труднее добывать хлеб наш насущный. Это — по-русски?

— Это из «Отче наш».

— Я каждый язык изучал по молитвам и библии: одно и то же содержание, и не надо думать о смысле.

Он покосился на нее. Она не улыбалась. Ее нельзя было рассмешить. Она думала не только о смерти, но даже о том, что кто-то там после ее смерти будет ходить в лохмотьях. По мнению Филиппа, это было не только уныло, но и противоестественно.

— Помните, — сказал он, — у нас вы не видели таких картин.

— Неправда! — оборвала она, с необъяснимой дерзостью глядя на него. — Я видела в Лозанне, на вокзале, и это видел Франс, мы вместе возмущались. Там работали... не знаю, как называется... они подбивали мелкий камень под шпалы, кирками, чтобы поднять рельсы, что ли. Там поезда проходили почти каждые пять минут. Их было много, рабочих, целая толпа. Они торопились побольше сделать в промежутки между поездами. Они кидались работать, чуть только отходил поезд. Я никогда не забуду: там был один по пояс голый. Он, наверно, не умел работать и был смертельно болен. У него билось сердце так, что проступали все жилы на шее. Они пульсировали страшно, и он дышал... нет, он не дышал, он задыхался! Он бил, бил этой дурацкой киркой в камень, торопился, промахивался. Он больше всего боялся, что его прогонят. Над его душой стоял надсмотрщик. Руки в карманы, и бесстыдно не сводил с него глаз.

Хотел придаться. Это было мерзко. Бесчеловечно! Унизительно!

Она не могла остановить своих восклицаний. Она, кажется, решила, что Филиппа можно немедленно переубедить насчет условий труда в Европе. Приступ патриотизма как результат запоздалого раскаяния — так это понимал Филипп. Молодая женщина ищет выхода. В ней бродит протест, пока рассудок не примирит ее с неизбежностью. Да, да. К счастью, человек обладает здравым смыслом. А здравый смысл расчетлив. Желанье приспособиться, остаться в привычной обстановке — вот что такое здравый смысл. Вспышка недовольства, игра в оппозицию — кратковременное преобладание звериных пережитков над мудрым холодом рассудка. Единственная вещь в состоянии подсказать правильный ход — это выгода. Выгода призовет Клавдию туда, где ей следует быть, — так считал Филипп. Поэтому он не спорил, а дал Клавдии остыть и приумолкнуть.

— Не могу понять, — невинно сказал он, — сделали ли вы раздражители от болезни, или заболели от раздражительности?

Клавдия не ответила.

— Франс тоже стал мрачным последние дни. Натягается на все, точно слепой. Если с ним что-нибудь случится, с Франсом, то...

— А если случится что-нибудь со мной? — опять дерзко сказала Клавдия.

Вместо того чтобы рассеять, Филипп затягивал ее мысль еще туже петлею, из которой она хотела вырваться. Не хватало, чтобы он прямо назвал имя Рогова или спросил бы — что за крики раздавались в кабинете Франса после того несчастного завтрака.

В ее нестерпимом унижении, не дававшем ни секунды покоя сердцу — брошенному на пол, затоптанному, раздавленному сердцу, — кого должна была она винить больше: Рогова? Франса? Рогов лишил ее сразу всего. Ей нравилась таинственная прелесть связи с ним. У нее был любовник. Она должна была скрывать это, прятать украденный и, значит, — она верила в это, — сладчайший кусок счастья. Рогов

грубо раскрыл тайну, швырнул ее на растерзание в чужие руки, безжалостно, нелепо. Клавдия дорожила своею жизнью. Она сделала жизнь собственными руками, вылепила ее, связала себя с Франсом. Она любила Франса. И Рогов отнял у нее эту жизнь, эту любовь, не имея на них права, потому что она, Клавдия, дала ему право быть любовником, а права мужа оставались, да, оставались нераздельно за одним Франсом. Рогов разбил две судьбы Клавдии: ее судьбу с ним и судьбу с Франсом. Она ненавидела Рогова, посмеявшегося отнять у нее все! Она ни за что не пошла бы сейчас к Рогову. И она не могла оставаться с Франсом — с дикарем, с обезьяной в шелковой рубашке, с животным, которое проползло на четвереньках сквозь цивилизацию, чтобы топтать Клавдию подлым копытом, чтобы орать нечленораздельно и бить, бить ее, Клавдию, по груди, по голове, о боже!

Что она должна была делать? Она принадлежала, да, да — принадлежала! — ван Россуму. Это значилось в документах, в бумагах, как в купчих крепостях — супруга, жена, баба Франса ван Россума! Он волен был обращаться с нею как хотел, — вязать и разрешать. У нее не было защиты. Да разве она могла бы признаться какому-нибудь защитнику в своем позоре? Ей все время хотелось закрыть лицо руками. Она через силу смотрела на свет. Лучше всего она спряталась бы в каком-нибудь темном углу, в чулане, под лестницей, чтобы никого не видеть.

И когда, в Курорте, она вышла из автомобиля и, перейдя через полотно дороги, попала в людскую толчею, ей все казалось, что каждый человек смотрит на нее насмешливо или с оскорбительным участием: вот она, которую муж бьет по лицу!

Подошел дачный поезд, платформа и деревянный вокзал заполнились приехавшими, к выходу в парк влекла разгоряченная летняя толпа.

Лишенный возможности двинуться по своей воле, отвернуться или хотя бы посмотреть в землю, чтобы притвориться рассеянным, Филипп столкнулся лицом

к лицу с Сергеем. Тот высился над толпою на полголовы, и не заметить его было нельзя. Они поздоровались, кивнув друг другу и не скрывая удивления.

Рядом с Сергеем Филипп увидел голову в черном берете, косо надвинутом на висок. Из-под берета выглядывал белый рантик перевязочного бинта.

Филипп с удовольствием узнал Шуру. Она похудела, коротко обстриженные волосы и эта худоба делали ее схожей с мальчишкой, кончик носа приподнимался словно еще задорнее.

Сергей охотно разминусь бы с Филиппом: не о чем было с ним говорить. Он даже попросту удрал бы. Но какое-то чувство ответственности отрезало ему бегство. Он зарядился терпением. Времени у него было довольно. Он стал отвечать на расспросы Филиппа подробно, как гид.

Шура выздоравливала. Сергей сопровождал ее лично, чтобы поскорее устроить на Курорте, где она будет лечиться электризацией. Совершенно верно, страховая касса будет бесплатно и лечить и содержать Шуру, так же, как всех рабочих и работников, которых здесь видит Филипп. Нет, страховые премии в Советском государстве вносит работодатель, что, вероятно, Филиппу известно по концессии. (О да, ему хорошо известно!) Никакой разницы между советским и иностранным предпринятием закон на этот счет не знает. (Ну, предоставьте судить об этом иностранцам!) Нет, Шура получила бы место на Курорте без всякого постороннего содействия, без протекции, если бы не было исключительной срочности. Да, здесь применяются главным образом физические методы лечения, и коечных больных здесь нет. Почему попадают больные в халатах? Вероятно, эти больные содержатся на более строгом режиме и им приходится часто полеживать.

Тут слово берет Филипп. Ему давно бросается в глаза известная беспринципность в одежде вообще. Он не имеет в виду скромность или недостаток одежды, что вполне естественно. Нет. Но вот посмотрите на того молодого человека — как он одет? На нем теннисные туфли, носочки на резинках, кото-

рые не принято демонстрировать открыто, вероятно — футбольные трусики, затем сетчатая фуфайка и в довершение — азиатская парчовая тюбетейка. Или вот тот мужчина — в галифе, в кавказских чуваках, в украинской рубахе и без всякого головного убора — бритый. Филиппу странно, что государство не введет в этой важной области никакой регламентации. Важной, ибо определенные правила ношения одежды действуют организующе на сознание, дисциплинируют его, бесспорно. Что скажет Сергенч?

Он скажет, что непринужденность, особенно на отдыхе, очень уместна. И что регламентация в таком деле вредна, потому что посягает на личные вкусы, стесняет индивидуальность.

— Индивидуальность? — громко спросил Филипп и приостановился, явно требуя немедленных разъяснений.

Но Сергенч продолжал говорить о том, что первый протестовал бы против внедрения в эту область какого-нибудь американизма. Ведь известно, что, если в Чикаго весною американец появится в летнем костюме, смельчака не только освищут, но при случае даже побьют. Стандарт непременно должен привести к такому идиотизму. Конечно, к френчу не очень подходит фетровая шляпа, но они в конце концов как части в машине — притрутся.

— И потом, мы сейчас еще не можем одеваться так, как вы, — вдруг сказала Шура, пробежав взглядом по платью Клавдии.

— Конечно, не можете. — Клавдия знала это лучше, чем кто-нибудь другой.

Она говорила на чистом русском языке, эта иностранка по виду! Шура была поражена. Больше того: иностранка оказалась настоящей русской! Как же она могла выйти за голландца? Значит, она... Значит, Шура разговаривала с настоящей белогвардейкой? Не иначе! Живая, а не газетная и не книжная белогвардейка сидела с Шурой на курортной скамье. У Шуры забилося сердце. Спросить прямо — вы белогвардейка? — она не решалась. С нею рядом нахо-

дится Сергеич, который знал, что делал, который был учителем во всем. Она не могла соваться со своими вопросами, когда Сергеич обстоятельно рассказал о Курорте, как будто слушали самые порядочные советские люди. Но она ощущала всеми порами, что не ошиблась. У нее проступили слезы — не от растерянности, а от физической боли: в волнении она, по всегдашней привычке, вздернула брови, а операционный шов на виске мешал этому движению, боль сразу расплывалась по всей голове, слезы навертывались на глазах.

— У вас очень болит? — спросила Клавдия.

— Нет, — ответила Шура, а ей хотелось ответить: ну, и что же? Ну, и пусть болит! А я вот не белогвардейка, а честная комсомолка. И если бы с нами не было Сергеича, я сейчас пошла бы куда следует и сказала бы, кто разгуливает по Курорту, да! Еще неизвестно, позволят ли вам разгуливать, да и вообще — вот туг в одном шаге граница!

И правда, в одном шаге была граница, и когда двинулись по пляжу, к столбу, Шура заявила решительно, что предпочитает гулять по аллеям, в тени и не намерена поджариваться на солнцепеке. На что Сергеич преспокойно сказал, что рано утром нашел хорошую дорогу вдоль границы. Чудесно для прогулки. Этого не доставало! У Шуры опять заслезались глаза.

На щите, прибитом к столбу, все четверо прочитали: «Государственная граница Союза Советских Социалистических Республик» и увидели знакомый герб — из молота, серпа, хлебных колосьев, нарисованный черной краской. Поодаль на колышке торчала выцветшая доска с надписью: «Дальше не ходить».

— И что же, не ходят? — спросил Филипп и повел головою на пляж, испещренный людьми.

— Зачем?

— Я думаю — не бывает ли случаев ухода туда? — Филипп показал в финляндскую сторону.

— А как вы насчет наших пограничников?

— Ого! — поддержала Сергенча Шура. — Да и кто позарится туда переходить? Разве — белогвардеец какой...

Клавдия смотрела под ноги: идти приходилось осторожно, зыбучий песок то и дело черпался туфлями. Красные пятна проступили у нее на щеках.

Проволока тянулась через дюны, намертво заглазывавшие хилый кустарник, потом — зарослями ольшаника и вязков перебиралась через овраг и исчезала в сосновом лесу. В парк вбегала река Сестра, мелководная, в оголенных обрывистых берегах. На отмелях лежали мокрые деревянные ловушки для рыбы, финн с трубкой-носогрейкой во рту перетрясал их, в надежде на заблудившегося лещенка.

В аллеях встречались курортники, парами и кучками, смех и прибаутки шли за ними по пятам.

Филиппу что-то не нравилось в них. Он опять заметил больного в красно-сирпковом халате с полосками, как на матрацной обивке. Ему вспомнились курорты, на которых последнее время он отдыхал, и он стал всматриваться в воспоминания.

Он увидел Жаннет. В синих снегах Сан-Морица слепительно желтеют ее зимнее платье, шапочка, шарф. Филипп играет с ней в кёрлинг. Ледяной каток отражает солнце, как в стекле. Игра состоит в катании по льду снаряда, напоминающего портновский утюг с чуть закругленными краями днища. Игрок толкает снаряд, хорошенько раскачав. В конце второй трети поля катящийся снаряд встречается партнером, расчищающим лед метелкой, чтобы уменьшить трение. Жаннет пятится перед скользящим утюгом, торопливо перебирая ногами и шаркая по льду метлой. Филипп следит за ногами, за хлопающей по ним юбочкой Жаннет.

На кёрлинг являются Юстус Эльдеринг-Гейзер в сопровождении своей молодой супруги. У него собственный замок в Сан-Морице, и он считается чем-то вроде природной достопримечательности самого фешенебельного горного курорта Швейцарии. Они здороваются. Эльдеринг-Гейзеру и его обаятельной даме приносят утюги и метлы. Партнеры мало занимаются

друг другом и почти не разговаривают. Это — лучший вид спорта для брюшного пояса. Разговоры здесь излишни. Ван Россум к концу курса становится стройным юношей. Жаннет тоже худеет. Преданная женщина.

И вот Филипп видит себя на отечественном курорте, в Схевенингене, на этом Лидо Северного моря. Рано утром приходит массажистка для общего массажа. Процедура длится час. В этот час Филипп не думает ни о чем деловом. Он сохраняет свою голову в том состоянии гигиенической чистоты, в какое ее привел сон. После массажа Филипп завтракает у окна, выходящего в море. Начинаются наблюдения. Они касаются главным образом природы. Филипп старательно ищет что-нибудь новое и необыкновенное, на чем мог бы остановиться взгляд. Но все устранено из его кругозора. Ни одного человека вокруг. Оконная рама, цветы, дорожки, пустой пляж, море. Вон как будто мелькнул садовник. Но он сейчас же присел за георгинами: служащим предписано не нарушать покоя отдыхающего Филиппа ван Россума...

Здесь, на советском курорте, не было недостатка в наблюдениях. Во всех людях, не исключая облаченных в халаты, Филипп отыскивал нечто общее, но каждый встречный наводил его на самые разнообразные мысли. В конце концов ему надоела пестрота окружения и пестрота мыслей. Но сразу освободиться от того и от другого он не мог.

Люди Схевенингена и Сан-Морица раз навсегда утвердили настоящее и не обещали никаких перемен. О любом человеке Филипп мог бы сказать — кем он был и в чем состояли его стремления. Здесь же каждый прохожий чудился Филиппу загадкой: кто он? что с ним будет? кем он станет? Сотни людей, которых успел увидеть Филипп, неудержимо мчались в будущее, даже не замечая, что по пути они усваивают до сих пор им несвойственные навыки, неузнаваемо превращаясь в новых людей, точно оборотни в сказке.

Вот прошли смеющиеся молодцы с гитарой и песнями. Филипп посмотрел на их рты. Зубы слишком

крупны, слишком редки. Не во вкусе Филиппа такие зубы. На двоих — очки. Нет. К ним не идут очки. Филипп нашел неожиданным очки на таких лицах. Он не сказал бы, что лица — деревянные. Но они словно вырезаны скульптором по дереву. Это и есть носители новых идей, новой философии? Нет, Филипп полагал, что для философов подобные лица чересчур самодовольны. Откуда здесь вообще взялись довольство и удовлетворенность? От ограниченности? Филиппу внезапно все курортники начали казаться антипатичными. Особенно женщины — невероятно! Нет, с Филиппа достаточно такой прогулки и этих самых наматрачников! Уж лучше безлюдие Схевенингена. Да, лучше...

Он поглядел на Сергенча. Не собирался ли тот расстаться?

Но Сергенч не выказал нетерпения. Наоборот. Он с интересом и даже с гордостью посматривал на встречаемых.

Вот прошли смеющиеся молодцы с гитарой и песнями. Сергенч, сам не замечая, улыбнулся при виде их оскалов, которые весело высвечивали из больших ртов. Лица были мужественно-непреклонны и открыты. Двое — в очках. Наверно — студенты или аспиранты. Уже легли прямые морщинки между молодых бровей. Сколько воли за этими морщинками!

Сергенч обернулся. Молодежь притопывала на ходу в такт музыке. Правильные ребята, ей-богу! У него слегка закусало в горле: эх, скинуть бы с плеч лет двадцать и начать жизнь вровень с этими молодцами. А то набралось уже за сорок, и не так-то просты были годы...

Шура поторопила его. Он догнал ее широкими и легкими шагами.

Обойдя весь парк, спутники распрощались. Сергенч справился, как обстоят дела на концессии. Он читал в газете о забастовке рабочих, и в его вопросе Филипп усмотрел что-то щекотливое.

— Мы с этой историей скоро покончим, — неопределенно ответил он.

— Я тоже думаю: откажетесь от концессии и начнете торговать советским лесом. На наших заводах товар, как говорится, — сахар!

— Благодарю вас.

В авто, растянувшись, Филипп стал принуждать себя забыть все, что ему не понравилось на Курорте. Это было не так легко, голова отягощалась упрямыми и совершенно ненужными картинками. Халаты колыхались перед взором. Он закрыл устало веки. Но и это не помогло. Он понял, что ему нужно постороннее участие. Он нащупал руку Клавдии. Как мертвые лежали ее пальцы. Он взглянул на нее. По ее щеке скатывалась большая, круглая, как у ребенка, слеза.

Вдруг, точно озаренный солнечным светом, Филипп решил, что во всех неприятностях, огорчениях, может быть несчастьях, виновно единственное существо — упорное, несговорчивое, жестокое, заносчивое, и это существо — Сергеич! Он вмещал в себе все отталкивающее и неприемлемое. Он был зловредеи!..

Сергеич же не думал о Филиппе. Он безболезненно забыл о нем. Он был заполнен Шурой, потому что надо было уезжать, оставив ее одну, а он хотел что-то выяснить, о чем-то договориться.

Вечером он сидел с ней на ближней к морю аллее.

Рука в руку, цепочкой, работницы брели по пляжу и на три голоса пели:

...ты поклял-си
любить ме-е-е-
ня веч-но...

Рабочие с ближних скамеек кричали им:

— Вы с которой прядильной фабрики?

Они голосили, хохоча:

— Мы фабрич-ные, мы завоц-кии!

Закат румянил их спины и головы, они двигались спокойные, слитные, как одно большое, теплое, плывущее тело.

Сергеич сказал:

— Как сейчас мои малыши поживают?

— Бабушка говорила, она за ними присмотрит.
— Но все-таки, когда ты заходила — им было веселее. Они тебя любят.

Шура подождала немного.

— А что теперь Володя делает? — вдруг весело спросила она.

Сергеич промолчал.

ХVIII. ПОДОЗРЕНИЕ

Рогов сразу узнал автомобиль, затормозивший перед подъездом Эрмитажа. Клавдия, в темно-красном платье, поднялась под кариатиды и, при входе, исчезла в толпе экскурсантов.

Рогов стал. Последние дни не было минуты, когда он не решал бы вопроса — дожидаться ли прихода Клавдии, или опять явиться к ван Россумам, чтобы увести ее от них, как упрямого ребенка. Он думал, что разрубил привязь обмана, державшую Клавдию, взорвал видимость благополучия, которым — возможно — обольщался Франс. А Клавдия не подавала никаких признаков жизни, как будто и следа не осталось от трагикомической, древней, как мир, сцены с портьерой. Муж, жена и любовник. Нет. Этот театр был невыносим!

Рогов взошел на подъезд Эрмитажа. Пробиваясь сквозь толпу к вешалке, он легко отыскал красное платье Клавдии. Она уже входила в зал скульптуры. Рогов пошел следом за нею.

Она шагала довольно поспешно для человека, только что ступившего в музей. Скульптуры не слишком занимали ее. Она остановилась раза два, сравнивая головы фидисвских Афин. Впрочем, в ее взгляде не было ни пристальности, ни глубины. Так, пожалуй, кончают осмотр музеев. Она заглянула во второй зал. Но вдруг пошла назад.

Рогову не захотелось сразу подойти к ней. Как уже случалось с ним, он видел ее опять новой — такой стройной, такой простой. Только в расцвете юно-

сти женщина могла двигаться с легкостью Клавдии. Он шел за нею.

Она задержалась у выхода. Глядя на Афродиту Таврическую, она в первый раз сосредоточилась и стояла отдыхая, как человек, которого искусство утешает. Потом она пошла к главной лестнице. Красный ковер возводил по трем маршам ступеней к залам живописи. Трехцветие мрамора вмещало в себя пространство, подготовлявшее к таинствам галерей: белые ступени, желтые стены пролета, серые колоннады над ним.

Никого не было на лестнице. Ковер поглощал шаги. Рогов поднимался за Клавдией несколькими ступенями ниже. Опять его влекло то первое покоряющее впечатление, которое осталось от Елены и необъяснимо жило в сердце. Пусть лестница была бы в сто раз выше: не останавливаясь, Рогов шел бы по ней, как счастливец, в поющем волнении, глядя в эту спину, чуть колеблющую платье, на это платье, открывающее ноги, на эти ноги, чуть касающиеся ступеней. Он из всех чувств хотел бы, чтоб лестница не кончалась никогда. Мягкость ковра усиливала возбуждение, естественно испытываемое крадущимся человеком. Он испугался, что перед входом в галерею Клавдию потянет посмотреть вниз и она обнаружит его.

Но Клавдия, на секунду замедлив шаги, неожиданно повернула за правую колоннаду и пошла вдоль ряда новых скульптур. Рогов дал ей миновать первые статуи и потом осмотрительно двинулся, придерживаясь колонн.

Он удивился — с каким благоговением Клавдия стала разглядывать Флору мастера Тенерани — девочку чистоты цветка, с немного вздернутыми плечиками, едва развившейся грудью и нежным животом. Когда, изучив скульптуру, Клавдия пошла дальше, Рогов осмотрел Флору с напряженным вниманием, словно разгадывая мысли, какие мог вызвать в Клавдии мрамор. Так же, как она, Рогов зашел к окну и оценил тонкую шею, детский затылок и спину маленькой покровительницы цветов.

Так они шли, и Рогов почти с точностью повторял движения Клавдии, стараясь, чтобы она не заметила

его. Эта странная игра увлекла его скрытым, беспокойным волнением. Позади них остались однотонные безразличные фигуры Психеи, спящей вакханки, пряхи и еще одной Психеи.

Тогда Клавдия остановилась перед Телемаком француза Бьенеме. Расстояние между нею и Роговым сократилось, она должна была увидеть его. Он встал у колонны, скрывшись за яшмовою вазой.

Телемак закинутой рукой снимал через голову меч. Он разоружался. В ногах его уже стояли сброшенные доспехи — латы и шлем. Телемак был свободен от одежды, молодое его тело приготовилось к отдыху, ни один мускул не был связан усилием. Его голова напоминала голову Давида Микеланджело, и он был, как Давид, юн.

Взгляд Рогова, не отрываясь, следовал за взглядом Клавдии. Они вместе осматривали рот Телемака, его плечи, бедра, его ноги. И почти в одно мгновение Клавдия обернулась, и Рогов, оттолкнувшись от перил, шагнул ей навстречу.

Она вскрикнула и прикусила губу. Зажав рукою глаза, она хотела уйти. Он удержал ее и повел вперед. Это был безлюдный угол музея, они не встретили никого. Они обошли лестницу по противоположной стороне, между таких же серых колонн и таким же рядом скульптур, которые, казалось, никогда не могли бы заинтересовать их. Они спустились по тем же ступеням, по которым поднялись. Они вышли на главный подъезд.

Клавдия брела в оцепенении, повинаясь Рогову. Но на улице, увидев автомобиль, она почти рванулась через дорогу. Он опять насильно удержал ее. Они вместе приблизились к автомобилю.

— Отпустите шофера, — сказал Рогов.

Она потянулась к дверце. Рогов отвел ее руку.

— Отпустите его, — жестко повторил он.

Неуверенным голосом она приказала шоферу ехать домой: она решила идти пешком.

Когда они снова остались одни, Клавдия спросила, опомнившись:

— Но куда же, куда?

— Все равно. Ты должна быть со мной!

Он не выпускал ее. словно добычу, он тянул ее по набережным каналов, сам не зная — куда. У него не было плана. В нем пенилось чувство, родившееся только что, около холодных скульптур. Он выслеживал ее, крался за нею, исподтишка разгадывал ее тайные желания, изучал ее слабости, напал на нее и увлек, как добычу, — какой же мог быть нужен план? Все кончено, все осуществилось! Он чуть не задохнулся от торжества.

Тогда Клавдия высвободилась из его костлявых, грубых пальцев и потеряла руку между локтем и плечом, — те места, где они бесцеремонно жали.

— Это наконец скучно, — сказала она. — Но все равно. Один раз и навсегда я должна договориться с вами. Я не хочу назад. Слышите? Я не хочу назад! — настойчиво повторила она.

— Говори проще. Говори все что хочешь. Но — просто. Почему — «вы»?

— Я не хочу назад. Я обливаюсь потом от страха. Я не хочу. Мне скучно.

— Успокойся.

— Ах, перестань, перестань! Со своим спокойствием. Не напускай на себя. Ты — как поп. Как квакер. Ты хочешь все понимать. А понимать всего нельзя, нельзя! Нельзя, слышишь? Ты хочешь убедить меня, что тебе все ясно и что это хорошо — твоя ясность. А я не хочу. Я не хочу ясности! Я ненавижу, когда ясно! Ненавижу!

Слезы начали давить ей горло. Но она не переставала:

— Ты не умеешь быть веселым. Ты заставляешь себя рассуждать. А веселье — это безрассудность. Всегда — безрассудность! Ты думаешь, что все в жизни должно быть окраплено твоей святой водой? Ты так и расхаживаешь с кропилом, чтобы везде святить. А я не хочу. Я не хочу с тобой. Я не могу!

Она стихла и отвернулась от Рогова.

— Ты мне нужен, когда тоска, когда я плачу. Но не могу же я вечно плакать! И не хочу! Я погибну без Франса, погибну...

Когда этот припадок сопротивления кончился, Рогов сказал:

— Я понимаю, что тебе так кажется... как ты говоришь. Но я знаю другую Клавдию. Совсем другую. Она не может быть согласна там, с ними. С твоим Франсом. Ведь ты сама мне признавалась. Верно?

Приняв ее молчание за отступление, он стал говорить, все больше огрубляя тон:

— Что же тебя отпугнуло во мне? Почему вдруг бунт против ясности? Что это? Ты предпочитаешь людей, которые ни о чем не хотят думать? Которые ничего не понимают? Которые колеблются, как ты? Таких ты терпишь. А которые отклебались? Они тебе не по душе? И, значит, все дело в том, что я не колеблюсь. Что я, как солдат, стою по одну сторону. И стою здесь, а не там. Так?

Он замолчал, дожидаясь ответа. Но Клавдию опять сковало оцепенение. Она смотрела вперед, не мигая, и шла ровными, словно механическими, безжизненными шагами. В ее прямой, затвердевшей выправке было что-то жалкое, как будто вслед за каждым шагом она должна была свалиться. Она ни капли не противилась, когда Рогов снова взял ее под руку.

— И еще, — сказал он. — Ведь ты забыла мое отношение к тебе. Мое...

Он оборвался и вдруг покраснел, как подросток. Внезапная догадка, что он должен был говорить совсем не о том и совсем не так, пристыдила его. Тогда он неуклюже и смущенно стал отыскивать слова, близкие волнению, которое его переполняло.

Он вслух припомнил замечательный рассказ норвежского писателя, прочитанный еще в ранней юности и не раз приходивший на ум. Это была история о молодом батраке, полюбившем дочь своего хозяина. Узнав о неугодной любви, хозяин избил батрака до полусмерти и прогнал со двора. Батрак насилию выжил. Ему было сказано в напутствие, что, если он еще раз попадется поблизости двора, пусть заранее прощается с жизнью. И вот, чтобы видеть

девушку, парень отправляется через озеро к скалистому берегу, считающемуся неприступным. Никто не мог подумать, что человек способен взобраться по обрыву такой отвесности и такой высоты. Но возможность свидания наделяет парня сверхъестественными силами, и он творит чудо: он вскарабкивается на скалу и опять держит в руках возлюбленную.

Может быть, именно эта сцена и привлекла писателя. Но неважно. Рогов признавался, что готов был лезть по любым камням, на любую вершину, чтобы быть вознагражденным, как тот крестьянский батрак. Наконец однажды, неожиданно и как раз в норвежских горах он встретил одну девушку, и — конечно — должен был бы взбираться к ней по утесам, и даже как будто рассердился на мальчишку, который предупредил его и полез по обрыву, чтобы услужить ей.

Там, в Норвегии, на конце света, вся эта ожившая история приобрела для Рогова особенное значение, потому что в то время, вместе с тою встречей он каждым своим нервом чувствовал себя связанным с миром. С миром, который был простерт перед ним и в котором, за пеленою расстояний, в окраске беспокойной и нарушающей обычность, открывались великие пространства. Рогов так хотел любить тогда, что уже не сомневался, что любит.

Но скалы, отделявшие его от возлюбленной, еще только предстояли ему. Он нашел их в Голландии, находил их всюду, куда вела его судьба, — Клавдия знает это. Он весь исцарапался, взбираясь по ним, — Клавдия видит это. Но он не хочет, ни за что не хочет поступиться своею любимой. Он будет из последних сил брать уступ за уступом, пока не добьется своего.

Клавдия сказала:

— Но ведь вовсе не я была твоею любимой, там, в Норвегии.

— Ты!

— Но если бы Елсна осталась жива?

— Ах, если бы, если бы!

Клавдия улыбалась. Лицо ее стало ярким, в походке появилась животная гибкость.

— Решено? — почти обрадованно спросил Рогов.

— Я подумаю.

— Я не дам больше думать.

— Немножко.

— Нет. Ты не так много думала, когда делала свой самый решительный шаг. Помнишь?

— Оставь. Я должна домой.

— Я иду с тобою.

— Пожалуйста! — засмеялась Клавдия. — Франс в Москве, твой визит не произведет такого ошеломляющего действия, как прошлый раз.

— Отлично. Тем легче и проще для тебя. Идем. Ты возьмешь из дома самое необходимое, и — он больше не будет твоим домом! Конеч!

Она смеялась громче и громче, то поддакивая, то выдумывая возражения, нагромождая чепуху. Она перестала пустословить только у дверей дома.

— Ну, прощай, — сказала она.

— Нет. Я говорю — нет.

— Ты серьезно?

Его неуступчивость становилась угрожающе назойливой, перебороть ее Клавдия была не в силах.

— Ну, хорошо, — обиженно согласилась она. — Заходи. Пожалуйста.

Она провела его в столовую.

— Подожди меня здесь... Я переоденусь. Потом... Словом — подожди...

Он остался один.

Он не верил, что Клавдия уйдет с ним. Но он хотел довести дело до конца. Ему казалось — он больше никогда не перенес бы ни этой неопределенности, ни этих унижительных уговоров. Он собрался ждать, пока Клавдия не выйдет к нему, чтобы проститься, иль — все же, может быть, бежать, бежать с ним навсегда.

Тревога сжимала его. Он хорошо знал, что, каким бы ни было решение Клавдии, он, Рогов, останется прежним. Лишь одна перемена ожидала его: если он не приобрел наконец личного своего счастья, то утрачивал его на всю жизнь.

В этот момент в соседней комнате прогудели мужские голоса. Одна створка двери в курительную стояла настежь, и Рогов увидел остановившегося к нему спиною широкоплечего человека в европейском костюме весьма отважного зеленого цвета и подчеркнутюго шика, с каким одеваются преуспевающие дельцы лимитрофных государств. Человек сразу же подался в сторону, шумно усаживаясь в кресло. Один голос Рогов узнал с первых слов, другой, судя по знакомому акценту ленинградских пригородов, принадлежал зеленому костюму.

— У меня трехгодичные договоры с крупнейшими обществами целлюлозных заводов, — говорил Филипп ван Россум.

— О, мы следим за вашей деятельностью, — отвечал зеленый костюм.

— Три года механизм должен идти, как часы. Я обязан обеспечить поставку.

— Обязаны обеспечить.

— Для этого я должен быть совершенно уверен в прочности сырьевой базы.

— Должны быть совершенно уверены.

— Я не могу примириться с этой лихорадкой!

— Абсолютно не можете примириться!

— Сегодня я теряю концессию, завтра — попадаю в зависимость от советских условий.

— В полную зависимость от советских условий!

— Я полагаюсь исключительно на их продажу, и, представьте себе, вдруг они не дают мне необходимого количества или нарушают сроки, а?

— Вы абсолютно правы! Я говорю, представьте себе — вдруг у них какая-нибудь перестройка всей системы трестов, или они меняют свой план. У них же — план! А вы должны платить неустойки из-за того, что у них — план!

— Правда, — понижает тон Филипп, — до сих пор Советы всегда работали корректно.

— Да, да-а! Но где же гарантии, что так же будет через год, через два, через три? Однако вы обязались поставлять баланс через год, равно как через два и через три!

— Концессия не всегда покрывала нашу потребность. Тогда мы покупали отдельные партии у здешних трестов. Они обычно справлялись с обязательствами удовлетворительно.

— Но в один роскошный день могут не справиться.

— Вы думаете — именно теперь?

— Именно да.

— Почему?

— Может случиться, что не справятся.

— Может случиться?

— Можно... м-можно ожидать, что не справятся. Вы, в вашем положении, вынуждены с этим считаться.

— Да?..

Рогову хотелось обратить внимание на свое присутствие. Он слышал каждое полуслово чужого разговора. Он собирался кашлянуть или, отодвинув стул, пошагать по комнате. Но его что-то удерживало на месте в неподвижности.

— Я могу легко убедить вас, что наиболее положительной базой являемся в Европе мы, — сказал зеленый костюм.

Он перестал вторить Филиппу. Его интонации, вместе с интимностью, приобрели вес. Он развивал наступление.

— Вы связаны с Англией, — сказал Филипп. — Она прекратит давать вашей стране уголь.

— Англия давно не ограничивается нашим лесом. Она покупает советский. Это развязывает нам руки.

— Настолько, что вы становитесь независимыми на внешнем рынке?

— Мы предлагаем обеспечить ваши поставки целлюлозным заводам договором с нами на любой срок.

— Пока еще я торгую своим лесом.

— Но ваша концессия...

— Пока еще я не занимаюсь брокеражем.

— Чтобы отстоять вашу концессию, чтобы действовать с успехом, вы неизбежно должны заготовить позиции, на которые можно отступить, с которых

можно бороться. Соглашение с нами дает вам эти позиции. Имеются ли у вас в настоящий момент действующие договоры с советскими организациями, кроме концессии?

— На транспорт.

— Где вы грузите?

— Здесь, в Архангельске, в Сороке.

— Они, конечно, не справляются?

— Более или менее.

— Их уступчивость зависит от затруднений. Затруднения легко могут возрасти.

— Сожалею, но это не вполне зависит от меня, — с усмешкою сказал Филипп.

— Напрасно вы думаете, — ответил его партнер. — Когда вы приобретете союзника...

— В вашем лице?

— Да, именно. Вы будете в состоянии порвать связи с Советами в любое время, опираясь на договор с нами. Это первое. Второе: вы сошлетесь на срыв погрузки ваших пароходов и...

— Простите, — прервал Филипп, — но это чересчур теоретично и незначительно — со срывом погрузки. Не хуже нас с вами здесь знают, что сейчас труднее всего — получить фрахт. Например, могли бы вы зафрахтовать мои пароходы, если бы я не работал с советскими портами? Кроме того, здесь нет никакой коллизии: нам платят демерпдж. И затем — погрузка все же идет, просто не так велики.

— Они могут увеличиться, — настойчиво сказал зеленый костюм.

— Это мне ничего не дает.

— Всякое затруднение одной стороны полезно для другой. Надо помнить: затруднения имеют свойство расти.

— Вы как будто предлагаете мне эти затруднения в компаньоны, — воскликнул Филипп. — Они подвластны вам?

— Если угодно... Вы ведь сами наблюдали, что происходит в Сороке? Хаос легко может углубиться... Мои агенты отправляются на север и посетят, между

прочим, Сороку и другие гавани. Я буду иметь картину, которая...

Голос снизился, и Рогов не расслышал всей фразы. На тихое бормотанье Филипп ответил смехом. Тогда бормотанье превратилось в свистящий шепот.

Это был бред, да, это был бред!

Где-то в закоулках памяти сохранялся у Рогова и теперь всплывал кошмар давнишней болезни. Над Роговым производят операцию — у него вынимают головной мозг. Он, Рогов, в виде своего мозга, лежит в глубокой тарелке. Хирургу смазывают руки йодом и надевают перчатки. Он подходит с ножом к мозгу, чтобы вскрыть его. Рогову нужно крикнуть, что мозг — это сам он, что его нельзя резать, потому что он жив. Но мозг не может кричать, он лежит в тарелке безмолвно и неподвижно, и доктор с ножом наклоняется над ним.

Рогов бредит этим кошмаром мозга в тарелке, не в состоянии двинуться, холодея и не чувствуя над собою власти.

Он подслушивает чужой разговор. Сдавлив дыхание, он старается поймать каждое «с» и каждое «ш», чтобы сложить их в удобопонятные слова. За обрывками восклицаний, за проглоченными подавленными междометиями он различает неумолимый холод логики. Жар чужой ненависти горит перед его глазами. Он сам досказывает то, чего не может схватить ухо. Сооруженье заговора поднимается перед ним с инженерной слаженностью. Агенты зеленого костюма бродят по Карелии, омерщвляя своими руками промышленность лесного севера. Корабли замирают на рейдах. Кошели и плоты бревен, разбитые волной, уплывают в океан. Цепи запаней с громом пушечного выстрела рвутся, отдавая славное богатство на произвол рекам. Зеленый костюм шепчет: затруднения имеют свойство расти. Филипп смеется: вы предлагаете их мне в компаньоны?..

Нет! Рогов не может подслушивать! Есть вещи, которые навеки останутся унижительными и подлыми. Рогов не читает чужих писем. Рогов не подглядывает в щелки. Рогов не подслушивает, нет, не подслушивает

чужих разговоров. Он должен встать и грохнуть стулом. Пусть знают, что шептанье мерзко. Что оно известно не им одним. Что оно разоблачено!

О чем они шепчутся? Почему говорили все время громко и вдруг притихли? Ясно: они поняли друг друга, они снюхались и теперь договариваются — как действовать.

Черта с два! Рогов даст им действовать! Рогов будет сидеть сложа руки, пока зеленый шакал подывает своим сородичам и ведет их, ночью, за поживой. Черта с два!

Рогов понимает, где он находится. Нога его не ступит больше через этот порог! Его предупреждал старый товарищ. Верно, дружище, ты прав! Рогов и сам всегда видел, с кем общался. Он соображает кое-что в географии. Он не такой профан в политике. Он предан своему долгу.

Почему же он сидит не шевелясь, не в состоянии ни слова разобрать из перешептывания в соседней комнате? Что его еще держит на этом стуле пыток? Боль в ноге, мерно потекшая от голени к ступне? Или, может быть, страх обнаружить свое бессилие?

Доктор с ножом в желтых пальцах наклонился над ним, а у него отнимается голос. Он хотел бы крикнуть, что оставляет в этом доме самое милое из всех созданий, самую страстную из всех надежд! А его горло залито свинцом, и свинец разливается по всему телу.

Он молчит и не движется.

Так идет время.

Но вот он поднимается тяжело и волочит большую ногу...

Когда Клавдия входит в комнату, Рогова уже нет.

ХІХ. МОСКОВСКІЕ ХРОНИКИ

В Москве, в «Метрополе» Филипп и Франс ван Россумы встретили швейцарца Касти.

Иностранцы жили по гостиницам неделями, иногда даже месяцами, и у каждого постепенно выра-

батывались известные привычки, ограниченные, в сущности, не слишком буйным городским бытом: балет, прославленные театры, два-три ресторана — это все. Иные чудачки ценят живопись — им, конечно, недурно побывать в музее западного искусства. У любителей фотографии хлопот полон рот. В вечных поисках типажа они носятся по окраинам города, нацеливаясь «контаксами» и «лейками» в точильщика ножей и ножниц, в вожатого пионеров, в ломовика, в красноармейца.

Инженер Касти, по обычаю своих родных кантонов, сказал об этих оптимистах грубо:

— Они заняты, как коровьи хвосты в летний полдень.

Определение пришлось по душе и Франсу и Филиппу. Тогда Касти решил потопить фотографов окончательно.

— Они не знают, чему отдать предпочтение, — сказал он, — старому или новому быту. Они хотят одной задницей сидеть на двух свадьбах.

Это рассмешило Франса. Филипп держался добрых правил и не поощрял вольностей.

Находились, разумеется, иностранцы, проявлявшие пристрастие к новшествам социализма. Тут было что поглядеть: охрана материнства, детские ясли, рабочие клубы, институты труда, коммуны былых преступников. Не считая коммунистов, рабочих делегаций, руководителей европейских профессиональных союзов и самых неожиданных английских леди, учреждениями социализма интересовались педагоги, студенты, ученые, журналисты. Большинство из них годами копили сантимы, пфенниги, центы и пенсы, чтобы с сердечным трепетом встретить одно чудесное утро на Красной площади, перед стеною Кремля.

Но деловым людям социализм был любопытен не восходом солнца над Кремлем. Социализм, как и всякий иной клиент, мог быть интересен и неинтересен. Он был интересен, если покупал и платил. И он просто не существовал, если не хотел делать покупок.

В привычки деловых людей входило сидение в кафе на террасе «Метрополя». Покуривая и потягивая

через соломинку сельтерскую, заправленную лимоном, деловые люди рассуждали о социализме. Если из усталых реплик следовало, что ничего хорошего социализм не обещает, это значило, что никаких шансов на заказ нет. Признание относительных достижений социалистического режима и, во всяком случае, — прочности советского строя означало, что заказ получить можно, но лишь на условиях долгосрочного кредита. Очень либеральный тон по отношению к социализму возникал в случае согласия заказчика на кратчайшие сроки платежа.

Это были опорные лейтмотивы музыки. Но она и угрожала, и баюкала, и вдруг начинала кокетливо заигрывать.

Так изредка на террасе «Метрополя» социальная революция, во главе с Москвою, не то что славословила, но как бы поощрялась.

На террасу «Метрополя» Москва наступала утробами ям, горбами щебня, клетками возвышающихся лесов. Касти вглядывался в строительную войну трезво и прямо, выискивая в российской «эй, ухнем» разрозненные проявления новшеств. Он говорил:

— Я видел, как здесь прокладывают электрокабели, трамвайные рельсы. Нет сора, грязи, все подметено. Инструменты сложены, как в магазине — один к другому. Специальные рабочие смотрят за чистотой.

— Это все еще не Америка, — сказал Филипп.

— Черты Америки. Здесь не собираются подражать слепо американцам или Европе, а перенимают самое целесообразное. Бизнес соединяют с чем-то местным. В результате получается социализм.

— Социализм! — пожал плечами Филипп. — Нельзя понять, что это такое. Метод производства? Потребительское равенство как идеал? Во всяком доме есть теневая и солнечная сторона. При социализме в отеле берут за солнечные комнаты дороже, чем за комнаты в тени. И никто не думает протестовать.

— Социализм — государственная система, в которой всем надо работать, — твердо определил Касти.

— А вы — социалист?

— Бог миловал! — сказал Касти. — Я рассуждаю так. Здесь сейчас растет сознание независимости ото всего другого мира. Это стоит денег. Независимость — дорогая вещь. Независимость — это сила. Сила — это техника. Техника — это мы.

— Наше единственное преимущество. Но и то ненадолго, — сказал Франс.

Он все время молчал. Мрак неотступно таился за обычно сильными красками его лица. Здоровье, переполнявшее его тело, словно безжизненно застывало.

— Возможно, очень ненадолго, — сказал Касти. — Я беседовал с одним здешним инженером. Так же, как вы, я говорил ему об отелях. Какое впечатление должны производить на советского гражданина отели для иностранцев. Ведь Москва — не колония. Что же это за иностранные кварталы? Он расхохотался мне в лицо. Все это мы терпим до поры до времени, сказал он. Каждый напичканный долларами иностранец — станок для нашей промышленности, инструктор на нашем заводе, экскаватор на новой стройке. От иностранца не останется и следа в этом отеле. А станок будет двигаться, рабочий квалифицироваться, и все это будет действовать против тех, кому сейчас отели кажутся селъментами.

— Да, — продолжал Касти. — Я был в Москве меньше года назад. Я изучал, что тогда здесь начинали делать в машиностроении. И я смотрю теперь, что получилось из этих начинаний. Видите ли, господа, вам приходится сталкиваться с канцеляриями и чиновниками, не так ли? Вы могли бы со мною посмотреть людей на заводах. Угодно?

Метаморфозы, которыми Касти намеревался потчевать, были Филиппу сравнительно безразличны. Он успел констатировать одну из московских метаморфоз, и она не понравилась ему. Окна бывшего пристанища актеров — маленькой гостиницы, которая подарила Филиппа незабвенным анекдотом о платяной щетке, исчезнувшей вместе с какими-то делегатами, эти маленькие окна упирались в старую церковь. Филипп хорошо ее запомнил. Она казалась неотъемлемой от древней Москвы. Прогуливаясь по Петровке, он

захотел снова взглянуть на нее. Он прошел улицу взад и вперед два раза: церковь пропала. Он испытывал недоумение человека, спустя долгие годы вернувшегося в отчий дом посетить родных и встреченного чужими людьми. Филипп решил, что ему изменяет память и он бродит по другой улице. Но вдруг прямо на него глянули маленькими окнами перекрашенные актерские номера, и он понял, что стоит на месте церкви. Ничто не напоминало о ней: как плешь, гладкий асфальт площади был перечеркнут следами автомобильных шин, и фордики юрко шныряли мимо Филиппа. Это было импозантнее, чем пропажа из номеров платяной щетки. Филипп выбрал человека, похожего на старожилу, и доверительно спросил: не ошибся ли он, действительно ли на этом месте возвышалась старая церковь? И получил ответ: мало ли где и что в Москве возвышалось? Чего нет — того не было. Мудрость эту Филипп истолковал так, что, мол, каждому по вере его. Москва же становилась невидимым градом Китежем.

Инженер Касти ничего не смыслил в русских древностях и вообще, вероятно, не принадлежал к натурам художественным. Голландия варилась в искусстве, точно в котле ведьмы — на медленном огне столетий. Она сквозь мгли тумана отличала и метила руку художника. А чем была и оставалась Швейцария? Филипп знал с юных лет: французы, немцы, итальянцы. Какой-то мясокомбинат. Вот Голландия — да! Там все, как один!

Немудрено, что Касти — выходец из европейского коровника — остался нем и глух к исчезновению церкви на Петровке. Он сказал, что метаморфозы пропав его занимают меньше метаморфоз появлений.

— Хотите посмотреть, как из ремесленной сборочной мастерской растет завод американской мощности? — еще раз предложил он.

Франс готов был смотреть что угодно, лишь бы рассеять дымный ком неподвижных мыслей.

Он был прямым человеком. Он думал, чувствовал, поступал, мечтал прямо. Его потрясало, что его прямая жизнь искривлена людьми, казавшимися прямы-

ми, как он сам. Он считал, что спас Клавдию из вертепа и что она должна быть вечно благодарна. Кроме того, ему было известно, что она любит его. И самое важное — он сам любил ее, и это одно должно было обеспечить ему пожизненное спокойствие и счастье. О Рогове он не знал как думать. Рогов производил впечатление положительного человека с профессией. Какого черта ни с того ни с сего он полез к замужней женщине? Конечно, он не посмел бы, если бы Клавдия не поощрила его. Она, конечно, сама лезла. Бабы, будь они прокляты, о ненасытные рептилии. Франс действовал прямо, больше ничего: он бил ее, бил свою Клавдию! Когда он вспоминал это, когда в костяшках его пальцев, в его кулаках загоралась боль этих страшных прикосновений к ее телу, у него мутилось в глазах. В такие секунды он хотел ее бить еще. Он даже видел, что бьет ее в постели, что она, крича, соскакивает с кровати и бежит босиком по комнатам, в переднюю. У него сладко сводило руки. Он хотел скорее, как можно скорее, вернуться домой, опять заставить Рогова с Клавдией и избить ее до потери чувств. Он был прямой человек.

О да, Франс готов был ехать на завод или куда-нибудь еще — все равно. Филипп понимал, что он не волен над собою и его надо откачивать, как утопленника. Что ж, жилистые руки Касти как раз годились для коновальных операций: на завод так на завод.

Втроем в просторном длинном линкольне они отправились на автомобильный завод. Взяв на себя миссию гида, Касти должен был изменить своей неразговорчивой природе, тем более что ван Россумы ждали от поездки развлекательности. Выдумывать темы для беседы стало как бы естественной обязанностью Касти. В обществе независимых людей иначе и не могло быть с простым инженером, живущим только на обыкновенное жалованье.

— Полвека назад князь Бисмарк находил, что русские медленно запрягают, но быстро ездят. Сейчас они переучиваются запрягать, — сказал Касти. — Волею судеб мы слегка помогаем им в этом, хотя, по настоящему, не должны были бы. Но нельзя переоце-

нивать значения иностранцев в здешнем строительстве. Скажем, завод, на который едем. Его недавно реконструировали. Проект реконструкции пригласили делать американцев. Есть там некая фирма Брандт. Я ее хорошо знаю. Прислала она человек тридцать инженеров, техников. Начали они проектировать. Русских держат на расстоянии. Но те присматриваются. И вдруг — бац, ловят американцев на просчетах — раз, другой. Требуют своего участия в проектировании. Американцы противятся: договор! Но русские добиваются своего, и как только приступают к работе совместно — происходит полное разоблачение американцев: все тридцать человек оказались недоучками, без серьезной квалификации, самых фантастических специальностей. Кто ветеринар, кто семинарист. Весь проект лопнул, как мыльный пузырь, только до него дотронулись настоящие руки. Американская реконструкция, которая связывалась здесь с самыми приятными мечтами, оказалась свинской аферой. Американцев прогнали в шею. Стал вопрос — что же дальше, кого приглашать? Тогда молодые советские инженеры потребовали, чтобы проект был дан им. Дали им не без боя. А посмотрите, что они сделали. Они достроили все по-своему, без иностранцев. И завод уже на пороге нового расширения. Об американцах инженеры вспоминают теперь за пивом, под веселую руку.

Касти рассказывал эту историю в явно одобрительных тонах для русских. Филипп констатировал дальнейшую эволюцию его взглядов с тех пор, как встретился с ним у зятя. Он не стал социалистом, но заразился советским патриотизмом — это бесспорно.

Франс часто наблюдал людей вроде Касти. Они не обладают последовательными убеждениями. Их главное свойство состоит в здоровой способности увлекаться делом. Равновесие духа сопутствует им, будь они в Испании, Якутии или Аравии, если только процветает дело, которое они называют своим. Множество технических специалистов охотно дали себя прельстить советским планом индустриализации. Касти тоже предпочитал тяжелую работу с большеви-

ками легкому сидению сложа руки в Европе. Во Франсе находились, в сущности, однородные черты, но это сходство со швейцарцем пришлось ему сейчас не по душе, и он едва не обозвал его коммунистическим ходатаем, выскочкой, пронирой.

Старая московская окраина гналась за линкольном, пестрыми клочьями рассыпая по сторонам одноэтажные домишки, флигели, ворота. Оборвавшись в теплую глубину штукатуренных под гребеночку, пахнувших сырой известью статных жилых блоков, она опять увязывалась за автомобилем смятием, вихрем дореволюционных, дореформенных заборов, дворов, усадеб.

И вот, словно извержение недр земли, начали захватывать пространство клубы дыма и пыли. Недостроенные здания, горбы взрытой почвы, волны дорог, по которым ныряют грузовики, молодые, чуть подрумяненные копотью корпуса заводских цехов — все оплетено движением, как будто ничем не связанным, хаотичным, расчлененным на тьмы частей. Линкольн быстро уступает в споре с ухабами и высаживает седоков.

Франс ворчит:

— Ваша Америка! Даже у нас, в Европе, строят сначала то, что должно обслуживать строительство. Улицу, дорогу, водопровод. Потом принимаются за самое сооружение. А тут из-за постройки не подступиться к заводу.

Касти не слушает. Попав в кратер работы, он оживает, его тупые движения исчезают, он ловко балансирует по доскам, кирпичам, бесстрашно окунаясь в пыль.

Ван Россумы слегка шокированы столпотворением, но сохраняют мужество и не отстают от проводника. Он безошибочно ведет их к директору и оттуда — в сборочный цех завода.

Мастер главного конвейера — худощавый белокурый человек с тихими движениями, приняв гостей от цехового инженера, не спеша отправляется с ними в конец здания. Они идут обок с конвейером, приглядываясь к уверенным разнообразным движениям рабо-

чих. Это все молодые люди, отобранные и выдвинутые на свои места соревнованием. Они успевают бросить взгляд на иностранцев, не прекращая работы.

Филипп неспособен восторгаться техникой. Созерцание ее чудес приводит его в странное состояние, похожее на физическую подавленность, испытываемую перед ударом молнии. Кругом чересчур много металла. Филипп старается смотреть на рабочих.

Франс — автомобилист. По мере того как ползущее на конвейере, перевернутое вверх ногами шасси будущего автомобиля обрастает деталями, он увлекается и все чаще задает вопросы мастеру.

Филиппа немного утешает зрелище окраски шасси: рабочий, перепачканный с ног до головы, как маляр, с необычайной быстротой обсыпает шасси краской из пульверизатора, подобного брандспойту. Веселая процедура почему-то напоминает Филиппу ранние картинки кинематографа, которые он с таким захватом смотрел в юности.

После окраски шасси с подвесного конвейера подается на монорелу мотор с помощью электрокошки. Прибор дает Франсу повод к новому диалогу с мастером, и диалог переходит в крик, когда в уши врывается завывание электрического гайковерта, завинчивающего гайки на колесах.

Чтобы договорить, все постепенно отступают в конец конвейера, и Филипп видит первую деревянную часть, спускающуюся из верхних цехов на автомобиль: кузов. Потом сверху же появляется шоферская будка, на ее крыше — подушка сиденья, и этим актом словно ставится точка всем усилиям, с которыми грохотало, ползло, звенело, лязгало многосложное металлическое единство завода.

Здесь, в конце конвейера, наглядно убеждавшего, что в результате его действия, с возгласом гудка, рождались на свет живые автомобили, невольно затевается разговор на тему: как же, однако, случилось, что деревянная страна, гнувшая колеса для телег и обручи для кадушек, минуя переходные ступени ученичества, внедряет у себя высшие формы индустрии?

Франс и Касти, интересовавшиеся голой техникой, уступают дорогу Филиппу, когда дело идет об обобщениях.

— Вот эти рабочие, где они обучались? — спрашивает он.

— Где стоят.

— Много ли они попортили машин?

— Порядочно.

— Кто пустил в ход этот конвейер?

— Я и цеховой инженер, с которым вы познакомились.

— Вдвоем?

— Да.

Филипп измеряет мастера нестесняющимся взглядом, вдоль и поперек: невысок, даже мал, и не объемист, даже узок. Обыденный белокурый человек. Ни на одну ноту не подымает своего тенорка, ни на один миг не отводит в сторону своих глаз. Спокоен, не болтлив.

— Сколько потребовалось времени?

— Пока настроили конвейер?

— Да.

— Попотели.

В его улыбке вместе с добродушной насмешкой проскальзывает гордыня. Он знает себе цену и не ханжит.

— Вы раньше где-нибудь видели конвейер?

— Где же я мог? Я с этого завода не выходил. Еще в мастерских работал, когда мы вручную за год десять машин делали.

— А скажите, пожалуйста. Вы работаете ради известных высоких целей, вы и ваши товарищи. Но как же вы делаете выбор — где работать? На оружейном заводе или в химической красильне, или, может быть, в пищевом холодильнике? Ведь цель повсюду одна, не правда ли?

Мастер вытаскивает из куртки помятую пачку папирос.

— Чем руководится рабочий, выбирая занятие? — растолковывает Филипп.

— Понимаю, — говорит мастер. — Понимаю.

Он в первый раз повторил одно и то же слово, и голос его черствеет.

— Я вам советую — подойдите вон к первому рабочему и спросите, работает он здесь по своей воле или его кто сюда поставил?

— Вы меня неверно поняли. Раз все виды труда служат общей цели, должен оставаться один принцип выбора: где мне лучше, где мне выгоднее, туда я иду.

— Что же, правильно. Рабочий идет, куда его тянет.

— А не туда, где он нужен обществу?

— У нас это все равно, — сказал мастер.

Ван Россумы отблагодарили его за объяснение, приподняв шляпы. Касти пожал ему руку.

Забота о порядке, чистоте, налаженности проглядывала всюду, производство, видно, вошло в норму. Особенно это показалось Филиппу в соседнем цехе, на сборочном конвейере моторов, окруженном толпами станков с быстрыми и точными процессами обработки деталей. Женщины стояли попеременно с мужчинами — молодые, как на подбор. Гости запросто дивились девушкам: почти все они работали с непокрытыми головами; завитые на славу волосы были уложены в затейливые прически; цветные гребни, пряжки, ободки кокетливо мелькали на затылках и висках. Нарядные головы принадлежали словно какой-то отдохновенной жизни и только перекликались с заводскими фартуками, блузами и с заголенными выше локтей промасленными руками, вдруг подымавшимися к прическам, чтобы поправить хитрый завиток на потном лбу.

В самой гуще станков гости увидели мальчика, старательно отмывавшего руки от машинного масла. По серьезному лицу ему можно было дать лет пятнадцать. Но он был низкоросл. Он привставал на цыпочки черпнуть воды из рукомойника, и шоколадная жижа текла у него с ладоней к локтям.

— Бывший беспризорник, — сказал инженер, сопровождавший иностранцев. — Отлично учится. Спит и видит, как бы стать за станок.

Инженер был склонен слегка удивлять гостей. Делал он это не вызывающе, но с солидным убеждением, что иначе профаны ничего не поймут в его цехе.

Он подвел профанов к станку Блисс и, как арбитр борьбы, представляющий публике мирового тяжело-веса, объявил:

— Сила давления до одной тысячи тонн. Допуск до одной сотой.

Это был пресс для холодной подгонки деталей в размер. На нем обрабатывались шатуны для поршней моторов. Гороподобная масса стали с бездушным вздохом поднималась и опускалась. Единственный рабочий, казавшийся тщедушным, крошечным рядом с грозным станом, быстро подкладывал под пресс и выхватывал из-под него шатуны. Пресс ложился на конец шатуна, давлением мягко сплющивал сталь до требуемого размера и поднимался. Работа была методичной, неколебимо верной. Стальная гора ляжет, давнет, подымет — ляжет, давнет, подымет.

Филиппу сделалось жутко. Его вражда к миру металла переходила в трепет перед ним. Гроза собиралась издалека, крадучись. Тучи чернели, ввергали мир в мрак. Разряд нещадных сил готовился в удушающей тишине. Молния вот-вот должна была ударить. Дыхание безвыходно замыкалось в груди. Сердце бежало, бежало быстрее и быстрее прочь от страха.

— Пойдем! — крикнул Филипп и через первую попавшуюся дверь вырвался на воздух.

Нет, он был недоволен поездкой. С неприязнью он поглядывал из линкольна по сторонам. Ворчание мотора навязчиво восстанавливало перед ним беспокоящую картину покинутых цехов.

— Ваше предприятие поставляет сюда оборудование? — спросил он у Касти.

— Мне не удалось получить заказа.

— Но вы продолжаете стараться?

— Нет. Я думаю поступить в Москве на работу.

Значит, Филипп не ошибся: швейцарец имел слабость к социализму.

Перед воротами заводского строительства Линкольн натолкнулся на большую толпу молодежи с лопатами, вскинутыми, как винтовки, на плечо. Дружные голоса лихо пели, и песня поднялась мощным вызовом, как только автомобиль поравнялся с толпой. Дорога горбилась. Длинный приземистый линкольн полз, боязливо вкатываясь в выбоины влажных колеи. Молодежь в упор рассматривала автомобилистов, скаля сверкающие зубы и все нажимая на песню. Вдруг кто-то взмахами лопаты оборвал ее. Звенящий высокий голос затянул «Интернационал», и хор неожиданно грозно подхватил гимн. Линкольн рванулся из выбоины. Певцы один за другим подняли над головами блестящие, начищенные землею лопаты. Лица, секунду назад освещенные заносчивыми, озорными, веселыми улыбками, стали неприступно строги и суровы. Автомобиль вылетел за ворота. Последним устрашающим подъемом его догнала песня и затихла.

Выдержав с достоинством паузу, Филипп опять спросил у Касти:

— Вы одобряете здешние методы работы?

— Я сужу по результатам, — сказал Касти, — разве вам не понравился завод?

Филипп не отвечал. Ему не понравился завод. Не потому, что он был плох, а потому, что, вероятно, его не следовало посещать. Не понравились лопаты. Не потому, что они были низкого сорта, а потому, что с ними чересчур воинственно обходились. Кроме того, его искренне огорчал и сердил Франс, вид которого был по-прежнему печален.

Машины не рассеяли Франса, к пению же «Интернационала» он слишком привык, чтобы переживать его или предаваться размышлениям о людях, всегда горячо готовых его петь. Франса преследовала одна идея. Даже к своим деловым обязанностям он относился вяло. Филипп нервничал. Он приехал в Москву, чтобы добиться решительного успеха. Со дня на день ожидалась необходимая встреча. У Франса же по-

зорно не хватало участия к делу. Он ползал по городу осенней мухой.

Когда доехали до «Метрополя», он вылез из автомобиля последним. Шелково крутившаяся четырехстворчатая дверь прокатила в зеркальных стеклах, как на карусели, отражения Филиппа и Касти.

Вдруг позади них разнесся крик. Они обернулись. Долгобородый швейцар изо всех сил навалился на дверь, чтобы удержать ее тяжелое кручение. Сквозь стекло глядело искривленное, белое лицо Франса: одна рука его была, как в тиски, зажата между дверью и тамбуром.

Касти бросился на помощь. Но она была почти невозможной: движение двери усиливало боль, сдирая кожу с защемленных пальцев. Кровь перепачкала стеклянный тамбур.

Сбежались портье и гардеробные, прохожие сучились по обеим сторонам двери.

Наконец она медленно вышла из тамбура. Окровавленная рука показалась следом за нею, Касти взял Франса под локоть. С другого бока к нему подскочил портье. Франса повели на перевязку.

Филипп шагнул к швейцару.

— Идиот! — сказал он, уставившись в его декоративную бороду, сквозь которую светились галуны и бляхи пуговиц.

— Никак нет. Ихняя неосторожность, — осмелился швейцар.

— Молчать! — странно взвизгнул Филипп ван Россум. — Ты за это ответишь, идиот!..

XX. РАЗРЫВ

Прием по делам концессии был назначен в два часа. Без пяти два в комнате для ожидания, где сидели Филипп и Франс, не осталось, кроме них и чернокудрой секретарши, никого. Пять минут третьего из кабинета вышел последний посетитель, и еще немного спустя через комнату быстро прошел, едва не

пробежал низенький человек в гимнастерке полувоенного образца, поджарый и с виду очень юный. Длинные светло-русые волосы его, закинутые назад, пушисто подпрыгивали на затылке. Это все, что успели заметить ван Россумы, пока он семенил по комнате. Десять минут третьего Филипп вынул часы и поднес их на ладони Франсу, чтобы обратить своим жестом внимание секретарши. Но она бесчувственно отачивала ножичком острый, как игла, карандаш. Молодой человек с пушистыми волосами опять появился, все так же быстро просеменил к кабинету и, раскрыв дверь, сказал ван Россумам:

— Пожалуйста.

Они миновали его, как малоинтересный предмет обстановки, и замедлили шаги, увидев, что ни за огромным письменным столом, ни вообще в кабинете никого не было. Молодой человек, обойдя стол и усевшись, показал на кресла против себя:

— Пожалуйста.

Ван Россумы медленно, как будто с недоверием присели.

— Какова же будет процедура обсуждения? — спросил молодой человек.

Впрочем, он был не так молод. Его улыбка, приглашавшая избрать простой, искренний тон, сразу обнаружила бывалость. Морщинки под глазами и на углах рта живо набегали и разглаживались. Он раскрыл приготовленную папку с делом.

— На каком языке мы будем говорить?

— Безразлично, — сказал Филипп. — Я имел в виду говорить с председателем. С вашим шефом.

— А это все равно. Я рассмотрел ваше дело во всем объеме и уполномочен найти, совместно с вами, определенное решение.

— За мною, конечно, остается право говорить с вашим шефом?

— Конечно. Пожалуйста. Но тогда придется отложить переговоры до возвращения его из отпуска. А дело вряд ли может терпеть.

Филипп взглянул на Франса.

— Я подготовлял, и мне был обещан прием у председателя, — сказал Франс. — И так как он еще не в отпуске...

— Он, к сожалению, уходит в отпуск. Может быть, мы приступим?

— Да, — вдруг решился Филипп. — Я хочу изложить вам мои претензии.

— Претензии? — опять улыбнулся молодой человек.

Одергивая гимнастерку и откидывая резким, словно школьническим движением волосы на затылок, он сказал не то в шутку, не то серьезно:

— У нас ваше дело называется систематическим нарушением концессионного договора.

— Вами?

— Нет. Концессионером.

Это было и объявлением войны и первым открытым военным действием. Человек с пушистыми волосами, совсем по-домашнему, точно после мытья головы залезавшими в глаза, хотя и был с виду недостаточно взрослым, хотя и носил гимнастерку, но занимал место за столом государственного учреждения и вел высокоофициальные переговоры. Можно было ожидать в таком случае отсутствия гибкости, такта, ума — чего угодно, только не ответственности.

Филипп кинул на спинку кресла ульстер. Франс положил на стол руку с забинтованными пальцами. Все сели поудобнее. Вошла чернокудрая секретарша со своими острыми, как иглы, карандашами и стенографической тетрадкой. Пахло общедоступным одеколоном, только что прыснутым из бутылочки. Любитель парфюмерии, Франс понюхал, для нейтрализации, свою чуть желтую от лекарства перевязку.

Как и предвидел Филипп, партнер прежде всего вспомнил старый конфликт, который будто бы один давал советской стороне основание для расторжения договора. (Речь шла о продаже леса на внутреннем рынке в количестве, превышавшем допущенное договором.)

— Мои действия были совершенно лояльны, — сказал Филипп, — я никогда не делал ничего незаконного.

— Цель вашей концессии — вывоз леса. А вы обращали лес в деньги.

— Я это делал в государственных советских органах. Ваши претензии должны были быть обращены к ним.

— Это наш внутренний вопрос. Мы обсуждаем деятельность концессии.

— Извольте, — торжественно сказал Филипп. — Я всегда считал и продолжаю это делать, что Советы, в лице вашего учреждения, несут полностью ответственность в имевшем место конфликте.

— Почему именно?

— Вашим регулированием цен на лес вы лишили меня возможности осуществлять мое право.

— Это опять-таки наше внутреннее дело: в плановом хозяйстве регулирование цен совершенно естественно.

— Простите меня, — еще более внушительно и на высокой ноте произнес Филипп. — Я придерживаюсь договора. При его подписании я не был предупрежден, и договор не предусматривает, что возможно правительственное регулирование цен. При подписании договора предполагалось и из него вытекает, что концессия реализует свой товар по естественно сложившимся ценам свободного рынка.

Филипп остановился. Губы его вздрагивали, готовясь дальше следовать за мыслью. Он выложил свою карту. Он мог объяснить ее значение, растолковать вес этих внешне скупых, но жгучих по смыслу, давно приготовленных и тончайше обдуманных фраз. Он глубоко видел ходы своих дальнейших рассуждений. Он ожидал замешательства от молодого человека.

Но молодой человек ответил равнодушно:

— Не следует смешивать последовательности двух моментов. Концессия увлеклась реализацией товара на внутреннем рынке до регулирования цен. Таким

образом, договор был вами нарушен при совершенно благоприятной для концессии конъюнктуре естественно сложившихся цен. Я не хочу сказать, что регулирование было ответом на действия концессии, но оно возникло после этих действий.

Он даже как будто опять улыбался, молодой человек. Морщинки под глазами что-то чересчур бегло шевелились. Он вполне любезно подождал возражения и, не получив его, добавил:

— Что касается цен, то, уступая просьбам концессии, наше правительство тогда же подняло внутренние цены на лес, если вы припоминаете.

— Да, но это меня совершенно не удовлетворило! — негодуя воскликнул Филипп.

— Но ведь не могли же мы допускать, чтобы регулировала цены концессия, а не правительство...

Мало того, что этот долговолосый юноша кичился знанием дела, он, кажется, просто шутил в такую минуту!

— Регулирование было казусом, — заявил Филипп. — Я энергично требовал пересмотра соответствующих пунктов договора. Так как это не было выполнено, договор действует в полной мере.

Партнер упорствовал. Соппротивление казалось Филиппу мягким, но непреодолимым. В нем было сходство не с каменной стеною, а с туго натянутым канатом.

Дело состояло будто бы в том, что советские власти обнаружили предупредительность и чуткость к концессионеру. Иначе договор был бы давно замурован в склепах архива. Если дело имеет некоторую давность, то это не означает, что концессионер юридически чист и невинен: он остается нарушителем договора. И вообще выходило, что если концессионер дышит, то благодаря неусыпным заботам советских органов власти. Что, по-настоящему, нужно удивляться, каким путем концессия просуществовала так долго. Что это — чудо! А советская власть чудес не терпит. Так что следует как можно скорее, в каком-то совершенно экстренном порядке исправить ошибку.

Все это говорилось, собственно, иными словами, не так просто и не так прямо. Но даже если бы применялись самые точные слова, все равно речь велась бы не о том, о чем партнеры думали: они думали о деньгах, только о деньгах.

Молодой человек, отыскивая веские слова, говоря настойчиво и корректно, держал в своем мозгу единственную мысль освещенной в полную силу: мы не простим вам, господа ван Россумы, вывоза денег. Вы обязаны были инвестировать капитал, для этого вас пригласили. А вы рвали валюту. Этого мы не забудем.

Филипп же, не соглашаясь с толкованием отдельных пунктов договора, негодуя или изображая негодование, отвечал на эту единственную мысль партнера единственным ощущением: я нахожусь здесь из-за денег, я говорю, подписываю контракты, изучаю обстановку, провожу с вами время из-за денег. Я должен извлечь из вашей страны как можно больше денег. Я буду биться за деньги. Для этого я здесь.

Но сопротивление партнера не убывало. Оно пружинило натянутым канатом. Филипп вынужден был отступить, сохраняя полное несогласие и оговариваясь на все лады.

Ко второму вопросу он подошел с уроном, в то время как второй вопрос был заранее проигранным для него и триумфально-легким для советской стороны. Тут в первый раз появились на свет бумаги из раскрытой папки. Сопоставлялись данные концессии с данными обследовательской комиссии о состоянии строительства железнодорожной ветки.

— Можно принять самые благоприятные данные для вас. А именно — ваши собственные, — великодушно сказал молодой человек.

Он был слишком уверен в победе. Его корректность приобретала зловещую окраску.

Филипп терял позиции. В нем кипела надежда укрепиться и произвести атаку. Ему становилось душно. Он обнаружил, что ему не нравится мебель:

подделка под ампи́р с назойливыми бронзовыми венчиками. Претенциозно для казенного места. И потом — секретарша. Она что-то непрерывно записывает. Зачем? «Довольно! — думает Филипп. — Я положу конец вашим уверткам, молодой человек».

Он сидит выпрямившись, большой, напряженный. Только круглые плечи его приподнимаются часто и тяжело. Душно.

— Таким образом, мы переходим к следующему вопросу, — бодро говорит партнер. — Установлено, что концессия вела на протяжении всех лет действия договора хищническое хозяйство.

— Что? Ты слышишь, Франс?!

Филипп потрясен. Его взор словно затягивается дымом. Он хочет говорить, но у него першит в горле. Он прокашливается, как астматик, сипло и томительно. При его комплекции, пожалуй, вредно такое волнение. Франс озабоченно подвигается к нему, перекладывая на столе забинтованную пятерню.

— Я не понимаю, к чему такая вопиющая несправедливость, — произносит наконец Филипп замученным голосом, — Франс, ты слышишь... Позвольте вам заявить... не имею чести знать вашего имени... у меня были в России собственные леса. У меня были леса, национализированные вами, большевиками. Ван Россумы пятьдесят лет работают с Россией. Полвека мы имеем дело с лесом. Я понимаю, что значит лес. В жилах ван Россумов течет не кровь, а древесный сок! Так говорил мой покойный брат. И вы обзываете меня лесным хищником!

— Я не называл вас так, — насторожившись, сказал молодой человек. — Я говорил о некоторых приемах хозяйства концессии. И я не хочу быть голословным. Пожалуйста, — наклонился он к секретарше, и она, бросив карандаш, вышла.

Филипп вытирал налившуюся, красную шею, подсовывая платок за воротник. Духота угнетала его. Франс отвернулся.

Секретаршу сопровождал толстяк в сером летнем костюме, складки которого натуго обтягивали круг-

лый корпус, как обручи — бочку. Отдуваясь, он сунул коротенькую руку Филиппу и обрадованно сказал на весь кабинет низким, перекатистым басом:

— Профессор Иван Вашкулат.

То же самое он сделал с Франсом, добавив, что с ним он, кажется, имел удовольствие встречаться. Он пододвинул кресло к столу и, надув щеки, выпустил безмерные объемы воздуха. Потом, широко улыбаясь, обвел всех выпяченными серыми и тяжелыми, как олово, глазами, почти выпадавшими вон из века.

— Чем могу служить?

— Профессор Вашкулат возглавлял комиссию, изучавшую работу концессии со стороны лесотехнической, — сказал молодой человек. — Я нахожу уместным послушать его заключение о том, как обстоит на территории концессионного отвода с точки зрения нужд лесоводства.

— В своей записке я излагал подробно, вот здесь, в вашей папочке, — пророкотал эксперт, — так что вы укажите, что вас больше интересует, я разъясню.

— Ну, например, как выполняла концессия план рубки, в частности — окольцовывание осин.

— Окольцовывание произведено везде, — вдруг быстро выговорил Франс. — Я отвечаю за любую лесосеку.

— Да, да, да, кто же говорит, — ласково сказал профессор и засмеялся. — Произведено действительно. Да только — когда?

— Когда рубили елку, тогда кольцевали осину.

— Ну, вот видите, многоуважаемые господа, — совсем подобрел профессор. — И получился вред, а не польза. А почему? А потому, что вы изволили экономить на ученом лесоводе. Верно? Верно, уж это вы мне поверьте, тут без ошибокки, да!

— Мы делали, как требовал договор. И никакого вреда мы нанести не могли.

— Ну, уж это извините, извините! Окольцовывание надо производить годика за четыре до сплошной

рубки, да, да! А почему? А потому что осинка, она, мамочка, любит солнышко, любит свет, да...

Он говорил, все прибавляя ласковости и рокота в своем басу, и убедительности, и фамильярности, вращая оловянные глаза, которые вот-вот должны были вывалиться на стол. Обручи жилетки и пиджака гуляли по его вздрагивающему животу вверх и вниз.

— Вы елочку-то порубили, солнышку доступ дали, осинушка и обрадовалась: я, знаете, посмотрел—такие кудри на лесосеках везде—завивать не надо! Да, да, многоуважаемые господа, корневые отпрыски осины разрослись везде буйно, очень буйно, господа, да! Тут ничего не сделаешь, тут вы должны сознаться.

— Это могло быть только местами. Я знаю,—сказал Франс.

— Нет, уж извините. Это будет везде. Это без ошибки, да. Каким должен быть план рубки? Таким, который обеспечивает возобновление главных древесных пород. А что у вас получилось? Ежели бы вы кольцевали своевременно, хотя бы годика за три до рубки, тогда мы достигли бы нашей цели: корневые отпрыски не мешали бы расти хвойному молодняку, да. А молодняк-то, он, знаете, такой: он, знаете, не любит, когда ему мешают, да! Вот тут вред-то и обнаруживается: состав будущего леса концессия нам ухудшила, да. Тут вы должны сознаться!

— Благодарю вас за лекцию,—коротко сказал Филипп.— Не трудитесь продолжать.

— Ничего не стоит, прошу вас, пожалуйста, прошу! Какой здесь труд?

Он был на самом деле добродушен — лупоглазый толстяк. Перекаты его баса, как колокола, содрогали воздух. Филипп теребил уши, втыкая в раковины указательный палец.

— Хотите ли вы, чтобы профессор осветил другие стороны состояния лесоводства на концессии? — спросил молодой человек.

— Абсолютно излишне, — грубо сказал Филипп.

— В таком случае, разрешите пожелать всего наилучшего, — прогудел эксперт, поднимаясь, незлобиво

поднося на выпяченном животе руку для пожатия всем по очереди, начиная с Филиппа, и повторяя: — До свиданья, до свиданья.

После его ухода стало тихо, как в костеле, когда перестает играть орган.

— Переходя теперь от вопроса лесотехнического к положению рабочих на концессии... — сказал молодой человек.

Филипп встал.

— Я принужден прервать вас.

Слова вырывались из него, он сдерживал их, подавляя дыхание. Никогда в жизни с ним не случалось такой одышки.

— Вы стараетесь доказать одностороннее нарушение мною договора...

— Я привожу факты.

— Вы набираете мелочи, вы... как сказать?

— Крохоборничаете, — сердито сказал Франс.

Молодой человек весело тряхнул волосами.

— Крохоборничаете, — раздельно повторил Филипп. — Вы избегаете рассмотреть принципиально деятельность ван Россумов в вашей стране. Но я прошу вас выслушать меня.

Филипп поднял голову. Он приготовился говорить. В мире ораторов, где произнесение речей стало не только государственным или общественным минимумом, но чем-то вроде домашнего занятия, которому все обучаются так же, как держанию ложки, Филипп ван Россум, всегда чуждавшийся словесных выступлений, решился сказать речь. В душе он противопоставлял речи делу. Лучший оратор не шел в сравнение с посредственным делом. Но надо было применяться к условиям: если здесь оказывают действие речи, извините — будет произнесена речь. Он только все еще сомневался, сидит ли против него настоящий партнер, или это лишь преддверие к окончательному, исчерпывающему разговору. Наступил ли момент высказывать все или нет? Последний ли это ход?

Он испытующе взглянул на визави. Из-под волос, легко свисавших на брови, его встретил пристальный,

точный взор, сразу болезненно напомнивший ему Сергеича. Будто охотник, хорошо выбравший место для поджидания добычи, молодой человек остро шурился на Филиппа.

— Наша деятельность, — передергиваясь, сказал Филипп, — не ограничивается концессией. Не ограничивается договорами на транспорт или на отдельные закупки. Наша деятельность — совокупность этих видов операций, объединяемая деловой доброжелательностью к вам, которая вытекает из традиций полувековой совместной работы с Россией, а также из политической лояльности. Ван Россумы стояли и стоят за признание Голландией Советского Союза де-юре. Но последнее время наша полезная для России работа принесла нам разочарование. Если бы вы проявили больше доверия к нам, вы извлекли бы больше пользы для себя. Между тем из-за отсутствия необходимой близости вы причиняете себе вред.

— Может быть, вы укажете пример?

— Да. Во время последних перевыборов нашего парламента я энергично выступил за признание Советов и приобрел влиятельных сторонников. Мы были готовы поднять кампанию в вашу поддержку. Как вдруг в это время в амстердамский порт входит пароход под красным флагом и по имени «Большевик»! В тот же день у меня не осталось ни одного сторонника.

Филипп наставительно поднял палец:

— Мы не встречаем у вас понимания. Окольцевание осин — вопрос академически почтенный. Но он диспропорционален тому высокому делу, которое вы стремитесь насильственно разрушить, порывая связи с ван Россумами.

Он опустил плечо. Заключительные слова он проговорил с той интонацией благородной, сдержанной мощи, какую представлял себе в устах исторической личности. Он, правда, без всякой театральности, покраснел и с тревогой вслушивался, как бьется его сердце.

— Мы не отказываемся вообще работать с вами, — сказал молодой человек, — мы дорожим ва-

шими симпатиями, и нет сомнения — найдем новые формы сотрудничества с вами.

— То есть вы заявляете, что концессионный договор расторгнут?

— Да.

Филипп ван Россум встал.

— Ваше решение формально?

— Да.

— Я обжалую его в суд.

Молодой человек наклонил голову.

— Я обжалую... я опротестую в Кремле. Кремль не допустит, чтобы ван Россум... Кремль...

Партнер стоял против Филиппа, по-школьнически молодо закидывая на затылок пушистые космы, одергивая гимнастерку, играя бывалыми морщинками вокруг глаз. Стоило только взглянуть на него — нет, ничего не изменилось с тех пор, как ван Россумы переступили порог кабинета.

Откланявшись обрывистым кивком, Филипп посмотрел на Франса.

Он сидел, неподвижно глядя на большую руку.

— Идем же! — громко позвал Филипп.

Франс вздрогнул, вскочил.

Филипп чертыхался, богатырским маршем вымеривая канцелярии, коридоры, лестницы.

— Слышал ты, чем это кончилось? — с досадой спросил он Франса. — Или ты спал?

— Я говорил, что так будет.

— Черт!.. Каналья! Что это за парнишка?

Он словно опрокинул бочку с ругательствами, они сыпались, обгоняя друг друга.

Скомкав ульстер, Филипп швырнул его в автомобиль.

Рокочущий бас разостлался над его головой, покрывая уличный шум:

— Куда вы направляете свои каучуковые стопы?

Профессор Вашкулат, радушно улыбаясь, заглядывал в автомобильную дверцу.

— Не по дороге, — махнул на него Филипп.

— Не по пути? Жаль, жаль. Тогда счастливо, до

свиданья, — басил профессор, отступая и расстанно помахивая пухлой, короткой ручкой.

Филипп без устали сыпал проклятиями.

— Ждать тут понимания — все равно что искать жареные сосиски в собачьей конуре!

Он притих на полдороге, укачанный ездой по булыжным мостовым и прохладой движения.

В гостинице ему приготовили ванну. Он долго лежал в воде, обследуя стенные карнизы, поглаживая мохнатое тело. Потом растирался, повторял утреннюю гимнастику, делал небольшой массаж лица для борьбы с одутловатостью, выбирал костюм. Постепенно он словно стряхнул оболочку неприятностей, разочарований, озлобления и обрел самого себя.

Освеженный, подтянутый, он постучал в комнаты Франса. Он застал его в глубоком кресле и сразу понял, что он сидит, не двинувшись, с того момента, как пришел. Истлевшая папироса лежала на спичечной коробке. Перевернутая вверх дном шляпа валялась на полу.

Филипп справился — не болит ли рука? Нет, пустяки, — ответил Франс.

Прохаживаясь и выглядывая через открытое окно на московские карусели людей, Филипп вслух гадал — кем мог быть молодой человек, досадному разговору с которым пожертвован целый час? Учеником какого-нибудь марксистского училища? Демобилизованным кавалеристом? Но в Красной Армии как будто уже не носят длинных волос?

— Нет, он из музыкантской команды, — смеясь, решил Филипп, — наверно — флейтист, ха!

Он прошелся по-военному, высвистывая своего возлюбленного «Тореадора» и дергая головой, точно откидывая на затылок несуществующие космы.

— Свистун! — сказал он, развеселившись.

Франс кисло улыбался. Он не присутствовал в комнате даже наполовину.

— Вот что, — стал перед ним Филипп, — довольно клевать носом! Слушай. Я хочу иметь дело с правительством, а не со свистунами. Я хочу говорить в Кремле.

— Ты думаешь, с нами осмелятся порвать без высшей санкции?

— Мне отдавили ногу. Но я жив. Я буду протестовать, пока у меня не отрублена голова. Я поручаю тебе добиться приема.

— Но...

— Это твое дело. Зачем ты здесь живешь? Ты обязан знать все нужные ходы. Кончено. Вставай.

Филипп потряс Франса за плечо.

— Даю тебе три дня. Действуй!

— Я думаю, ты мне поможешь?

— Это — твоя работа. Я уеду на эти дни в Ленинград.

— В Ленинград?

— Я лучше чувствую себя там.

— Но... цель твоего приезда!..

— Франс, ты плохо работаешь. Я ожидал в этом ковчеге целую неделю, и вот ты вознаградил меня диспутом с флейтистом. Я требую дела.

— Неужели ты еще не убедился, что все конечно? — тихо спросил Франс.

— Людей в таком состоянии, как ты, увольняют со службы.

Минуту они смотрели друг на друга молча. Франс быстро поднялся. Сжатые губы его слились в одну полосу с бесцветным шрамом на подбородке. Он оттянул пальцем воротничок от кадыка.

— Но... хозяин в ответственных условиях не бросает дела на... служащих, — сказал он едва слышно.

— Хозяин приказывает, служащие подчиняются, — ответил Филипп и, набрав воздуха, не выпуская его, величаво зашагал к двери.

XXI. ДОМЫСЛЫ

Рано поутру к Сергеичу на дом являлся Ерофей Дантон. Сухой, длинный, с хрустальной лысиной и полумесяцем серебряной бороды, Дантон, согнувшись, влезал в сени и бессловесно дожидался, когда

ему дадут директорских ребятишек. По неизменно благорасположенному виду никто не мог бы определить мыслей Дантона. Возможно, он не был способен хотя бы сравнить свое прошлое с настоящим: когда-то он служил дворником у Беляева — владыки сороцкой лесопромышленности, теперь — состоял сторожем детского городка и яслей. Впрочем, он не чуждался размышлений. Они его просто не слишком утомляли. Вопрос о перемене своей старой фамилии — Молибога — на новую он разрешал около двух лет. Какой-то комсомолец рекомендовал ему фамилию Семь-Прыжков, и сначала она пришлась Молибоге по душе. Но тогда север занедужил модой на имена французской революции, — и Молибога не устоял против необъяснимого поветрия, сделавшись, вместе с одним родственником, который, собственно, затеял перемену фамилий, Дантоном. Отсюда можно заключить об известной пассивности его характера, но еще нельзя сказать, что он уклоняется от размышлений.

— А ну, — говорил Ерофей Дантон, выводя ребятишек из сеней и расставляя их на мостках. — Сцепляйтесь!

Четверо погодков строились в ряд, от шестилетнего до трехгодовалого, ступеньками, и брались за руки. Во главе цепочки становился Дантон — долговязый, как сухостойкая елка, давая палец старшему детенышу, командовал: — запевай! — и сам заводил тенорком:

По долинам и по-о взгорьям
шла дивизия вперед...

Дивизия растягивалась за ним по узким, скрипучим мосточкам, зевая по сторонам и разрываясь. Он терпеливо сцеплял поезд наново и тянул его дальше.

Сергеич на минуту отодвигал деревянную ставню и высовывался из окошка. Часто его взгляд выражал лишь мгновенную заботу — успеет ли Дантон увести ребят до очередного взрыва на канале, когда посып-

лются градом осколки камней. Но иногда за этим мимолетным взглядом отца возникало столкновение противоречивых, но обреченно связанных вместе мыслей, надолго удерживавших Сергеича у окна.

Жизнь как-то шла, двигалась — что говорить! Прачка стирала, штопала штанишки, чулки, передники — что там полагалось по штату круглолобым, глазастым, милым соплякам. Кто-нибудь получит в кооперативе ситчика, кто-нибудь скроит и сошьет рубашонки, Ерофей Дантон проводит в детский городок, там встретят руководительницы, вечером забежит, чтобы всех четверых вымыть и уложить в постели, Анфиса Петровна, а может быть — Шура.

Конечно, дело не в подыскании четырех головастикам хорошей мачехи или воспитательницы. Все равно никто не заменит матери — «этой женщины», как иной раз, не в духе, называл ее Сергеич.

«Эта женщина», или просто — Ольга, обреталась в Москве. Пристанище всех мечтаний — Москва увлекла Ольгу стремительно и безвозвратно. Правда, столица действовала не в одиночку, у нее нашелся союзник — уволенный в долгосрочный отпуск командир запаса. Но Сергеич искренне не мог разобраться, чему больше всего он обязан уходом Ольги. Пожалуй — непримиримому бунту против материнства, который в ней вспыхнул. Каких слов не слышался Сергеич во время последней беременности жены! Он превратил ее в детородный конвейер, она не помнит, когда ходила без брюха с тех пор, как замужем, он сделал из нее старуху в двадцать пять лет, она за счастье сочла бы одну только ночь, спокойно проспавшую до утра, она рождает, носит, кормит, выхаживает больных, сушит пеленки — на всех стульях, дверях, печках, кроватях — и ничему не видно ни конца ни края. А где же молодость? Где работа? Где новая жизнь, будущее, где подруги, книги, общественные интересы, о которых он же, Сергеич, так внушительно разглагольствует? Новая жизнь! Она для всех, только не для Ольги. Для нее — головокружения, тошнота, звон в ушах от писка и плача — да что же это наконец?

Что же это? — доискивался вслед за женою Сергеич. Главное: год спустя после ухода от него она должна была снова нанять ребенка и — как знать — может быть, командир запаса теперь выслушивал прекрасно знакомые Сергеичу укоры. Конечно, Москва — не Сорока. Безрадостные темные зимы, паралич белых ночей летом разрушат и не такие слабенькие нервы, как у Ольги. Но ведь она — северянка: Сергеич увез ее из Петрозаводска, где, едва оперившись, она начинала учительствовать. Не могла же она раскиснуть, заболеть снегобоязнию, меланхолией, как заболевают пришлые на север люди. В чем же причина ее бегства? Любовь? Но Сергеич терпеть не мог думать о командире запаса — фертике с покрашенными усиками и шнырливыми глазами. Нет! Точка. Сергеич не понимал и не может понять бессмысленного поступка Ольги. Такая планида! Но планида — планидой, черт возьми! А человек все ж волен устраивать свой быт себе по душе

Ерофей Дантон во главе дивизии головастиков скрылся из виду. Сергеич захлопнул ставню.

Свет изливался в квартиру через щели тонкими, как иглы, лучами или плоскими, точно жестяные листы, пересечками. В их оранжевом теплом мерцании буйствовали толпы пылинок, появляясь из темноты и пропадая в ней спиралями, хороводами, воронками немых кручений. Сергеич, засучив выше локтей рукава рубахи, вытирал огромной тряпкой пыль на книжной полке, на подоконниках, на платяном шкафу. Хвосты и концы тряпки металась из стороны в сторону, взвихряя боевые тучи пыли, искавшие по всей комнате — где бы пролиться.

Деятельность Сергеича распространялась на множество предметов, попадавших под руку. Так оказались засунутыми в недостижимый угол, под кровать, высокие сапоги, папки старых протоколов, бутылки из-под чернил, предварительно завернутые в газету. На кухню, под печку, пошли ножки венского стула, плетенка сиденья с дырой в середине, разодранные головастиками общепольные брошюры. На печку — медный таз, за время службы в качестве барабана

потерявший форму, старые лампы, пивная посуда. Эти военные действия завершались тщательным бритьем и полным переодеванием в малопоношенный костюм. Все было расставлено в окончательном порядке, после чего тряпка выкинута в сени. Пыль равномерно улеглась по новым местам.

Шура могла приезжать.

Она и должна была приехать в этот день. Сергеич ждал ее. Он собирался, не откладывая, договориться об освобождении ее от работы на лесной бирже и переводе в клуб; там она действительно незамечима.

По пути в контору он узнал: его дожидается ленинградский журналист, только что со станции. Он был слегка разочарован, — слишком подготовил он себя к иной встрече.

Послереволюционные газетчики, как грибы растущее племя общественных ревизоров, в глазах Сергеича были людьми разных масштабов — от таких, критика которых решала судьбу предприятий и хозяйств, до тех, которые разрисовывали кармином полотнища стенных газет и с увлечением касались тем об оторванной ветром двери или о переносе громкоговорителя с места на место. Он относился к газетчикам как хозяин: если они обещали делу пользу — милости прошу, если только отнимали время — скатертью дорога. Случалось, из самой Москвы приезжали пустозвоны, а иногда и «Пила» отыскивала своего Лафарга, в завидных битвах выигрывавшего славные кампании. И хотя Сергеича дожидался журналист из Ленинграда, а не какой-нибудь «стенновец», это был, однако, лишь очередной газетчик, не больше.

С этим равнодушием и вошел Сергеич к себе в кабинет. Но оно тотчас исчезло.

— Иван Rogov, — сказал ожидавший его человек, поднимаясь навстречу.

Сергеич знал это имя, оно связывалось в памяти еще с годами гражданской войны и вызывало внимание.

Они изучали друг друга несколько мгновений, как школьные новички, которым предстоит сидеть на одной скамейке.

— Меня командировали в поездку на север, чтобы посмотреть, что делается у нас в лесной промышленности, — сказал Рогов. — С этой целью я сюда и явился.

— Хорошее дело. Надолго?

— Если у вас все благополучно, вряд ли особенно задержусь.

— А вы как о благополучии судить будете — по тому, что вам скажут, или будете сами знакомиться?

— Я так: если скажете, что все благополучно, тогда я буду знакомиться.

Они засмеялись, обмениваясь теплом понимающих взглядов.

— Значит, вас интересуют узкие места, прорывы, — сказал Сергеич, с отеческою ласкою выговаривая эти страшные слова.

— Меня интересует то, чего, вероятно, нет и не было, но что, я боюсь, может случиться.

— Ну, тут я на трезвую голову не разберусь.

Рогов достал из кармана сложенный вчетверо документ, подал его через стол. Сергеич развернул бумагу.

— Но ведь это я слышал от вас — о вашей командировке сюда. Валяйте, все двери для вас настежь.

— Нет, — возразил Рогов. — Командировка, по правде говоря, только повод для моего путешествия к вам. Я показываю бумажку, чтобы кончить с формалистикой. Чтобы прочнее установить доверие, что ли.

Он оглянулся.

— Дело, с которым я приехал, кажется мне, больше, чем простая командировка. А вместе с тем, может быть, этого дела нет. Вообще никакого дела не существует, может быть...

Он улыбнулся, извиняясь в какой-то ему одному понятной неловкости, и опять поглядел на дверь.

— Когда я выезжал, я был уверен, что не заблуждаюсь. Но в дороге стал сомневаться. И теперь не знаю. Может, все это смеху подобно, понимаете ли... Вон, вы уж начали смотреть на меня с подозрением...

— Что вы озираетесь? Мы с вами одни, говорите, в чём дело.

— У вас гостил здесь Филипп ван Россум? — спросил Рогов.

— Да. Проездом.

— С кем он встречался — вы знаете?

— С кем он мог встречаться?

— Что он здесь делал?

— Осматривал заводы, биржу. Был в селе. Ездил на охоту в салму.

— Больше ничего?

— Если нужно, мы сможем, думаю, установить точно его занятия.

— Главное — с кем он встречался? Не было ли у вас других иностранцев? Не живет ли кто-нибудь сейчас?

Облокачиваясь на стол, Сергеич сказал:

— Я не любитель таинственного. Давайте-ка без Шерлок-Холмсов. Что случилось?

— Я тоже не люблю загадок, — ответил Рогов. — Но сначала один вопрос: вам известно, что концессия ван Россума аннулирована?

— Слышал.

— Ну, так вот.

В нарастающем беспокойстве Рогов торопился выложить тревожившие его мысли. Он страстно хотел, чтобы его домысел подтвердился в действительности, чтобы ван Россумы были разоблачены и зеленый костюм, десяток, сотня таких господ, как зеленый костюм, были бы скомканы тяжестью улики. Только тогда какой-то высший ценитель человеческих деяний скажет ему — спасибо, ты поступил хорошо. Случись обратное, рухну карточным домиком сооружение его фантазии — и тот же ценитель, криво усмехнувшись, поощрит: старайся, старайся...

И Рогов испытующе всматривался в прищуренный взгляд Сергеича — не промелькнет ли там отражение такой усмешки?

Но Сергеич строг и сосредоточен. Он словно взялся за винтовку, и, кажется, нет неожиданности, которая застала бы его врасплох.

Вот перед ним встречи с Филиппом ван Россумом. Их подробности, до мельчайших, заставляют работать память, как пересматриваемые знакомые с детства фотографии. Некоторые из них безостановочно мелькают мимо, другие задерживаются, точно остановившийся фильм.

Ван Россум в купе вагона допытывается — не существует ли намерение строить в Сороке порт. Он сам хочет предложить проект строительства. Зачем ему это нужно?.. Ван Россум списывает на берег матроса со своего парохода. Не успев ступить на землю, матрос расписывается в ненависти к хозяину, к буржуазии. Потом он из кожи лезет вон, чтобы отличиться на работе. Что это за человек? Нужен ли он ван Россуму?.. Что привлекло ван Россума к маленькой гавани, когда почти все его операции проходят в многославных лесных портах Архангельска и Ленинграда? В его распоряжении находились попутные пароходы в любую северную гавань. Он избрал наиболее далекий путь и наименее удобную гавань. Зачем?..

И вот перед Сергеичем человек, взбудораженный догадками о какой-то зловещей миссии, может быть исходящей от ван Россума. Что волнует этого человека? Опасения, что его мрачная весть запоздала? Страх, что он ошибается? Журналисты, которые любят кичиться разоблачениями, хорошо понимают — что значит ответственность. Может быть, им руководит простая предосторожность, и он — только соучастник в каком-нибудь еще не раскрытом деле?

— Значит, вы не установили, кто же был зеленый костюм, нет? В этом ваша ошибка, — сказал Сергеич с убежденностью воспитателя. — Ведь вы обесценили свою догадку, вероятно очень важную.

— Установить я не мог. Но он ясно сказал, что агенты будут здесь, в Сороке.

— Ясно? — ухмыльнулся Сергеич. — Не больно ясно.

— Почему? Я так себе представлял: на заводах и повсюду должен быть непременно сейчас же усилен надзор, потому что, по-моему, можно ждать прямых злоумышлений.

— Все так. Но давайте обмозгуем. Ван Россума мы знаем. У него не маленькие связи с нашим рынком. И не случайные. На ссору с нами он легко не пойдет.

— Сейчас, когда его лишили концессии? — воскликнул Рогов.

— Ну, он глотал не такие пилюли. Попусту он не гордится. Смотрит — что и как дальше. А обиды в карман прячет; думает — может, когда пригодится. Вот как надо его разуметь.

Грузно упираясь в стол, Сергеич поднялся. Говорил он с остановочкой, с виду даже нехотя, но от этого словно прибывало веса в его речи. Он перестал щуриться и глянул открыто своими чистыми карими глазами, озарившими лицо.

— Жалко, вы до конца не дослушали: пошел ван Россум на какое согласие или нет. Дослушать бы, право. Я бы дослушал...

Он вдруг засмеялся просто и весело.

— Они крепко язык за зубами держат. Надо слушаем пользоваться. А вы упустили.

Он так же легко оборвал смех.

— Я думаю: не пошел. Ван Россум не пойдет ни на какое согласие. Разве только туману пустит. На самом деле ему без нас не обойтись. Он — человек привычек.

Сергеич подвинулся к Рогову и стал с ним близко, почти коснувшись его плеча. В его движении не было ничего умышленного, и Рогов подумал: так запросто держатся только отлично знакомые люди.

— А что до этого зеленого костюма — он оттуда (Сергеич ткнул большим пальцем себе за спину, и Рогов понял его, несмотря на неопределенность

жеста и слов). Этим всякая наша проруха — маслом по сердцу. Тут только востри уши.

Он подал Рогову руку.

— Правильно сделали, что приехали... Больше никому не говорили? Нет? А где следует — тоже не говорили?.. Надо, надо... Это мы тут поправим... Я сначала потолкую в коллективе. Потом мы повидаемся. Вам с жильем помочь?

— Уже нашел.

— Где?

— Со мной в поезде попутчица ехала, ваша комсомолка. Она меня устроила у своей бабки.

— Не у Анфисы ли Петровны?

— А вы откуда знаете?

Ребячески обрадовавшись, Сергеич крепко потер ладони.

— Нет, ей-богу, надо заявить в финотдел, что старуха промышляет жилплощадью! Подумайте, ведь у нее стоял ван Россум!

— Знаю.

— Ах, вон как, — серьезно проговорил Сергеич, — значит, вы уже успели повести следствие. Похвально... Напрасно вы все-таки не дослушали до конца, — опять с мгновенной и слегка лукавой улыбкой сказал он и еще раз протянул на прощанье руку.

Пожатие ее — сухое и горячее — наполнило Рогова бодростью. Он вышел на улицу без тени тревоги на душе. Пожалуй, и правда, он сделал ошибку, не дослушав разговора иностранцев до конца. Но то, что он сдал этот разговор из рук в руки, как сдают обременительное чужое имущество, которое надо беречь щепетильнее, нежели свое, — это обновило его. Он точно выкупался в ключевой воде.

Новый, неожиданный и возбуждающий запах ударил ему в голову; смесь соленой гнильцы морского берега со скипидаром, смолою пиленого леса. Бойкий ветер порывами взбалтывал эту смесь, перемешивая с теплою нежностью северного лета.

Рогов пошел на призыв моря. Разминувшись с проезжими дорогами, он попал на биржу, и безмол-

вие замершего деревянного склада неprimетно втянуло его в себя, огородив от шума. Штабеля леса ослепляюще горели на солнце. Они казались Рогову похожими на огромные свежевystроганные сундуки. Целая страна сундуков возникала перед ним, молчаливо хороня какие-то жаркие богатства. Он обходил один сундук за другим, быстро забыв дорогу назад и отдаваясь необыкновенному влечению вдаль.

За одним из поворотов, на длинном, прямом, как нить, проспекте Рогов догнал медленно шагавших к морю парня с девушкой. В ней Рогов с одного взгляда узнал Шуру — по ее поступи, по складу ее плеч, по беретике, надвинутому на висок. Парень держал ее за один палец, и они раскачивали сцепленными руками, то отдаляясь друг от друга, то сходясь. Их неторопливый марш был легок и свободен. Они держались прямо, он — выше ее на целую голову, крепко сбитый и статный.

Рогов глядел им вслед, пока они, становясь меньше, уходили к сияющему квадрату моря, врезанному в конец перспективы. На один миг у него появилось желание помешать им, даже, еще лучше, испугать их — окликнуть или свистнуть. Потом это прошло — бесследно, как проходит печальное головокружение. Они повернули в сторону, он — резко — в другую...

Они повернули в сторону, на поперечный проспект таких же, как повсюду, охваченных светом, словно огнем, штабелей, и Шура сказала:

— Чго же, Володя, про всех рассказываешь, а про себя ни-ни?

— Себя я напоследок...

Он и правда перебрал почти всех приятелей и подружек. На разные лады друзья вспоминали и жалели Шуру, когда она лежала в больнице и лечилась на курорте. Ей больше всего понравилась история с Сеней Ершовым, задумавшим притащить к ней в больничную палату знахарку. Комсомольцы устроили в клубе показательный суд над знахарством, привлеки Сеню к ответу за соучастие в распространении предассудков. Ответчик с чистым сердцем при-

знал, что действовал по невежеству. Но так как им руководило человеческое участие в судьбе больного товарища и к тому же сама комсомольская организация виновата в отсталости своих членов, суд постановил командировать обвиняемого Семена Ершова учиться на рабфак. Сеня тут же дал торжественное обещание с сего числа верить только в науку, за что и был восторженно вынесен из зала суда товарищами на руках.

— Сергеич умница, что решил послать Сеньку учиться: он способный, — одобрила Шура.

— А вот и села со своим Сергеичем! Это мое предложение послать на рабфак.

— Может, и суд ты придумал?

— Ну, допустим, не я. Подумаешь, какое дело — суд...

Володя выпустил ее руку.

Они взобрались по лестнице на откат. Ветер здесь дул смелее и шире, солнечный простор обнимал море, далекое село, заводы, биржу по-июльски трепетным сверканьем.

Шура и Володя шли по краям отката. Узкоколейка разделяла их, они как будто и не думали приблизиться друг к другу. Володины рассказы исчерпались и поблекли. Он хмурился, посматривая то под ноги, на крыши штабелей, то в море, на вырставшие из-за небосклона круглые и белые, как цветущие яблони, облака. Наконец, отвернувшись вбок, он спросил:

— Говорят, к тебе Сергеич сватался?

Шура сказала тихонько:

— Кто говорит?

— Ребята от Анфисы Петровны слышали.

— Это раньше сватались. Теперь не сватаются.

— Не важно. Разговор имелся?

— Имелся, — сказала она еще тише.

Они угрюмо дошли до конца отката, где — в бесформенном нагромождении — оползли в воду рейки и горбыли. Они остановились на самом обрыве — дальше не было пути, выше не поднималась кругом ни одна точка, они стояли как на юру.

— Мы с тобой тоже разговор держали. Забыла?

— Я тебе не обещалась.

— А ему?

Она не ответила. Он сунул руки в карманы и с бравадою посвистел.

— Ты что, на детишек разжалобилась? Или еще чего?

Он долго ждал ответа.

— Я как кончу работу на канале, так уеду отсюда. Довольно. Может — в Москву... Такие, как я, знаешь...

Он снял кепку, захватил в кулак волосы, потом отдал их на произвол ветру.

— Ну, когда ты ему обещалась... Будешь рожать ребят, больше ничего.

— А что ж? Вон у него какие ребята! — вызывающе отозвалась Шура.

— Так ты почему знаешь, какие будут у меня?..

Шура неожиданно зашагала назад, крепко стуча каблуками по дощатому настилу. Володя хотел пойти за ней, но удержался, нахлобучил кепку, сел и спустил ноги вниз с отката. Подняв обломок рейки, он подержал его секунду в руках, затем смаху хватил поперек колена и швырнул щепки в море.

XXII. ФРАНС

Франс возвращался домой без предупреждения. В низенькой тусклой карете фордика он несся, припрыгивая, по воспетым просторам Невского, с каждым новым метром пути все больше ощущая нетерпение. Езда необычайно волновала его. Шофер казался разиней, шляпой. Лучше всего Франс взялся бы за руль, чтобы домчаться до дому, влететь в дом, когда никто не ждет. Наполовину он был уже дома: один въезд в этот прямой, устоявшийся город, после московских всеобщих перестроек, предварял порядок, выдержанность Франсова жилища.

Но дома Франса действительно не ждали: дом стоял пуст. Разочарование было подавляющим. Франс готовился спрыгнуть с огромной высоты, и вдруг обнаружилось, что прыгать некуда, кругом гладко, как на паркете, и все напряжение, весь разбег были впустую.

— Клавдия Андреевна с Филиппом Федоровичем уехали гулять, — доложили ему.

— Шофера взяли?

— Взяли.

Он жил недурно — милейший дядюшка. Вместо хождения по канцеляриям и пустых телефонных разговоров он изучал окрестности Ленинграда. Вдыхать прохладу парков — что говорить! — приятнее, чем получать щелчки в нос от маленьких чиновников. Нет, всякий отказался бы понимать Филиппа Федоровича. Он ставит себе цели, чтобы тут же действовать против них. Он хочет добиться успеха и думает, что Кремль будет с курьерами разыскивать его черт знает где!

Безмолвие комнат смиряет Франса, он уже не может восстановить в себе того подъема, который гнал его сюда ради какой-то обещающей надежды. Он старается вдуматься — что же это была за надежда? — и вдруг понимает, что мучительно хотел хорошей, участливой встречи с Клавдией, может быть — ее просьб и мольбы, может быть — примирения с нею. Иных желаний у него нет.

Он поражен этим открытием. Он ходит из комнаты в комнату, тронутый, размягченный видом досконально известных, с любовью собранных предметов, и ему хочется мира, согласия, тишины.

За начищенным стеклом разных шкафов меркнет старинное серебро. Разноречивые, но уживчивые краски фарфора наперебой вспыхивают и гаснут перед глазами. Хрусталь щедро рассыпает свои многоцветные плеяды. Каждый уголок шкафов, обдуманно распределенный между искусными вещами, повелительно призывает к благоговению перед налаженной жизнью.

Так от одной стены к другой, из комнаты в комнату Франс добирается до спальни Клавдии. Благоухание этого угла еще больше, чем тончайшие знакомые вещи, вызывает в нем головокружительный приступ тоски. Он жаждет благополучия. Его сводит с ума желание послушного счастья. Ему дико вспомнить, что он мечтал о какой-то мести, придумывал казни и жестокости — для кого? Для существа, которое обитает вот здесь — на этом ложе, под этими картинами, которое, одеваясь, стоит перед этим зеркалом! О наваждение!

Франс берет с туалета перчатки Клавдии, подносит их к лицу, бросает назад, крепко, до густой красноты, трет ладонями щеки и лоб, прикрыв глаза, стоит неподвижно. Рассматривает, приподымая, флаконы с духами, сложенные горкой новые книги. Потом опускается в низкое круглое кресло и ждет.

Его спрашивают, не приготовить ли завтрак. Нет, он будет завтракать вместе с Клавдией Андреевной. Ведь они приедут к завтраку? Они ничего не сказали. Ах, они ничего не сказали!..

Он берет с туалета книжку. Она опускается на колени нераскрытой и лежит так же мертво, как лежала на туалете. Проходит полчаса. Он кидает книжку в кресло. Ерунда! Надо работать. Все сложится само собой.

Он идет в кабинет. Часть почты разобрана, часть возвышается хаотическим бугром, как на столе сортировщика в почтамте. Франс берет письма, властно и небрежно вскрытые рукою Филиппа, вынимает их из конвертов, раскладывает по датам.

Они последовательно прочитываются. С первого взгляда — обыкновенные факты, изложенные языком конторы, кратко и пунктуально. Когда они соединяются, их лаконизм делается каким-то магическим заклинанием подразумевающихся бед и несчастий. Термины, цифры, абракадабра телеграфного кода свиваются в неразрывную ленту, и она кольцом окружает Франса, будто заколдовывая его от понимания и нескромности чужого глаза.

Очутившись в этом кольце и сосредоточив натренированный мозг на смысле речей, плотно зажатых между «милостивые государи» и «честь имеем пребывать», Франс скоро установил, что, пока ван Россумы пытались бороться на Востоке, конъюнктура Запада продолжала развиваться против них. Банки циркулярно сообщали о повышении учетного процента, дебиторы переписывали векселя и объявляли банкрот, спрос на сырье устрашающе падал. Странно было биться здесь за широкую базу, когда сбыта, как покойника, нельзя ничем оживить. Как, при таких условиях, взять в толк политику Филиппа? Нет, Франс только разводит руками. Интересно, что скажет Филипп после арканного свиста этих удушающих новостей.

И Франс ждет — что он скажет. Тянется час, второй. Франс снова прогуливается, точно в музее, от шкафа к шкафу. Тоска берет свое. В озлоблении он приказывает накрыть завтрак для себя одного. Но едва он отдает распоряжение, как слышит приподнятый и довольно игривый голос Филиппа.

Франс идет ему навстречу. В передней он тотчас видит Клавдию. Она неопределенно взмахивает руками и показывает спину, ускользая в дверь напротив и бормоча что-то вроде — одна минутка! я сейчас.

Филипп заслоняет собою дорогу Франсу и барабанит по его плечу твердыми пальцами:

— Я ждал твоего вызова. Как у тебя рука?

Он увлекает Франса назад в кабинет, обняв и прижимая к своему тугому, массивному корпусу.

— Ну, что же, прикажешь поздравить?

— Да, — рубит Франс.

— Seriously? С чем же, с чем?

— С окончательным провалом.

— О! Ты не теряешь юмора. Это хорошо.

Франс слышит запах вина, кислый, колкий, неповторимой смеси пленительного с отталкивающим, свежесть солнечной лозы с затхлостью подвала. Да если б и не реял в воздухе этот аромат, все было

бы явно по жестам, развязным, как упряжь, которую приготовились снять.

Филипп приваливается на диван.

— Итак, Кремль не пожелал с нами разговаривать, нет?

— Нет.

— С концессией кончено, а?

— Да.

Филипп вытягивает из кармана папиросницу.

— Хочешь?

Он дымит, перекладывая папиросу, как неумелый курильщик, из руки в руку, причмокивая и сопя.

— Я так и думал, — с легкостью объявляет он, точно, выглянув в окно, говорит о погоде.

— Мне казалось, ты думал не совсем так...

— Ну, да, да! Я считал необходимым испробовать все до конца, понимаешь? Но я сразу увидел в Москве... и даже раньше, гораздо раньше...

Филипп с размаху бросает папиросу в холодный камин, устраивается в диване удобнее — полулежа.

— Я успел наблюдать, понимаешь? — обстановку. Так же, как ты. Но ты здесь — годами, а у меня было меньше времени. И, ты понимаешь, я встретил, я обнаружил людской материал, настолько неподатливый... настолько... как сказать? Я сразу увидел, что сговориться нет возможности. Отсутствует добрая воля. Или — потребность. Словом — возможность исключена.

Он привстает и всплескивает ладонями.

— Но тогда что же делать? Ты смотрел почту? Да? Друг мой! Они уже почуяли, что у ван Россума неприятности. Юстус Эльдеринг-Гейзер! — Жаба! Тут — ваша мерзкая хватка, в этих банковских петардах. В этой вонючей обструкции!

Он кидается к столу. Захватив в кулак пачку писем, он трясет ею, словно собирается щелкнуть кого-то по носу.

— Они думают, я поскользнулся! Они хотят меня припугнуть, чтобы я развязался с Советами...

Он мечет письма на стол.

— По-настоящему, — произносит он, немного стихнув, — не мешало бы Советы достойно проучить: они зачесались бы, милейшие товарищи, если бы ван Россум объединился против них с Эльдеринг-Гейзером... О, они у меня потанцевали бы, высоко-уважаемые...

Он подпирает бока и, стоя фертотом, раскачиваясь, исследует Франса, будто перед ним неожиданно всплыл один из милейших и высокоуважаемых. Поторжествовав над ним, он с пренебрежением дергает голову и опять разваливается на диване.

— Но не мое дело давать большевикам уроки. Пусть их обучает кто-нибудь еще. Они — дорогие ученики. Ты знаешь, во сколько они обошлись нам? Довольно. Я не хочу миссионерничать. У меня есть свои интересы... Скажи на милость...

Он снова поднимается.

— Скажи на милость: чем я хуже какого-нибудь посредственного инженера, какого-нибудь швейцарца Касти? Чем?

— Почему ты должен быть хуже? — недоумевает Франс.

— Ну да, почему? Почему всякий технический недоносок, которого Европа не знает, куда приткнуться, почему он устраивается здесь в качестве пророка и набивает себе карманы, а мы, а я... мировая фирма ван Россума должна пренебрегать естественными источниками прибыли в стране, с которой у нее...

— Пренебрегать? — осторожно спрашивает Франс.

— Я имею в виду предвзятости наших традиций, понимаешь? Они связывают нас, лишают нас необходимой гибкости, подвижности. Если мы хотим стоять на ногах, нам нужна новая техника борьбы. Иначе нас свалит всякий ученик марксистского училища. И мы сойдем с круга, мы не поднимемся. Не так ли? Я хочу сказать: нам пора омолодиться. Мы больше не имеем права мыслить так, как твой покойный отец или покойный Лодевийк...

Франс вздергивает брови. Он хочет яснее понять Филиппа. Ему кажется — он понял его.

Он понял, что скрывалось за его многословием, куда вело торопливое витие его тирад.

О нет, дело не в бестактном появлении с Клавдией, не в этом все объясняющем винном дымке, да и не в маскировке поступков деловым разглагольствованием — нет! Неожиданная жестикуляция Филиппа, его тон, кокетливое желание, выше меры, показаться моложавым, бравым, легким — вся эта суетливость не обманула Франса. Он ждал последнего подтверждения своей разгадки и оставался нем.

Тогда Филипп церемонно подал ему руку и проговорил с актовою пышностью:

— Поздравь меня, и я поздравляю тебя: фирма ван Россума приступает к брокерской работе. Я договорился. Здешний лесоэкспортный трест гарантирует мне поставки по моим договорам с целлюлозными фабриками. Мне даны поручения организовать советскому лесу рынки в тех странах, с которыми у Советов еще отсутствуют требуемые отношения.

Через силу Франс понудил себя взять протянутую руку. Но прикосновение Филиппа было подобно тягостному, пробуждающему толчку.

— Ответь мне, — сказал Франс, — на один вопрос. Ты принял это решение еще в Москве?

Филипп раскрыл глаза. Франс был слегка бледнее обычных своих сильных красок, но лицо омерщвляла тупая напряженность, и стянутые губы едва шевелились, пропуская слова. Филипп опять полез за папиросницей; он никогда прежде не проявлял особой любви к табаку.

— Я принял решение, когда оно созрело.

— Оно созрело в Москве?

— Оно созревало постепенно...

— Ты велел мне остаться в Москве, когда уже решил не настаивать на концессии и согласился на брокераж?

— Допустим. Какое значение это имеет для существа дела?

— Ты хотел быть здесь один?

Они смотрели друг на друга не мигая, холодными, злыми глазами, словно два зверя, вдруг столкнувшиеся в чаще кустов.

— Зачем мне это нужно? — тихо сказал Филипп.

— Не знаю. Я хочу знать — так ли это?

Они испытующе повременили секунду. В эту кратчайшую секунду безмолвия Франс убедился, что не ошибся, и Филипп понял, что надо говорить только о деле, что нельзя сбиваться в сторону.

— Ты заблуждаешься, если думаешь, что я недостаточно доверяю тебе.

— Ты — мне? — каким-то взрывом вырвалось у Франса.

Это было так неожиданно, что Филиппа передернуло, и он глянул на Франса как на сумасшедшего. Но безумный выкрик мог иметь даже приятный смысл, и Филипп именно так истолковал его: Франс настолько верен и предан, что само слово «доверие» поражает его до глубины. Поэтому Филипп наставительно подтвердил:

— Я совершенно вверяю тебе свою тактику, и ты не должен сомневаться, да... Что же ты скажешь о нашей новой роли?

— Я давно тебя убеждал перейти на брокераж, — примиренно ответил Франс.

Лицо его оставалось по-прежнему отвердевшим, и губы — тонкою полоскою, как шрам. Он сидел в кресле, прямо, выпятив грудь, приподняв и по привычке придерживая все еще забинтованную руку.

Филипп старался вернуть себе непринужденность.

— Само собой, я действовал под давлением обстоятельств. Но у меня был выбор. Мне сделали предложение шведы, финны. Моя потребность обеспечивалась на приемлемых условиях с избытком. Они заинтересованы и широко идут навстречу. Возникал план полного отказа от работы с Советами. Представь, нашелся человек, который предлагал мне облегчить разрыв... Ну, путем создания некоторых за-

труднений, понимаешь? — в здешних портах. Но нет! Что мне это даст? Я посмеялся... Я решил, что после пятидесяти лет связи с Россией, если нет малейшей возможности оставить одну ногу на этой испытанной почве, надо оставить хотя бы один палец!..

Он увидел в своих пальцах незажженную папиросу и раскурил ее.

— Ван Россум становится брокером. Лодевийку пришлось бы это не по душе. Филипп ван Россум поедет в Испанию, в Аргентину, бог знает куда — отыскивать заказы на советский лес. Филипп ван Россум будет развозить по морям чужой товар, за комиссионный процент. Лодевийка оскорбилось бы это. Но Лодевийк возражал даже против концессии. Он говорил: за что мы им платим, когда они нам должны? Они продают нам наши рубашки. Они хватают людей за горло и говорят: купи рубашку. Тут купишь что угодно... Он был прав, Лодевийк. Он всегда помнил о нашей потерянной собственности. Собственность есть высшая гармония, говорил он. Потому что человек берет только то, что он хочет взять, и лишь столько, сколько может взять. Это так... Но воззрения Лодевийка, к несчастью, устарели. По крайней мере — в общении с Россией. Как быть? Здесь требуется умение извлекать пользу из того, что принадлежит фантастической монопольной фабрике с полутораста миллионами мастеровых. А ей принадлежит все. Здесь требуется выдержка. Мы закрыли глаза на потерю собственных лесов и сделались концессионерами. Настал момент закрыть глаза на концессию. Что ж. Закроем.

Филипп плавно восстанавливал уверенность в себе и спокойствие. Табачный дым невозмутимо расправлял над ним ленивые объятия. Речь стала педагогичною не только по смыслу, но также по внушающим интонациям. И точно достохвальный ученик, внимал гипнотизирующей музыке назиданий окаменелый Франс. Тишина, торжественно облекшая комнату, свидетельствовала, что старая эра отступала в

небытие и, как отходная ей, произносилось слово итогов.

Тогда, в тишине, Франс уловил приближающиеся шаги Клавдии.

Резко раскинув портьеру, почти бегом, почти по-театральному невесомо, она впорхнула в кабинет. У себя в комнате она старательно занялась собою — это Франс тотчас оценил. Не осталось ни одной черты ее лица, которая была бы обойдена вниманием. Прикосновения косметических придумок еще рдели своею свежестью и новизною на ее коже, ресницах, губах. Платье было только что из гардеробной, и ожерелье Франс незадолго видел на туалете, и волосы еще не вышли из-под власти рук, едва оставивших в покое прическу. Аромат пудры и духов был вызывающе крепок, как будто только за этой крепостью Клавдия могла найти себе убежище.

— Франс! Франс! — вбегая и почти бросаясь к нему, воскликнула она. — Как твоя рука?

Он успел взглянуть на Филиппа.

Филипп сохранял спокойствие. Но в том, как он, подобающе присутствию женщины, переменял позу, было слишком много небрежной медлительности. Он не чувствовал себя стесненным.

Франс поднялся. Клавдия дотронулась до его больной руки. Он отвел руку. Она не приняла вызова. Она надеялась в болтовне — неудержимой, подобно ее влету в комнату — найти опору, как она думала отыскать ее в стремительной мобилизации усыпляющих внимание пустяков. С каждым мигом она теряла веру в себя и все больше, все беспомощнее верила в свои прикрытия, свою защиту из духов и шелка.

— Мы ездили в порт и чудно завтракали на парходе! — воскликнула она.

— Да, я не сказал тебе, — вспомнил за нею Филипп, — мы завтракали на «Кельбергене».

Они могли бы этого не говорить! Франс холодел, Франс окоченевал от напряжения. Уговоры косметики, мольба и вопли туалета были убоги, жалки, они

были омерзительны, потому что только пуще выставляли, что должны были скрыть: от Клавдии пахло вином — той самой помесью лозы с подвалом, которая отлетала от Филиппа, от нее пахло папиросами, и никакие духи в мире не могли заглушить того самого табака, которым окучивал комнату Филипп.

— Что ты молчишь?.. Франс! Ты сердишься, ты все еще сердишься на меня?

Ее глаза красны, веки припухли. Но они не заплаканы, нет, это не от слез. Это — от вина.

Франс сам как будто глотнул кварту огненного вина, оно помчалось по жилам к сердцу, оно звоном разлилось в мозг. Холод окаменения исчезает. Руки раскованы, и Франс уже должен изо всех сил противиться страшной потребности поднять и обрушить их на создание, которое что-то лепечет перед ним, заискивая и ужасаясь.

— Ты не будешь отвечать? Нет? Франс! Нет? Ну, это самодурство!

— За что такая немилость, Юпитер, — вмешивается Филипп. — Разве можно сердиться на Клавдию Андреевну? Правда, что муж меньше всех знает свою жену. Она, Франс, чудесный человек!

Франс оглядывается на него и насильно разжимает губы. Они дрожат и не слушаются:

— Все плохое происходит из чудесного...

Ему хочется заорать, он принуждает себя говорить тихо, голос его переламывается и на мгновение пропадает. Он смотрит на Филиппа в упор.

— Дьяволы — из ангелов...

Он нескладно оборачивается к жене:

— ...потаскухи — из девушек...

Он больше не может. Он должен броситься, все перед собою опрокидывая и круша, и он бросается прочь, мимо Клавдии, мимо Филиппа, раздвигая подвернувшуюся мебель. Он бежит по комнатам, по коридору и лестнице, он вылетает на улицу, отталкивает шофера и падает в автомобиль. У него такое чувство, будто шум, гудящий в его жилах, рвется наружу и увлекает, мчит его в свой вихревой водоворот, втягивая, как прорва.

Он дает газ. За рулем до мелочей знакомого автомобиля к нему возвращается сознание. Но шум еще гудит у него в крови.

Странно. Франс ничего не понимает в происшедшем. Он не знает, что произошло. Он ведь и сам любил пить вино с Клавдией. И он бежал. Он бежал через ту дверь, теми комнатами, которыми — тогда — ушел Рогов. Та, старая, давнишняя история продолжалась. Ее продолжал Франс. Почему вместо Филиппа он вспомнил Рогова?

Клавдия, Клавдия! — Он слышит это имя, оно прорывается сквозь шум крови. Он набавляет скорость, но движение кажется ему ничтожным, он хотел живее вырваться за город, на простор шоссе, но, точно приколотый, он вертится вокруг одного места, бесконечно переезжая все тот же мост.

Почему он ничего не может понять? Жизнь своего сердца, своей мысли он постоянно держал в руках. Он прежде мог раскрыть свои ладони — и вот перед ним его душа. Она была разлинована, как парк — аллеями. Куда Франс ни поглядит, всюду ясно и далеко видно. И вдруг аллеи спутались. И Франс плутает, плутает по каким-то черным оврагам, и ему тошно глядеть, и он зажмуривается.

Когда он начинает видеть — он опять около проклятого моста. Неужели он запутался в городе? Он тормозит изо всей мочи, чтобы пропустить трамвай, тяжело забирающийся на подъем. Едва трамвай проползает, он дает ход. Но с моста катятся вниз, громыхая, встречные вагоны. Франс рывком кидает автомобиль в сторону и выныривает из-под трамвая. Он смолodu был превосходным автомобилистом!

О, если бы нужная скорость, — что говорить! — он справился бы и с другой задачей: из-за трамвая, так же быстро, как Франс обогнул его, выносится автобус. Проклятый мост!

Клавдия, Клавдия! — звенит в ушах Франса. Ему в руку вонзается что-то острое, точно под бинт засунули гвоздь. Грудь придавлена тяжестью, взявшейся непонятно откуда. Франс замечает несообразность: автомобиль переменил направление под пря-

мым углом. Радиатор автобуса чудовищно вырастает над головой.

Клавдия, Клавдия...

Автобус коверкает и волочит за собою маленький автомобиль.

С трамвая соскакивают и бегут люди. Толпа собирается в плотное кольцо.

XXIII. ОСТРОВА БУДУЩЕГО

Сеня Ершов писал карандашом на выданных из школьной тетради клетчатых листочках.

«Почему я поступаю на рабфак? Имею очень большое желание учиться. Поэтому хочу все силы отдать науке, и не щадя даже своей жизни. Я хочу быть культурным ученым человеком, чтобы...»

Сеня Ершов покачал головой: внизу пел песни уволенный за пьянство обрезчик, известный по кличке Макинтош. Через тесовую переборку с одной стороны вели сердечный разговор под литровочку двое мужиков с биржи, давних соседей Сени по барaku. С другой — без передышки бубнили о чем-то худалые старухи.

Больше всего мешал обрезчик. Пол пропускал в неприкосновенности каждое слово песни, каждую жалобу железной кровати, на которой валялся Макинтош, исполняя свой похмельный репертуар. Макинтоша после увольнения выселяли из барака, он был зол, грозился и нарочно шумел.

Собираясь уезжать, Сеня уступил товарищам свою очередь на комнату в новом рабочем доме. Его закадычный компаньон и друг Ермолай уже справил новоселье, а он все еще лазил по хлюпкой лесенке на антресоли барака, на верхний этаж, колыхавшийся, как понтон, при всяком неосмотрительном шаге жильцов.

Сеня стал на край понтона, намереваясь нырнуть в пучину нижнего этажа, чтобы унять пьяницу. Но,

наскучив сам себе, Макинтош вылез из берлоги в коридор, задрал на затылок малиновую кепку, взревел:

Если вы потопнете
И ко дну прилипнете,
Полежите года два,
А потом привыкнете...

Никто не отозвался ему, и, сникнув, он зашаркал вон из барака.

Сеня уселся писать.

«...строить советскую социалистическую страну. Идя в общество, я буду проводником нового быта. Жил я раньше в Сороке, а потом в деревне среди темных масс, где процветала темнота, пьянство, невежество во всех областях бытовой жизни, и нельзя в таком положении там поднять культурного уровня. У меня желание было, еще когда ходил в школу I ступени, но тогда не было возможности мне учиться дальше, из-за домашней обстановки и за неимением рабочих сил у родителей, я тогда остался работать на крестьянстве. Но желание все время росло, и я стал заниматься тогда самообразованием, отчего я немного повысил грамоту. Потом стал работать селькором «Красной Карелии», и после общественная работа стала интересовать, и среди масс вел себя активно и участвовал в этой работе добросовестно, и имел от граждан села авторитетное выдвижение...»

Сеня передохнул. Сочинять было нелегко, потому что писание предназначалось газете «Пила», требовавшей ответить на вопрос — почему Сеня поступает на рабфак? К тому же воспоминание о деревне с коварной легкостью увело далеко в сторону.

Вот Сене лет восемь от роду. Он стоит по щиколотки в речке, на песчаной мели. Рыба совсем не клевала, и Сеня, балуясь, нахлестывает по воде удочкой, как кнутом. Понемногу ему надоедает и эта забава. Он последний раз тянет из воды леску и вдруг видит, как за крючком весело бежит маленькая рыбка. Он приостанавливает леску. Вода прозрачна,

как воздух, видно, что рыбка поднимает своими движениями песчинки со дна. Потом она со всех сторон обнюхивает наживку на крючке и разевает рот. Сеня подсекает ее и выбрасывает на берег. У нее чуть-чуть надорвана нижняя губа, она гибко бьется, обклеивая Сенину ладонь линючим серебром чешуи. Он решает пустить рыбку назад в воду. Сначала он держит ее в кулаке, ощущая судорожное вздрагивание бессильных жабер. Затем он медленно распускает пальцы и дает рыбке выскользнуть на волю. Секунду она стоит на месте, подергивая плавниками, потом чиркает по светлому песку молниеподобным зигзагом и пропадает. У Сени сжимается сердце: ему необыкновенно хорошо, почти до восторга, и в тот же миг — страшно хочется сделаться такой же крошечной рыбкой, чтобы так же чиркнуть по песчаному дну в прозрачной, как воздух, воде.

Однажды Сеня рассказал Ермолаю об этом воспоминании и застыдился, признавшись, как ему хотелось стать тою рыбкой. Но Ермолай, ко всему относившийся вдумчиво, сказал: «В нас имеется от всякого зверя помаленьку — от рыбы, от птицы, от ручного и дикого четвероногого. Оттого мы и понимаем, когда они рады или когда они нам опасны. Я тоже люблю рыбачить. Погоди, мы с тобой сходим на рыбалку вместе...»

Размечтавшись, Сеня незаметно начал вслушиваться в судаченье старух за перегородкой. Они пили чай, причмокивая и поскребывая донцами чашек по блюдечкам. Хозяйку угла — тетку Машу — Сеня узнал по голосу. Она убивалась:

— Он был такой ответственный, такой ответственный, прямо страсть... И совсем молодой. Любили его все, прямо весь завод оплакивал. Уж такой ответственный...

— Что же он в клубе-то мало постоял? — спросила другая тетка. — Только принесли, а вечером вынос...

— Мало постоял, мало — такой ответственный, а постоял совсем мало. Не успели привезти, и уж вынос. А такой ответственный.

— Проститься не успели.

— Вот этак, значит, вчера обмыли, одели в новую тройку, сегодня, значит, в клуб — и вынос. Совсем в клубе-то не постоял. А такой был...

— Тетка Маша, — позвал Сеня. — Ты мне мешаешь. Говори свои предрассудки полегче.

Он боролся с предрассудками не на живот, а на смерть, он отыскивал их повсюду.

— Может, ты и в Илью-пророка веруешь, — издевательски обратился он к перегородке.

— А тебе что? Может, и верую. Какой нашелся!

— Может, когда гром гремит, так это Илья-пророк на колеснице ездит?

— Может, и ездит!

— А что же, тогда он зимой в доме отдыха находится, что грома не слышать?

— Зимой-то, чай, он на санях ездит, вот его и не слышно!

Старухи захлебываются хихиканием. Сеня вторит им во весь голос, потом быстро делается серьезным и затыкает уши, взяв голову в кулаки. Несколько минут он неподвижен. Вдруг корпус его припадает к столу, правое плечо высоко поднимается над повисшей головой, он туго сжимает карандаш:

«...Теперь решил учиться выше и отдать себя науке. И во что бы то ни стало надо обязательно поднажать и очень крепко на усталость и на затомление. В настоящее время я себя чувствую очень горячо и энергично, и даю я честное товарищеское слово и клятву, что отдам все свои силы за социалистическое строительство нашей страны».

Сеня задумался — как подписаться? Он еще не был принят на рабфак, но уже переставал быть вершинным навальщиком лесопильного завода. Одной ногой он ступил в кудрявый, омытый солнцем сад, дорожки которого заманчиво убегали вперед. Но другая нога еще стояла около рамы, звоном пил призывающей к обыденному труду.

Ермолай звал его со двора: надо было торопиться.
— Я только обуюсь, — откликнулся Сеня и решительно подмахнул сочиненье:

«Студент рабфака *Семен Еришов*».

Он запихал листочки в карман, бросился надевать сапоги и облегченно вылетел на воздух.

Всего пятерых комсомольцев позвал Сергеич на беседу с газетчиком Роговым: у Анфисы Петровны было слишком тесно, а газетчик не мог двинуться из-за больной ноги.

Он лежал третий день. По мышцам лилась нескончаемым током горячая вода — это ощущение было настолько ясно, что казалось: вскрой на ноге кожу — вода хлынет из-под нее каскадом. Да Рогов и рад был бы изрезать кожу, жилы, перепилить кость (он все чаще думал об ампутации), лишь бы раз навсегда избавиться от нестерпимых болей, внезапно превращавших его в калеку.

Анфиса Петровна заботилась о нем с участием и непринужденно, точно это входило в ее домашние обязанности. Ему было и неловко и приятно испытывать ее внимание и уход. С начала болезни он только и думал, что вот — чужой, пришлый — свалился и лежит обузою, помехою для старухи, занятой своими хлопотами, своею рабочей жизнью. Но потом его покорила простота Анфисы Петровны, и он не только легко принимал от нее услуги, но даже сделался ее пациентом, покорно глотая какой-то рябиновый отвар, который будто бы очищал кровь.

— Ты не сомневайся в лечении, — говорила Анфиса Петровна, — оно действительное народное лечение, а не какое снадобье. Научилась я его варить от моей покойной мамушки. Еще я маленькая была, ходил к нам в дом сплавщик Андреян Андреяныч. На ногу жаловался, точь-в-точь как ты теперь, ступить не может. Знатный был сплавщик, сто рублей свершонки получал, сверх, значит, заработка. Мамушка его этим леченьем во как справила — бывало, плясом пляшет, притопывает. Мне с сестренками всегда за пазухой коржик принесет... А уж много

после того как меня замуж выдали, прибежали к нам на моторных лодках из Швеции на удевну, треску удить. Тот год плохой был промысел. Рыбаки больше на матерé сидели, чем удили. Заявляются у нас два сведа, отец да сын. Просят водички. Гляжу, они в ковшик соли насыпают и посоленную воду давай из горсти носом хлебать. Что вы делаете? А у нас, видишь, кровь носом выходит, у отча что у сына. Болезнь. Я им дала мамушкино лечение. Уехали с удевны. Подошла зима. Зимой шлют из Швеции письмо, отписывают мне, что кровь больше ни разу не выходила, снята болезнь как рукой. Получаю я спасибо от моих сведов, от отча что от сына... Пей на здоровье, и у тебя все рукой сымет, пойдешь плясать, как Андреян Андреяныч...

И Рогов пил захватывающую дух стряпню, горько завидуя Андреян Андреянычу, поминая свое метанье по врачам и клиникам, прикидывая — кто меньше помог — аллопаты или гомеопаты, русские или западные клиницисты, жалея, что не попробовал почитаемого в Европе врачевания камерунских негров, решая непременно полечиться по-тибетски и — уж если не поможет — прежде чем наложить на себя руки, найти хоть завалящего знахаря, чтобы визитом к нему увенчать безоговорочное признание медицинского могущества человека. О, хорошая боль порождает не только иронию, но и злобу в кристально-чистом виде. Боль распластала Рогова увечным инвалидом, и единственным проблеском надежды для него сделалось человеческое участие. Он был рад, когда стали собираться комсомольцы.

Пришли только четверо. Не хватало Володи. Сергенч спросил у Шуры: что с ним? Она ответила, улыбаясь:

— Сердится.

— На сердитых воду возят, — буркнул он.

Рогова с кроватью подвинули ближе к раздвинутой цветистой занавеске, он лежал как на авансцене, и зрители, рассевшись кто на чем, могли подробно разглядывать гостя, вдвойне оплачивая его любопытство своим.

— Вот, товарищ Рогов, — сказал Сергеич, — ребята, которые хотели с вами познакомиться. Я тут, пользуясь случаем, тоже скажу пару слов. Предстоит собрание коллектива комсомола. Хорошо бы нашим ударникам на нем выступить. Мы на бюро толковали — почему последнее время у нас на севере, в лесопромышленности, участились аварии. Недавно с Сумы тянули кошелю — весь лес морю отдали. Что же, на Сумском посаде нынче хуже бонны вяжут? Тросы были порядочные, а не выдержали. И погода стояла подходящая — не болтыхало. Почитаешь «Пилу» — диву даешься. Поломки рамных пил на заводах стали расти из месяца в месяц. Может, рамы стали особенные, с какими-нибудь сложными механизмами, которыми мы управлять не умеем? Или пилоставы вдруг позабыли, как ставить разлучки? Да нет, рамы у нас старенькие, даже слишком старенькие, иной раз даже пора в отставку, и мы, как бы сказать, пилим на ней из уважения к ее заслугам. А дюймы в рамах менять — механика не самая хитрая из того, что нам досталось в наследство от прошлого. Все словно в нашей технике без особых перемен. Однако аварии растут, производительность падает. В чем же дело? Разные объяснения даются. Но больше всего пеняют на небрежность рабочих, на распушенность, на разгильдяйство. Верное ли это объяснение? И верное и неверное. Почему? Потому что разная бывает небрежность. Одно дело — человек не понимает, не обучен как следует работать. Другое дело — человек укрывает разгильдяйством свое нежелание трудиться, а то — вещи и более серьезные. Что это за вещи? Мы вот с вами занимаемся организацией труда, а есть товарищи, люди, которые занимаются организацией безделья. Открыто они этого делать не могут, потому что им дадут по носу, если они открыто станут подбивать рабочих на бездействие. Они это делают тихой сапой. Они раздувают всякую неудачу, отлично понимая, что неудача есть источник малодушия, слабости. Вы сами знаете — бревно подымаешь, оно сорвалось раз — ничего, два — плохо, а три — и руки опускаются. Но что же таким людям делать, если не-

удач нет? Если неудач нет, они их создают, другими словами — они саботируют. Саботаж, товарищи, не нами придуман, саботаж — старое, бывалое орудие экономической и политической борьбы. Капиталисты в борьбе между собою применяют саботаж без зазрения совести. Ну, а насчет того, насколько терпелива их совесть в борьбе с нами, — много говорить нечего.

— К чему мы приходим, как только всмотримся в разгильдяйство, в распушенность на наших предприятиях? — спросил Сергеич, медленно поднимая лицо к низкому потолку. — Мы приходим к убеждению, что наши успехи ожесточили классового врага и он из всех своих низменных сил старается причинять зло и ущерб нашему великому и непобедимому делу.

Сергеич точно говорил сам с собою. Пересыпая речь вопросами, он отвечал на них после раздумчивого молчания, будто впервые ставил их себе и решал здесь, в этой крошечной притихшей горнице. Спокойная сосредоточенность его голоса и это обращение речи к себе самому, к внутреннему непроизносимому ходу собственной мысли придавало его словам странную новизну и такую силу очевидности, что Рогов, со своей постели, глядел на него, не мигая, забывая о боли.

— На наших заводах кое-где расхлябанность тоже дает себя знать. Можем ли мы смотреть на это сквозь пальцы? Товарищ Рогов (Сергеич глянул на Рогова и, как по сговору, оборотились к нему комсомольцы) в разговоре со мной указал на то, что у нас бывает разный народ с иностранных судов и прочее, — всегда ли мы знаем, с кем имеем дело? Конечно, не всегда. А надо бы знать. Главное — надо бы поглядывать, какие цели преследует человек на нашем производстве? Не ведет ли, к примеру, знакомство с лодырями и забулдыжками? Третьего дня ночью арестовали на запани пьяного. Зачем он попал на запань? Говорит: шел да забрел, денег на перевоз не было. Парень оказался знакомый — как его? — в малиновой кепке! Его отпустили.

— Макинтош! — быстро подсказал Сеня Ершов. — Трепало-мученик. Зря отпустили.

— Конечно, зря. Как раз такие-то опасны.

Сеню охватило беспокойство, он подпрыгивал, ерзал на стуле. Он насилу дождался конца неторопливой директорской речи.

— Еще пример, — сказал он, — о том, что попадает к нам всякий народ. Вот это жил здесь, у тебя, тетка Анфиса, буржуй. Тебе его Сергеич поставил. Еще тогда Шуру зашибли. Помните? Ну, вот он является к нам в цех, все как есть смотрит. Тут как раз у ребят на обрезных немножечко затерло, и мы с Ермолаем стали. Я, конечно, гляжу на буржуя — что, мол, с ним, как ему наше происшествие приходится? А он ухмыльнулся этак и подмигнул.

— Кому подмигнул? — спросил Сергеич.

— Сам себе подмигнул.

Сергеич засмеялся, и все за ним повеселели. Но Сеня продолжал еще серьезнее:

— Стоял, стоял, все смотрел. Потом, как увидел, что с завалом мы сразу совладать не можем, подмигнул и пошел... Я тогда сразу Ермолаю сказал: это что же, приехал сюда, ходит и себе на ус мотает, что, мол, рабочий класс без него все одно не справится. Так, что ли?

Он сморщил на Сергеича свои белобрысы брови, требуя ответа.

Ответил Ермолай:

— В открытую никто худого не сделает. Такой, как этот, если и подмигнет, то разве так, для обхождения. Он сам про себя очень хорошо думает. Но правильно, народ всякий бывает. Мы с Сеней имели разговор с Брайвером — с матросом, вон которого сейчас на буксир приняли. Я его спрашиваю: зачем ты к нам прибыл? Хочу, говорит, на рабочий класс, на социализм поработать и все такое, чувствуете? Ты бы лучше, говорю, у себя с капиталистами схватился. Я бы, говорю, сам пошел туда, да у меня вашего языка нет. Приду, они услышат, как я на свой манер кувыркаюсь, — сейчас цап-царап, под замочек, за решеточку. А ты, говорю, там дома. Ты там больше

пользы принесешь, чем у нас. Катись назад. Он мне отвечает: тебе, мол, здесь с капиталистами мериться не приходится, за тебя всех их добрый дядя сковырнул. А поди каждому хочется пожить на готовеньком... я его с одной стороны понимаю. Но все-таки с ним надо быть начеку.

В самом деле: имеет ли право иностранец жить «на готовеньком», когда революция у него на родине еще не оперилась? — заволновался Сеня. Но он сам же отыскал решение вопроса: иностранец мог жить на «готовеньком» с учебными целями — узнать, как оно готовится, и вывезти науку для применения в своем отечестве.

Сергеич закончил тем, к чему вел сначала: враг изобретателен, как Чичиков, который строит свои планы в расчете на дураков и негодяев, враг применяется к любым условиям, как земноводное, и потому — где бы ты ни был — держи глаза промытыми утром и вечером, днем и ночью.

Пока Рогов был слушателем, он увлеченно наблюдал новых знакомых. Но вдруг опять все обернулись к нему, на этот раз — с намерением заставить говорить. Он был за границей — так вот не расскажет ли, что там за житье-бытьишко? Он не мог ни отнекиваться, ни долго обдумывать, он сказал, что — неизвестно как — пришло на ум:

— Живут по-разному... Недавно серьезные газеты сообщили, что один патер отслужил мессу на Монблане. Оказывается, патер поставил себе жизненной целью совершить богослужение «в возможной близости к небу». И вот он двинулся, с процессией богомольцев, на вершину Монблана. Но особенно большой близости к небу ему достичь не удалось, потому что богомольцы были неважные альпинисты. Они забрались всего на две тысячи метров. Подумав — как быть? — патер пропел все, что полагалось, на высоте в две тысячи, и газеты довели об этом до сведения человечества.

Аудитория не сразу нашлась, как отозваться на рассказ, и испытующе выжидала объяснений. Наконец

Сеня с трудом вытянул записную книжку размером больше кармана и достал длинный карандаш.

— Как этого патера по фамилии?

— Не знаю. Позабыл. А тебе к чему фамилия?

— Я бы его в нашей «Пиле» протащил.

Кругом опять повеселели, и тогда вопросы сложились в отчетливую мишень, и Рогову сделался ясен прицел.

Глаза, смотревшие на него с жадностью и нетерпением, хорошо знали, что происходит на этом свете. Но им было мало своего знания. Как солдаты, отбившие позицию противника, и Сеня, и Ермолай, и все их товарищи хотели осмотреться, чтобы лучше увидеть, какие новые высоты предстоит им брать. Все они шли одним и тем же путем, открывавшимся впереди Рогову, только у них был другой опыт и они собрались пополнить его опытом Рогова.

И Рогов начал делиться мыслями, которые, казалось ему, сложились в его представлении сами собой...

Ни одного дня не прошло после Октябрьской революции, чтобы Запад не вспомнил о существовании Советов. Для одних — это добрая память, для других — злая. Для одних Советы — слепительная звезда надежды. Для других — грозовая, чреватая туча. Копятся силы одних, подтачивается могущество других.

Но могущество тех, кто до сих пор господствует на Западе, — все еще реальность. Это могущество простирается до наших границ — здесь его предел. Прошло время, когда силой оружия Запад пытался поставить революцию на колени. Прошла и другая пора, когда Запад угрожал миру Советов изоляцией, голодной смертью.

— Помните, как говорил в последнем своем выступлении перед страной Ленин: помощи от капиталистических держав ждать было нечего, мы должны были добиться успеха в одиночку...

И мы работали в одиночку. Но прошло и это время. Успех был нами завоеван. Хозяева Запада убедились, что от разрыва с Советским государством терпят они сами — прорехи в их хозяйстве росли, нужды толкали

их к соглашениям. Теперь такие соглашения в действии. Наступили новые времена. Запад торгует, сотрудничает с нами.

Западноевропейский делец, разъезжая у себя на родине, проснувшись поутру в отеле и спустившись в холл, находит в книжном киоске новинки о государстве, обозначаемом буквами СССР. Новинок много, они загораются красками восхода каждое утро, они ведут между собою войны, уничтожая, истребляя друг друга. Делец лавирует между ними, то ободряясь надеждою, то ужасаясь. Его кидает в жар и в холод. СССР «манит». СССР «угрожает».

Манят выгоды торговли с советским партнером. Угрожает рост его хозяйственной мощи. Дельца гонит к работе с нами стремление как можно больше получить выгоды. Его держит страх передать нам «лишнего», принести нам пользу. Ему было бы выгоднее, извлекая пользу, наносить нам вред.

Однако с каждым днем Запад сознает отчетливее, что невозможно извлекать пользу из сотрудничества с нами, не предоставляя из него пользы нам.

Страна Советов — страна мира. Мы за соглашения. Но только за соглашения на равных правах. Дельцы Запада слишком были избалованы в прошлом договорами, кабальными для Востока. После Октября Россия первой на Востоке перестала быть благодатным полем для подобных сделок. Либо равноправие, либо ничего — вот условия, на которых мы готовы и будем честно торговать с Западом...

— Тут вспомнили, — сказал Рогов, — о приезде на сороцкие заводы одного такого западного дельца. Я его хорошо знаю. Он попробовал отстаивать невыгодный нашей стране концессионный договор. Он должен был уступить. Он не порвал с нами и не порвет. Свои интересы он получит. Но ему пришлось посчитаться и с нашими.

Рогов улыбнулся Сене Ершову.

— Вот Сеня-то видел, как этот делец подмигнул... Подмигнул, да, видно, просчитался в своих мыслях. Получилось не по его, а по-нашему. И так каждый

просчитается, потому что мы каждому дадим отпор, кто попробует работу с нами обернуть к невыгоде нашей стране.

— Еще как дадим! — негромко выговорил Сеня, и Рогов улыбнулся ему еще живее.

Так кончилась стычка с Западной Европой в заводском поселке Поморья.

Рогов наполовину слез с кровати, спустив здоровую ногу на пол, полулежа на скомканной подушке. Он покраснел, взъерошенные волосы свисали на лоб. Еще больше всклопочен был Сеня, сидевший прямо против него, уткнув подбородок в кулаки и упираясь локтями в колени. Он не пропустил из разговора ни слова. Когда стали прощаться, он вынул из кармана листочки.

— Я тоже пописываю, — сказал он с независимым видом. Но сейчас же застеснялся и прибавил скромнее: — Может, ты поправишь, я тут закончил вещицу.

Рогов развернул листки. Чем дальше он вчитывался в карандашные закорючки, тем шире делалась его улыбка. Под конец он засмеялся.

— На, не стоит править. Так лучше.

— А чего же вы смеетесь?

— Не знаю, — сказал Рогов, — просто рад за тебя.

Отдавая бумажки, он захватил и пожал Сенины пальцы, почти ступив на обе ноги и выпрямляясь.

— Чего встаешь-то? — схватил его Сеня. — Хуже не стало бы. Ляг.

И он с застенчивой нежностью помог ему улечься.

Еще во время разговора бесшумно исчезла Шура. К концу поднялся Сергеич. Он сутулился — такими низенькими казались потолки. Пролезая в дверь, он согнулся еще больше, точно ему было неловко, что он уходит. Комсомольцы двинулись гурьбою, предварительно один за другим по-разному стиснув Рогову руку.

Наедине Рогов попробовал встать. Боль утихла. Он не мог больше лежать. Хромая, он добрался до окна. Приоткрытые створки немного двигались от ветра. Рогов высунулся наружу. Не видно было ни души. Серели деревянные строения, по дощатым мост-

кам бежали, крутятся, спиральки пыли, на высоких бревенчатых козлах раскачивались давно просохшие канаты, рыжий пес спал, склুবившись посередине дороги. За береговым скатом неся широкий, пустой индигово-синий Выг.

Рогов удивился, что в этом суровом крае он только что жил с такою интенсивностью впечатлений, что ему ни разу не пришла на ум мысль, которая до сих пор не покидала ни на минуту.

На свете существуют потери, приносящие облегчение. Свое бегство из дома ван Россума Рогов воспринимал как поступок, отрезавший путь назад. Клавдия? Он прекрасно видел ее черты, по отдельности перебирал их в памяти, медленно и разочарованно, как вещи из старой коллекции, когда-то наполнявшей воображение страстью. Он думал о ней, как о разочаровании — черство и в то же время облегченно: оно оставалось в прошлом. Но позабыть о нем вполне он еще не мог. Поиски должны были начаться снова, и Рогов готов был их снова начать. Но у него было уже меньше надежды, что, найдя, наконец, единственный путь через скалы, он, как норвежский батрак, вскарабкается к своей цели.

Анфиса Петровна внесла чашку с рябиновым отваром.

— Смотри-ка, — сказала она, — вот уж ты сел к окошку! Выпей-ка, тебе — на пользу. А я пойду сбегать недалеко.

Она и правда почти выбежала, хлопнув звонкой щеколдой, на ходу подтыкая головной платок. Помужски широко она вымерила площадь, закоулками обогнула тихие дворы и вошла в директорский дом. В кухне она надела передник. В соседней комнате стоял смех. Анфиса Петровна, растопырив локти, подкралась к двери и чуть-чуть открыла ее.

Стол был заставлен посудой. На скамье едва уместился объемистый таз с водою. Поодаль зияла пасть огромной корзины.

Сергеич и Шура стояли против друг друга, держа концы протянутого через таз полотенца. Сергеич засучил рукава и по самую грудь подвязался красной

рубашкой, точно фартуком. Работа шла ладно: из корзины тарелки окунались в таз. Шура вытирала их одним концом полотенца, Сергеич насухо — другим. На столе посуда поблескивала намытыми и натертыми донцами.

Вдруг Шура ахнула и развела руками. Тарелочные черепки брызгами разлетелись по углам комнаты. Полотенце упало в воду. Сергеич, хохоча, вытаскивал его из таза, заливая свой фартук.

— Ну, чего ты хохочешь? — испуганно вскрикнула Шура. — Ведь тарелка-то клубная, чем будешь отдавать?

— Да это же хорошо! — хохотал он. — На свадьбах всегда колотят горшки, ей-богу!..

Что, если бы эти слова подслушала не Анфиса Петровна, а — Сеня Ершов? Туговато пришлось бы от него Сергеичу.

XXIV. КУРС — ВЕСТ

Траур преследовал Филиппа ван Россума. Это было ужасно. При разумном, вполне здоровом желании отыскивать в каждом обстоятельстве какую-нибудь приятную сторону, Филипп не мог найти ее в трауре. Траур расстраивал. Траур причинял боль. Как бы сказать? — Траур вырывал у жизни чрезмерно большое место.

Филипп разглядывал свои пальцы. Продолговатые, прочные ногти, слегка загнутые книзу на концах, все еще натурально розового цвета, без особого маникюра. Крепкая кисть лопаткою. Такая рука не соскочила бы с автомобильного руля, нет. Следствие утверждает, что, если бы у Франса не сорвалась рука, он, может быть, счастливо выскочил бы из-под носа автобуса. Но свидетели показывают в один голос: у него соскользнула забинтованная рука. Бедняга. Такой конец из-за идиотского случая с дверью.

Застывшие в неподвижности пальцы Филиппа наводят его на мысль о руке мертвого Франса. Дикое слово: мертвый Франс. Возможно ли?

Филипп прячет руку в карман. Он не любит покойников. Он еще не смотрел Франса. В Голландии он надеется сказать, что простился с ним в России.

Клавдия проводит чересчур много времени у гроба. Неприятно. Когда Филипп приближается к ней, чтобы утешить и приободрить, его пронизывает холод: от нее пахнет трупом. Ему приходится пересиливать себя. Потом это проходит: она так привлекательна в горе, так хрупка и по-девичьи мила.

Да. Сегодня, в прощальный час отплытия Франса из Ленинградского порта, Филиппу исполнилось шестьдесят лет. Три дня назад, на пароходе, он уговаривался с Клавдией весело отпраздновать свой юбилей. Они смеялись: вторую молодость! Они решили построить легкую светлую яхту и назвать ее «Вторая молодость». Она будет ходить по новым каналам Зюйдерзее к Северному морю. Они были счастливы от этой выдумки. Сегодня Клавдия подарила Филиппу красную гвоздику. Этот цветок, — сказала она, — значит, что даже смерть не в силах затмить твоей второй молодости со мною... Филипп был растроган. Но откуда Клавдия принесла гвоздику? Она покупала цветы для Франса. Может быть, гвоздика успела полежать в гробу? Он понюхал цветок. Труп! Он бросился прыскать цветок духами. Но все это вместе — пряные духи, влажное благоуханье гвоздичных лепестков, зной летнего полдня, — все это и было настоящими похоронами. Филипп оставил гвоздику в комнате Клавдии.

Все равно нельзя было бы носить цветка с собою: траур.

В отличие от траура по Лодевийку, имевшего единственно моральное и традиционное содержание, траур по Франсу выражал практическую утрату: кто будет представлять ван Россума в Советском Союзе так исчерпывающе, как Франс, и в момент, когда дело надо переводить на новые рельсы? Эта гибель мрачно завершала все потери Филиппа в России, тогда как смерть Лодевийка подводила радужный счет многим приобретениям.

Филипп вздохнул: оба траура совпадают во времени. Это, разумеется, лучше, чем если бы они растянулись на месяцы один за другим. И все же: какая прискорбная утрата! И как парадоксально велика роль, которую смерть играет в жизни! Вступая во вторую молодость, добившись живительного отклика у Клавдии, Филипп вынужден дробить свои силы между обновленным чувством и навязчивыми мыслями об оригинальном надгробии Франсу, о кладбищенском семейном склепе и кто знает — о чем еще?

Он сам подготавливает перевозку Франса на родину, в Амстердам.

Идут два парохода ван Россума. На первом следует покойник. На втором, более удобном для пассажиров, едут Филипп с Клавдией.

С первого приказано снять палубный груз, чтобы придать судну подобающий достойный вид. Трюмы не разгружаются, но в носовом выложена в балансе глубокая ниша, весьма искусно — как шахта, на подпорках. Снизу и с боков ниши помещен в жестяных тазах лед. Металлический гроб вдвигается в нишу.

Все готово.

Поднят трап, отдан носовой трос, буксир, дымя, осторожно разворачивает пароход.

Механизмы, краны Лесной гавани на минуту приостанавливают работу, с ближних пароходов, не двигаясь, смотрят боцмана, матросы.

На стенке, у освободившегося причала стоят Филипп, Клавдия, позади них — скиперы и другие офицеры находящихся в порту судов ван Россума, в сторонке — капитан порта, власти, кучка советских служащих, повседневно сталкивавшихся с покойным.

Когда пароход начинает помогать буксиру своим ходом, все разбредаются. Капитан порта церемониально подходит к Филиппу и выражает сочувствие:

— Франс Губертыча ценили наши работники. Прямо не верится...

«Научились вести себя прилично», — думает Филипп, протягивая ему руку.

Потом он провожает Клавдию на пароход, который эскортирует судно с гробом.

Клавдия наспех прощается с отцом. Бескрасочный, дряхлеющий человек с усталыми глазами целует ее в щеку и успевает застенчиво спросить:

— Что же — навсегда?

— Не знаю, ничего не знаю, — ничего, ничего! — бормочет она и бежит по трапу.

С парохода, прижавшись к парапету, она глядит вниз на отца. Он отводит взгляд в сторону. Еще с тех пор, как Клавдия скрылась за рубежом, он чувствует себя отчужденным от нее. Ее замужество обрекло его на одиночество. Он не мог простить этого ей. Но оттого, что она смотрит на него остановившимися глазами, оттого, что она так прижалась к парапету, что проволочная решетка врезалась ей в ноги, он слышит, как сжимает его сердце почти забытая нежность. Когда Клавдия была маленькой, а он подолгу пропадал из дому, занятый своею, тогда еще молодой жизнью, она писала на записочке, о чем надо спросить у папы, как только он придет. Он приходил, но не успевал ответить на ее вопросы, а записочка так и оставалась у нее в кулачонке.

И оттого, что теперь, с парохода, Клавдия смотрит на него не отрываясь, ему кажется, что у нее зажата в руке записочка со множеством вопросов и он виноват, что вовремя не ответил ни на один из них. Он видит, что пароход отплывает, ему хочется яснее взглянуть в Клавдию, чтобы запечатлеть ее в памяти на весь остаток жизни, но ему на глаза словно насаживают черные очки.

Клавдия замечает его слезы. Захудалый, внезапно ставший близким человек, один, как палец, на берегу, отодвигается вместе с берегом дальше и дальше. Вот он сделался маленьким и скрюченным. Вот закрыл лицо руками.

На какое-то мгновение ее толкает порыв — прыгнуть в воду. Но она обреченно остается на месте.

У нее тоже навертываются слезы, она мигает и жмурится, ей жалко, ей до горечи жалко, что на берегу не стоит Иван Рогов, она силится припомнить

его взор, лоб и губы — в них столько таилось милого, влекущего, — но она не может уловить в воображении черты, они расплываются в какие-то незнакомые чертежи из учебника, чертежи скручиваются в разноцветные кружочки, вбегают в мокрые глаза отца. Она знает, что это — от слез, но не может остановить их. Она догадывается, что отец взмахивает платком: на один миг возникает над его головою белое пятно и потом тотчас поглощается откуда-то взявшимся дымом.

Она трет лицо платком и опять не отрываясь смотрит на блекнувший и уплывающий берег.

Филипп дотрагивается до ее локтя.

— Не надо этой чувствительности.

Но Клавдия остается неподвижной.

Филипп удаляется на нос. Впереди по морскому каналу идет пароход с телом Франса. Филипп обнаруживает роковые узы ван Россумов с морем: давно ли из-за океана «Франс Гальс» доставил в своем трюме Елену? Теперь волна покачивает гроб с ее двоюродным братом. Их дед недаром освятил этот обычай посмертным путешествием под родными парусами «Розы».

Филипп прикован к белому пенистому следу пароходного винта. Островки морского канала приветствуют суда жизнерадостными поклонами кустов и свистом птиц. Эта пляска природы бездушно противоречит состоянию Филиппа, и он вдруг с возмущением начинает отыскивать виновников гибели Франса. Ведь голых случайностей на свете не бывает, и кто-то должен нести ответ за непоправимое несчастье.

Филипп прохаживается по палубе. Неприязнь, накопленная им к советским широтам, бурлит и пенится, как пароходный след.

На Клавдию у него не подымается рука. Конечно, это был слишком фривольный поступок — с журналистом. Это была ошибка. Но она искуплена с ним, с Филиппом, эта ошибка. Здесь можно отыскать скорее некий фатум, избирающий жертвою беспокойные женские характеры. Но даже строгий судья закрыл бы глаза на столь преходящее заблуждение.

Филипп издалека наблюдает за Клавдией. Она все еще неподвижна. Мореходные вежи и кусты островков еще связывают ее с берегом. Филипп остается при своем: излишняя чувствительность. И лучший способ борьбы с ней — игнорирование.

Поэтому Филипп забирается на капитанский мостик.

За Кронштадтом он берет у скипера бинокль. Он наводит стекла на правый берег залива. Он видит светлую песчаную полосу и оторочку ровного сплошного леса. Какие-то черные крапинки передвигаются у самой воды.

И вдруг Филиппу мерещится, что он разглядел Курорт, с его пляжем, с его толпами гуляющих рабочих, облаченных в халаты. Он даже видит отчетливо одно лицо — с прищуренным взглядом, с усмешкою под короткими усами, с громадным лбом, переходящим в лысину, приподнятую на макушке. Это лицо преследовало Филиппа с тех пор, как он ступил на землю в Соробе, и вот оно провожает его — все тем же прищуренным взглядом.

Филипп сдергивает бинокль вниз.

Он оглядывает свои пароходы требовательно и сурово. Они кажутся ему беспомощными, их бег — робким и вялым. Они как будто отступают после неравной схватки, унося с собою павших. Серые замкнутые крепостные форты в море пропускают их безразлично, как ничтожества.

Филипп говорит про себя: несомненно ничтожества. Многого не хватает, чтобы их слушали и уважали. Ост-Индская компания и Ганза поступали верно, вплетая в деловой разговор язык меди и пороха.

Не оборачиваясь, Филипп сует назад бинокль, безошибочно попадая в услужливую пятерню скипера.

— Они виноваты в его смерти, — хрипит он.

— Виноват? — раздается голос недослышавшего скипера.

— Я говорю: они довели его до того, что он потерял власть над собой... Я сразу заметил, как приехал: совершенно разрушенная нервная система...

— Ужас, что они делают над людьми... Чем кончится, мэнэр, вся эта история? — конфузливо спрашивает скипер.

Губы Филиппа толстеют, мешки, одутловатости на щеках и подбородке обвисают. Он задумывается, позабыв о вопросе. Потом озирается и словно нехотя говорит:

— Горе побежденным. Да...

Он долго стоит, глядя в мутную, бурлящую воду, сумрачный и недвижимый. Вдруг он срывается с места и идет в рубку. Ему откупоривают припасенную бутылку шотландского виски, он наливает полфужера и пьет непохоже на себя, — опрокинув все сразу в нелепо разинутый рот.

1930—1935

ПРИМЕЧАНИЯ

«П О Х И Щ Е Н И Е Е В Р О П Ы»

Роман впервые опубликован в журнале «Звезда»: первая книга в №№ 4—8, 11, 12 за 1933 год, вторая — в №№ 6—10, 12 за 1935 год. Отдельные главы и отрывки из романа печатались в различных периодических изданиях и альманахах. Так, например, эпизод из романа, связанный с историей безработного Рудольфа Кваста, был издан в серии «Библиотека «Огонек», № 47(818), М. Жургазобъединение, 1934, под названием «Смерть Кваста»; «Демпинг» — в журнале «Ленинград», 1931, № 5 и в журнале «Стройка», Л. 1931, № 16; «Некоторые воззрения ван Россума» — в «Литературной газете», М. 1932, № 59; «Примерный Виллем» — в газете «Литературный Ленинград», 1933, № 7; «Бабушкины сказки» — в «Литературной газете», М. 1934, № 75; «Банкет» — в «Литературном Ленинграде», 1934, № 63; «Добро пожаловать!» — в «Ленинградской правде», 1934, № 260.

В 1928 году, после окончания «Братьев», Федин совершил большую поездку в Норвегию, Голландию, Данию, Германию. По его словам, он увидел Запад «веселящимся, закрывшим глаза на горе мира», — в период наивысшей стабилизации.

Во время мирового экономического кризиса начала 30-х годов Федин снова посещает Европу, наблюдает важнейшие политические события — в Германии, перед приходом гитлеровцев к власти, в фашистской Италии, затем в Париже, обороняющемся на площадях от «огненных крестов» и марширующем под знаменем Народного фронта. Поездки по Европе, а также встреча и беседы с Ромен Ролланом в мае 1932 года в швейцарском городке Вильнев, куда Федин, по приглашению Роллана, приехал из

Давоса, где он тогда лечился, дали толчок и материал к написанию романа «Похищение Европы». Федин тогда на собственном опыте убедился, каковы нравы в капиталистическом обществе, управляемом, как метко сказано в «Похищении Европы», законом «взаимного уничтожения». Примечателен следующий эпизод. О своих впечатлениях от встречи с Ролланом Федин написал в июне 1932 года в «Известиях». Статья вызвала потоки грязной клеветы в буржуазно-реакционной прессе: во французских газетах «Фигаро», «Комедиа» и др., в швейцарской газете «Лозанская трибуна». В ответ на эту клевету Федин опубликовал в «Юманисте» 8 июля 1932 года письмо-протест, где заявил следующее: «Мои заметки о посещении Роллана и разговоре с ним, опубликованные московскими «Известиями», послужили поводом к новым нападкам и на этого писателя, и на Советский Союз... «Комедиа» имеет наглость утверждать, будто бы Ромен Роллан жаловался мне на то, что советские издательства не платят ему гонорара! «Фигаро» воспроизводит эту ложь с низкими комментариями.

Роллан не говорил мне ни слова, и я никогда не писал ни слова насчет его гонорара. Французский читатель имеет возможность осрамить лжецов по переводу моей статьи, данному газетой «Ли» (номер от 29 июня 1932 года).

Все усилия буржуазных журналистов подорвать симпатии Советского Союза к Ромен Роллану поставят их самих в смешное положение».

Ромен Роллан полностью поддержал это выступление Федина. Он писал журналисту Деспре — французскому коммунисту:

«Мой дорогой Деспре!

Пересылаю Вам этот протест от имени Конст. Федина. Я не считал нужным протестовать сам против лжи прессы, которую я презираю («Фигаро», «Комедиа»). Но так как я к этому вынужден, я прибавлю, что это ложь тем более наглая, что не только за статьи, которые я всегда охотно посылаю советской прессе, но и за собрания моих сочинений, выпускаемых в СССР, я из принципа отказался от всего предложенного мне гонорара.

14 августа 1932 года. Ваш *Ромен Роллан*».

Прежде чем приступить к роману, Федин всесторонне изучает действительность. «Вообще должен сказать, никакой другой мой роман не «оснащался» таким разнообразным изучением действи-

тельности, как «Похищение Европы»: это была подлинная современность 1928—1930 гг.», — пишет Федин в апреле 1959 года.

В 20—30-х годах Федин знал семью старых голландских лесоторговцев, имевших концессию в Советской России. Один из членов семьи, живший в Ленинграде, дал Федину многое для понимания нашей внешней лесоторговли и прежде всего — с Голландией. Быт этой семьи в Амстердаме Федин имел случай наблюдать наряду с картинами общественной жизни современной Голландии. Впечатления от знакомства с голландскими лесопромышленниками послужили основой для семьи ван Россумов в романе, — именно *основой*, потому что весь интимный, внутренний уклад этой семьи, как он нарисован художником, — плод творческого вымысла.

Федин изучал не только внутренний мир этих людей, но и внешний — все «обстоятельства», в которых они жили и работали. Для этого он знакомится с важнейшими лесотехническими вопросами, — его консультантом становится профессор Лесного института, трудами которого он пользовался. Федин также занимается вопросами портового хозяйства и вывоза леса, внешней торговли и работы концессий в СССР; ему помогает в этом известный старый большевик И. Г. Лютер, прославленный деятель латышского подполья в царское время.

Действие второй книги «Похищение Европы» происходит в Сороке (ныне портовый город Беломорск). Это — старый лесоторговый центр с заводом, конечный пункт лесосплава по Выгу, староверческое поселение выговской беспоповщины. В то время еще не было Беломорско-Балтийского канала. Строительство, о котором идет речь в романе, было местным — прорывался один из подсобных каналов для улучшения подводки сплавленного леса из запани к лесопильному заводу.

В 1930 году Федин долгое время жил в Поморье, больше всего в Сороке, но ездил и в Кемь и в Шуерецкую. Он действительно изучает заводскую жизнь Поморья и вывозит из Сороки много разносторонних впечатлений и записей — вся вторая книга «держится» на подлинном поморском — Онежской губы — материале.

Эта подлинность ощущается везде. Так, одна из наиболее сильных и необходимых для осуществления идейного замысла сцен — встреча наших рабочих с иностранными моряками — отличается достоверностью, построена на действительных фактах. В Сороку в те годы заходили разные иностранные пароходы за лесом, среди них были и голландские. «Встречали иностранных

моряков наши рабочие, — пишет Федин в 1959 году, — всегда с наивозможнейшим дружелюбием и потчевали, чем могли, у себя в клубе. Но 30-й год был суровый, скудный... И я писал правду». Правда жизни продиктовала Федину и центральный конфликт романа — соревнование лесного короля Филиппа ван Россума с новым, социалистическим укладом, с советским образом жизни.

В 1936 году («Литературный Ленинград», № 17) Федин писал: «Я долгое время представлял себе, что сложившимся, окостенелым характерам капиталистической Европы противостоит огромный исторически-величественный процесс становления нового характера у нас, в Советском Союзе. Я думал: там — давно законченная, уже разваливающаяся, начинающая смердеть форма, здесь — интенсивное образование нового человека, собирание его будущих черт в единство, которое мы знаем пока лишь в наших мечтах. Поэтому я противопоставил законченному характеру главного героя романа — капиталиста Филиппа ван Россума — целую гамму отдельных черт и отдельных характеров советских персонажей. Но я сразу понял, что в таком случае Западная Европа будет конкретизирована в художественном образе сильнее, чем противостоящий ей мир Советов. Я понял, что надо непременно дать конкретные советские образы. Но я не мог найти реальных «деловых» обстоятельств, в которых капиталист мог бы сталкиваться с эквивалентным образом из советского мира. А между тем роман построен на материале так называемой «деловой» обстановки. Я должен был расчленить, говоря очень грубо, «советский противовес» на Рогова — человека довольно изысканного, и коммуниста Сергенча — человека волевых и прозрачных нравственных качеств. Что случилось? Европа ведет в романе разговор главным образом языком одного героя, Советская же страна — языком двух. Я надеялся, что тысячи обстоятельств, работающих в нашем государстве против Филиппа, вполне заменят героя. Теперь я вижу, что это конструктивная ошибка, вытекающая из замысла. Но я говорю откровенно: конкретно для моего романа я и сейчас еще не отыскал «противовеса» Филиппа, хотя признаю, что создание советского героя, так сказать «единолично» выносящего напор, давление западноевропейского своего антипода, является задачей нашей литературы».

Спустя двадцать три года в одном из писем (от 4 апреля 1959 года) Федин много яснее и точнее определяет свою тогдашнюю позицию, свой замысел и те трудности, которые стояли на путях его воплощения: «В «Похищении» дается картина 30-х,

конца 20-х годов — столкновение Запада с Советской Россией в годы первой пятилетки. В этом столкновении я видел законченно-сформированный образ традиционного дельца-капиталиста. На той арене, на которой действовала фигура ван Россума, я не нашел, не мог найти в каком-нибудь *одном* лице фигуру советского деятеля, которая была бы антиподом дельца ван Россума. Антипод не воплощался для меня в одном образе.

Я вижу две причины, мешавшие мне отыскать воплощение противника ван Россума. Во-первых, становление советского характера только лишь происходило, слагалось, но не закончилось. Во-вторых, я был убежден, что наивысшей трудностью для ван Россума, для его деятельности в Советском Союзе была невозможность отыскать точку приложения своим усилиям в борьбе с Советами: он, так сказать, не видел — *с кем именно* должен схватиться. Куда он ни поворачивался — везде были его противники, а помериться силами ему было не с кем! Против него выступало *не одно* какое-нибудь лицо, а сотни лиц. Против него была *вся* советская действительность. И он напрасно искал конкретного врага, похожего на тех, каких он знал по своей деловой практике борьбы на Западе. Там всегда противостоит ему личность конкурента, например, Эльдеринг-Гейзер. А тут, в этой непонятной стране, противятся ему решительно все — Сергеич, Шура, Рогов, Володя, каждый рабочий, профсоюзник, молодой человек в Концесском, да буквально всякий встречный...

Трудность для себя, автора, я сделал трудностью для своего героя, ван Россума! И сейчас вижу, что сделал не без основания...

В этом письме Федин уже не считает «конструктивной ошибкой» то обстоятельство, что Филиппу ван Россуму он противопоставил не «единоличного» героя, а весь советский коллектив, органически непримлемлющий ван россумовский закон «взаимного уничтожения».

Такова была новая, социально-историческая обстановка, таков был «образ времени» — образ новой, советской эпохи. Потому исторически закономерен «провал» даже такого опытного и могучего дельца, каким был Филипп ван Россум — в Советском Союзе для него не оказалось «питательной среды».

Свои наблюдения, свои познания новой жизни, свою идейную позицию, укрепленную этими наблюдениями, этим знанием, Федин выражает в романе не только художественными образами. Фельетон Рогова языком публицистики подтверждает, углубляет идею о великих переменах, совершенных революцией в отсталой России;

фельетон Рогова — это констатация факта, что первая советская пятилетка, перестраивая избяную Русь, поставила ее на рельсы социализма. Это, по словам Федина, «начало дороги, по которой мы пришли теперь к Спутникам Земли и завоеванию Космоса».

Фельетон важен и для характеристики Рогова: этот талантливый журналист не только бродил по свету и не только влюблялся в барынь сомнительного поведения, но делал выводы из виденного в мире ван Россумов и в мире Советов, рассказывая о своих выводах газетному читателю...

«Когда-то, — пишет Федин, — я получил читательское письмо, где было сказано: жалко, что в газетах у нас не появляется таких фельетонов! Это правда.

Но вот такой фельетон появился в романе. Что поделаешь? Я не могу отрицать, что это фельетон не Рогова, а Федина...»

Горький успел прочитать только первую книгу романа. В одно из посещений его Фединым в Горках он говорил автору о жизненности, изобразительной силе европейских картин. Особенно хорошо отзывался Горький об описании Амстердама — его базара, поездки по каналам.

Ромен Роллан, прочитав в журнале «Интернациональная литература» главу из «Похищения Европы», в которой рассказывалось о совещании дельцов у Крига, был удивлен знанием автором мира дельцов-капиталистов Запада. Жена Роллана писала Федину: «Он (Роллан) нашел эту главу очень умной и удивился Вашему знанию деловых отношений, Вами описываемых. Ждем с нетерпением продолжение».

Суровая и горячая правда жизни, воодушевлявшая друзей Советского Союза, в то же время заставила реакционные круги Запада крайне настороженно, неприязненно встретить роман. Интересен следующий факт: в голландском переводе романа (Роттердам, 1937) во второй книге был изъят ряд глав («Прожекторы», «Бабушкины сказки», «Филипп ван Россум любит СССР»), где говорится об успехах социалистического строительства и о растерянности Филиппа, о его недоброжелательности к советским людям. Впрочем, в «послесловии переводчика» сокращения оговорены и мотивированы тем, что эти главы, интересные для советского читателя, «не могут заинтересовать читателя европейского».

Примечателен и отзыв бернского журнала «Dimitag» от 10/XI 1958 года о романе «Похищение Европы» в издании «Ауфбау», Собр. соч., Берлин, т. V, 1958:

«Русские умеют писать талантливо даже тогда, когда считают своим долгом заниматься пропагандой. Федин — один из тех, кого нельзя игнорировать уже потому, что его перо остро и сатирично. Давно прошло время, когда полагали, что идеологическими противниками можно пренебречь, и на Западе убедились, что с ними следует считаться. Кроме того, с Фединым считаться мы *должны* и потому, что в своей книге он рисует западные «воображаемые фигуры», каких просто нет, либо какие вряд ли бывают...»

Очевидно, «воображаемые фигуры» существуют в действительности, если западная журналистика должна считаться с романом, в котором им отведено столь большое место.

В 1945 году первая книга «Похищения Европы» (берлинское издание 1934 года) была обнаружена в куче дымящегося «товара» в книжной лавке при взятии Берлина. Она была привезена в подарок Федину красноармейцами, штурмовавшими столицу Германии.

Отдельные главы «Похищения Европы» в переводах на английский, немецкий, французский языки были опубликованы журналом «Интернациональная литература» в 1934 году.

Роман вышел на украинском языке двумя книгами (I—1935, II—1936, обе в Харькове).

За рубежом роман переведен на языки: голландский (Роттердам, 1937); немецкий (Берлин, 1958); польский (Варшава, 1957); румынский (Бухарест, 1956); чешский (Прага, 1958).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Книга первая

I. Вершина	7
II. Расписание Бениэта нарушено	10
III. Разговор в Бергене	18
IV. Продолжение разговора	25
V. Филипп ван Россум едет в Гарлем	36
VI. Некоторые воззрения Лодевийка ван Рос- сума	43
VII. Незначительные встречи	51
VIII. Биржевой день в Роттердаме	59
IX. Демпинг	69
X. Биржевой день окончен	77
XI. Король	82
XII. Примечания господина аббата де ла Порт	95
XIII. Подданный	104
XIV. Ван Россум приспускает флаг	115
XV. Три диалога	123
XVI. Амстердам днем	131
XVII. Примерный Виллем	140
XVIII. Марш Бизе	150
XIX. Испытание алмазами	155
XX. Черты из двух биографий	165

XXI. Амстердам ночью	178
XXII. Описание общества	190
XXIII. Доктрины современности	201
XXIV. Похвала благоразумию	219
XXV. По пути в Московию	225

Книга вторая

I. Ожидание моряны	236
II. Добро пожаловать	241
III. Банкет	248
IV. Продолжение банкета	258
V. Прожектеры	266
VI. Бабушкины сказки	274
VII. Вопросы	279
VIII. Биржевой день в Сороке	289
IX. Каштановая аллея	299
X. Моряна	310
XI. Филипп ван Россум любит СССР	328
XII. Дуэт	344
XIII. Концессия	356
XIV. Ленинград-порт	372
XV. Завтрак	386
XVI. Фельетон Рогова	397
XVII. Курорт	403
XVIII. Подозрение	417
XIX. Московские хроники	428
XX. Разрыв	441
XXI. Домыслы	454
XXII. Франс	466
XXIII. Острова будущего	478
XXIV. Курс — Вест	492
Примечания	499

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф Е Д И Н

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *И. Чеховская*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректоры *В. Седова* и *Р. Пунга*

*

Сдано в набор 30/V 1959 г.
Подписано к печати 5/IX 1959 г. А-08027.
Бумага 84×108¹/₃₂ — 16 печ. л.=26,24 усл.
печ. л. 24,68 уч.-изд. л. Тираж 90 000.
Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, В-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

